



МИРОВАЯ КЛАССИКА

Ю. НАГИБИН



Ты будешь жить

МИРОВАЯ КЛАССИКА

Ю. НАГИБИН

Ты будешь жить

Сборник

асТ ЛЮКС
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва • 2005

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)
Н16

Серия «Мировая классика»

Серийное оформление А.А. Воробьева

Компьютерный дизайн Ю.М. Мардановой

Подписано в печать 3.02.05. Формат 84×108^{1/32}.
Усл. печ. л. 25,2. Тираж 2000 экз. Заказ № 708.

Нагибин, Ю.

Н16 Ты будешь жить : сб. / Ю. Нагибин. — М.: АСТ: ЛЮКС, 2005. — 476, [4] с. — (Мировая классика).

ISBN 5-17-029602-9 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 5-9660-1328-4 (ОАО «ЛЮКС»)

Вниманию читателей предлагается сборник произведений известного русского писателя Юрия Нагибина.

УДК 821.161.1
ББК 84.(2Рос=Рус)

© Ю. Нагибин, наследники, 2005
© ООО «Издательство АСТ», 2005

ШКОЛЬНЫЙ АЛЬБОМ

Быль

1

Мне оставили этот большой альбом в красном коленковом переплете, на титульном листе которого старательно выведено тушью: «311-я школа, выпуск 1938 года», чтобы я заполнил два чистых листа — в одном разделе: «Они сражались и погибли за Родину» — на Павлика С., моего первого и лучшего друга, в другом: «Здоровья и счастья» — на самого себя, которому это пожелание в самый раз. Есть еще третий раздел — «Вечная память» — о безвременно ушедших: от старых ран и недугов войны, как Володя А., или от мирных болезней, как автодорожник Люсик К., или от самогубления, как инженер Юра П.

Есть особая судьба, и я жалею, что не мне поручили написать о Ляле Румянцевой. Досрочно окончив медицинский институт, она пошла работать врачом в лагерь немецких военнопленных армии Паулюса; те привезли из-под Сталинграда жестокий тиф, Ляля заразилась и умерла — двадцати трех лет. Но мои школьные друзья, составители альбома, рассудили иначе — наверное, справедливо, — что о Ляле должны написать Ира и Нина, учившиеся с ней в школе с первого до последнего класса, затем в институте с первого до последнего курса и метавшиеся в тифозном бреду на соседних госпитальных койках. Лишь здесь их пути разошлись: Ляли не стало, Ира и Нина вернулись в жизнь.

Впрочем, о Ляле я уже писал раньше, есть у меня такой рассказ в книге «Чистые пруды» — «Женя Румянцева», где в образе героини соединились черты двух моих соучениц: Ляли Румянцевой и Жени Рудневой — называю и последнюю полным именем, ибо оно принадлежит истории. Майор Руднева — штурман легендарного женского бомбардировочного полка Марины Расковой — посмертно удостоена звания Героя Советского Союза, о ней написаны книги, ее замечательный по искренности дневник выдержал много изданий. Почему я соединил двух девушек в одну — сейчас мне и самому трудно разобраться. Все же попробую. С Женей меня в школе ничего не связывало. Мы учились в разных классах, она была секретарем комсомольской организации, самой видной общественницей школы, я же являл собой полное отрицание всех Жениных устоев: индивидуалист, злостный прогульщик (к тому же с ведома и одобрения родителей) и пусть не хулиган, не дебошир, но тихий хамила, читавший на уроках постороннюю литературу и дерзивший учителям, которых Женя глубоко почитала всей своей большой и теплой душой. Но более всего смущало прямолинейную и бесхитростную Женю, что при таком недостойном поведении учился я, подобно ей, на одни пятерки, чем являл особый соблазн для слабых и неустойчивых натур. Это разрушало Женины представления о добре и зле, о нравственной основе жизни. Однажды она попыталась провести со мной душеспасительную беседу, но я высмеял ее бессильные потуги вернуть меня на путь истинный. Женя скинула русую прядку на взблеснувший слезой глаз и отступилась. Мы не перемолвились больше ни словом до окончания школы, а после выпускного вечера разошлись — навсегда.

Женя поступила на механико-математический факультет МГУ, но мечтала стать астрономом. Она была деятельным членом Московского отделения Всесоюзного астрономического общества. «Мне хочется открыть хоть маленькую звездочку, — признавалась она друзьям. — Пусть будет на небе и мой светлячок». Возможно, это честолюбие, но такое милое и трогательное!

Война перечеркнула все ее планы. Женя была на редкость цельной натурой, и не могло быть сомнений, какой путь она изберет. В нашем альбоме о Жениной военной судьбе сказано

с протокольной точностью и краткостью. Текст помещен сбоку от портрета той Жени, которой я уже не знал, — двадцатилетней и красивой. В ее лице таинственно соединились открытость, мягкость с волевой завершенностью черт, упрямая крутизна лба искупалась полуулыбкой добрых губ, а в моей памяти Женя осталась полноватой, рыхлой девчонкой-нескладухой.

Из альбома: *«В начале октября 1941 года по призыву ЦК ВЛКСМ о наборе девушек в армию Женя Руднева среди первых была рекомендована в женскую авиационную часть Героя Советского Союза Марины Расковой. В мае 1942 года после окончания авиационной школы штурман звена ночных бомбардировщиков Евгения Руднева вылетела на фронт в район Северного Кавказа. В марте 1943 года она вступает в члены КПСС, и в этом же году ее назначают штурманом полка. За участие в освобождении Кубани женскому авиационному полку, где служила Женя, было присвоено звание гвардейского (гвардейский Таманский полк)».*

От меня: Женя, как и все ее подруги по полку, летала на У-2, у нас эти фанерные одновинтовые самолеты прозвали «кукурузниками» — они могли при необходимости сесть на кукурузное поле и схорониться среди стеблей, а у немцев — «бесшумной смертью», «ночными дьяволами» — их нельзя было засечь улавливающими устройствами и поразить из зенитных орудий; они шли на бомбометание с выключенными моторами и слишком низко: чтобы осколки зенитных снарядов могли причинить им вред, требовалось лишь прямое попадание.

Из альбома: *«В ночь на 9 апреля 1944 года, совершая свой 641-й боевой вылет на бомбежку вражеских позиций, Женя Руднева погибла. Это было под Керчью. Имя Жени Рудневой внесено в Книгу боевой славы. 26 октября 1944 года Евгении Максимовне Рудневой за мужество и отвагу присвоено посмертно звание Героя Советского Союза».*

Звездная мечта Жени осуществилась: «Золотая Звезда» увенчала подвиг, а Всемирное географическое общество назвало Жениным именем вновь открытое небесное светило. И когда мы праздновали наше общее шестидесятилетие в моем загородном жилье, с ночного подмосковного июньского неба на нас глядела и Женина звездочка.

В рассказе «Женя Румянцева» герой уговаривается после школьного выпускного вечера с девушкой, которой он нравился, ничуть о том не подозревая, встретиться через десять лет в среднем пролете между колоннами Большого театра. В назначенный срок он является к месту свидания, зная, что девушка эта погибла на фронте. Судьба девушки подобна судьбе Жени Рудневой. Но я ей, надо сказать, не нравился, и мы никогда не уславливались о подобной встрече. Уславливались мы с Лялей Румянцевой, и в тот миг на меня пахнуло странной, нежданной нежностью, оставшейся запоздалым сожалением в моей душе. О Лялиной судьбе я узнал по окончании войны, но свое обещание выполнил и в должный час пришел к Большому театру с букетом цветов, который отдал потом какой-то одинокой девчонке.

По своему максималистскому характеру Ляля напоминала Женю, равно как и по безоглядности общественной отдачи. И она была такой же прямой, жестко честной, требовательной к себе и к другим. Но у нее эти волевые качества растворялись в стихии женственности.

Ляля была стройна и спортивна, в девичьем ладном облике проглядывал близкий женский расцвет. Женя оставила школу серьезной и неуклюжей девчонкой с плохо координированными движениями, набивавшей шишки обо все углы, — самым трудным предметом для нее была физкультура. Самолет — продолжение тела летчика; к тому времени, когда Женя поднялась в небо, она обрела полную власть над своей созревшей плотью, стала ловкой, крепкой и ладной, и, словно отвечая этому чуть запозднившемуся превращению, пришла к ней первая и последняя любовь.

Женя обрела то, чем владела Ляля, а Ляля оказалась несостоявшейся Женей. По своей высокой и решительной душе она имела право на подвиг и непременно совершила бы его, если бы жизнь ее не оборвалась так внезапно и нелепо. Но разве ее смерть не была подвигом? Она лечила, спасала тех, кого должна была ненавидеть, до конца оставалась верна клятве Гиппократата, которую в суматохе ускоренного выпуска даже не успела дать. Но это не тот подвиг, о котором слагают песни, пишут книги, и мне захотелось как-то исправить допущенную

жизнью несправедливость. Пусть Женя поделится с подругой своим подвигом, а Ляля — тем очарованием, которым в школьную пору Женя не успела открыться. И две девочки, Женя Руднева и Ляля Румянцева, соединились в рассказе в одну — Женю Румянцеву.

И в альбоме, по-моему, неверно было их разъединять: Ляле отвели место среди «Безвременно умерших». Нет, Лялю тоже надо считать фронтовичкой, отдавшей жизнь на поле боя.

Женя Руднева — наша слава, наша гордость, наша боль, но она принадлежит не только нам, и я называю ее здесь полным именем, то же самое делаю в отношении Ляли Румянцевой, чтобы уравнились они в памяти, коль не случилось этого при жизни. Но больше так я никого называть не стану. Я оставляю моим друзьям лишь имена, под которыми знал их в школе и которые указаны в альбоме, и первую букву фамилии, чтобы не спутались тезки. И вовсе не потому, будто считаю их хуже знаменитой Жени Рудневой или безвестной, трагически ушедшей Ляли Румянцевой, — нет, нет и нет! Но Женя, повторяю, вырвалась из-под моей власти: судьба девушки, которая шла на смерть не раз, а шестьсот сорок один раз, стала всеобщим достоянием; Ляля же у меня повязана с ней, что заставляет называть и ее полным именем. Но я не могу говорить с такой уверенностью знания ни о других ушедших, ни тем паче о живых, чья судьба пребывает в движении, развитии. Они не уполномочивали меня быть их Пименом. Писать же без внутренней свободы нельзя. А свободу эту можно обрести лишь одним — никаких полных имен. И тут уж не должно быть исключений, кроме оговоренных выше. Это не всегда легко, особенно когда приходится любимейшего друга называть Павликом С. Есть еще одна причина, почему я должен обходиться без фамилий: не всем нам повезло в жизни, не все были всегда правы и перед другими, и перед самим собой, но перед нами и этим альбомом на них нет вины. Так чего же поташу я их на суд людской? Того же, за кем мы такую вину числим, нет в альбоме, но об этом подробнее будет сказано в конце. Не знаю, насколько убедительно обосновал я свое решение, похоже, что не очень-то, но, думаю, оно покажется справедливым по мере чтения этих записок...

Не случайно сразу за Женей Рудневой страница альбома отдана Павлу Г. О нем написала наша одноклассница Сарра М., соседка Павла по дому бывших политкаторжан на Покровке.

Из альбома: «...Павел Г., Павел, Павлик — самый серьезный из нас, молчаливый, задумчивый, он был полон доброты и доброжелательности. Он обладал редким даром сопереживания, всегдашней готовности разделить и принять на себя тяжесть чужих огорчений. Он был другом в трудный час. Его серьезность, взрослое чувство ответственности делали его нечастую веселость и органическое умение радоваться чужой радости еще более пленительными.

Он был нашей совестью. Он не знал компромиссов, столкнувшись с тем, что считал недостойным. Его порядочность в таких случаях проявлялась не доказательствами и спорами — он, смешно надувшись, что-то бормоча под нос, не желая разговаривать, уходил, и это было сильнее всяких объяснений.

Как часто, когда мы шумели и спорили, он, заложив руки за спину, молча ходил, размышляя, ничего не слыша, замкнувшись в свои мысли. В отличие от нас его жизнь была очень трудна, ранняя тяжелая болезнь сделала его мать инвалидом. Он был хорошим сыном — добрым, внимательным и работающим. Он хорошо учился, не для отметок, его многое интересовало, особенно точные науки, его отношение к занятиям было не школярским, как у многих из нас, и знал он больше, чем мы. Так уж считалось, что он получит техническое образование, но он решил стать врачом.

Врач — вот было его человеческое назначение. Его душевные качества не могли не вылиться в это решение. Это не будет мистикой — сказать, что не только он, но и его избрала медицина. Такие избранники бывают редко. Когда он, еще не дипломированный врач, оперировал раненого в палатке полевого госпиталя, начался налет немецкой авиации. Он лег на раненого, закрыв его своим телом. Палатка полевого госпиталя не защитила их — они были пробиты одним осколком — врач и боец.

Нельзя оскорблять память нашего друга рассуждениями о том, что он мог бы спастись, — для него выбора в этот миг не су-

ществовало. И незачем писать о памяти. Он с нами, пока мы живы, — он жив. Ты с нами; Павел, друг наш».

Павел Г. был чуть ниже среднего роста, худощав, с какой-то странной ныряющей походкой, а ноги ставил по-балетному — носками врозь. В классе ничего не знали о его домашней жизни и вообще мало знали о нем. Между нами и Павлом стояла математика. Он постоянно решал задачи: в младших классах — арифметические, потом алгебраические, а в старших вместе со своим единственным школьным другом, блестяще одаренным Колей Р., предался магии интегралов и дифференциалов. Свою напрягающуюся над высшей математикой мысль Павел оберегал, зажав уши и сцепив пальцы на затылке. Отрешенным взглядом смотрел поверх или сквозь окружающих, что-то вечно искал в лишь ему ведомых пространствах. Он не стремился к одиночеству, но умел создавать его среди любой шумной компании, чтобы оставаться со своими мыслями. Блез Паскаль признавался, что серьезное мышление занимало ничтожно малое время в его жизни, наш Павел всегда был нацелен на серьезное. Его миновали и наши грехи, и наши доблести: он не хулиганил, не курил в уборной, не хвастался, не дрался, не бегал за девчонками, не занимался спортом и не глотал тоннами увлекательное чтиво. Он думал... И решал он не только математические, но и нравственные задачи. Одна из главных — выбор профессии. Конечно, он наступил на горло своему истинному призванию, решив стать врачом. Душевная самоотверженность подавила мозговую склонность...

Помню, как удивило меня восклицание моей матери, впервые увидевшей Павла Г.: «До чего красивый мальчик!» Мне и в голову не могло впасть, что неприметный, весь в себе, Павел красив, что у него вообще есть внешность, заслуживающая внимания. Красивы были герои чистопрудных ристалищ с прической «под бокс», папироской в углу презрительно сжатого рта, хмуро-дерзким прищуром из-под лакированного козырька «капитанки», с напульсниками на крепких запястьях и мужественными фингалами. Мать почувствовала, что я не понял. «У него серебряные глаза. Боже, ни у одного человека не видела я серебряных глаз!» Я свято верил каждому слову матери и тут же обнаружил, что наш скромный Павел сказочно

красив: светло-серые, прозрачные глаза его и впрямь отсвечивали серебром. Но потом я опять перестал замечать серебро радужек вокруг его удлинённых, глубоких и темных зрачков, да и самого-то Павла едва видел — слишком полярны были наши интересы.

Сейчас я смотрю на фотографию Павла, помещенную в альбоме, — как же красиво, одухотворенно, возвышенно это чистое и серьезное, среброглазое юношеское лицо!..

Сарра М., так хорошо написавшая о Павле, открыла мне, что наш молчаливый друг был куда понятнее и ближе ребятам, знавшим его не только по школе, но и по большому дому бывших политкаторжан, где шла его главная, трудная и самоотверженная жизнь.

Сарра до последней минуты не знала, примет ли участие в общем дне рождения: у нее очень большое сердце. И вот она с нами — удивительно моложавая, стройная, подтянутая, строго и хорошо одетая и такая интересная, какой не была даже в юности. Но она ничего не ест и не пьет, только подносит к губам рюмку с вином, когда произносится очередной тост. Хотя я не считался хозяином — хозяевами были мы все, — встреча как-никак происходила «на моей территории», и это невольно понуждало меня к повышенной пристальности. Набрав в тарелку еды, я подошел к Сарре. «Ты что — голодовку объявила?» — «Все в порядке. — Голос прозвучал чуть резко. — Только не надо ко мне приставать. Прости. Не сердись». Я понял, чего стоил Сарре приезд сюда, каким волевым напряжением оплачены ее прекрасная форма, подтянутость, сиюминутная пригожесть...

Всю свою трудовую жизнь, закончившуюся раньше срока из-за болезни, Сарра была библиотекарем в театральной библиотеке. Находиться постоянно возле книг, так хорошо владеть словом, это видно по тем двум страничкам, что она написала о Павле, и не стать, пусть тайно, писательницей — такого быть не может. Я сказал ей об этом. Она пожала плечами: «Это все, что я написала за всю мою жизнь. И впервые поняла, до чего же непосильное дело — литература. Теперь я преклоняюсь перед писателями. Вы — мученики!» — «Не стоит преувеличивать, — возразил я. — Святых Себастианов среди нас куда меньше, чем арбалетчиков».

А потом кто-то сказал в тосте, что вся жизнь Павлика была лишь ради единственного мига, когда он прикрыл собой раненого. Сарра побледнела от гнева. «Это чисто поэтическая мысль — красивая и пустая. И дурная к тому же. Он родился и зрел, чтобы прожить большую, нужную, серьезную жизнь. Павел поступил так, как только и мог поступить, но плохо думать, что его душа томилась в предбытии миллионы миллионов лет ради одной коротенькой вспышки. Нет, нет!.. Не надо всегда все оправдывать, благословлять и превозносить только потому, что это было». — «А что надо?» — «Не знаю. Отвергать, не соглашаться, протестовать, вопить, плевать в бороду Бога, может, тогда все мертвые вернуться...»

Странный инструмент — человеческая память! Только из-за того, что о Павле заговорили, я обнаружил в себе неведомые запасы воспоминаний. Это случилось в ту недолгую пору, когда «открытый» мамой Павел стал для меня прекрасен, как небожитель. Наша классная руководительница Мария Владимировна, опытная, с крепкой рукой, умеющая натягивать и отпускать вожжи, но несколько обделенная даром беспристрастия, столь важным для педагога, тоже на свой лад открыла Павла Г. Его незаурядные математические способности, любознательность, глубокая серьезность (он был тихим зеленым островком посреди бурных и мутных вод нашего класса) вдруг были замечены и оценены статной, как будто в латы закованной, медноволосой и суровой классной руководительницей. И с присущим ей волевым напором она стала делать из него первого ученика. Было это, если не подводит память, в шестом классе. У нас имелась штатная первая ученица Нина Д. — кладезь школьных добродетелей, образцово-показательная по всем статьям, до некоторой даже роботообразности. Забегая вперед, скажу, что во взрослой жизни эти ее качества обернулись безукоризненным поведением на всех крутых виражах судьбы, громадным чутьем и безоглядной самоотверженностью в избранной ею врачебной профессии. Первая ученица с аккуратными, скучными косичками стала человечком высшего класса. Но тогда эта румяная девочка была до того правильна и примерна, что при ее появлении каждый живой организм скисал, как молоко в жару. И наша классная руководительница чутко поняла, что в седьмом классе, когда программа резко

усложняется, понадобится иной герой для угнетения малых сил. Тут недостаточно старательности, аккуратности, умения опрятно содержать тетрадки, сидеть, как мумия, за партой, пока учитель объясняет или пишет на доске пример, соря мелом, мало зубрежного рвения — от этих до этих и ни в коем случае не забегая вперед, — мало привычки рано ложиться спать и вставать чуть свет (замечательным домашним режимом Нины Д. угнетали не только нас, но и наших родителей) — от лучшего ученика потребуются иные качества: живой ум, пытливость, увлеченность наукой, сила глубокого характера. Мария Владимировна, конечно, понимала, что Нина с ее хорошими способностями, прилежанием, ясной памятью, внутренней дисциплиной и отсутствием пагубных страстей не ударит в грязь лицом и в седьмом, и во всех последующих классах, но правильно рассудила, что мужающим подросткам нужен будет иной образец для подражания. Принадлежа к нетерпячей и решительной породе мичуринцев, она не стала ждать милостей от природы, а решила сама изготовить нам идола впрок.

Поскольку она вела у нас все главные предметы, на Павла посыпались как из рога изобилия высшие отметки не только по тем дисциплинам, где его превосходство не вызывало сомнений, но и по тем, где он успевал куда меньше. Он вдруг оказался отличным художником — рисовать вовсе не умел, дивным певцом — без слуха и — косолапый слабак — украшением физкультурного зала. Конечно, за всем этим чувствовалась твердая рука Марии Владимировны, чей авторитет в школе был неоспорим. Похвальные грамоты и премии каждую четверть отмечали выдающиеся успехи Павла.

Но был у него один изъян, крайне осложнявший задачу Марии Владимировны возвести его на школьный Олимп, — неправдоподобно уродливый почерк. Среди нас были настоящие каллиграфы: Нина Д., ее подруга Ира Б-на, Лида Ч., Володя М., остальные обладали вполне сносным почерком — сама же Мария Владимировна учила нас в первом классе выводить палочки и нолики, потом какие-то древние узоры и наконец буквы, — учила жестко и хорошо. Павел писал грамотно, но невообразимым почерком — рука не слушалась его, как он ни старался; казалось, это не человек писал, а ползала

по бумаге испачкавшаяся в чернилах муха. Лист из школьной тетрадки Павла задал бы нелегкую задачу графологу. Я до сих пор помню не только кляксовую неопрятность его письмен, но и начертания отдельных букв. У его «я» была крошечная головенка, просто капелька чернил, а под ней непристойное разножие, напоминающее о наскальной живописи в мужской уборной; его «щ» требовало громадного пространства, а хвостик буквы превращался в самостоятельное «у», сползающее в нижнюю строчку и производящее там беспорядок; случалось, буквы вклинивались одна в другую или уменьшались до микроскопических размеров, и разглядеть их можно было лишь с помощью лупы, а то вдруг вырастали в великанов. Почему рукописания такого тихого, сосредоточенного и собранного человека, каким уже в детстве был Павел, имели столь смятенный вид — ума не приложу.

Мария Владимировна старательно закрывала глаза на этот серьезнейший по школьным меркам недостаток и твердой рукой вела Павла к славе. Ребята, конечно, понимали, что дело нечисто, но снисходительно относились к педагогическим вольтам классной руководительницы. Павла любили и уважали за его подлинные достоинства, а его математическим гением гордились и восхищались. К тому же для нас Павел был удобнее Нины в качестве иконы. Он не пеленал тетрадки и учебники в белую бумагу, не заваливался в девять вечера и не вскакивал с рассветом, не обтирался холодной водой, тут он не мог служить образцом для подражания, а решать математические задачки, как он, никто заставить не мог, для этого требовалась особая голова.

Надо отдать должное чистоте и отвлеченности Павла: он долго не замечал своего положения любимчика, баловня, первого ученика и отрады очей классной руководительницы. Рассеянный — не от захваченности внешними впечатлениями, а от углубленности в собственный мир, — всегда немного печальный, он жил как жил, упиваясь дивным языком математики и не делая шага навстречу Марии Владимировне. Но она была настойчивым, точно знающим свою цель взрослым человеком, а он, при всей своей высокой отрешенности, все-таки мальчишкой, а не схимником, глухим к голосам земли. Он услышал наконец осанну, возглашаемую в его честь. И

поначалу смутился, сжался, стал еще молчаливей и замкнутой. Но капля камень точит, а ведь он вовсе не был камнем, четырнадцатилетний подросток с мягкой душой, которую защищал от вторжений, чтобы целиком тратить на математику и большую, безмерно любимую мать. Яд проник к нему в кровь. Павел поверил в свою исключительность, избранность, в свое превосходство над окружающими, во все то, чем планомерно и упорно заражала его классная руководительница. Он стал другим: на уроках все время высовывался, чтобы первым ответить на вопрос или решить пример, на собраниях брал слово, и в тихом его голосе зазвучали противные наставительные нотки. Он даже занялся своим почерком, хотя и без успеха. А получая очередную награду, уже не потуплял виновато серебристого взгляда, а прямо и преданно смотрел на Марию Владимировну и весь учительский синклит, готовый отдать за них жизнь. Он словно очнулся после долгой дремы, но очнулся не в себя прежнего, а в какого-то другого, куда менее ценного человека.

Все это кончилось конфузом, спасшим ему душу. Мария Владимировна заболела, впервые на моей памяти, и не пришла на занятия. Урок вела новая молодая учительница, которую мы не знали и которая не знала нас. Чтобы сразу утвердить ужасом свой авторитет, учительница закатила внеочередную контрольную по русскому языку. Когда на другой день она раздавала проверенные работы, тетрадка Павла лежала в самом низу. Подняв ее двумя пальцами, новая учительница сказала: «А этому ученику даже «неуд» слишком много. Чья эта тетрадка? — И когда Павел подошел, брезгливо сморщилась: — Какая гадость! Как тебе не стыдно? Большой парень!» — И швырнула ему тетрадку.

Она, конечно, переборщила по молодости лет, захотела сразу «поставить себя» в классе, к тому же не ведала, на кого замахнулась неопытной и дерзновенной рукой. Но поведение Павла было еще ужаснее. Он вдруг забился, как балаганный Петрушка, которого для изображения панического ужаса дергают за все веревочки разом, так что руки, ноги и голова на тонкой шее мотаются в разные стороны, застучал кулачками по учительскому столу, разревелся и, в клочья порвав тетрадку, выбежал из класса.

Дня два он не появлялся в школе, а потом пришел такой же, как всегда, нет, такой, каким был раньше, когда не лез вперед, не поучал других и не смотрел с собачьей преданностью в глаза наставникам, а пребывал в своем тайном надежном мире, излучая оттуда, из своего укромья, серебристый свет. На что уж мы были шпаной, но ни один человек в классе ни словом, ни взглядом, ни усмешкой не напомнил Павлу о жалкой сцене, разыгравшейся при раздаче контрольных. Молодая учительница больше у нас не появлялась, и, пока не вернулась Мария Владимировна, уроки поочередно вели руководительницы параллельных классов.

Павел ушел в тень. Писать он стал еще хуже, размазывал в тетрадках такую грязь, что любо-дорого посмотреть, нелюбимые предметы вовсе забросил, являя полное равнодушие к плохим отметкам, и окончательно вознесся в чистый, хрустальный мир математических формул.

Мария Владимировна поняла, что он потерян для нее, и отступилась. Утешение, впрочем, не заставило себя ждать. Она нашла замену трудному Павлу в лице очень способного и «приятного во всех отношениях» Бамика Ф. На этот раз она не промахнулась. Даровитость натуры сочеталась в этом рослом мальчике с уникальной механической памятью, веселым, а не нудным благонравием и той душевной прозрачностью, которая бывает у людей, не захваченных одной всепоглощающей страстью. Типичный гуманитарий, очень начитанный и даже сам друживший с пером, Бамик посещал химический кружок, редактировал стенную газету, хорошо играл в теннис и волейбол, блестяще владел речью, его разносторонность исключала опасный перекося, интересы не переходили в роковую увлеченность, он был создан для роли школьного кумира. Бамику требовался лишь легкий толчок, чтобы раскрыться во всем блеске, и этот толчок состоялся. Бамик не обманул доверия Марии Владимировны и до окончания школы оставался на недосягаемой высоте. Лишь изредка что-то случалось с безукоризненным аппаратом его памяти, что приводило к провалам столь невероятным, что их старались поскорее забыть, как нечто непостижимое и враждебное человеческому сознанию: так, в десятом классе он вдруг не смог извлечь... квадратный корень. И тогда я догадался, что Бамик своим феноменально устроен-

ным мозгом запоминает решения математических и физических задач, теоремы, формулы и записи химических реакций, — думать, соображать в области точных знаний он не может. А может, и здорово может — в литературе, истории, общественном образовании, даже биологии; столь же преуспевал он в предметах, основанных на чистой памяти: географии, немецком языке. Блеск Бамика не потускнел с годами, он так и остался самым ярким среди нас, но об этом в своем месте...

Думается, на том уроке, когда Павел порвал свою тетрадку и разреvelся перед всем классом, вернее, в дни, последовавшие за этим прискорбным событием, и укрепилась его душа для будущего, с тех пор он стал готов к тому, чтобы прикрыть собой от гибели другого человека. Молодая, неопытная учительница своим антипедагогическим поступком спасла его душу, которую уже начала растлевать наша многомудрая классная руководительница. Я совершенно уверен, что Павел в конечном счете все равно устоял бы против Марии Владимировны, вернулся бы к себе настоящему, но кто знает, чего бы это стоило, какой ценой оплачиваются в отрочестве подобные победы. А тут обошлось болезненной, без наркоза, но быстрой операцией, и он очнулся здоровым и стал тем, чего не сказала впрямую, но подразумевала бывшая девочка Сарра, — лучшим из нас...

3

И все же разве не была лучшей Женя Руднева?.. А разве Ляля Румянцева уступала ей?.. И да простят меня мертвые, что я оставляю их милые тени — ненадолго — и обращаюсь к миру живых, но почему не считать лучшим Яшу М., которого по старой памяти мы называем до сих пор Яшкой, несмотря на его научное звание и почтенную седину, — столько сохранилось в нем молодой доброты и веселости, отзывчивости, легкости и привязанности к нашему прошлому под сенью чистопрудных лип? И когда на общем дне рождения он попросил слова, все сразу заулыбались, готовые принять то радостное добро, которое он всегда приносит с собой.

Как и положено, он прочел свои новые стихи — о шестидесятилетних мальчиках и девочках, и тут многие, не переставая улыбаться, смахнули украдкой слезу — такая глубокая нежность скрывалась под тонким покровом шутливости. Любое доброе дело, если вносить в него излишнюю торжественность, серьезность на грани угрюмства, теряет свою живую, трепетную суть и начинает отдавать тленом. Эта опасность сопутствует каждому сборищу, когда оно не интимно и сводит людей не случайностью внезапных дружеских наитий, а общностью нынешней или прежней службы, какими-то датами, когда оно ритуально. Мы все дети своего времени, несем на себе его тавро, обязаны ему и многим хорошим, и кое-чем дурным, даже вот наши школьные, естественные, как воздух, вода и трава, встречи не защищены от опасности уподобиться месткомовским балам. Можно забыть о цели встречи, сведя все к водочкам и закусочкам, а можно впасть в бездушную высокопарность — ведь наши уста натренированы в парадном пустозвонстве. Своим добрым и неошибающимся сердцем Яшка неизменно предугадывает угрозу либо усталой натужности, либо старческой сентиментальности в духе ветеранов, его чуткое ухо улавливает и тот мерзкий тонкий звон, какой издает графин, когда по нему стучат карандашом, призывая к вниманию, — последнее не следует понимать буквально. Он тут же берет игру на себя и озонирует воздух. Удивительно ловко он это делает. Я пытался уловить, как возникает та или иная тема, помогающая ему вернуть праздник в праздник, но мне это никогда не удавалось. Он, конечно, ведущий наших встреч, не тамада, не распорядитель с бантом на рукаве, а чуткое, угадливое сердце, которое всегда на страже. Вот и сегодня почему-то оказалось нужным, чтобы, отвечая на какой-то вопрос, он рассказал о своем зяте:

— Он чудный мужик, но, можете себе представить, старше меня! Когда он попробовал величать меня «папой», я ответил ему тем же, с чуть большим основанием. Мои сослуживцы прозвали его Долгожителем. И не забывают участливо спросить: «Ну как твой Долгожитель?» Но дочери с ним хорошо, а на остальное наплевать.

К исходу вечера, когда скорое расставание набросило тень печали на еще длящуюся, но уже ведающую о конце встречу,

Яшка, чтобы подбодрить нас, прочел первомайское послание руководству своего института, щедро посыпанное аттической солью. «Лирику я посвящаю только нам, — пояснил Яшка, — всех остальных жалю сатирой. По-моему, вовсе не смертельной. Но недавно новый директор вызвал меня и спросил, что я думаю о выходе на пенсию. Я сказал, что работаю в институте тридцать один год, имею более ста научных трудов, в том числе шесть книг и пятнадцать брошюр, что моя лаборатория всегда была на лучшем счету, но при этом я нисколько не устал. «Но от вас устают другие, — промямлил он. — И вообще, я чувствую, что мы не сработаемся». — «Вы напрасно беспокоитесь, — сказал я. — Мне это говорили все ваши предшественники, а расставались мы друзьями. Идея о нашей несовместимости осеняла их регулярно после Первомая, октябрьских праздников и Нового года». — «Как?! — вскричал он. — Значит, на Октябрь и на Новый год — опять?..» — «Опять, — подтвердил я грустно. — Такова традиция». Он был умный человек и рассмеялся: «Ну раз традиция!..»

Чего там дурака валять — мы уже старые люди. Но не внутри своего круга, в том и заключается одно из главных чудес нашей дружбы, что, старея как бы параллельно, мы не замечаем следов, пятен, шербин времени друг на друге. Конечно, все крайние утверждения условны, — бывает, и поразишься, вдруг обнаружив плешь в седых поредевших кудрях златоглавого школьного херувима или превращение бывшей кошечки в тюленя, но обалдение это коротко, как вздрог. Андерсеновскому Каю попал в глаз осколок кривого зеркала, и все самое красивое на земле: юные лица, цветы, плоды, деревья — обернулось ему уродством. Когда мы вместе, Божьи ангелы роняют из пухлых, с перетяжками, ручек райское зеркало, и каждому безболезненно проникает в хрусталик крошечный его уломочек. Мы смотрим друг на друга и не видим ни морщин, ни одряблевшей кожи, ни погасших глаз, ни сутулости, вокруг не больные, усталые, наломанные войной и миром старцы, а юные пажи и прелестные фрейлины. Последний акт «Спящей красавицы». И когда Бамик Ф. атавистическим жестом берет немолодую руку Кати Г., своей школьной любви, руку, рывшую окопы на трудфронте, подсовывавшую горшки под раненых в эвакуогоспитале, обожженную химикатами на производстве, пре-

красную жесткую руку труженицы, у него под пальцами нежная лайковая кожа восемнадцатилетней красавицы, на которую он и дышать боялся. Такой она осталась для него навсегда. И для всех нас...

Но вот что удивительно, хотя иначе и быть не могло. Кому-то удалось разыскать и привести на общее рождение Шуру К., неизвестно по какой причине исчезнувшую с горизонта сразу по окончании школы, хотя она все это время жила в Москве и работала на ЗИЛе, — круглолицую смуглую Шуру, представшую по прошествии сорока двух лет симпатичной опрятной бабушкой. Наверное, она изменилась ничуть не больше всех остальных, но друг в друге мы вообще не замечаем перемен в силу их постепенности, а тут увидели сразу результат, и он ошеломил нас. А бедная Шура, потрясенная видом стариков и старух, помнившихся ей безусыми юнцами и свежими девушками, просто не могла поверить, что это прежние однокашники, и церемонно обращалась ко всем на вы.

Потрясение было велико, и на помощь поспешил Яшка М.

— Не падать духом, все это уже было в литературе. Вспомните «Портрет Дориана Грея». Мы с Шурой открыли друг другу свой истинный облик. Но дальше пойдет не по Оскару Уайльду. Увидите, к концу вечера Шура покажется нам шаловливой красоткой, а мы ей — маленькими лебедями.

Так оно примерно и случилось... Да, мы все-таки старые люди, и порой нам делается и грустно, и больно, и даже страшно, и безмерно, пронзительно печально, и как хорошо, что под рукой есть Яшка М!..

— Яшка — самый добрый человек на свете, — сказала мне Таня Л., сама исполненная редкой доброты. — Неотложная душевная помощь. Когда кому плохо, так сразу — к Яшке.

— Вот не знал... — начал я и осекся, сразу поймав себя на вранье. Уж мне ли не знать!

Это было много лет назад. Со мной случилась беда, испытать которую доводится, наверное, хоть раз в жизни каждому человеку, — нет, не меня бросили, от этого еще можно защититься, найти противоядие, а я сам оставил женщину, которую любил, и тут уж ничего не поделаешь, ничем не защитишься, как не поднять самого себя за волосы. Такое — бесповоротное, иначе бы не случилось вообще. Я не знал, как

проживу остальную жизнь, но еще труднее было прожить наступающую ночь, первую ночь одиночества. И рука моя сама набрала телефон Яшки. Он не стал спрашивать: с чего, мол, да почему, как поступил бы на его месте каждый нормальный человек, не стал лопотать: давай, старик, лучше завтра, на работу рано вставать да и водку сейчас не достанешь, он просто спросил, где мы встретимся. «На улице Горького. У ВТО». Когда мы встретились там, ресторан был уже закрыт и толстый злой швейцар лишь выпускал запозднившихся посетителей. Да простит мне давний грех Сергей Федорович Бондарчук — я выдал себя за него. В те годы густые седеющие волосы придавали нам некоторое сходство. Во всяком случае, подвыпивший швейцар сразу поверил и широким жестом распахнул дверь. Знакомая официантка, уже расставшаяся с фартуком и крахмальной наколкой, выдала из заначки три бутылки водки и лимон.

Всю ночь мы сидели с Яшкой в моей кухне, пили из чашек довольно холодную водку, запивая тепловатой, припахивающей хлоркой водой из-под крана и высасывая горькую кислоту из долек лимона; — в моем московском жилье, где я почти не бываю, холодильник пожизненно отключен. Яшка ни о чем не спросил меня и терпеливо слушал ту околесицу, которую я нес, чтобы заговорить «зубную боль в сердце». Говорил же я о чем угодно, только не о подлинной причине, побудившей меня сломать ему ночь и весь следующий день. Конечно, он и сам обо всем догадался — по-настоящему добрая душа всегда проницательна к чужой беде, — но ничем себя не выдал. Утром, когда я без сил и сознания рухнул на тахту, Яшка прикрыл меня пледом и поехал на работу.

Он замечательно держит выпивку, только — еще добрее улыбка, еще теплее взгляд, лишь в последнее время у него стало краснеть лицо. Но однажды его скосило — на поминках по нашему общему другу Юре П. В альбоме под именем Юры — чистая страница, его вдова, тоже наша соученица, не выбрала времени написать ни о нем, ни о себе. А может, ей трудно?.. Яшка выпил тогда не больше обычного, но тут развалился в куски: рыдал, бился лбом о столешницу, падал. Он впервые хоронил друга, и душа в нем рухнула. Он не мог принять этой смерти. И другой наш друг, Боря Ф., маленький, слабогрудый, вынес Яшку, как раненого с поля боя, на

спине и протащил через всю Москву — таксисты отказывались их везти — до своего дома, где уложил в постель и, сам давясь слезами, провозился с ним всю ночь. То был единственный случай, когда «неотложной помощи» понадобилась помощь со стороны...

4

Заговорив о Юре П., я не могу расстаться с ним так просто. Ему выдалась нелегкая, даже горестная жизнь. В школе у него все шло отменно, он был одной из самых популярных фигур среди старшеклассников, отнюдь не бедных яркими индивидуальностями. Худой, длинный, весь какой-то шарнирный, с копной летучих светлых волос, он лучше всех в школе бегал на коньках и лыжах, прыгал с трамплина, частенько ломая свои косточки, которым не доставало фосфора. Он искуснее всех танцевал и, не зная нот, извлекал из рояля волнующие мелодии модных тогда блюзов, танго и фокстротов. Но мало этого: обладая редкой координацией движений и чувством равновесия, он творил чудеса на велосипедном круге Чистых прудов и на маленьком катке «Динамо», где сейчас теннисные корты. На велосипеде он делал цирковые номера: выписывал виражи, стоя на багажнике и не держась за руль, мог переместиться на ходу с седла на руль и ехать задом, мог поднять велосипед на дыбы и катиться на заднем колесе. А динамовский лед он испещрял узорами сложнейших фигур на обычных хоккейных коньках. И наконец, он лучше всех ребят разбирался в технике, любой мотор, механизм был для него открытой книгой. Добавьте к этому общительность, легкость на подъем, всегда хорошее настроение, полное отсутствие тщеславия — и портрет Юры П. будет готов.

Мы еще кончали школу, когда осиротела наша соученица Нина В., в которую давно и безнадежно был влюблен Юра. Едва развязавшись с выпускными экзаменами, он поспешил сделать ей предложение. Его родители были решительно против столь раннего брака, к тому же мечтали об иной жене для своего сына. Юра тут же порвал с ними и

ушел из дома. Нина оценила его рыцарственный поступок — они стали мужем и женой. Трудно начиналась совместная жизнь молодых...

Юра поступил в технический вуз, Нина — в физкультурный. Учились, бедовали, духом не падали, друзья помнили о них. Когда Таня Л., упоминавшаяся мною, вышла замуж, у них появился второй дом, всегда готовый пригреть, накормить, напоить. Юра не брезговал никакой работой: ставил «жучки» в квартирах, что-то чинил, что-то выводил из строя — по желанию заказчика, конструировал электроплитки и обогреватели, на которые был великий спрос в дни войны, наконец, сделал величайшую халтуру своих черных дней: осветил Елоховский собор, создав множество неповторимых световых эффектов и заработав кучу денег. Эта история имела последствия, поскольку беспечный Юра всюду таскал с собой священника Елоховского собора, включая и те партийные дома, которым интимная связь с видным церковником не могла послужить к украшению. Кое-кому нагорело... Я хорошо помню этого шустрого служителя культа; он приходил в штатском, но с волосами до плеч и прежде всего закреплял каштановую гриву женскими заколками на темени, после чего просил поставить «что-нибудь быстрое». Танцор он был неутомимый, хлопнет стопку, понохает черную корочку — и снова в пляс...

Нина и Юра окончательно вышли из нужды, когда начали работать. Нина — в школе преподавателем физкультуры, Юра — на авиационном заводе. Он быстро завоевал репутацию выдающегося специалиста. У них появилась машина, затем и хорошая квартира, не по дням, а по часам росли два мощных, кровь с молоком, сына. Юра так разнежился, что позволил себе «хобби» — аквариум с полным кислородным обменом — до сих пор не понимаю, что это такое. Но к сожалению, «хобби» Нины оказалось не столь безобидно, как увлечение золотыми вуалехвостками и бархатисто-черными, с просеребью, телескопами. Ей все время хотелось блистать и покорять. Мне противно становиться в позу моралиста, да и что мы знаем о чужой душевной жизни?! И разве не чарует из века в век миллионы людей бессмертный образ, созданный в странной грезе скучным аббатом Прево, — пленитель-

ная Манон Леско? Насколько суше, холоднее и прозаичнее была бы жизнь без этого пронзительно женственного, добродушного и безвинного в своем неведении греха существа, которому Господь Бог не заложил в маленькое, тугое, ровно бьющееся сердце ни крупички постоянства! Она просто не знала, что это такое, милая, беспечная Манон, она искренне любила преданного де Грие и, желая, чтобы ему тоже было хорошо, посылала в утешение своих подруг. Но де Грие родился с роковой печатью — он однолюб, он может любить лишь свою Манон, все остальные красавицы мира для него не существуют. Наш друг не уступал в любви и верности кавалеру де Грие, словно взвалив на себя непосильный труд доказать жизненность образа, созданного в XVIII веке, в наше прозаическое, технарское время, к тому же весьма покладистое в вопросах нравственности.

Юра не жаловался, в компании по-прежнему был весел, лихо барабанил по клавишам, глушил себя работой и тем, чем обычно глушат боль русские люди. Он служил под началом некогда знаменитой летчицы; она помогла раскрыться его инженерному дарованию, терпела его прогулы и срывы и упорно боролась за него против него же. С ее поддержкой он много успел, получил высшие награды... Яшка М. сказал однажды: «Наш Юрка или пьет, или получает ордена». Время врачует далеко не все раны. Юра терял себя... Лишь однажды он собрался нацельно и пришел на встречу, посвященную пятидесятилетию нашей дружбы, достойно выдержал долгое застолье, хорошо говорил; он увидел, как все его любят, и ответил нежностью, и у нас мелькнуло, что Юрка вернулся, навсегда вернулся, но это оказалось прощанием. Через две недели его не стало.

Так, может быть, Юра был лучшим из нас? Уж во всяком случае, самым верным. Но существует и другая верность — собственному образу. Оставаться в нем всю жизнь — тоже мужество. И нет у меня слова упрека нашей старой подруге, которая до сих пор, всем годам назло, полна очарования. Если Юра все прощал Нине и до конца оставался с ней, значит, она была для него лучшей из женщин, и мы не вправе думать иначе, чтобы не оскорбить дорогой памяти...

Как трудно все же решить, кто из нас лучший. Стоило листануть альбом — и сразу мысль: а разве не лучше всех Мусик Т.? Он — Михаил, но со школьной скамьи носит это девчоночье имя и не хочет иного. Ведь альбом оформлял он и бестрепетной рукой вывел: Мусик. Прежде заводилой наших встреч и главной труженицей далеко не простых, да что там — крайне обременительных мероприятий была Таня Л., — она с дней войны собирала нас, как Иван Калита русскую землю, но сейчас, замотанная внуками и всей разросшейся семьей, она выпустила бразды правления, которые подхватили надежные руки бывшей преподавательницы французского Туси П. Ей помогает энергичная Валя М. — звукооператор на пенсии, а общее идейное руководство осуществляет Галя Б., всю жизнь отдавшая партийной работе. Выйдя на пенсию, но не обретя покоя, Галя весь неизрасходованный общественный запал сосредоточила на школьных друзьях, что дарят нас чувством прочного идейного комфорта. С каждым годом организовать встречу становится все сложнее, уж слишком все заморочены, облеплены потомством, как пни опятами, утомлены собственными недугами, инфарктами мужей или затянувшейся молодостью жен, да и тяжела на подъем старость при всех благих намерениях, и на помощь слабому полу пришел начальник цеха контрольно-измерительных приборов химического завода, проще говоря — Мусик.

У Мусика есть одно необыкновенное свойство: впечатление такое, будто вот уже много лет он ничем, кроме школьных дел, не занимается. Если он не хлопочет по организации очередной встречи, то возится с нашими фотографиями: перепечатывает их, размножает, иные снимки увеличивает, в День Победы рассылает письма родителям и близким погибших фронтовиков, заполняет альбомы — и тот, о котором я пишу, и еще один — жанрового, что ли, характера, разыскивает пропавших — у нас есть такие, о чьей судьбе до сих пор ничего не известно, или придумывает что-нибудь новенькое во славу старых Чистых прудов, где уже давно не живет. Помню, как я удивился, когда в Доме ученых он представил меня довольно

молодой и очень интересной даме, назвав ее женой. Тут только до меня дошло, что Мусик — отнюдь не приложение к школьному детству, что у него есть своя, отдельная душевная и домашняя жизнь, семья, работа. Да и самого Мусика я увидел через эту привлекательную женщину будто впервые. Он замечательно сохранился — самый моложавый из нас, с яркими смешливыми глазами, и приятный теноровый голос его по-юному свеж и звонок. Он выглядит моложе двух наших «вечных юношей» — Лени К. и Бамика Ф., докторов наук, почтенных профессоров без седины и морщинки, стройных и легких, с мальчишеской повадкой. Молодец Мусик, такую жену смело выхватил из мира, вовсе постороннего Чистым прудам, а мне подсознательно казалось, что у него и быть не может своей, отдельной, из плоти и крови жены, лишь некая коллективно-духовная — наши бывшие девочки от А до Я.

Есть еще одно обстоятельство, что прочно держит Мусика в прежнем образе. Он не Герой Советского Союза, как Женя Руднева, не Герой Социалистического Труда, как Коля Р., не лауреат Государственной премии, как Мила Ф., не профессор, как Бамик, Леня или Игорь Л., не без пяти минут генерал, как Слава П., не кандидат наук, как Гриша Т., Боря Ф., Аня С., Лида Э., Оля П., Витя К., Яшка М. Он даже не может, подобно большинству ребят, со скромной гордостью написать о себе, что за долгие годы вырос от... и до... Вскоре по окончании института, еще во время войны, совсем молодым, неопытным инженером, он был назначен начальником цеха. Людей не хватало, и ответственный пост доверили вчерашнему выпускнику. Наш скромный Мусик не оплошал, и, когда война кончилась и вернулись на завод матерые кадровики, его оставили во главе выросшего цеха. А потом прошло еще тридцать пять лет, и вопреки общепринятой драматургии Мусик не стал ни главным инженером, ни директором завода, не говоря уже о более высоких постах. Он остался начальником цеха. Правда, цех стал совсем другим: и по площадям, и по кадровому составу, и по техническому оборудованию, по объему, ассортименту и качеству выпускаемой продукции, по тем производственным задачам, которые сейчас решает. Вместе с цехом растет и наш друг, не отстает, не буксует, идет вровень, чуть впереди, как и

положено руководителю, — из всех служебных карьер такая, на мой взгляд, заслуживает наибольшего уважения.

Мусик никогда не говорит о своих производственных делах и вообще о той жизни, которая не связана со школой, он не любит смесей. Но однажды мне удалось поймать его на коротенький, быстро им прекращенный разговор.

— Тебе сейчас, наверное, много легче работать? — спросил я.

— Труднее, — улыбнулся Мусик.

— Но у тебя же огромный опыт.

— Опыт не куча: навалил, взобрался и сиди, почесывая брюхо. Это штука динамичная, не выносящая застоя. Но дело в другом — проще было с людьми.

— А что — люди стали хуже?

— Нет. Была война, и каждый вкалывал на всю катушку. Что ни скажешь — тут же сделают. Потом восстановление — та же картина. А теперь — черта с два, ты докажи, растолкуй, убеди... Больно умными все стали...

— Расчетливыми, хочешь сказать?

— И это есть... Но вообще-то ребята хорошие, только другие. По-другому хорошие, по-другому плохие. Старые мерки не годятся. Но это интересно. «Покоя нет»...

Вот оно, главное, — покоя нет. И в этом причина душевной свежести нашего товарища, он не закоснел, не остановился, не подался к обочине.

— Ну а награды у тебя есть?

— Как же — две медали 800-летия Москвы!.. — Он расхохотался и пошел петь дуэтом с профессором Леней «В любви ведь надо открытым быть и честным...» — их коронный номер.

6

...Листаю альбом. Мои дорогие друзья в подавляющем большинстве не корчат из себя словесников: их автобиографические справки предельно лапидарны. Листочки со скупыми признаниями наклеены рядом с фотокарточками — обычно не

последних лет (на это отважилась лишь Ира Б-ва, затмившая в десятом классе нашу профессиональную красавицу Нину В.), но и не слишком уж давних. У В. Розанова есть рассуждение, едва ли известное моим друзьям, что наружность человека в определенную пору жизни оказывается как бы в фокусе. Рассматривая фотографии известных писателей, В. Розанов говорил: «Это еще не Тургенев», «Это еще не Толстой» или «Это уже не Достоевский», «Это уже не Чехов». В фокусе происходит полное слияние внешней и внутренней сути человека, и тогда можно сказать: «Вот настоящий Тургенев... Толстой... Достоевский... Чехов...» У разных людей такое вот «наведение на фокус» происходит в разную пору жизни, чаще всего не слишком рано, но и не слишком поздно. Хотя возможны исключения, и кто-то уже в молодости выходит из фокуса, а кто-то попадает в фокус на излете дней. Наверное, мои друзья бессознательно руководствовались тем же принципом, лишь немногие, не ведая своего «фокуса» или не достигнув его, дали по две фотографии: школьную и сегодняшнюю — мол, разбейтесь сами, где я больше похож на себя. Я помню наших соучениц в юном расцвете, и все же они правы, что выбрали другие карточки, отражающие их завершённую человеческую суть. То же относится и к сильному полу. Исключение составляют лишь те, кого война оставила навеки молодыми...

Автобиографии достойны того, чтобы быть приложенными к анкетам для поездки, скажем, на Золотые Пески в Болгарию — лишь самое необходимое, ничего лишнего, никаких эмоций, кроме дежурного (и при этом искреннего) выражения благодарности школе и преданности друзьям. Но в самом лаконизме этих справок — честность и душевное целомудрие, стыдящееся громких слов. Ведь это написано для своих, а свои все знают, все понимают и, где надо, сами заполняют пробелы в скупых строках.

Именно бесхитрость этих справок делает их документами времени. В них отчетливо проступает то общее, что характерно для прожитых нами нелегких лет. В этом, не боюсь сказать, типичность, историчность скромного школьного альбома.

Наш выпуск был последним, когда мальчишки шли в институты, а не на действительную военную службу. Начиная с

1939 года у парней была только одна дорога: из школьных дверей на призывной пункт. Они зрели для первой жатвы самой страшной и беспощадной из всех войн. И все же многие из нас были на войне, иные не вернулись назад. Наши ребята попадали на фронт либо добровольно, либо по ускоренному выпуску медвузов. О некоторых я уже говорил. Погиб на фронте любимец школы, медврач Жорж Р., вернулась в звании подполковника медицинской службы Женя М., не вернулись рядовые Павлик С., Яша Ч., Коля Ф., Боря С., летчик-лейтенант Саша С.; пришел, освободив Прагу, Будапешт и Вену, комвзвода Витя К., пришли, исполнив воинский долг, Володя А., Гриша Т., Ваня. К., Гриша Г., Юра Н. А у девушек были трудфронт, госпитали, строительство оборонительных сооружений, рытье противотанковых рвов. «Работала и училась», «Работала и училась»... — это прочтешь всюду, где о военных годах. Просмотрите толстый альбом с начала до конца, вы не найдете ни одного уклонившегося, ни одного пытавшегося обмануть судьбу, скользнуть боковой тропкой. Зато найдете немало таких, кто мог быть среди нас сегодня, но пошел на смерть...

Коля Ф. был студентом-автодорожником третьего курса, когда началась война. Он сразу рванул на фронт, ему твердо сказали: доучивайся, на твой век войны хватит. Но его отец был арестован по ложному навету, и комсомольское сердце приказывало Коле кровью смыть отцовскую вину, в которую он сам не верил. Когда студентов послали на рытье окопов под Дорогобуж, он сумел уйти на фронт. Зимой 1942 года Коля сражался под Ленинградом, летом получил партийный билет. Каким же он был солдатом, если его, при столь печальной судьбе отца, приняли в партию! В ту же пору в рядах белорусских партизан сражалась его мать Мария Семеновна Коваленко. Мать вернулась домой, сын сложил голову под Мясным бором. Колин отец посмертно реабилитирован.

Коля Ф. был большой, красивый и застенчивый. Он словно стеснялся, что занимает так много места в пространстве, сугулился, сжимался, силясь умалиться. Потом я узнал, что не одна пара девичьих глаз оплакала его преждевременный уход.

Страница, предоставленная Саше С., кажется пустынной: две фотокарточки и справка — больше ничего. На маленькой карточке Саша — школьник восьмого или девятого класса.

Фото явно официальное: строго анфас, под неизменной лыжной курточкой — нашей прозодеждой, нашим спортивным костюмом и нашим смокингом — рубашка-ковбойка и галстук — верх франтовства. Волосы разделены пробором, одна прядь кокетливо сброшена на лоб. Кому предназначалась фотокарточка — неизвестно. Она не передает главного в Саше — его расцветки, он был немыслимо рыж и конопат. В школе блистал на волейбольной площадке: плассированная подача, необычайно точный, изящный пас, а гасил, как гвозди вбивал. Пошел Саша в авиацию. С начала войны — на фронте, штурманом на бомбардировщике. Вот он на другой фотографии в военной форме: лицо подсушилось, построжелело, веснушки сошли, добротная командирская шинель, а на голове — буденовка со звездой, делающая Сашу похожим не на летчика Отечественной войны, а на конника гражданской. Что ж, помня прекрасные движения его веснушчатых рук на волейбольной площадке, легко вообразить, как ловко действовал бы саблей конник Степанов. Но у него была другая воинская специальность.

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ
103160, г. Москва, К-160

ч 173141117356

22 мая 1978 г.

Тов. СТЕПАНОВОЙ Т. П.

125057, г. Москва, А-57,

Ленинградский проспект, дом 77/2, кв. 500

На Ваше письмо, адресованное в Центральный архив Министерства обороны СССР, сообщаю, что штурман экипажа 854 бомбардировочного авиационного полка лейтенант СТЕПАНОВ Александр Пантелеевич пропал без вести 5 июля 1943 года. Другими сведениями Главное управление кадров не располагает.

Начальник отдела ВОЙТЕНКО

Обратите внимание на дату ответа — 1978 год. Прошло тридцать семь лет с того дня, когда штурман Степанов не вернулся на свою базу, а его все ищут. Естественно подумать, что ищет мать, но ее уже нет на свете. «Тов. Степанова Т.П.», ко-

торой адресовано письмо, — наша подруга Туся, по мужу Степанова. Справки дают только родным, и Тусе ее новая фамилия помогает искать Сашу. Даже родная сестра Саши перестала ждать и надеяться, а Туся будет искать нашего рыжего друга, пока в ней самой бьется сердце. Она дала для альбома эту официальную справку, потому что не хочет, чтобы о Саше писали как о том, кого уже не надо искать...

А страница, отведенная Борису С., до сих пор пуста. И я догадываюсь, почему так случилось. Рассказывать о нем очень трудно. Он учился в нашей школе с первого по девятый класс, затем перешел в артиллерийскую спецшколу. Он жил в том же доме, где жили Павел Г. и Сарра М., где жило еще много наших ребят, в большом доме бывших политкаторжан, написать о нем должен был бы кто-то из его соседей. Став артиллерийским учеником, Борис изредка захаживал в свою старую школу, скромно гордясь щеголеватой военной формой, но связи наши ослабли, другое дело — ребята с одного двора, с ними он оставался по-прежнему близок. Но вот поэтому-то им особенно тяжело писать о нем, о горестной судьбе смелого и строгого юноши, в котором страна потеряла крупного военачальника, потеряла из-за мешка картошки.

Борис был прирожденным военным, командиром, он выбрал путь не просто по склонности, а по страсти, по всей душевной организации. Он мечтал о подвигах, о славе и начал готовиться к бою с четвертого класса. Он закалял свое тело: круглый год, в любую погоду ходил в рубашке из туалетного — джинсовой ткани нашего детства, не признавая ни пальто, ни даже лыжной курточки. Он тренировал себя походами — пешком, на лыжах, на велосипеде, дальними, трудными маршами сквозь осенний дождь и зимнюю вьюжную стужу. Спал на жестком, обливался ледяной водой, мог сутками не есть и не пить, читал книги только о войне и, крепкий, как кленовый свиль, был добр и великодушен, никого пальцем не тронул, потому что обладал душой воина, а не задиры-драчуна.

Уже в дни войны, накануне получения первого командирского звания, ночью во время дежурства Бориса по части со склада украли мешок картошки. Суров закон военного времени. Борис был судим и осужден с заменой тюремного срока штрафным батальоном. Свой проступок он должен был иску-

пить кровью. Он искупил его смертью. Погиб Борис в первом же бою. На его воинской чести нет пятна. Но разве это утешение?

Им могло бы гордиться Отечество, но гордимся лишь мы, его школьные друзья, ибо знаем, на что он был способен. И смертно жалеем, и ком в горле мешает вырваться словам о нем. Но они будут, эти слова...

7

Меня властно манят ушедшие, хотя их, по счастью, куда меньше тех, кто продолжает дело жизни. Наверное, это правильно и справедливо, «ведь мертвые уже не мертвые, когда живые благоговейно воскрешают их образ». И жаль, что у меня так мало сведений, чтобы достойно воссоздать образ погибших на войне. Я и о живых знаю далеко не все, но не унижу ни их, ни себя «писательскими» расспросами о том, что мне осталось скрытым в их душах и жизненных обстоятельствах. Все это должно прийти ко мне из прошлого и настоящего, из воздуха наших встреч, из беглых слов, улыбок, вспышек доверительности, морщин, уж и не знаю — из чего еще узнаешь так много о близких людях, не подвергая их ни следовательскому, ни журналистскому нажиму; из всего движения жизни приходит по крупицам такое знание и складывается либо в законченный, либо в приблизительный образ. Пусть лучше останутся пробелы в этих записях, но пополнять их искусственно я не стану.

Пока что я просто перелистываю альбом, читаю скупые строчки, вглядываюсь в лица тех, кто только что покинул мой дом, кто уехал на большом автобусе, раздобытом, конечно, Мусиком, всемогущим, когда дело касается дружбы. Достать автобус в предолимпийские дни оказалось непосильным для наших Героев, лауреатов, профессоров, это сделал в два счета скромный начальник цеха.

Они уехали, оставив почти все вино невыпитым, — нам не нужно стимуляторов, когда мы вместе, и, хотя среди нас имеются любители заздравного кубка, даже им хочется хмелеть не

от помоев алкоголя, а «от слез, от песен, от любви». Остались цветы, легкий беспорядок, который хочется сохранить как последнюю память, помада на краешке чашек, рассыпанные по дивану пластинки с мелодиями тридцатых годов, под которые мы когда-то учились танцевать, удивительно неуклюжие и косяластые в отличие от нынешних юнцов, рождающихся с твистом и шейком в крови, запах скромных духов и какой-то печальный воздух, и печальный, уже ненужный, по всему дому свет, и этот альбом в красном коленкоровом переплете.

Краткие записи помогают уловить то общее в нашей участи, о чем я уже говорил и что роднит выпускников 1938 года чистопрудной школы с выпускниками всех других школ страны, со всем поколением, делает их судьбу частицей судьбы народной. Но индивидуальное, создающее неповторимость лица, куда труднее вычитать в застенчиво-скупых строчках, большей частью просто невозможно, но когда что-то знаешь, то, ухватившись за кончик нитки, можно распутать целый клубок.

Для меня полной неожиданностью оказалось признание Иры М.: «К сожалению, надо сказать, что в детстве у меня дома, в семье было много неблагоприятного...» До чего же гордо-скрытная натура была у стройной, сдержанно-приветливой, легко и ярко красневшей девушки, если она не позволила никому заглянуть себе за плечи! Ира не рвалась к школьной премудрости, но из самолюбия заставляла себя хорошо учиться. Теперь я понимаю, чего это ей стоило. Наверное, оттого в школьных стенах в ней чувствовалась некоторая напряженность, исчезающая напрочь на чистопрудном катке. Тут она мгновенно преображалась. У нас многие девчонки отлично бегали на коньках, но куда им до Иры! У нее был шаг, постав и дыхание прирожденного скорохода. Она стелилась по льду, с горящими глазами отмахивала круг за кругом машистым шагом красивых сильных ног, глубоко и ровно дыша высокой грудью. Отваливалась с души вся тяжесть, жизнь искрилась и пела, как облитый электрическим светом лед под остриями ее коньков.

В свободу, открывшуюся за дверями школы, она вкатилась, будто с мощного разбега по чистопрудному льду: в 1938 году поступила в педагогический институт, в 1939-м вышла замуж, в 1940-м родила сына. Что ни год, то радость. А дальше война — и все пошло вкривь и вкось. Эвакуация оборвала учебу, муж вернулся с фронта контуженый, с осколком в лег-

ких. Начались годы мучительной борьбы за жизнь, здоровье и будущее мужа. О себе она напрочь забыла, но мужа спасла. Он выздоровел, окреп, получил гражданское образование, начал работать и быстро пошел в гору. Пора было Ире и собой заняться, но родилась дочь, и надежды на продолжение учебы в институте вновь пришлось отложить. Все же ей повезло больше, чем Джуду-незаметному, до могилы мечтавшему о высшем образовании: через двадцать лет после окончания школы Ира получила институтский диплом. Начала жадно работать: преподавала, вела аспирантов, переводила техническую литературу. Ну и конечно, воспитывала детей. Вновь ощутила она под ногами забытую радость скользкой, несущей вперед поверхности. И тут ей нанес удар человек, для которого она стольким пожертвовала. Он знал ее терпеливую доброту, самоотверженность, преданность семье и думал, что ему все сойдет с рук. Он забыл, что жена его была еще и гордым человеком. Ира указала ему на дверь. Осталась работа, остались дети, оба получили высшее образование. Теперь сын — начальник отдела в научно-исследовательском институте, дочь — старший инженер. И остались у Иры мы. Вот что она пишет:

«Наши школьные встречи приносят мне много радости, дают силу, уверенность в себе, в делах, в жизни, хотя помощи я ни от кого не просила. Жизнь сложилась трудная, но сознание, что рядом есть школьные друзья, всегда поддерживает, внутренне собирает».

Дорогие слова! И как прекрасно, что, хоть в трещинах и буграх был лед, не сбилс я твердый, машистый шаг чистопрудной конькобежки!..

8

Еще труднее судьба выпала Лиде Ч. Она даже не смогла приехать на нашу встречу, но никто не обмолвился в ее адрес и словом упрека. И один из первых тостов мы подняли за ее здоровье — худенькой, хрупкой, с прозрачными, исколотыми иглой пальцами великанши духа.

Лишь однажды кроткая, бережная к друзьям Лида повысила голос. «Не смейте меня жалеть!» — прикрикнула она на Таню Л., перебравшую в добрых чувствах. Пусть лучше Лида сама скажет о себе:

«Я, Лида Ч., родилась в 1919 году, 3 октября. После окончания школы № 311 в 1938 году поступила в инженерно-экономический институт. Проучилась там два курса. По семейным обстоятельствам вынуждена была его оставить. Работала в Министерстве строительных материалов инспектором военного отдела до 1946 года, а затем ушла с работы, так как заболел муж.

У меня сын и двое внуков. Одному 7 лет, а другому — 8 месяцев. Муж тяжело болен и требует повседневного ухода за собой.

Министерство мелиорации обещало нам предоставить отдельную квартиру в Марьино, так как мы живем в коммунальной квартире.

Я всегда с вами, мои дорогие друзья, и хотя у меня жизнь сложилась не так хорошо, как у вас, но я стараюсь делать все так же полно, как и вы, — воспитала сына, сейчас занимаюсь воспитанием внуков.

В этом я нахожу свою цель и любовь к жизни».

Есть ли весы, способные измерить тот труд и то терпение, те жертвы и те замороженные в груди слезы, тот страх и надежды — словом, всю ту жертвенную самоотдачу бессрочной вахты, которую несет Лида возле любимого беспомощного человека, своего мужа, отца ее ребенка? Я не жалею тебя, Лида, разве можно жалеть человека, способного на такое! Скорее уж мне надо жалеть себя самого и всех тех, кому никогда не подняться до твоей высоты.

Болезнь дорого даже там, где врачебная помощь бесплатна; о том, как жила семья на пенсию парализованного человека, могут рассказать Лидины исколотые пальцы, Лидины бессонные ночи. Но настал день, когда отступились лечащие врачи, когда у самых близких опустились руки. И вот тогда рядом с Лидой оказался тот единственный врач, который мог поспорить со смертью, потому что вооружен был не только врачебной наукой, а тем, что больше знаний, — ее школьная подру-

га, бывшая первая ученица, правильная девочка со скучными косичками, короче — Нина Д. С тем же спокойно-сосредоточенным видом, с каким прежде готовила домашние задания или писала контрольную, она занялась спасением едва тлевшей жизни. И справилась с этим уроком столь же безукоризненно, как и всегда.

Крайние утверждения никогда не бывают истинными. И цельная, уравновешенная, крепкая Нинина натура однажды спасовала перед стихийной силой жизни. Такой вот стихией вторгся в ее размеренное, опрятное бытие неожиданно-негаданно для всех окружающих, а более всего для самого себя, лихой малый, наш соученик, есенинская душа Ваня К. Он невелик ростом — особенно рядом с Ниной, — да и тот добрал уже после школы, сильно лысоват, а какой смоляной зачес вскипал над его лбом, когда он носился по футбольному полю, один из лучших, а главное, неистовых, азартных игроков нашей школьной команды!

Он был таким во всем: если уж чем увлечется, то всегда через край. Когда-то кожаный мяч прикончил его рвение к наукам, но, в свою очередь, был побежден шашками — Ваня стал мастером спорта, чемпионом Москвы; затем, будто спохватившись, что не спортом единым жив человек, в темпе окончил юридический институт и помешался на стихах; не знаю, пишет ли он сам, но помнит наизусть всю русскую поэзию. Кумир же его — Есенин.

Смелая, неординарная жизнь Вани (он и отвоевал горячо — с контузией и ранениями) исполнена крутых поворотов, метаний и случайностей. Реки, выходя из берегов, затопляют тихие долины. Ванин безудержный разлив достиг Нининых ног, забурлил и на мгновение сбил ее с твердой почвы.

Продлись их совместная жизнь дольше, не исключено, что текущая Ванина суть обрела бы четкую форму. Но поток, прорвав плотину, устремился дальше. Отхлынувшие воды оставили на влажном песке большое тельце ребенка, в котором притаилась испуганная душа, — Ванину дочку от первого брака. Движением спасителя Нина наклонилась и подняла забытое человеческое существо, просто и спокойно, как всегда, взяв на себя ответственность. Она вылечила и воспитала

Ванину дочку, оплатившую ей не просто благодарностью, а тем, что стала хорошим и счастливым человеком.

Такова наша Нина — первая во всем: в учебе, профессии, доброте, преданности, дружбе. И еще одна маленькая подробность. У Нины появилась — уже давно — однофамилица из наших соучениц. Та, что металась рядом с ней в тифозном бреду на госпитальной койке, в лагере для немецких военнопленных, Ира Б-на. Вот несколько строк, завершающих Ирину «справку» в альбоме:

«Первый раз я вышла замуж после войны в 1945 году. Замужество было очень неудачным. Через несколько лет я вышла вторично за брата Нины Д., тем самым окончательно породнившись с ней».

В последних словах звучит нотка гордости. Так мог бы написать один из светских героев Марселя Пруста, породнившись с домом Германтов, первым в Сен-Жерменском предместье. Гордость Иры основательнее, ибо перед аристократизмом духа ничто гербы и поколения родовитых предков...

Неудивительно, что при таких отношениях наши старые «ребята» роднятся уже и через младшее поколение. Дочь Вали К. вышла замуж за племянника Лиды Ч. и уехала с ним в Ригу, откуда он родом. И недавно туда же последовала сама Валя, и опустело ее место за нашим дружеским столом. Неисповедимы промыслы Божьи, в данном случае скорее антихристовы. Рослая, прекрасно сложенная, свежая, бодрая Валя К. как будто решила доказать, что старость приходит лишь к тем, кто на нее согласен. И на последней встрече, как некогда в школе, при виде Вали во мне сразу ожили строки из «Будрыса»: «И, как роза, румяна, и бела, как сметана, очи светятся, будто две свечки». Но там это сказано о полячке молодой, Валя же — русская до последней кровиночки — кустодиевская красавица, но без телесных излишеств, русская Венера, держащая образцовую спортивную форму. Лишь у висков красиво седели волосы, придавая особую прелесть румянному ясноглазому лицу. Но когда Валя, дослужившись до пенсии, вырастив дочь, не числа за собой никаких долгов: ни гражданских, ни нравственных, радостно готовилась к той новой заботе, что приходит

рано или поздно к матерям взрослых дочерей, долголетний спутник ее жизни счел себя свободным от всяких обязательств и решил начать «новую жизнь», полагая, видимо, что старая полностью себя исчерпала. Мы ничего об этом не знали, но рядом с Валею была Лида Ч., которая поняла, в каком душевном и физическом вакууме осталась ее подруга, так любившая свой дружный, веселый, населенный дом, и что ей не справиться одной. Лида настояла на переезде Вали в Ригу к молодоженам.

Недавно там с «инспекционной поездкой» побывал наш друг Шура Б. и привез успокаивающие известия: Валя акклиматизировалась, занимается внуком, обретая былой душевный покой, хотя и очень скучает по старым товарищам.

На нашей встрече я болезненно ощущал черный провал в столь плотно заполненном пространстве — не было яркого кустодиевского мазка, не было Вали...

9

Как бы писатель ни пытался быть верным изображаемой действительности, равнозначия никогда не достигнуть. Всякая «быль» в литературе все-таки не была. И происходит это не из-за спонтанной игры воображения, побеждающей в тебе правдивого свидетеля и добросовестного писца, а в силу неизбежного сгущения материала, из которого ты строишь. Всякое искусство, имеющее дело со временем, обязано работать на сжатие: литература, театр, кино, — иначе действие повести, пьесы, фильма должно быть равно по времени изображаемым событиям, что, разумеется, невозможно. Не стоит говорить о тех исключениях, когда изображаемое событие столь же непродолжительно, как и рассказ о нем.

Сжатием неизбежно уничтожается второстепенное, вроде бы незначущее, лишнее, остается лишь главное, сердцевина. Но если говорить серьезно, разве есть в жизни что-то незначущее, тем паче лишнее? Нередко в этом лишнем, в паузах бытия и заключается то, что станет будущим, и вообще, главное так переплетено с неглавным, что нельзя их разнять, это

не сцеп, а сплав. Кто-то сказал: «Жизнь — не предприятие, а состояние», — мудрейшие слова, и, стало быть, в ней ценно каждое мгновение, вся мимолетность. Литературное сжатие материала действительности независимо от воли автора нарушает пропорции, нередко создает ложную картину.

В моих записях это привело к тому, что чистопрудные ветераны стали друг для друга словно бы подпорками, некими часовыми дружбы, кассой душевной взаимопомощи. Не товарищеский круг, а кооперативное общество «Дружба», вроде того, что создала калечная героиня маленького и очень сильного романа Эрве Базена «Встань и иди». Это история девушки-инвалида, которая собрала вокруг себя своих бывших друзей и создала «службу взаимовыручки». Для тех социальных условий, в которых действуют герои Базена, и, добавлю, для тех характеров, которые он создал, взбалмошная затея калечки оборачивается высоким подвигом. Но мы — из бессмертной 311-й — живем в иной действительности, у нас нет необходимости все время за кого-то судорожно цепляться, большинство жизненных проблем решается не частным путем, что вовсе не исключает личного участия в чужой судьбе. Но нам противна расцветшая в последнее время меновая форма общения: ты мне достанешь дефицитное лекарство, я тебе — билеты в Большой театр, ты мне — запчасти на машину, я тебе — путевку в Сочи, ты назовешь меня «советским Чеховым», а я тебя — «современным Горьким»... Не стоит дальше перечислять: эта короста на теле общества к моему рассказу никакого отношения не имеет. Но есть и другое, о чем сказала Марина Цветаева: дружба, исключаящая всякую помощь в беде, — это не дружба. И было бы дико, если б мы в угоду голому принципу жертвовали естественной склонностью человеческого сердца прийти на помощь тому, кого любишь. Но вот что важно: у нас никто не просит о помощи, и если ее все же оказывают, то по собственной угадке (за сорок лет лишь считанные разы прозвучал сигнал «SOS!»), но мало этого — помощь принимают, лишь находясь на краю. Мы не хотим обременять нашу дружбу ничем инородным, всеми силами оберегаем ее свет и чистоту от обывательщины любого сорта. Помню, как накинулась на своего сына добрая Таня Л., когда тот обратился ко мне с какой-то пустячной просьбой: «Это что еще такое? Мы

дружим пятьдесят лет и ни о чем не просили друг друга, а ты, паразит, ишь, сообразил!..» Жизнь, здоровье, судьба — тут мы на страже, но создавать друг другу бытовые удобства недостойно наших отношений. Мы хотим друг от друга лишь того, что дарят глаза, и слух, и кожа, осязающая, как тепло, присутствие дружественной плоти, и сердце, которому легко и покойно.

Человек атавистически боится за свою спину, нет ничего страшнее нападения сзади. Недаром же и путники на дорогах, и прохожие на городских улицах часто без нужды оборачиваются. Когда мы друг с другом, нам не надо озираться, бояться за свою спину. Чувство безопасности, защищенности, которое мы дарим друг другу, возвращает нас к детству, когда мы и впрямь были так чудесно защищены всемогуществом взрослых...

10

Немногословие моих друзей иной раз вызывает досаду. Разве вычиташь необыкновенную судьбу Милы Ф. в коротенькой справке, кончающейся сообщением о присуждении ей в 1978 году Государственной премии СССР «за разработку вопросов консервации крови». Когда-то Юрий Олеша острил по поводу медсестер, бравших у него кровь: «Служба крови», — и сам гордился своей остротой. Но вот то, чем занимается Мила Ф., и есть служба крови в прямом смысле слова.

Много было крови на пути самой Милы, такой домашней, уютной, созданной для теплой, тихой семейной жизни, какая вроде и была обещана ей в детстве. Но прожила она совсем другую: трудную, тревожную, порой мучительную, разрывную, но сильным человеком оказалась наша розовая, толстощекая, русоволосая Мила и обломала рога судьбе, пытавшейся сломать ее.

Бывают дети, чья главная жизнь проходит в школе, там находит пищу их неумная любознательность, раскрываются ранний общественный темперамент, организаторские способности — такими были Женя Руднева, Ляля Румянцева, Бамик Ф.;

другим школа дарит успех и поклонение: Ире Б-р, Нине В., Ире Б-вой, или славу — Коле Р., победителю математической олимпиады, выдающимся спортсменам Юре П. и Ване К. Мила в школе была малозаметна, да и не старалась привлекать к себе внимание, не то лишний раз вызовут к доске, училась же Мила весьма средне. Даже зная урок, отвечала тихо, отрывисто, неубедительно, вся красная от смущения, и жалобный взгляд из-под светлой пряди молил: да отпустите вы меня, зачем мучите ребенка? Она не была ни общественницей, ни спортсменкой и многим казалась недалекой девочкой.

Но совсем другой становилась она, когда отваливался школьный гнет. Мне памятен, как золотая сказка, нарядный, изобильный Милин дом, так непохожий на все наши коммунальные норки. Милин отец был крупным военачальником, комкором, семья занимала четырехкомнатную квартиру в большом доме военных между Чистыми прудами и Потаповским переулком. Мы, четырнадцатилетние подростки, приходили в гости к Миле, но ужинать нас приглашали вместе со взрослыми, это было ново и ошеломляюще. Нам наливали по рюмке вина, что еще повышало наше самоуважение, и с удивительным тактом щадили юную ранимость; не было ни фальшивых потуг включить нас во взрослый разговор, ни снисходительного и тем обидного внимания, нас просто предоставляли самим себе. Нам разрешали послушать после ужина, как влюбленный в Милину мать молодой поэт с лишним позвонком в шее громко, раскатисто читал стихи о гражданской войне, в которой по возрасту не мог участвовать.

А потом мы уходили в Милину комнату, где ставили пластинки с хорошей музыкой, смотрели книжки и альбомы по искусству, фотографии знаменитых певцов. Мила была меломанкой, любила театр, видела все лучшие спектакли, много читала, с ней было на редкость интересно, ее нелепая школьная застенчивость оборачивалась тонким очарованием сознающей себя женственности, и я, наверное, влюбился бы в Милу, если б уже не был влюблен в ее мать. Мила была очень похожа на свою мать: красками, линиями, обещанием стати и странным жаром, который то ли исходил от нее, то ли возникал во мне самом как ответное пробуждение чего-то еще неведомого. Но Мила лишь обещала стать тем, чем ее мать уже была. И я

смертельно завидовал длинноношему поэту: хоть он и не участвовал в гражданской войне, которую воспевал, но все же носил высокое звание взрослого мужчины.

Свет, музыка, стихи, весь праздник дома кончился в 1937 году, когда отец Милы разделил участь Тухачевского, на которого походил внешне: литой красавец с мощной грудью. Мать Милы пропала на долгие годы, а наша подруга переехала к тетке в огромную коммунальную квартиру в Брюсовском переулке и кончала другую школу.

Я бывал в Брюсовском и узнал новое Милино окружение, ее прекрасную, с легкой сумасшедшинкой тетку, навек зачарованную Надсоном; она напоминала цветок, засушенный меж листов толстого фолианта и забытый там, но не «безуханный», как у Пушкина, а источающий тонкий, сладкий и волнующий аромат старины, где гимназии и курсы, Надсон и святые идеалы, прокуренные сходки и рахманиновские «Вешние воды»; и была еще там молодая арфистка, тоже отключенная от действительности, она играла нам паваны, гальярды и чаконы, я смотрел на Милино лицо, держащее в насильственной улыбке, в расширенных зрачках какое-то бедное мужество, вспоминал ее мать, и мне становилось так больно, что с тех пор я боюсь арфы.

Снова я встретился с Милой уже в войну, в те провальные, черные для меня дни, когда после контузии, госпиталя и медкомиссии судорожно противился предписанной мне участи инвалида. Я разыскал Милу через ее тетку; война, чадающая и не дающая тепла печурка в неотопливаемой комнате, «служащая» карточка, по которой изредка давали яичный порошок и порошок молоко, не поколебали любви тетки к Надсону и верности святым идеалам. Мила жила теперь у своей свекрови, в Сверчковом переулке, наискось от дома, где я родился и прожил первые семнадцать лет жизни. Оказывается, она вышла замуж за недруга моих отроческих лет, черноглазого мотоциклиста Дарика, и уже стала вдовой — Дарик погиб на фронте. Но когда я пришел в ее грустный дом, мальчишеские драки и вражда были справедливо расценены как старая дружба, и меня по-родному встретили — не только сама Мила, но и мать Дарика, красивая армянка со строгим аристократическим профилем. Я никогда не видел, чтобы мать, только что поте-

рившая сына, с таким достоинством несла свое горе. Она не избегала говорить о сыне, охотно слушала мои рассказы о нем, но не позволяла переходить какой-то грани, где начиналось царство лишь ее скорби. Отношения свекрови с невесткой нельзя было назвать просто хорошими, даже нежными, это было какое-то взаимопроникновение друг в друга, братство боли, неразмыкающееся душевное объятие. Мне открылось это довольно неожиданным образом. Поначалу я опасался, что мой вид неприятен матери Дарика — живой, а ее мальчик лежит в мерзлой земле; болтающий языком, когда он замолк навсегда, и почему я возле Милы — школьный друг? — ну, так и оставь в памяти детства. И вдруг я понял: она хочет, чтобы я был у них, рядом с Милой, и не только у них, совсем не у них, чтобы я увел Милу в другую жизнь, ибо она не считала жизнью Милено существование при ней. Она знала, эта умная армянская женщина, что у нее самой есть более сильный стимул выжить, чем у Милы, ей нужно вырастить младшего сына, и у нее хватит сил это сделать без помощи выматывающей себя ради них молодой женщины, ставшей вдовой, едва вступив в брак.

Мила окончила стоматологический институт — туда легче было поступить, чем в любой другой медицинский, но война сделала из нее хирурга, сперва по лицевой, а там и по общей хирургии. И открылся Милин талант — она оказалась хирургом милостью Божьей, вскоре ей стали доверять самые сложные полостные операции. Она работала на износ: операционная, истерзанные человеческие тела, кровь, кровь, смертельная усталость, печальный полумрак дома свекрови — вот и все. А матери Дарика хотелось для нее хоть немного счастья. И я чувствовал, что темные глаза этой женщины испытующе и вроде бы с надеждой останавливаются на мне. У Милы никого не было, кроме пребывающей в эмпиреях тетки, а тут появился выходец из ее прошлого, одноклассник, товарищ погибшего мужа, старый друг, знавший и чтивший ее родителей, крепко стукнутый фронтовик, последнее тоже было важно — не тыловой сверчок. Догадывалась ли Мила о том, что никогда не облекала в слова ее свекровь? Не знаю. Что думала сама Мила о нашей вновь начавшейся дружбе, такой же странно осторожной и что-то всегда не договаривающей, как в детстве, —

не знаю. Я был свободен и подавлен этой непрошенной свободой, потеряв — не в смерти — свою первую любовь. Но я был подавлен не только любовным крахом. Я вроде бы уцепился за поручень уходящего поезда — съездил корреспондентом-разовиком от «Комсомольской правды» на исход Сталинградской битвы, когда подчищали Тракторозаводской поселок, увидел и первые шаги возрождения почти уничтоженного города, написал обо всем этом и получил приглашение стать... собкором по глубокому тылу. Но и это еще полбеды: возвращаясь из Сталинграда товарным вагоном, прицепленным к эшелону с немецкими военнопленными (может, на одном из них сидела та сыпнотифозная вошь, которая погубила Лялю Румянцеву?), я отравился трупной водой, которую набирал прямо с раскисших мартовских полей — нескончаемого солдатского кладбища. Водокачки были взорваны, разбомблены, а машинист запретил брать воду из паровоза. Я заболел сталинградским колитом, так называли врачи эту ужасающую желудочную болезнь. Мало того что я исхудал, как скелет, ослабел, как дистрофик, через каждые пятнадцать — двадцать минут я должен был мчаться в туалет, невзирая на обстоятельства. Мила — врач, она и не такое видела, но в качестве жениха я сам себе был омерзителен. И я дал себе слово исчезнуть до полного выздоровления — будто можно хоть от чего-то вылечиться! Когда же немного пришел в себя, то сразу уехал на фронт военным корреспондентом «Труда», а вернувшись, как раз успел на Милину свадьбу, которую справляли в знакомом доме по Брюсовскому переулку.

Мила увидела своего будущего мужа впервые на госпитальной койке, затем на хирургическом столе. Я уже говорил, что она стала хирургом «за все», ей доверяли — и охотно — случаи, теоретически безнадежные. Распространено мнение, что у хирургов руки похожи на руки пианистов, та же мощь с утонченностью (вспомните сильные, длиннопалые, чуткие руки знаменитого хирурга Юдина на портрете Нестерова — чем не дивные руки Святослава Рихтера!). Но и у выдающихся пианистов бывают маленькие руки, едва охватывающие октаву, например, у Генриха Нейгауза, учителя Рихтера. И маленькие, пухлые руки Милы с тонкими короткими пальцами, облитые

резиновыми хирургическими перчатками, умели делать чудеса, приближаясь к истерзанной плоти раненого. Но такой истерзанной, такой измученной плоти еще не видела хирург Ф.: от молодого, красивого лейтенанта осталась одна оболочка, внутри все было перемолото. И Мила начала борьбу за человеческую жизнь, как делала уже сотни раз, с той лишь разницей, что никогда еще борьба не казалась ей настолько безнадежной. И невдомек ей было, что в эти нескончаемые, мучительные часы над операционным столом она спасала не только жизнь молодого офицера, но и свою собственную судьбу, своих будущих детей и детей этих детей. Наверное, лейтенанту очень хотелось жить, потому что одной медицины тут было недостаточно. Его молодая воля к жизни помогла и хирургу, потерявшему сознание по окончании операции, и всем тем, кто потом раздувал еле тлеющий огонек.

А когда лейтенант окончательно очнулся в жизнь, то обнаружил, что его чувства к хирургу Людмиле Ивановне отнюдь не исчерпываются благодарностью.

И вот я гуляю на скромной военной свадьбе. Глядя на новобрачного, никак не скажешь, что он вернулся с того света: рослый веселый красавец, приятно поющий под гитару, с точными, изящными движениями. Последнее неудивительно: три его сестры — балерины, причем две старшие — примы Большого театра; карьере младшей помешал вошедший в семью ее мужем знаменитый бас — голос требует жертв. Усердно и чуть грустно пью я рюмку за рюмкой за здоровье молодых. Единоборство со сталинградским колитом было выиграно, хотя и не столь полно и решительно, как одноименная битва, повернувшая войну вспять, а главное — слишком поздно.

Я смотрю на Милину сегодняшнюю фотографию: она в белом халате и белой шапочке, очень взрослая и серьезная, доктор медицинских наук, лауреат, бабушка. У Милы спокойно на душе (впрочем, откуда я знаю?): ее мать давно вернулась, а тому, кого уже не вернешь, возвращено доброе имя. Красивая и мужественная армянская женщина хорошо воспитала своего младшего сына, брата погибшего Дарика, сейчас он один из первых кинорежиссеров.

Долгих радостных лет тебе, Мила, ты лучшая из нас...

Но вот я открываю альбом на фотографии девятнадцатилетнего юноши с теннисной ракеткой в руке и знаю, что лучше него для меня нет, не было и не будет. Мой первый друг, мой друг бесценный!.. Есть у меня рассказ с таким названием, где я в который раз пытался передать его черты и, как всегда, не сумел этого сделать.

А когда-то я написал единственную в моей жизни большую повесть, которую назвал его именем — «Павлик», хотя там была использована моя собственная фронтовая история — лишь конец вымышленный, а рассуждение о том душевном ущербе, из-за которого молодого человека зовут детским уменьшительным именем, тоже не имеет никакого отношения к моему другу. Павликом его называли после школы лишь старые друзья. Но, впервые затеяв длинную работу и догадываясь, как она будет мне тяготна, я нарочно назвал героя Павликом, потому что мне сладко было писать: Павлик, Павлик, Павлик...

Из альбома:

«Павлик учился в нашей школе с первого до последнего класса и при этом для многих, почти для всех, прошел как бы стороной. Считалось, что он «при мне» и, как я убедился во время наших встреч, таким и остался в слабой памяти соучеников. Но только не в моей памяти... Не бывает дня, чтоб я не вспомнил о нем с болью, нежностью, уважением, безмерной благодарностью. Он был лучше меня: цельнее, чище, вернее, духовнее. Потому и стал он для меня так бесконечно важен на всю жизнь, что в детстве и юности я был при нем, а не он при мне — вопреки очевидности.

Он был на редкость сдержан, столь же искренен и раним, поэтому неохотно допускал кого-либо в свою душевную жизнь. Даже собственная семья плохо его знала. Павлик не был однолюбом в дружбе: кроме меня, он любил так же, как и я, талантливую, острого, изящного в каждом движении, доброго и дерзкого Осю Р. — мальчика из другой школы. Он тоже не пришел с войны...»

Само собой подразумевалось, что в альбом о Павлике напишу я. Но не туда меня повело. Зачем надо было укорять друзей, что они не сумели оценить Павлика по достоинству? И совсем уже глупо обвинять Валу 3., нашу соученицу, единственную девушку, которую любил Павлик, что она не ответила ему взаимностью. Ведь он не приказывал мне:

Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалея.
Пускай она поплачет,
Ей ничего не значит.

Вот и она смотрит на меня со страниц альбома: в строгом английском костюме, преподавательница английского языка сперва в школе, потом в институте, жена кандидата технических наук, мать сына-инженера. Она мало изменилась, только как будто развеялась, отлетела прочь легкая дымка, что заволакивала ее лицо с далекими серо-зелеными глазами и непонятно кому обращенной полуулыбкой крепких темных губ. Теперь в этом лице все ясно, четко и понятно. Ее муж и сын работают в НИИгидромаша. Я прочел об этом и окончательно успокоился. Близ НИИгидромаша смолкают страсти...

...Но что это было?.. Прошло пять лет, и я уже не берусь судить: явь ли это, или сон, или греза наяву, или слишком сильная работа воображения, материализовавшая видение, или принуждение памяти к самообману?.. Но это все оговорки здравомыслия — собственного — в угоду здравомыслию других. Про себя же я знаю, что это было, было и подготавливалось долго, в той странной, иронической манере, какую почему-то избирает потустороннее, обнаруживая себя смертным людям. Не к лицу тайным силам несерьезное обличье, и первым на это обратил внимание Лесков в своем загадочном рассказе «Белый орел».

А все началось с мух. Изумрудных, блестящих, металлических, тучей накинувшихся на меня в глубине леса. Они облепили мое лицо, путались в волосах, бились с размаху в глаза, мгновенно и больно жалили. Комару, чтобы укусить, надо пристроиться, выпустить жало, проткнуть кожу, а эти изумрудные разбойницы шли в атаку шильцем вперед и наносили укус с лету. Вначале мне было смешно, потом досадно, а потом страш-

но. Я бросился наутек, они преследовали меня до высоковольтной линии, там зависли на краю леса зеленым роем, взныли не мушиным, а дикого пчелиного роя гудом и сгнули.

Я уже писал об этом, да, кажется, не однажды, настолько потрясла меня мушиная агрессия. Четверть века хожу я в наш лес, и никогда со мной подобного не случилось. И мух таких, изумрудно-металлических и остервенелых, я сроду не видел.

Другой раз в сумерках я наступил на дикую свинью. Звучит смешно, но, когда земля вдруг стронулась, вздыбилась под ступней и разразилась бешеным визгом, мне было вовсе не до смеха. Я отскочил, споткнулся, упал, увидел промельк темного тела и только тогда сообразил, что со мной произошло. Я вспомнил рассказы о кабанах, приходивших ночью в наш поселок, — они перерывали огороды, вытаптывали клумбы, валяли ограды — и, не желая искушать судьбу, повернул назад. Потом, успокоившись, я понял, что спугнул не взрослую свинью, а подсвинка-годовика и что произошло это вблизи того самого места, где на меня напали мухи. И что туда, стало быть, путь заказан, а это по законам сказки означает: должен идти.

И я ходил все лето и никогда не знал там удачи. То одно, то другое. Раз забрел в дремучие заросли крапивы выше меня ростом. Шел по едва приметной тропинке, может, она и не человеческими ногами натоптана, а звериными, у нас тогда в лесу много зверей было — лоси, кабаны, лисы, куницы, ласки, не говоря уже о всякой мелочи: кротах, ежах, мышах, а может, то был весенний сток талой воды, желобок-западинка, и забрел в густой малинник, как всегда, перемешанный с крапивой. Не верилось, что у дикой малины могут быть такие крупные и сладкие ягоды! Я прорубался к пунцовой благодати напролом сквозь крапивный лес, размахивая палкой, как мачете, пренебрегая жгучими охлестами, и в конце концов оказался в непролазной колючей чаще, и, если б не вкус малины во рту, можно было бы подумать, что малинник мне просто пригрезился. Когда я наконец выбрался из стрекочущих джунглей, то был весь как сплошной волдырь.

Несколько раз я просто выдыхался. Эта тропка или то, что я принимал за тропку, не имела конца. Я шел по ней два, три, четыре часа, впереди не возникало просвета. Я хорошо знаю наш лес, вернее, оба леса по сторонам широкой просеки, где

проходит высоковольтная линия. По одну руку — хвойник с чащами, забитыми валежником, с сырыми балками и лесными озерцами в топких берегах, заросших осокой, по другую — чистый березняк, без подлеска, сквозной, светлый. Но у нас нет больших расстояний, как ни углубляйся в лес, как ни плутай, а часа через два-три непременно выйдешь в поле, или к речке, или на околицу деревни, или к парникам, или к коровьей ферме, или к той же высоковольтной. И лишь одно направление, где меня подстерегали смешные и досадные неприятности, обладало неестественной протяженностью.

Однажды я попробовал обмануть лес, обойдя его опушкой. Он зелеными мысами вдавался в простирающееся до самой Десны поле — где в дикое разнотравье, где в клеверище, где в пастбищные овсы, где в сорняковый пар. Я срезал эти мысы, всякий раз ожидая, что увижу устье таинственной тропинки, но обнаруживал лишь очередной мыс. При полном солнце из легкой, светлой, как кудель, тучки брызнуло грибным дождиком; он удалялся стенкой, в нем запуталась коротенькая радуга. И тут с бездонно-голубого чистого неба с оглушительным треском вонзилась в землю прямая, как отвес, лишь вверху расщепленная молния, запахло лечебным электричеством, а потом — чуть приметно — гарью. Я не сразу заметил, что повернул назад, а заметив, продолжал быстро идти к дому. Меня била изнутри какая-то пульсирующая дрожь. Такого унижительного страха я не испытывал даже на войне. А ведь я люблю грозу — и не только в начале мая.

Я понял, что не должен хитрить с лесом; неведомо кем направление задано, ну и держись его. Я вновь пошел, как библейский патриарх: «сам не зная куда». Теперь мне казалось, что я достигну чего-то не потому, что пройду дальше обычного, а потому, что кончится странный искус. Дорога осилится не простым терпением путника, а каким-то иным терпением. Но лето перевалило за половину, и ничего не изменилось. Может быть, не следует так тупо ломить вперед, держась за муравьиную тропку, что, если свернуть в чашу, в бурелом, заблудиться? Это было и легко, и трудно. Легко, потому что после контузии в числе других потерь я утратил унаследованную от матери способность ориентироваться в пространстве; трудно, потому что лес всегда куда-

нибудь выводил — во всех направлениях, кроме одного-единственного, не имеющего конца.

Теперь я поступал так: долго шел привычным маршрутом, а потом будто забывал о тропке, переставал выглядывать ее под иглами, подорожником, лопухами и брел на авось. И глухая тревога щемила сердце.

Раз я вышел на незнакомую лесную луговину. Казалось, солнце отражается в бесчисленных зеркалах, таким блистанием был напоен мир. И зеленая луговинка залита солнцем, лишь в центре ее накрывала густая круглая тень от низко повисшего маленького недвижимого облака. В пятачке этой малой тени на возвышении — бугор не бугор, камень не камень — стояли они: Павлик и Оська. Вернее, маленький Оська полулежал, прислонясь к ногам Павлика, казавшегося еще выше, чем при жизни. Они были в шинелях, касках и сапогах, у Павлика на груди висел автомат, Оськиного оружия я не видел. Их лица были темны и сумрачны, это усугублялось тенью от касок, скрывавшей глаза. Я хотел кинуться к ним, но не посмел, пригвожденный к месту их отчужденностью.

— Чего тебе нужно от нас? — Голоса я не узнал и не видел движений мускулов на темных лицах, но догадался, что это сказал Павлик.

— Чтобы вы были здесь. На земле. Живые.

— Ты же знаешь, что мы убиты.

— А чудо?.. Я вас ждал.

— Ты думал о нас. — Мне почудился в страшном своей неокрашенностью голосе Павлика слабый отзвук чего-то былого, родного неповторимой родностью. — Думал каждый день, вот почему мы здесь.

— И вы?..

— Мертвые. У него снесено полчерепа, это не видно под каской. У меня разорвано пулей сердце. Не занимайся самообманом. Хочешь о чем-нибудь спросить?

— Что там?..

Ответа не последовало. Потом Оська, его голос я помнил лучше, да ведь и расстались мы с ним позже, чем с Павликом, тихо проговорил:

— Скажи ему.

— Зачем ты врешь о нас? — В голосе был не упрек — презрительная сухость. — Я никогда не горел в сельской школе, окруженной фашистами, а он не выносил товарища из боя. Меня расстрелял немецкий истребитель, а ему снесло затылок осколком снаряда, когда он писал письмо. На мертвых велят, как на мертвых, но ты этого не должен делать. Думаешь, нам это надо? Ты помнишь нас мальчишками, мы никогда не мечтали о подвигах. И оттого что нас убили, мы не стали другими. Разве ты любил героев?

— Вам плохо там?

— Никакого «там» нет, — жестко прозвучало в ответ. — Запомни это. Все — тут. Все начала и все концы. Ничто не окупится и не искупится, не откроется, не воздастся, все — здесь.

— Сказать вам что-нибудь?

— Нет. Все, что ты скажешь, будет слишком маленьким перед нашей большой смертью.

Я не уловил их исчезновения. Поляну вдруг всю залило солнечным светом, облако растаяло, а там, где была приютившая мертвых солдат тень, курилась легким выпотом влажная трава.

Время от времени я пробую найти этот лесной лужок, но знаю, что попытки тщетны...

12

...Уже к вечеру у нас затеялась странная и неожиданная игра: каждый должен был рассказать о своей школьной любви. В самой игре ничего особенно странного нет, наверное, и в других компаниях затевается что-то похожее, хотя я никогда об этом не слышал и сделал свое предложение по внезапному наитию, впервые в жизни выступив зачинателем общего дела. Странной была та серьезность, с какой почти все до одного отнеслись к моему предложению. Возможно, этому способствовали прямота и откровенность первых ответов. При ином начале, вполне вероятном и уместном, игра так бы и осталась игрой и скоро бы нам прискучила. Но совсем по-старому

вспыхнувшее лицо Милы Ф., тихий шатнувшийся голос и вздрог губ, так и не сложившихся в улыбку, — она начинала — мгновенно сбили шуточный настрой. Оказывается, ничто не минуло, не рассеялось дымом, а вошло в нашу суть, в будущее, хоть мы и сами не отдавали себе в этом отчета.

Бамик Ф. сказал, что еще третьекласником влюбился в Лялю Румянцеву и нарочно стал членом «бытовой комиссии», проверявшей материальное положение ребят на предмет выдачи ордеров на калоши, чтобы под этим предлогом проникнуть к ней в дом. Уловка в духе графа Альмавивы обула Лялины ноги в новенькие блестящие калоши на пунцовой байковой подкладке, но хитроумного влюбленного ничуть не приблизила к предмету поклонения. Между ними оказались калоши фабрики «Красный треугольник» — материальный фактор губителен для слишком щепетильных душ.

А потом он хорошо и взволнованно говорил о своей долгой юношеской влюбленности в нежную пепельноволосую Катю Г. Его любовь ни для кого в школе не была тайной, равно и то, что в исходе школьных дней он отступился от Кати. Теперь его видели с Лилей Ф., принадлежавшей к тому типу рано созревающих девушек, которые с ошеломляющей и унижающей их сверстников быстротой превращаются в роскошных дам. Бамик говорил, как потряс его запах настоящих Лилиных духов, которые он впервые обонял, и как кружила ему голову вся атмосфера взрослости, таинственно окутывающая Лилю.

Бамик считает, что дружеская близость с тремя столь разными, но на свой лад совершенными женскими существами крайне осложнила ему выбор подруги жизни.

Он встречал — и нередко — хороших женщин, но наплывал образ Ляли Румянцевой с ее яростной прямоотой, обостренным чувством справедливости, с душой как натянутая струна, или нежной, лунной Кати с пушистыми волосами, в которых запутался рассвет, или празднично-женственной Лили, и сравнение оказывалось убийственным для претендентки. Лишь когда появилась женщина, в которой словно соединились три любимых образа, конечно, не механически, а растворенные в иной стихии, в ином индивидуальном очаровании, Бамик нашел свою жену.

После всего, что наговорил Бамик, весьма обескураживающе — для меня, во всяком случае, — прозвучало нежное, тишайшее, проникновеннейшее признание Кати, что Бамик ей никогда не нравился. Она знала о его чувстве к ней, уважала это чувство, но не разделяла. Я не успел по-настоящему ощутить разочарования, когда Катя с той же тихой, проникновенной искренностью добавила: «Но дружба с Бамиком была самым большим даром всей моей жизни. Она сформировала меня как человека. Если есть во мне что-то хорошее, то все от Бамика. Я никогда не забываю об этом...»

Говорят другие. И часто называют имена тех, кого уже нет. Коли Ф., Бориса С., Жоржа Р., Ляли Румянцевой. Неужели ушедшие были лучше нас? Или просто легче признаться в любви к ним, нежели к тем, кто еще наполняет своим шумом жизнь? Неправда, об этих тоже говорят...

13

Нет школы без первой красавицы, предмета всеобщего поклонения. У нас их было три — каждой отмечен определенный период школьной жизни, как царствование Людовика XIV тремя знаменитыми фаворитками: Луизой Лавальер, маркизой де Монтеспан, г-жой де Ментенон. С первого до седьмого класса царила Ира Б-р. В седьмом началось двоевластие, закончившееся победой другой красавицы, Нины В. В десятом лучшие мужи пали к ногам Иры Б-вой. Остуде долгого поклонения Ире Б-р способствовало то, что возле нее вырос, загородив от всех глаз, вратарь нашей школьной футбольной команды, красивый, рыцарственный и мужественный Володя А. В играх он пропускал не так уж мало голов, но эти ворота твердо решил отстоять. Он неважно учился, преуспевал лишь в спорте, но и спорт затмили черные косы и худоцавая цыганская красота Иры Б-р, вечно нуждавшаяся в защите, оберегании, заботе, лелеянии. Володя предался этому хлопотному делу столь самозабвенно, что окончательно забросил науки, остался на второй год, а после школы сразу пошел на действительную. Всю войну служил на бронепоезде. С победой не кончи-

лась его служба, да он и не торопился домой. Девушка, которую он любил, стала женой другого. Нет, она ждала, сносила не одну пару башмаков, но жизнь взяла свое. Володя был человек, сильно битый войной. Он не сумел ни приладиться к мирному существованию, ни найти в нем нового интереса. И дал себя добить вывезенной с войны болезнью печени. Некогда самый крепкий из нас, кроме одного Бориса С., он ушел первым.

Ира Б-р сказала о своей единственной, через всю юность, любви с той простотой искренности и боли, что Володя не мог бы и мечтать о лучшей эпитафии.

Нина В., вытеснив Иру, прочно заняла трон. Это было очень живое, несколько буйное царствование во вкусе развеселой дочери Петровой Елизаветы. Менялись фавориты, но разжалованный далеко не всегда изгонялся прочь, ему позволялось сосуществовать со счастливым соперником. Веселая, компанейская, отличный товарищ, кареглазая, свежая, улыбочивая, открытая и загадочная своей манящей сутью, недостижимой таким лопухам, какими мы были до окончания школы, не в пример нынешним скороспелкам, Нина правила своей державой легко и радостно. Но до чего же мы все удивились, когда она сказала, что единственным мальчиком, затронувшим в школе ее сердце (открывавшееся, как мы и тогда догадывались, более зрелым кавалерам вне школьных стен), был вполне ничтожный Вовочка Л., белокурый баранчик, женственный, робкий и липучий, которому каждый, в чьих жилах текла мужская кровь, считал своим долгом отвесить мимоходом тумака, дать щелчок или другим способом выразить свое презрение. Был он не просто беззащитен, тогда бы его в конце концов оставили в покое, нет, в нем угадывалась какая-то противная жизнестойкость.

Эту нашу смутную ребяческую угадку подтвердила Нина. Оказывается, баранчик каждый день провожал ее из школы, крадясь по другой стороне улицы. Когда же Нина шла в школу, он уже подждал ее, спрятавшись за водосточной трубой. И почти всегда попадался под руку какому-нибудь уличному мальчишке. Жалко и покорно улыбаясь, он смотрел на Нину собачьими глазами и своей безответностью осилил всех героев, бойцов, умников, остряков и гениев 311-й школы.

Нину сменила на престоле Ира Б-ва. Она охотно позволяла за собой ухаживать, поощряла соперничество, будила в доверчивых душах тщетные надежды, а сама только и ждала окончания школы, чтобы выйти замуж за Володю А. — тезку и однофамильца нашего вратаря, что позже служил на бронепоезде. Этот Володя был тоже первоклассным футболистом.

Сухошавая интересная дама с седой прядью в ореховых волосах очень спокойно поведала нам о своих школьных брачных планах, приводивших в отчаяние ее семью. «Замуж, как вы знаете, я действительно вышла через полгода, только не за Володю, а за взрослого человека, архитектора, с которым прожила всю жизнь...»

14

Иные признания вызывают улыбку. Ваня К. на редкость искренне, хорошо рассказал о своей влюбленности в Марусю Н. Он помнит ее всю — от спортивных резиновых тапочек до белой кофточки с хрустко наглаженным воротничком и гребенки в волосах, и мы невольно ждали от Маруси ответного признания. Но она заявила, что в школе ее волновали лишь волейбольная сетка, хорошо надутый мяч и запах дезинфекции в физкультурном зале. Настал черед удивляться и мне: учительница французского языка Туся П. сухогато сообщила, что в 9-м классе была влюблена в меня до безумия. В тот год мы часто собирались в гостеприимном Тусином доме, где бывали и десятиклассники, с которыми дружила Туся. Я с завистливым восторгом глядел на этих светских львов — гитаристов, певцов, остряков, великолепных танцоров, скромно сознавал свое ничтожество рядом с ними и вообразить не мог, что представляю хоть какой-то интерес для хозяйки дома.

А все-таки взаимность чувств редко одаривает людей. Но мои друзья уплатили столь щедрую дань несовпадениям еще в школе, что во взрослой жизни оказались весьма удачливы. При теперешней брачной чехарде от нашего альбома веет древними домостроевскими добродетелями. Лишь четверо представителей сильного пола шли к счастью с нескольких заходов,

всего две наши соученицы оставили своих безнравственных мужей, а одну, прожив жизнь, бросил муж.

Игра подходила к концу, и, кажется, все мы с тяжестью на душе ждали, что сейчас настанет очередь Шуры Б., славного, одаренного, благородного Шуры, с которым судьба обошлась на редкость сволочно.

Даже писать об этом трудно. Если уж кто из нас заслуживал счастья, так это Шура, человек чистого сердца, высокой духовности и той роковой цельности, что исключает всякую приспособляемость. Он рано нашел себя, увлекшись театром, поступил в ГИТИС, выдержав жестокий конкурс. Еще в школе он полюбил — раз и навсегда. Но началась война, а у Шуры в графе «национальность» стояло — немец. В нем были намешаны разные крови, но слова «Рот фронт!» звучали ничуть не хуже, чем «Но пасаран!» или «Будь готов!», и родители записали его немцем, чему он не придавал никакого значения. Немцев выселяли из Москвы, и Шура со всей семьей оказался в Темиртау, затем в Караганде. И в Темиртау, и в Караганде люди живут, что убедительно доказал его младший брат. Окончил институт, стал инженером, женился, родил детей, — давно уже он директор крупного завода, известный, уважаемый в округе человек.

У Шуры так не получилось. Не было у него ни интереса к другой профессии, ни интереса к другой жизни. Но надо жевать хлеб, к тому же на руках больная мать, и он пошел работать — прорабом. Я говорил, что Шура — человек очень даровитый, и, не любя своей профессии, он стал отличным специалистом. Потом он узнал, что любимая вышла замуж. Он сделал попытку завести свою семью, но из этого ничего не получилось. Потому что он не жил, а томился. Время остановилось для него на тех днях, когда он был в последний раз в Москве, на Чистых прудах, с любимой девушкой.

Почему же он не вернулся в Москву, когда это стало возможным? Ему не к кому было возвращаться. Да и тяжело больная мать на руках. Его время остановилось. Для тех, с кем он начинал жизнь, оно шло, он убеждался в этом во время своих редких поездок в Москву, и в душе подымалось злое чувство отчужденности.

Но вот матери не стало, и он без рассуждения и колебания кинулся в Москву. Он не строил никаких планов, не обольщался радужными надеждами, он просто хотел вернуться в мир своего начала.

У меня был литературный вечер в Политехническом институте. Выступая с узенькой, приближенной к публике эстрады, я увидел в первом ряду двух подруг: Тусю П. и Нину В., затем обратил внимание на сидящего между ними мужчину наших примерно лет в хорошем сером костюме и очках. Видимо, Туся привела своего мужа, с которым я не был знаком. Когда вечер кончился, мы встретились в фойе.

— Узнаешь? — спросила Туся.

Я поглядел на худое, выразительное, совсем незнакомое лицо человека в сером костюме, отметил его элегантную костюмность и подумал, что он напоминает немецкого рабочего-активиста из фильма тридцатых годов. Такими их всегда изображали в нашем кино: очень серьезными, угловатыми, надежными.

— Шура Б.!

— Ты сам узнал меня или тебя предупредили?

За десять лет, проведенных в одной школе, мы никогда не учились с Шурой в одном классе, хотя нас часто перетасовывали, не обменялись и словом и даже не здоровались. У нас не было точек соприкосновения: он увлекался театром, я спортом; разные друзья, разные компании. И все-таки я мгновенно узнал его, хотя в нем не оставалось ничего от прежнего коренастого розовощекого юноши с русыми волосами. Видимо, я помнил о нем.

Шура вернулся к нам, друзья приняли его, словно и не было всех долгих лет расставания. Но ему с нами непросто. Он меряет нас мерками прежних дней, но мы, конечно, стали другими; у всех своя жизнь со своими радостями и бедами, и нет объединяющего нас крова, над каждым собственная крыша, а Шура хочет, чтобы все было как раньше, ведь его часы только сейчас снова пошли. Но мы не можем отбросить всю прожитую жизнь и вновь оказаться с нашим другом свободными, легкими, необремененными; как встарь, на неизменных Чистых прудах. Московские бульвары — самое стабильное в нашем слишком склонном к переменам городе, но даже они меняются. Твер-

ской лишился памятника Пушкину, наш — приобрел ресторан-стекляшку. Трудно сказать, что хуже...

Наверное, мы в чем-то виноваты перед Шурой. Но все люди виноваты друг перед другом, иначе на земле царило бы безмятежное счастье. Мы — под огнем и либо должны как один стать Матросовыми, либо прощать друг другу наши несовершенства. Наверное, Шура еще привыкнет к нам, к тому, что мы не закрываем телом амбразур. Но и не бежим с поля боя.

И вот звучит Шурин голос:

— Ничего нового я не скажу. У меня все началось и кончилось, когда другие только примерялись к жизни...

15

Наверное, мы и правда собрались в последний раз. Мы всё сказали, что могли, остальное принадлежит другим. И тут кто-то заметил, что Аня С. уклонилась от признаний. Всеобщая радость — помедли, помедли, вечерний день...

— Да что я?.. — добродушно улыбается Аня. — Мне и признаваться не в чем.

Аня — полная, спокойная, уравновешенная. Обычно серьезна, но когда начинает смеяться — частым, дробным, тонким смешком, — то никак не может остановиться. Аня — воплощение домашних добродетелей: образцовая хозяйка, прекрасно готовит, особенно удается ей тесто. Так и кажется, что всю жизнь у плиты простояла. Нет, не на кухне прошла ее жизнь: тут и рытье окопов под Москвой, и лесозаготовки, оборонный завод (делала снаряды), учеба в Тимирязевской академии и опытная Орловская станция, аспирантура и защита кандидатской; была замужем, овдовела, вырастила дочь, которая тоже закончила аспирантуру, скоро будет защищаться. Просто не верится, что добродушная, рассудительная, чуть вяловатая Аня прожила такую энергичную жизнь.

— А ну признавайся в своих грехах! — подначивают ее.

— Было бы в чем! — Аня растерянно обводит присутствующих светло-голубыми глазами. — Я ведь некрасивая, а под-

ружки все — красоточки. Только мне мальчик понравится, они тут как тут. Он и не нужен им вовсе, но охота из меня дуру сделать. Я глазами хлопаю, а его уже приручили. И решила я ни в кого не влюбляться, все равно отобьют! — И Аня залива-ется своим долгим, дробным, добродушным смешком.

Аня и сейчас смотрит на подружек как на писанных краси-виц, а на себя как на дурнушку. Ей и невдомек, что со своей прекрасно уложенной седой головой, с выражением доброты и достоинства на терпеливом русском лице она по меньшей мере не уступает им.

Может, Аня лучшая из нас?..

Да что же, у нас все лучшие? Почти так. Лишь одного не позвали на общий день рождения, и его нет в нашем альбоме. Он оскорбил высокомерием, самодовольством и хвастовством одного из нас, своего одноклассника, когда тому было очень плохо и трудно. И мы не сговариваясь изъяли его из нашего круга.

Остальные же пусть будут на этих страницах. Даже Володя М., который хмуро отклонил приглашение: а чего я там не видел? Я бы не стал упоминать об этом, если б он не работал в отделе кадров одного из министерств. По-моему, работа с людьми не его стихия. А впрочем, не нам судить Володю. Когда-то он был хорошим и верным парнем...

16

За оградой сигналит автобус. Неужели уже кончился этот день — короткий, как сама жизнь?..

И вот они уходят — и названные мною в этих записках, и не названные лишь случайно: Тоня О., Вера К., Женя Б., Лида Э. Я стараюсь удержать перед глазами их лица, улыбки, движе-ния...

А потом сижу один за полночь над альбомом и читаю бес-хитростные слова, звучащие мне как «Песнь песней»:

«Я, Шура Т., родилась 10 сентября 1920 года. В 1928 году поступила в 1-й класс 311-й школы на углу Лобковского и Миль-

никова переулков. Училась до 9-го класса. Затем по семейным обстоятельствам вынуждена была пойти работать. Поступила бухгалтером в Мосхлебторг... Имею дочку, которая окончила институт. В настоящее время с рождением внука занялась его воспитанием. Ему сейчас два года и восемь месяцев, и он доставляет мне удовольствие в жизни...»

Шура Т. была самой маленькой в классе. Она всегда стояла последней в шеренге. Будь здорова и счастлива, маленькая бабушка Шура! И долгих лет тебе. Долгих лет, покоя и радости всем вам, дорогие мои друзья...

АВТОРСКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Я написал о нашем школьном альбоме вовсе не потому, что считаю его чем-то из ряда вон выходящим. Напротив, это рядовой альбом, который при желании могли бы составить выпускники любой другой школы, и как раз в этом его смысл. Тут не было никакого отбора — пятьдесят человек объединены лишь тем, что вместе учились. По этим пятидесяти можно судить обо всем поколении, судьба которого была сурова. Но и мертвые, и живые сохранили достоинство Человека. Вот о чем мне и хотелось рассказать.

В ТЕ ЮНЫЕ ГОДЫ

Быль

Семье Р-ных, давшей крупного ученого, многообещавшего литературоведа, талантливого художника и бесстрашного солдата.

1

Что мог я сделать для тебя, Оська?.. Я не мог ни защитить тебя, ни спасти, меня не было рядом с тобой, когда смерть заглянула в твои раскосые глаза, но и будь я рядом, ничего бы не изменилось. А может быть, что-то изменилось бы и неправда, будто каждый умирает в одиночку?.. Но к чему говорить о том, чего не вернешь, не изменишь, не переиграешь? Я мог сделать для тебя лишь одно — не забыть. И не забыл. Я помнил о тебе и Павлике каждый день той долгой и такой короткой жизни, что прожил без вас, и вымучил у вечности короткое свидание с вами. Я не просто верю, а знаю, что эта встреча была. Она не принесла ни радости, ни утоления, ни очищения слезами, ничего не развязала, не утихомирила в душе. И все-таки я начну мой рассказ, нет, мой плач о тебе с этой встречи и не стану искать новых слов для нее, а воспользуюсь старыми — они близки сути.

Это произошло несколько лет назад в лесу, неподалеку от моего загородного жилья, на долгой и таинственной тропе,

которую мне никак не удавалось пройти до конца — лес немолимо гнал меня прочь. И тогда я понял, что должен ломить по этой заросшей тропке, пока не возобладаю над чем-то, названия чему нет*.

«...Теперь я поступал так: долго шел привычным маршрутом, а потом будто забывал о тропке, переставал выглядывать ее под иглами, подорожником, лопухами и брел на авось. И глухая тревога щемила сердце.

Раз я вышел на незнакомую лесную луговину. Казалось, солнце отражается в бесчисленных зеркалах, таким блистанием был напоен мир. И зеленая луговинка залита солнцем, лишь в центре ее накрыла густая круглая тень от низко повисшего маленького недвижимого облака. В пятачке этой малой тени на возвышении — бугор не бугор, камень не камень — стояли они: Павлик и Оська. Вернее, маленький Оська полулежал, прислонясь к ногам Павлика, казавшегося еще выше, чем при жизни. Они были в шинелях, касках и сапогах, у Павлика на груди висел автомат. Оськиного оружия я не видел. Их лица темны и сумрачны, это усугублялось тенью от касок, скрывавшей глаза. Я хотел кинуться к ним, но не посмел, пригвожденный к месту их отчужденностью.

— Чего тебе нужно от нас? — Голоса я не узнал и не видел движения мускулов на темных лицах, но догадался, что это сказал Павлик.

— Чтобы вы были здесь. На земле. Живые.

— Ты же знаешь, что мы убиты.

— А чудо?.. Я вас ждал.

— Ты думал о нас. — Мне почудился в страшном своей неокрашенностью голосе Павлика слабый отзвук чего-то былого, родного неповторимой родностью. — Думал каждый день, вот почему мы здесь.

— И вы?..

— Мертвые. У него снесено полчерепа, это не видно под каской. У меня разорвано пулей сердце. Не занимайся самообманом. Хочешь о чем-нибудь спросить?

— Что там?..

* Приводимый далее текст в кавычках — самоцитата Ю. Нагибина из его рассказа «Школьный альбом». — *Примеч. издателей.*

Ответа не последовало. Потом Оська, его голос я помнил лучше, да ведь и расстались мы с ним позже, чем с Павликом, тихо проговорил:

— Скажи ему.

— Зачем ты врешь о нас? — В голосе был не упрек — презрительная сухость. — Я никогда не горел в сельской школе, окруженной фашистами, а он не выносил товарища из боя. Меня расстрелял немецкий истребитель, а ему снесло затылок осколком снаряда, когда он писал письмо. На мертвых валят, как на мертвых, но ты этого не должен делать. Думаешь, нам это надо? Ты помнишь нас мальчишками, мы никогда не мечтали о подвигах. И оттого что нас убили, мы не стали другими.

— Вам плохо там?

— Никакого «там» нет, — жестко прозвучало в ответ. — Запомни это. Все — тут. Все начала и все концы. Ничто не окупится и не искупится, не откроется, не воздастся, все — здесь.

— Сказать вам что-нибудь?

— Нет. Все, что ты скажешь, будет слишком маленьким перед нашей большой смертью.

Я не уловил их исчезновения. Поляну вдруг всю залило солнечным светом, облако растаяло, а там, где была приютившая мертвых солдат тень, курилась легким выпотом влажная трава.

Время от времени я пробую найти этот лесной лужок, но знаю, что попытки тщетны...»

2

...А теперь я начну с самого начала. Мать взяла меня в «город», так назывались ее походы по магазинам Кузнецкого моста, Петровки, Столешникова переулка. Странный торжественный и волнующий ритуал, смысл которого я до конца не постигал, ведь мама почти ничего не покупала там. В пору, когда товары были — по нехватке денег, позже — по отсутствию товаров. Тем не менее день, когда мама отправлялась в «город», сиял особым светом. С утра начинались сборы: мама

мыла волосы какой-то душистой жидкостью, сушила их и красиво причесывала; потом что-то долго делала со своим лицом у туалетного столика и вставала из-за него преображенная: с порозовевшими щеками, алым ртом, черными длинными ресницами, в тени которых изумрудно притемнились ее светло-зеленые глаза, — чужая и недоступная, что усиливало мою всегдашнюю тоску по ней; мне всю жизнь, как бы тесно ни сдвигал нас быт, как бы ни сближало нас на крутых поворотах, не хватало мамы, и сейчас, когда она ушла, во мне не возникло нового чувства утраты, лишь острее и безысходнее стало то, с каким я очнулся в жизнь.

Иногда мама брала меня в «город». То было несказанным наслаждением с легким наркотическим привкусом, помешавшим дивным, подернутым сладостным туманом и бредцем видениям задержаться в моей памяти. Отчетливо помнятся лишь перевернутые человеческие фигуры в низко расположенных стеклах обувного магазина на углу Кузнецкого и Петровки, но что это были за стекла и почему в них отражалась заоконная толпа, да еще вверх ногами, — убей Бог, не знаю и не догадываюсь. Наверное, это легко выяснить, но мне хочется сохранить для себя тайну перевернутого мира, порой населенного только большими ногами, шагающими по серому асфальтовому небу, порой крошечными фигурками, под головой которых блистала небесная синь. Еще я помню страшного нищего на Петровке, возле Пассажа, он совал прохожим культю обрубленной руки и, брызгая слюной, орал: «Родной, биржевик, подай герою всех войн и революций!» Нэп был уже на исходе, и бывшие биржевики испуганно подавали горластому и опасному калеке. Сохранилось в памяти и пленительное дрыганье на пружинке меховой игрушечной обезьяны Фоки с детенышем: «Обезьяна Фока танцует без отдыха и срока, ходит на Кузнецкий погулять, учит свою дочку танцевать. Веселая забава для детей и молодых людей!» Веселая и, видимо, дорогая забава, потому что мама упорно не замечала умильных взглядов, которые я кидал на обезьяну Фоку, и молящих — на нее. Лишь раз я был близок к осуществлению своей мечты о неутомимой танцорке: на Фоку должны были пойти остатки гигантской суммы в десять рублей, собранной мною по алтынам и пятакам на приобретение пистолета «монтекристо» и выкраденной у меня из кармана в магазине «Мюр и Мерилиз».

Никогда еще «город» не слышал такого истошного рева, каким я разразился, обнаружив пропажу. Благородное оружие (в пяти шагах убивает наповал человека) уже тяжелило мне правую руку, а в левой дергалась смешная меховая Фока, и я видел себя кумиром двора. Горе от пропажи, ввергшей меня в прежнее ничтожество, усугублялось потерей доверия к миру, впервые посунувшегося ко мне страшным свиным рылом. Но хватит об этом, я поддался скольжению памяти, ведь ко времени, с которого начинается мой рассказ, «город» освободился и от нахального нищего, и от обезьяны Фоки, и от дорогого избытка (оно сосредоточилось в нескольких Торгсинах) — походы матери лишились и тени корысти, стали чистой данью молодым привычкам, но она по-прежнему изредка брала меня с собой — порыться в книжной рухляди букинистических магазинов.

...Перейдя у Кривоколенного переулка Мясницкую, еще не ставшую улицей Кирова, мы вместо того, чтобы повернуть налево мимо источавшего спертый резиновый запах магазина, некогда торговавшего всевозможными изделиями из резины, а сейчас, в начале тридцатых, лишь странными полукалошами-полуботинками по ордерам, двинулись напрямик, в Милютинский переулок, возможно, уже ставший улицей Мархлевского, но еще не привыкший к новому названию, в узкую, глубокую щель меж высоченных домов, над которыми, как и над всем городом, пугающе возносилась мрачная громада городской телефонной станции, тогда единственной в Москве. Здание это — по-прежнему темное и угрюмое — сохранилось по сию пору в отличие от многих бесценных памятников отечественного зодчества, но, уменьшенное общим ростом города, не так бросается в глаза.

Мама вошла в подъезд дома против наглухо замкнутых, будто сросшихся со стенами ворот телефонной станции, коротко приказав мне ждать. Не знаю, почему она не взяла меня с собой. Сейчас принято таскать детей повсюду, а мама тщательно отстраняла меня от взрослой жизни, считая, что я должен обходиться миром своих однолетков, помимо, разумеется, семьи. Печать тайны на бытии взрослых заставляла меня относиться к ним с благоговением; рудимент почтительности сохранился по сию пору: даже вышагнув за шестьдесят, я не

могу ответить на ты человеку старше меня и всякий раз ужасаюсь, когда «тыкают» пожилым людям румяные мелкотравчатые сановнички.

Я остался на улице, у незнакомого подъезда, что было уже достаточно неуютно: по мальчишескому кодексу тех лет любой сопляк, обитающий в этом доме, мог турнуть меня отсюда, как бродягу, забредшего в ленные владения.

Этот неуют усугублялся тем давящим впечатлением, какое производила на мою вовсе не робкую, но слишком отзывчивую душу гигантская башня смерти, наивно принимаемая за телефонную станцию. Мне казалось, что она вот-вот рухнет, повалится всей чудовищной глыбой и, ударившись о твердь окружающих зданий, разлетится на миллионы кусков, и это будет концом света.

Отвлек меня от гибельных мыслей мальчишка, рисовавший что-то углем на тротуаре. Он был мал ростом и возрастом, дошкольник, мелкота с большой головой на хилом тельце, «рахитом» небось во дворе зовут. Если б такой задрался, то получил бы «вселенскую смазь», несмотря на все мое уважение к кодексу уличной жизни. Но мальчишка не замечал меня, как и прохожих, топтавших его рисунок, стиравших подошвами непрочные угольные линии. Мальчишка знай делал свое дело. Негоже третьекласснику интересоваться занятиями такой мелюзги, но как раз в эту пору мои вяловатые художнические потуги стали получать признание в семье и школе. Сам я не придавал им слишком большого значения, хотя любил возиться с цветными карандашами и акварельными красками, срисовывая карикатуры из «Смехача», «Бегемота», «Крокодила» и книжные иллюстрации, чаще всего сказочные. Копиист я был впрямь отменный, у меня получалось здорово похоже на оригинал, при этом я никогда не прибегал к переносу изображения с помощью сетки, даже не догадывался, что существует такой способ, весьма популярный у придворных портретистов. Равно не приходило мне на ум нарисовать что-либо по воображению или с натуры. Помню, как поразила меня ворона вульгарис, срисованная моим одноклассником с живой вороны. Соученики были другого мнения: эта скромная черно-серая птица не шла ни в какое сравнение с моими рыцарями, мушкетерами, принцами, кашеями, чемберленами,

брианами, но во мне сразу заговорило вино моей молодой художественной славы. Я попробовал нарисовать что-то «из головы» — ничего не получилось, попытался изобразить воробья с натуры — снова неудача, мешали его трехмерность, движения, переменчивость от беспрестанно творящейся в нем жизни. Я умел лишь срисовывать плоскостные неподвижные изображения высмотренного чужим глазом.

Мальчишка, ползающий по асфальту меж ног прохожих, не имел перед собой ни рисованного, ни живого образца, он рисовал из себя, то, что сам придумал. А придумал он профиль мужчины с остроконечной бородкой, ниточкой усов, с длинными вьющимися волосами, падающими на кружевной воротник из-под широкополой шляпы, украшенной страусовым пером. Мальчишка чуть наметил кожаный колет, перевязь через плечо, а все усилия отдавал лицу: носу с горбинкой и хищно вырезанными ноздрями, темному блестящему глазу (потом, уже дома, думая об уличном художнике, я тщился понять, как, работая углем, сумел он придать глазу серебристый блеск?), резким складкам, сообщавшим лицу решительность, силу и хитрость, и тут во мне все заныло: мне показалось, что мальчишка покусился на образ моего любимого героя — д'Артаньяна, на уже старого д'Артаньяна, каким он появляется в первом томе «Десяти лет спустя»: разочарованного, одинокого, почти нищего, коварно разжалованного из капитана королевских мушкетеров снова в лейтенанты. Я несколько лет прожил в двойном образе московского мальчишки и дерзкого гасконца, у меня были ботфорты, плащ, шляпа с пером и шпага с настоящим эфесом. В описываемую пору я уже расстался с мушкетерским плащом, но не с растворенной в крови верой, что мне даны особые права на этот образ. И тут какой-то гном, рахит — и читать-то небось сам не умеет — на глазах всей улицы рисует дорогие черты моего кумира!

У меня над кроватью висел в благородной овальной рамке портрет д'Артаньяна. Старинная рамка, стекло и почетное место на стене вводили в заблуждение рассеянных, легковверных, а также близоруких гостей, и они принимали мою мазню за произведение искусства. Узнав, кто сотворил это чудо, они цокали языками и смотрели на меня потрясенно, как Чичиков на юного Фемистоклюса, отраду нежного родительского сердца Манилова. Но я-то знал, что моя восхититель-

ная акварель — просто грубая и неграмотная подделка, куда хуже обычных перерисовок из журналов и книг. Я создавал этот портрет жульническим способом: притворяясь, будто ловлю из воздуха любимые черты, я то и дело поглядывал на картинку из «Трех мушкетеров». Там, правда, мушкетеры сидели за завтраком на бастионе Сен-Жерве, а я своего д'Артаньяна поставил, как перед деревянным ящиком фотоаппарата-пушкаря на Чистых прудах, — изобразить фигуру в сложном ракурсе я мог лишь при честном срисовывании. Доверчивая фронтальная поза моего д'Артаньяна убеждала меня, что на этот раз я не копирую, а творю. В известной мере так и было, поэтому рука, лежащая на эфесе шпаги, оказалась чуть не вдвое длиннее другой руки, согнутой бубликом и упертой в бок. Необычайно мощно выглядели ботфорты — носками врозь; я не поскупился на размер, такие сапоги были бы велики даже гиганту Портоосу. И вообще, странным образом трогательный и глуповатый друг д'Артаньяна внедрил в созданный мною образ, иначе откуда взялась такая просторность лица у худошавого гасконца? Да просто я не умел изображать худобу — тени скул на всосе щек, тени в глазницах и впадинах висков. У меня лицо получилось гладким, как блин, круглым и сытым. Короткая ручонка, упирившаяся в тучный бок, усугубляла дородность мушкетера со слоновьими ногами. Короче говоря, д'Артаньяном тут и не пахло.

Меня не столько удивляло восхищение посторонних людей, сколько неподдельное удовольствие мамы от их похвал. Уж она-то знала, кого я тщился изобразить, и, несомненно, видела все удручающее убожество моей попытки, и тем не менее сама подводила гостей к рисунку в овальной рамке и, покусывая губы, умеряла горделивую улыбку. Хотела ли она придать мне смелости и усердия? Но, чуждая самообмана, она не могла не понимать, что художник из меня никакой. Или в этой частной неодаренности ей проглядывалась моя общая глухая бесталанность, и, человек незаурядный, умный, с тревожной душой, не нашедшей приложения бродящим смутным силам, она хотела обмана, чтобы продолжать верить в свое единственное творение?..

Брошенный матерью в чужой державе на унижение этому головастику с огрызком угля в запачканной руке, я начисто

забыл о собственной трезвой оценке своих художественных способностей и портрета в овальной рамке. Я помнил лишь, что один из гостей принял его за неизвестного Франса Галльса. Мальчишка унизил меня, унизил любимый образ, швырнув его под ноги прохожим, он заслуживал гильотины!.. Но, разогревая в себе ненависть к мальчишке, я все с большим, хотя и мучительным интересом следил за его работой. Это совсем не было похоже на мой тщательный, кропотливый и неуверенный труд. Мальчишка был размашист, смел и вместе строг к себе: вроде бы все хорошо, а ему не нравится — смахивает угольную пыль и вновь кидает легкие уверенные штрихи. И вдруг я понял, что не только не умею, но и не люблю рисовать, а занимаюсь этим лишь потому, что меня хвалят — и незаслуженные похвалы приятны. А этот мальчишка рисовал с наслаждением, не замечая ничего вокруг, не нуждаясь в похвалах; весь в угольной пыли, с черными по локоть руками и усами под носом. И он знал, что должен нарисовать, хотя перед ним не было образца. Я уже слышал слово «творчество», но не умел им пользоваться, а если б умел, то непременно применил бы к его... (я уже знал слово «вдохновение», но считал, что оно относится только к Пушкину) пачкотне на тротуаре. Словом, мальчишка делал такое, чего мне никогда не сделать. И я впервые обратил к себе знакомое и страшное слово «бездарность», которым мамины гости пользовались часто, с охотой и таким гадливо-безжалостным выражением, словно сами были наделены великими талантами. Мне стало горячо от стыда: несколько дней назад я сказал с усталой мудростью и чуть свысока закадычному другу Мите Гребенникову, громко и неискренне восторгавшемуся моими новыми рисунками: «Человек, наверное, должен владеть каким-то искусством». «Ты искусник, да?» — подластился Митя. Я скромно пожал плечами. Искусник!.. Сволочь бездарная! — вот кто я. И жуткая пустота открылась внутри. Наверное, страшась вот такой пустоты, подводила мама гостей к портрету в овальной рамке. Ведь к этому времени выяснилось, что у меня нет слуха, и старый беккеровский рояль покинул наш дом, хромал я и в арифметике, лишний раз подтвердив родственность двух столь разных, казалось бы, миров — музыки и цифр; фантастическая приверженность к Дюма в ущерб всякому иному чтению

мешала поверить, что во мне зреет незаурядный гуманитарий. Профессий, конечно, много, и всякий нормальный, да и не очень нормальный человек отыщет себе занятие по вкусу, но цыганка нагадала маме, что сын ее будет знаменит, и бедная мама, обозревая неуклонно ширящееся пространство моей непригодности, все более озадачивалась: откуда ждать славы? Мама так и не дождалась серебристого сияния вокруг моего чела, как не дождался и я сам, но увидела мое имя в толстом, убедительном томе «Кто есть кто в мире»: там было сказано, что я родился и умер в Москве, хотя последняя дата не установлена. «И хорошо, что не установлена, — сказала совсем седая мама, покусывая губы, — живи как можно дольше, сынок, всем назло. Но умереть ты должен только в Москве и лечь возле меня на Востряковском кладбище. Я буду тебя ждать». Все это — через век, а тогда, разозленный и пришибленный гениальностью проклятого мальчишки, я сотворил величайшую низость. Зайдя ему за спину, я стал подошвой стирать непрочный рисунок. Я размазал колет, перевязь, кружевной воротник, стер эспаньолку, горько-язвительный рот, ниточку усов, нос с горбинкой и складки от ноздрей к уголкам рта — мальчишка ничего не замечал. Его будто околдовали. Счастье это или несчастье?.. Но даже если несчастье, хотелось бы пережить такое. Сейчас он возился с пером на шляпе, стараясь придать ему крутой заливчатский изгиб. Шляпа уже ничего не венчала: я успел размазать глаз, бровь, завитки волос, а когда вышла из подъезда мама с шляпной картонкой в руках и что-то сказала мальчишке, заставив его бросить работу и встать, я прикончил и все остальное. Мама казалась озабоченной и чем-то недовольной. Сделав мне знак головой, она быстро зашагала к Мясницкой. Перейдя на другую сторону переулка, я оглянулся. Мальчишка стоял над своим уничтоженным рисунком: от мушкетера осталось лишь черное пятно. Злоба стремительно иставала во мне, замещаясь стыдом и жалостью. Как мог я опуститься до такой гнусности? К тому же тайной, ведь он так и не заметил меня. Издали мальчишка не выглядел «рахитом». Голова немного великовата для худенького тела, но была в нем ладность, даже изящество. А движения как у актера на сцене: точны, выверены, пластичны, — удивительный, волшебный какой-то человек. Мне хотелось, чтобы он скорее разревел-

ся и тем поставил точку на этой скверной истории. Но он все смотрел под ноги, затем протер глаза, затряс головой, всплеснул руками, высоко подпрыгнул и расхохотался. Заходясь от смеха, он начал отплясывать какой-то дикий индейский танец. Я ничего не понимал. Над чем он смеется? Разве ему не жалко своего рисунка и неужели он думает, что прохожие непреднамеренно стерли его своими подошвами?

Меня с силой схватили сзади за плечи. Я оглянулся и увидел искаженное гневом мамино лицо. Она легко приходила в ярость, правда, и быстро остывала.

— Ну что ты стоишь как истукан? Мы никуда не успеем. А тут еще Муся навязала мне свою шляпку!..

Муся была давнишняя мамина приятельница, из тех немногих, что мне нравились, — она вносила в дом праздник своим появлением: рыжеволосая, с большим, ярким, всегда смеющимся ртом, благоухающая и неизменно в ликующем настроении. Муся жила в трех шагах от нас, но будто на другом конце света, у нее всегда было лето, всегда солнце. Тень догадки коснулась моей души и скользнула прочь. Я должен был о чем-то спросить маму, но упустил, о чем. Внимание мое было приковано к мальчику на другой стороне переулка. Он уже не хохотал и не прыгал. Он озирался, чего-то искал. И нашел: кусок чистой, недавно отштукатуренной и побеленной стены справа от подъезда. Он примерился к белому пятну, подошел и взмахнул рукой, сжимающей кусочек угля. Здесь его картина будет в большей сохранности, ее не затопчут пешеходы, она доживет до следующего утра, когда ее смоет из резиновой кишки разъяренный дворник. Тогда мальчик найдет другую чистую плоскость. Важно рисовать, а не трястись над своим рисунком, помещать в рамочку и вешать на стенку.

— Этот мальчик, — сказал я маме, показав рукой, — он здорово рисует.

Мать удивленно поглядела на меня:

— Ты что, забыл?.. Муся приводила его к нам. Это ее сын — Оська...

Ничто не дрогнуло в моей душе, когда впервые прозвучало это имя, ставшее для меня на короткие и, наверное, самые счастливые годы радостью, праздником, карнавалом, а на всю

последующую жизнь — тоской и болью. Никакие дружбы, и любви, и вся человечья несметь, неотделимая от моей судьбы, не могли пригасить в памяти добрый и насмешливый свет раскосых глаз мальчика, убитого сорок лет назад...

3

Наверное, уже сейчас надо сделать оговорку, чтобы предупредить законное недоумение читателей этих записок. Как же так: взялся рассказывать о своем друге, а говорит все время о себе. Но это неизбежно. Характер Оськи не успел отвердеть, еще только формировался. Ему не было отпущено времени для поступков, для участия не только во взрослой, но даже в юношеской жизни, если не считать скороспелых потуг, ничего не говорящих о его сути. Он не успел даже влюбиться, хотя, кажется, успел влюбить в себя девушку, проводившую его на войну, и, как много позже оказалось, зрелую женщину, плакавшую по нему. Он был в душах своих родителей, считавших его ребенком, и своих друзей, знавших, что он личность. Из этих друзей остался на свете я один. Павлик погиб под Москвой, другой друг, талантливый актер, поэт и переводчик, разбил о быт любовную лодку и лишил себя жизни.

Наше свидание на земле было так коротко. К тому же три года возрастной разницы — это ничего не значит под уклон дней, но очень много — на заре жизни. Нас подравнял его рывок к зрелости уже вблизи расставания. И что я знаю об Оське? У меня много любви, тоски и боли, но мало строительного материала. Я могу воссоздать его только через себя, из соприкосновений, совпадений и несовпадений наших сутей. Один жестокий человек сказал: все молодые люди похожи друг на друга. Это было сказано из глубины презрения к людям, но известная доля истины тут есть. Конечно, все молодые люди разные, но трудно проглянуть эту разницу, поскольку они решают одну задачу — первого и самого трудного приспособления к жизни, утверждения себя в ней. Любому нормальному юноше свойственны завышенное представление о собственной ценности, идеализм (чему не мешает защитный скепсис,

порой цинизм), ранимость и отсюда — яростное стремление сберечь от посторонних (самые посторонние — родители и близкие) свою внутреннюю жизнь. Я не обладал, да и не мог обладать по молодости лет такой пронизательностью, чтобы видеть Оську изнутри. И реконструировать хоть как-то его образ я могу только через себя; в своем месте я скажу о той неожиданной помощи, какую получил от его отца...

4

В тот день на улице Мархлевского мама ошиблась, думая, что я уже видел Оську. Возможно, Муся и приводила к нам сына, только меня не было дома, а мама забыла упомянуть о визите высокого гостя. Знакомство наше состоялось, когда Оська уже учился в школе. Мама сказала: «К нам придет Муся с сыном, ты его не обижай». Я удивился: обижать кого-либо было не в моих правилах, и мама это знала. Обижали меня, и довольно часто, причем без всякого повода. Меня задевали и дворовые ребята, и школьные, чаще — старшие, проходу не давали чистопрудные и девяткинские; даже миролюбивые обитатели дома военных, где был проходной двор, сокращавший путь в школу, не раз испытывали на мне силу мышцы бранной. По-моему, это объяснялось одним: меня не научили бояться, не научили осторожности. Я жил в атмосфере любви, меня любили и в семье, и все многочисленные родичи нашей домоправительницы Верони, как московские, так и деревенские: в селе Внуково, в деревнях Акулово, Сухотино, Конуры, любили во дворе, за исключением двух-трех злыдней, любили в классе, любили, вернее, делали вид, что любят, друзья дома. И я упорно верил, что и другие люди должны так относиться ко мне; каждое проявление агрессии казалось мне случайным, не стоящим внимания, я быстро забывал обиду и снова лез на рожон. Эта храбрость от заблуждения особенно раздражала бойцовых ребят недружественного нашего дому Девяткина переуллка и чистопрудную шпану. Но сколько бы ни убеждали меня домашние ходить безопасными путями, ноги сами несли меня на вражескую территорию.

Я был физически сильным мальчиком, хорошо натренированным трапецией и лесенкой, висевшими в моей комнате с высокими дореволюционными потолками, а также гантелями и английской гимнастикой, которой научил меня дед, но я не давал сдачи. Во-первых, мне не было больно, а удивление перед внезапным нападением перевешивало обиду. Желание постоять за себя пробуждалось изредка, когда все уже было кончено и мои обидчики или рассеивались, или уходили сомкнутым строем на поиски новой жертвы. И еще одно гасило во мне волю к сопротивлению: мне было трудно совершить жест удара. Горький вообще не мог поднять руку на человека, я же мог, но нужно было очень расстараться, чтобы я перешагнул невесть кем наложенный (только не матерью) запрет. Такие старательные ребята все же находились, и я их бил с какой-то странной расчетливой яростью. Но победы не приносили удовлетворения, напротив, неприятно щемило и ежилось внутри. Даже отлупив грозу дома, тупого, задиристого и жестокого Кукурузу, я помнил лишь его горестную ошеломленность, налитые слезами глаза, ободранные о булыжник пальцы и гнусное улюлюканье дворовой мелкоты. И странно: шагнув за половину жизненного пути, я вдруг разуверился в хрупкости и мимозной чувствительности окружающих и радостно пустил в ход кулаки. Прошло немало времени, прежде чем я утихомирил столь несвоевременно пробудившегося в немолодом писателе Ваську Буслаева. В детстве же я очень любил товарищескую борьбу, но никогда не связывался с младшими ребятами. Мое миролюбие и незащищенность раздражали маму, почему же вдруг она сочла нужным призвать меня к кротости? Наверное, она знала что-то о сыне своей приятельницы Муси.

Я совсем забыл о нем, нет, не забыл, конечно, слишком много уязвившего мою гордость было в воспоминании, но загнал в самый дальний угол сознания образ мальчика, чей рисунок так подло уничтожил. К тому же прошло несколько лет, я как бы перешел в другой вес: с художественными иллюзиями было покончено, мушкетер в рамке, правда, еще висел на стене, но он остался как милая память минувшего, как и облезлый плюшевый медвежонок; я был безответно влюблен в де-

вочку старше меня на два года и в учительницу биологии с тяжелым пучком золотых волос, и какое мне вообще дело до этого мозгляка?

Муся с мамой уединились в нашей второй комнате, а я остался с Оськой. Он счел нужным представиться:

— Тезка слуги Хлестакова! — И сюсюкающим тоном добавил: — По улице бодро шагала веселая компания: Миша, Вова, Боря и маленький Осик. — Он тяжело вздохнул. — Всегда последний, всегда сзади, так-то, брат!

Наверное, до вздоха была цитата из какой-то дурацкой детской книжки. Я не понял: смеется он или всерьез сетует на жизнь. Он, конечно, вытянулся с той поры, но настоящего роста не набрал. И все же не выглядел «маленьким Осиком», который всегда плетется сзади. Он производил впечатление весьма бойкого и самоуверенного паренька, и поскольку сам я ни бойкостью, ни просто находчивостью не отличался, то насторожился и даже немного оробел. И еще — он перестал быть «рахитом» — пропорциональный, очень стройный, к тому же кокетливо одетый: курточка, брюки «никкер-бокер», клетчатые шерстяные носки.

— Ну, показывай, чем живешь! — сказал Оська и ни с того ни с сего продекламировал, грассируя: — «Вошла ты, резкая, как нате! муча перчаток замш. Знаете, я выхожу замуж. Ну, что ж, выходите... Видите, спокоен, как пульс покойника...»

Стихи меня оцарапали, хотелось узнать, чьи они, но я постеснялся спросить и тем выдать свою необразованность.

Давно уже содержимое ящиков письменного стола потеряло для меня всякий интерес, но, чтобы развлечь гостя, я показал ему какие-то инструменты, остатки «мекано», коллекцию пересохших, почти рассыпающихся бабочек в коробке под стеклом, толстый в красном тисненном переплете альбом с марками, финский нож и пистолет «монтекристо», на который я вторично скопил деньги после большого ограбления в «Мюре и Мерилизе». Благородно тяжелый, с длинным блестящим стволом и шершавой, красиво изогнутой ручкой, из всего барахла детских лет он один сохранил притягательность. Оська, смеясь, прицелился в меня, сильно сощурился

правый глаз, — он не умел обращаться с огнестрельным оружием.

— В пяти шагах убивает человека, — сообщил я. — Наповал!

Оська посмотрел на опасную игрушку и тихо отложил. В альбоме с марками его привлекли портреты царей, шахов, султанов, магараджей, президентов и прочих правителей кануна Первой мировой войны, когда этот альбом был выпущен, коллекцией моей он пренебрег. С острым любопытством всматривался он в старые и молодые лица под коронами, цилиндрами, касками, треугольниками, чалмами, тюрбанами, фесками. Он возликовал, дойдя до юношеских и даже детских лиц правителей Пенджаба, Бенгалии, Кашмира, Раджестана. Расфуфыренные на восточный лад мальчишки выглядели на редкость эффектно.

— Вот это да!.. Гип-гип, ура! — возвеселился Оська. — Мировые пацаны! — И вдруг запел: — «Повидай там раджу и эмира, посмотри баядерок балет, а невесте своей из Кашмира привези золотой амулет!..»

Сам лишенный слуха (сейчас меня уверяют, что не слуха, а способности воспроизводить мелодию), я мгновенно чувствую даже малую фальшь, — у Оськи был абсолютный слух. Грассировал он еще сильнее, чем при чтении стихов, похоже, он кому-то подражал, ведь в обычном разговоре его «р» звучало чисто, но спросить об этом я опять постеснялся, равно и о том, что он поет. Раздражение мое против гостя все росло.

— Альбом — вещь, а марки — дерьмо, — подвел итоги Оська. — Что у тебя еще есть?

— Лобзик.

— Отсталое развитие, дружок! Ты еще занимаешься выпиванием?

— Нет, я думал, ты занимаешься.

— «Какими Галиафами я зачат — такой большой и такой ненужный?» — спросил Оська с отчаянием. — «Милостивые государи! Говорят, где-то, кажется, в Бразилии, есть один счастливый человек!»

У меня заломило голову. Наверное, не нужно было вслушиваться в его трепотню, лишенную какой-либо связи с про-

исходящим, но я искал в ней смысл, и мои бедные мозговые извилины заплелись в косу.

Обветшалые сокровища, которых мне, впрочем, хватало в Оськином возрасте, оставили его равнодушным. Кроме альбома, он не нашел у меня ничего заслуживающего внимания. Где-то в залавке валялись деревянные шпаги с «настоящими» эфесами и мушкетерский плащ с осыпавшимся золотым крестом на груди; фетровую шляпу с остатком обломавшегося страусового пера отдали Верониному брату Якову, чтобы прикрывал голову во время пахоты, а сапоги с ботфортами — другому брату, Егору, сторожившему сухотинские сады. Но стоило ли ворошить залавочную пыль — этот скороспелый подросток небось давно вышел из мушкетерского плена. Чем он живет, что может его заинтересовать? На д'Артаньяна в овальной рамке он даже не глянул, сразу поняв, что это дрянцо, тем менее хотелось показывать ему остатки бывшего увлечения: ящички с красками, кисточки, палитры, поэтому я даже не открыл нижний правый ящик стола, где погребено мое художническое прошлое.

— «И вдруг все вещи кинулись, раздирая голос, скидывать лохмотья изношенных имен...» — замогильным голосом произнес Оська. — Что читаешь, бледнолицый?

Я мотнул головой на полку с книгами.

Он подошел, взгляд его удивленных раскосых глаз забегал по корешкам. Меня злила эта беглость, означавшая, что все книги ему знакомы. При этом он что-то бормотал, вдруг повышая голос почти до крика, то опадая на шепот. Затем отчетливо и спокойно сказал, глядя мне в лицо:

— «А тоска моя растет, непонятна и тревожна, как слеза на морде у плачущей собаки». Стихов у тебя нет. Ну, а «Смока Беллью» ты хоть читал?

— Не помню. Может, читал. Чье это?

— Джека Лондона. Если б читал, помнил бы. Целая серия романов. Все лучшие люди зачитываются. Но ты совсем бушмен.

Он явно нарывался. И тут я вспомнил о мамином предупреждении. Значит, она знала, что Оська ломака, хвостун и задира. При этом он еще и сопляк — смешно с ним связы-

ваться. Но до каких пор должен я терпеть его разнузданность? Он явно демонстрировал свое пренебрежение ко мне: слонялся по комнате, трогал разные вещицы и небрежно отбрасывал, выкрикивал раздражающе-непонятные стихи, свистел, пел. Позже, сблизившись с Оськой, я узнал, что он не терпит незаполненных минут. Ему всегда нужно было что-то делать: играть, читать, разговаривать, спорить, рисовать, клеить, позже — фотографировать, ставить шарады, показывать фокусы, он не терпел пустоты; мой обиход его не заинтересовал, живого общения не получилось, и образовался вакуум.

— Ты в шахматы играешь? — спросил я с опаской, поскольку сам лишь недавно узнал расположение фигур на доске и четырехходовку киндермата.

— Нет, — отозвался он пренебрежительно. — Я не играю ни в шахматы, ни в шашки, ни в бирюльки и не занимаюсь авиамоделизмом. В вист — роббер-другой, пожалуйста, в покер, кункен.

— При чем тут авиамоделизм?

— Все дураки увлекаются авиамоделизмом.

Я этим не увлекался, но почувствовал себя оскорбленным. Мне казалось, что я обиделся за хороших, умных, способных и сосредоточенных ребят, занимающихся непростым и благородным делом, но задело меня другое: он вроде в дураки меня зачислил. Самолюбие мешало признаться в этом, но злоба закипела — противно и сладко.

— А чем ты увлекаешься? — невозмогая себя, спросил я.

— Женщины, вино и карты... Каждый настоящий мужчина должен уже к обеду пахнуть дешевыми духами и пудрой.

И в доказательство он сунул мне под нос ладонь, а когда я машинально наклонился, чтобы понюхать, вдруг хлопнул меня по носу и губам и радостно захохотал. Ни слова не говоря, я выпрямился и ударил его кулаком в лицо. Ударил сильно, он отлетел назад, наткнулся на продавленное кресло и повалился в его истертую кожаную глубину. Из носа у него вытекла струйка крови и на верхней губе выступила алая капелька. Он потрогал уши и увидел на пальцах кровь. Лицо его скривилось, я, как и тогда на Мархлевского, ждал, что он расплатится, и

хотел этого, но он не заплакал. Достал чистый и белый носовой платок, высморкался несколько раз, а когда кровь перестала идти, аккуратно сложил платок, промокнул губу и спрятал платок в карман. Он посмотрел на меня — странно, без тени страха или злости, даже обиды не было в его раскосых темно-темно-карих глазах, лишь удивление и словно бы вина.

— Слушай, — сказал он добрым голосом. — Ну чего ты? Я вовсе не хотел тебя обидеть. Правда!

Я молчал. Я видел его подпухший нос, тонкое лицо, выветрившиеся домиком над раскосыми глазами шелковистые брови, непрочное, нежное, будто фарфоровое лицо, и горло забило картофелиной.

— Брось!.. Забудем!.. — Он выметнулся из кресла, подошел ко мне и поцеловал в щеку.

Сpartанское воспитание, которое давала мне мама, исключало всякие проявления сентиментальности, меня никогда не целовали, не гладили и вообще не трогали без нужды — это было строжайше запрещено. При встречах и расставаниях у нас в семье обходились рукопожатием, все чувства полагалось держать на запоре. И это открытое движение доброты, нежности и доверия перевернуло во мне душу...

Я никогда больше пальцем не тронул Оську, как бы он ни задирался, а это случалось порой в первые годы нашей так сложно начавшейся дружбы. Позже, в пионерском лагере, я бдительно следил, чтобы его кто-нибудь не обидел. А такая опасность постоянно существовала, потому что при всей своей доброте, открытости и любви к людям Оська был насмешлив, размашист, крайне неосмотрителен и наступал на ноги дуракам, нисколько того не желая. Однажды Оську избил парень из старшей группы по кличке Жупан. Я публично вздул Жупана, чтобы другим было неповадно. Сам Оська подошел, когда экзекуция уже закончилась и его обидчик размазывал по лицу кровавые сопли. Оська отвел меня в сторону:

— Я прошу тебя... я очень прошу тебя никогда за меня не заступаться. Ладно?..

— В Христосика играешь?

— Нет. — Он засмеялся. — Просто мне наплевать, а для таких, как Жупан, — целая трагедия. Ну их к черту!.. Не выношу, когда унижают людей...

Мне до сих пор непонятно, как мы вработались в ту дружбу, память о которой за сорок лет не только не стерлась, не потускнела, но стала больнее, пронзительней и неотвязней — щемяще-печальный праздник, который всегда со мной. Мы трое: Павлик, Оська и я — были нужны друг другу, хотя едва ли смогли бы назвать в словах эту нужность. В дружбе есть нечто не поддающееся анализу, как и в любви, о которой вернее всех сказал Гёте: «Очень трудно любить за что-нибудь, очень легко — ни за что». Конечно, безоглядное, слепое влечение любви, ее таинственный зов неприменимы к дружбе, но и в дружбе есть что-то сверх сознания. Впрочем, я знаю, что с Павликом нас спяли поиски своего места в жизни, давление властных глубинных сил, не ведавших очень долго своего применения. Это были разные устремленности, моя раньше обрела имя — литература, его позже — театр, но мучений они доставили нам в равной мере. Терпеть и одолевать неизвестное было легче вдвоем. Мы оба услышали зов: встань и иди незнамо куда. Мы встали и пошли. Мы искали неведомую землю в темноте, то поврозь, сходясь и расходясь, черпая бодрость и надежду в стойкости другого, который сам в себе этой стойкости не ощущал. Нас связывали и внешние обстоятельства жизни: мы сидели на одной парте, жили в одном подъезде, вместе готовили уроки, вместе испытывали свой дух искусственно придуманными увлечениями, ибо не догадывались о подлинных; мы находились в постоянном обмене, неудивительно, что у нас выработалось схожее отношение к людям, ко многим жизненным вопросам, что наши вкусы, пристрастия и отторжения совпадали. И хотя все это еще не самая душа нашей дружбы, предпосылки взаимопритяжения ясны.

С Оськой обстояло по-другому. Мы не были связаны территориально и не могли видеться так часто, да и не стремились к этому. Все-таки для нас с Павликом он долго оставался щенком. С ним можно было говорить о многом, потому что он был развит, начитан, остроумен, — все это далеко в обгон лет, но нельзя было говорить о том главном, что нас томило, что еще важнее — нельзя было об этом молчать, как часами

молчали мы с Павликом, занимаясь черт знает чем: от химических опытов — вдруг мы великие ученые? — до бесконечного держания на кончике носа половой щетки или бильярдного кия — ради упражнения и проверки воли. А когда мы подравнялись, Оська на пороге десятого класса обрел «достоинство мужчины», упоенно воспетое Шиллером, Павлик был уже на действительной военной службе, — и я несколько растерянно увидел рядом с собой почти взрослого человека, как будто сознательно принявшего на себя часть душевных обязательств Павлика. С Оськой было интересно, наполненно, весело, «крылато», не найду другого слова — это правда, но не вся правда, ведь бывало и грустно, и смутно, и тревожно... Всякое бывало, но в памяти остался солнечный свет, который потом уже никогда не был так ярок.

6

Перед решительным шагом Оськи во взрослую жизнь нас сблизил теннис. Это было в пору, когда я начал писать и сразу рухнул как футболист. Игравший тренер «Локомотива» Жюль Лимбек выкинул меня из юношеской футбольной школы, которую вот-вот должен был открыть. «Писателишка!» — сказал он презрительно, и погас костер, озаривший отрочество и раннюю юность. Бумагомарание почти заполнило пустоту. Но футбол приучил меня сильно чувствовать свое тело. Оно мне мешало в прикованности к письменному столу, надо было найти новый отток мышечной энергии; бега трусцой — панацеи от всех напастей — тогда еще не знали. Оська, который все умел, показал мне, как держать теннисную ракетку. Я влюбился в теннис, хотя далеко не столь самозабвенно, как в футбол. Вскоре Оська потерял для меня интерес в качестве партнера, но появился другой, куда более сильный теннисист — его отец. Может быть, мне и вообще следовало начать эти записки с него?..

Пять лет назад я увидел на одной из московских улиц афишу, извещавшую, что в выставочном зале на улице Вавилова открыта персональная выставка художника Владимира Оси-

повича Р-на в связи с его восьмидесятилетием. Выставка Оськиного отца.

Я не видел Владимира Осиповича с июня 1941 года. За несколько дней до объявления войны мы играли в теннис на кортах маленького стадиона «Динамо», что в глубине необъятного двора, вернее, целой системы дворов, простиравшихся от Петровки до Неглинной. В зимнее время корты заливали водой и превращали в каток, самый уютный и лирический из всех московских катков. Норвежские ножи тут были запрещены, потому на «Динамо» не бегали, как на Чистых прудах или в Парке культуры и отдыха, а катались по маленькому кругу, обычно об руку с девушкой, под музыку из репродуктора. Едва ли не самые поэтические воспоминания юности связаны у меня с этим катком. Летом здесь хозяйничали взрослые. На нескольких особенно ухоженных кортах проводились соревнования, международные встречи (тут играл сам великий Коше!), на остальных резались (часто на малый интерес: пирожные, шампанское, коньяк — из местного буфета) любители разного ранга. Среди них выделялся пожилой, жилистый, гладко выбритый человек в пенсне: держал ракетку чуть не за обод и, не обладая поставленным ударом, он за счет цепкости, интуиции — всегда знал, куда летит пущенный противником мяч, — и железной выдержки брал верх не только над первокаатегорниками, но, случалось, и мастерами. Прошло какое-то время, и во мне стали видеть возможного преемника славы дивного старца. Совершенно напрасно, как не замедлило выясниться.

К тому времени я уже обыгрывал классных игроков, которых подводило сознание своего превосходства над упрямым и суетливым любителем с непоставленным ударом. Да, у меня не было ни драйва, ни смэша, но я умел доставать все мячи. Жестокий урок я получил от высокой смуглой Тамары с необычно длинными, стройными и мощными ногами. Такие ноги я видел лишь у знаменитой гипсовой «Женщины с веслом» — олицетворения нашей цветущей молодости в довоенное время, но у живой, из теплой плоти женщины — никогда. Тамара слышала о моих блистательно-сомнительных победах и отнеслась к нашему сражению с чрезвычайной серьезностью. Не полагаясь только на технику, она носилась по корту на своих божественных ногах, то и дело выходила к сетке и разгромила

меня под ноль в сете. Это был неслыханный позор. В утешение мне Оська говорил, что я проиграл не Тамаре, а ее ногам.

— Сыграй с Ниной, — уговаривал он меня. — Она не уступает Тамаре, но ты ее побьешь. У нее короткие волосатые ноги.

Ноги у Нины были действительно коротковаты, но зато белая майка обтягивала грудь Юноны, и я не стал искушать судьбу. Я вернулся к своему постоянному партнеру, Оськиному отцу. Владимир Осипович был высокий, худой и стройный. «Вечный юноша» — называли его друзья. Крайне молчаливый, он никогда не заговаривал первым и разжимал твердые сухие губы лишь по крайней необходимости. Я не помню, чтобы он о чем-нибудь спросил меня, ну хотя бы о мамином здоровье, ведь они были друзьями в пору недолгого брака с Мусей. По слухам, он и Муся разошлись легко, как некогда сблизились, и сохранили дружеские отношения. Этих красивых, напоенных сильной жизнью молодых людей разлучило не отсутствие взаимной любви, а боязнь непостоянством убить то большое, доброе и важное, что скрывалось за первой безоглядной влюбленностью и за последующим свободным браком. Он остался хорошим отцом Оське, который его стыдливо, тайно, никому в том не признаваясь, обожал, он был верным, хотя и несколько эгоистичным другом своей жене. Мне он казался образцом мужчины: прекрасного роста (все братья Р-ны отличались статью, и Муся была хорошего женского роста, непонятно, в кого пошел Оська), на узких легких костях ни волоконца лишнего мяса, летящая поступь, сухие, точные движения. Оська тоже хорошо двигался, но совсем иначе, с какой-то балетной плавностью и грацией — походка и повадка матери; лишь в драйвах и клопшотсах обнаруживалась в нем способность к отцовскому резкому, волевому жесту.

В ту пору немало художников из оформительского в основном цеха работало «под англичанина». Один так заигрался, что стал для всех Джоном, хотя и не думал отречься от своего простого русского имени. Тут не было ничего от пресловутого монтера Вани, «что в духе парижан себе присвоил звание электротехник Жан». Кстати, почти все эти художники принадлежали к кругу Маяковского, иные учились с ним во ВХУТЕМАСе, работали в РОСТА и по рекламе, иллюстрировали его стихи и поэмы.

Владимир Осипович был одним из первых даровитых оформителей книг Маяковского, с которым его связывали тесная дружба и карты. У этих художников хватало вкуса не ломаться под Маяковского, которого они боготворили, английский же стиль возник как самозащита. Все они принадлежали к авангарду и, не желая в годы торжества фотографического реализма отступить от собственного лица, подались в оформители и если не вовсе забросили станковую живопись, то уже не выставлялись: маска невозмутимого, молчаливого джентльмена хорошо скрывала разочарование.

Я любил играть с Владимиром Осиповичем — при всей своей невозмутимости он был самолюбив, скрыто азартен и, подобно Маяковскому, терпеть не мог проигрывать. Борьба шла в каждом гейме, за каждый мяч, но я его неизменно дожимал. Его поставленной, с сильными ударами игре недоставало класса, чтобы одолеть мою вязкую, изнурительную для соперника манеру. Раздраженный моей безостановочной бегом по всей площадке, он в конце концов посылал мяч в сетку или в аут. Мне не надоедали мои однообразные победы — в глубине души я знал, что он играет лучше меня. И он это знал и верил, что наконец-то возьмет верх. Но чего-то ему недоставало, какой-то малости. Он и вообще был не из тех, кто побеждает. Его участь — быть стойким и прекрасным в поражении, которое в этическом плане нельзя отличить от победы. Владимир Осипович научился у Маяковского стремиться к выигрышу: стиснув зубы, всосав худые щеки, остеклевив взгляд серо-зеленых глаз, он мужественно боролся, но неистребимое благородство сводило на нет все его усилия. Рисунок игры был для него важнее результата. Он не мог заставить себя гнаться высунув язык за безнадежным мячом, использовать явный промах, нудно «качать», как это делал я, провоцируя ошибку противника, он всегда стремился к красивому завершающему удару. Его игра была образцом корректности, чего никак нельзя было сказать о моем поведении на корте. Оська, добродушно следивший за нашими баталиями, сказал однажды: «Отец обречен, он играет, а ты выигрываешь».

В еще большей мере это было свойственно самому Оське — он вообще не думал о выигрыше, а только о красивом и силь-

ном ударе. Теннис привлекал его эстетически: белые наглаженные брюки (тогда играли только в брюках), белая рубашка с короткими рукавами, звенящая элегантная ракетка, мячи, похожие на аппетитные булочки, красноватый песок площадок, загорелые стройные люди, иные с огромными именами, горячий кофе и бриоши в буфете, атмосфера праздничности — все это чрезвычайно импонировало не лишенному снобизма Оське, впрочем, как и мне, но я еще хотел выиграть. В этом сказывалось глубокое различие между нами, которое обнажала игра. Режиссер Жан Ренуар, сын знаменитого художника, сказал, что жизнь — это состояние, а не предприятие. Для Оськи игра, соревнования, спортивная борьба были частью общего, радостного, упоенного состояния, именуемого жизнью, были струями, пенными завихрениями в блаженном потоке, несущемся неведомо куда, да это и не важно, ибо счастье и смысл в самом движении, а не в достижении берега. Для меня же, увы, жизнь была и осталась предприятием. Лишь очень редко, да и то в юности и едва ли не с одним Оськой, забывал я о цели и просто жил. Сам Оська вовсе не был слонялой, бездельником — широко одаренный и необычайно склонный к культуре, он жадно вбирал сведения и впечатления, не знал пустых часов, он рисовал, блестяще фотографировал, помогал отцу, оформлявшему павильон Сельскохозяйственной выставки, страстно читал, захлабывался стихами, не пропускал ни одной премьеры. И при этом от него веяло беспечностью, парящей легкостью. Он не знал табу, внутренних запретов и преград, самообузданий, изнурительной возни с собой и юношеского самоедства. Радость была его естественным состоянием. Поистине у жизни никогда не было столь легкого и солнечного любовника.

Далеко же увело меня от выставки Владимира Р-на!.. Я не подражаю Стерну, великому мастеру околичностей и уводов повествования в сторону, хотя то, что я пишу, тоже можно назвать «Сентиментальным путешествием» — в страну юности. Но сейчас я просто отступился в прошлое и не мог из него выбраться.

Р-н — талантливый художник, с собственным четким миром, в котором он прочно, свободно и уверенно существует. Нетрудно угадать токи, идущие от Пикассо, да и он не скрывает своего пристрастия к творцу «Герники», дав на выставку

триптих, посвященный любимому мастеру. Он мог позволить себе этот опасный жест признательности, ибо не является ни эпигоном, ни даже прямым последователем Пикассо.

Мне вспомнились полотна Р-на, висевшие в Оськиной комнате: два автопортрета, на одном художник бреется, погружая лезвие бритвы в аппетитную, белую, как кипень, пену, обложившую щеки и подбородок; на другом он словно подсмеивается над своим дендизмом: левый глаз выкруглен и вспучен моноклом, которого он никогда не носил; в малонаселенных натюрмортах непременно ветка сирени, царят мои любимые цвета: зеленый и фиолетовый. Манера заставляла вспоминать об импрессионистах, хотя ни с кем конкретно связать его было нельзя. Это отступление в далекое прошлое было, как ни странно, попыткой сблизиться с настоящим, с тем победным направлением, которое все непохожее на себя предавало анафеме, и Р-н избрал наименее гонимый «изм» (закрытие бесподобного Музея западной живописи, бывшего Щукинского, произошло много позже). Помнится, он показывал свои импрессионистические полотна Луи Арагону, Эльзе Триоле — старым друзьям и приехавшему с ними из Парижа почтенному искусствоведа. «Как хорошо! — воскликнул седовласый знаток. — Но если бы раньше!»

На этой выставке «импрессионистический зигзаг» не был представлен, не было тут ни графики, ни экспонатов, связанных с долгой работой Р-на по оформлению выставочных павильонов, ничего, кроме станковой живописи, причем последних пяти лет. Ну и наработал художник в приближении своего восьмидесятилетия! И главное — он выровнял линию, идущую от первых послереволюционных лет к нашим дням, развив и обогатив всем опытом долгой жизни, твердым мастерством и бескомпромиссной верой в свою правду, заложенную в его искусство эпохой Маяковского. Многое шло от освеженной отроческой памяти и переживаний прекрасной взволнованной молодости двадцатых годов, и я почему-то решил, что тут полно авторских повторений. Каталог доказал мою ошибку: картины не имеют аналогов в прошлом. Как свежа и сильна ностальгическая память художника! И как при этом целомудренна, чужда умильности и слезницы! Р-н до скупости строг, прежде всего в цветовом решении. Картины почти

монохромны: разные оттенки серых, голубых, реже лиловых тонов. У Р-на не встретишь яркого синего или красного цвета, что, быть может, несколько обедняет его живопись, но вместе с тем придает ей удивительное благородство, деликатность и мужественность, соответствующие его характеру и манере поведения. Редко бывает, чтобы искусство и его творец были настолько похожи, картины Р-на — прямое продолжение его личности.

Он остался верен идеалам молодости, духу Маяковского, тому, что не сознательным усилием воспитателя (какой из него воспитатель — для этого он слишком деликатен, сдержан и бережен к миру другого человека, пусть этот человек — родной сын), а невольным давлением своей цельной личности и таланта вложил в Оську. Все увиденное на выставке смыкалось с Оськиными пристрастиями, его любимыми стихами, всем ощущением жизни, которое обнаруживалось напрямую в его фотографиях. Меня словно коснулось Оськино дыхание.

Захотелось оставить несколько слов в книге отзывов. Не считая себя вправе вторгаться в теперешнее, неведомое мне самочувствие Владимира Осиповича, я написал в книгу так же уважительно, благодарно и «посторонне», как другие посетители, восхищенные подвигом восьмидесятилетнего художника. Оставленные мною строчки ни в какой мере не приглашали к ответу, напротив, давали понять, что ответ не ожидается. Но ответ последовал незамедлительно — телефонным звонком.

— Вы по-прежнему Юра или Юрий Маркович? — Голос совершенно не изменился, был так же звучен, чист и ровен. — Это говорит Р-н. Спасибо за добрые слова. Почему вы пропали? Неужели думаете, что мне неприятно вас видеть, раз Оси не стало?

С обычной прямоотой он сказал о том, что в самом деле мешало мне увидеться с ним.

Через несколько дней я перешагнул порог его мастерской в том доме, где располагалась выставка.

Мы оба испытали шоковый момент при встрече, хотя и от разных причин. Он неправдоподобно выглядел для своих восьмидесяти: худой, стройный, в прекрасно сидящих коричневых брюках и кремовой тонкой шерстяной рубашке; лицо не об-

висло морщинами, смугловатая кожа туго обтягивает лоб, скулы, подбородок, привычен всос худых щек, лишь по глазам, по их усилию сверкать и твердо глядеть сквозь возрастную усталость можно догадаться, что ему много лет. Позже, когда он стал готовить кофе на электрической плитке и делать бутерброды, я заметил у него некоторую шаткость походки, словно бы мимолетную потерю равновесия при резких поворотах. Но это можно было высмотреть лишь особо въедливым взглядом, и неудивительно, что медицинская комиссия без всяких затруднений продлила ему еще на два года пользование шоферскими правами.

И все же он стал другим. У него изменилось то, что вообще не меняется: форма головы. Тут дело в волосах и прическе: вместо прежнего высокого седого зачеса с подбритыми висками, что удлиняло голову и вытягивало лицо, теперь с половины темени начиналась редкая седая щеточка, и череп обрел куполообразную форму. Округлившаяся голова придавала ему неожиданное сходство с Оськой. Это мешало, сбивало с толку, порой мелькало дурманное ощущение, что передо мной оживший постаревший Оська, чье возвращение я странно проглядел.

В свою очередь, Владимир Осипович был ошарашен моим обликом, что всячески пытался скрыть, обликом старости того, кто помнился ему двадцатилетним. В конце концов он не выдержал и спросил как бы между прочим, сколько мне лет.

— К шестидесяти идет, — ответил я.

— Слушайте, Юрий Маркович, но вам никогда не дашь столько! — Он не умел говорить неправду даже из вежливости, голос его утончился.

— Если это действительно так, то называйте меня по имени. Это даст иллюзию молодости.

— Да, да, конечно! — сказал он и поспешно добавил тоном глубочайшего изумления: — Значит, Осе было бы сейчас за пятьдесят? Вы можете представить себе Осю старым?

— Сейчас, пожалуй, могу. Вы похожи на состарившегося Оську. Не на состарившегося себя, а на своего состарившегося сына. Вам этого никто не говорил?

Он покачал головой.

— Оська был на крылышках — стрекоза, ангел. Я думал, это уходит с годами, и не представлял себе Оську старым. Оказывается, можно набрать возраст и не приплюснуться к земле.

— Вы думаете, со мной этого не случилось?

— Это видно по вашей живописи.

А потом мы пили очень вкусный пахучий черный кофе и увязывали настоящее с прошлым. Владимир Осипович сказал, что у него тяжело больна жена, с которой он прожил без малого пятьдесят лет.

Странно, я не знал, что в пору наших теннисных баталий он был женат, давно женат. И почему-то Оська никогда не говорил мне об этом.

— А как Муся?

Он внимательно посмотрел на меня:

— Я похоронил ее. Два года назад.

7

До Оськиной юности, когда все стало по-другому, нас соединяло лето и разводила зима. Он учился в первой смене, я — во второй, где уж тут видется, лето же мы проводили вместе в одном пионерском лагере. Старая Руза мне запомнилась лишь неудачным заступничеством, а Голицыно — первым взрывом Оськиных театральных увлечений, которые я не разделял: моими подмостками было футбольное поле. Старшая вожатая, студентка режиссерского факультета ГИТИСа, взялась поставить силами драмкружковцев «Романтиков» Ростана. Оська был одним из главных актеров — он играл забулдыгу-бретера, имя которого вылетело из памяти, — и главным художником спектакля. Премьера, состоявшаяся в родительский день, прошла с оглушительным успехом. Оська забил всех. Зрителям нравилась его совершенная развязанность на сцене, отчаянное грассирование и то, что, произнося повторяющуюся фразу: «И так, играя под сурдинку», он неизменно оговаривался: «Играя под сардинку» — и восторженно вторил дружному хохоту. Оська умел расположить к себе зал. Он упивался своим разнузданным лицедейством, но не обольщался успехом. Один из старших

мальчиков, Юра Холмский, плел кружева в роли старика подагрика, но его тонкий комизм бледнел перед раблезианской буффонадой Оськи. «Холмский — гений! — орал Оська после спектакля. — А я — жалкий гаер!» — и с чарующей музыкальностью запевал:

Я усталый, старый клоун,
Я пляшу с мечом картонным,
И в лучах моей короны
Догорает ясный день...

— Оська не ломается, но и не играет, — говорил о нем Холмский. — Артистизм сам прет из него, как пух из распоротой перины...

А совсем нового Оську я встретил в Коктебеле, куда приехал на лето, окончив школу и без экзаменов — отличный аттестат — поступив в медицинский институт. О, это лето!.. Здесь со мной произошло то, о чем в Сицилии говорят: «Его поразило громом». Удар настиг меня в тривиальной обстановке обеда в столовой дома отдыха. Вошла, нет, вплыла девушка, похожая на Царевну-Лебедь Врубеля. Вижу белое одеяние-оперение, гордый постав головы, таинственный, с легкой косиной взгляд, не курортный, а райский обливной загар и жемчужный кокошник, которого не было. Я стал мгновенно и полно несчастен, еще до того, как узнал, что она на два года старше меня, дочь знаменитого ученого и ждет приезда жениха, молодого, но уже прославленного поэта. А что за мной? Я и студент-то липовый, только принятый в институт, но еще не начавший учиться, о моих литературных потугах известно одному отчиму, и он относится к ним сдержанно. Оставалось одно: скрыть свою потрясенность от окружающих, в чем я и преуспел. Не удалось обмануть только Оську.

— Есть один путь, — сказал он. — Произвести на Дашеньку впечатление. Сразу выделиться из толпы. Ошеломить ее.

— Чем? Точной подрезкой в середину или хорошим отыгрышем? Плаваю я неважно, танцую средне, загораю плохо. В ресторан повести не могу — поиздержался в дороге. Броситься на ее глазах в море с Карадага? Я не решусь пригласить ее в горы.

— Ты видел розарий МАИ? — Он имел в виду соседний дом отдыха. — Давай ночью его обдерем, и ты поставишь на профессорский стол фантастический букет. Все обалдеют, ее мать лопнет от гордости, а Дашенька сразу поймет, что ты готов ради нее на все.

Так мы и сделали. Букет не вмещался в эмалированное ведро, которое Оська раздобыл невесть где. Но вся затея едва не провалилась глупейшим образом. Четвертым за Дашенькиным столом сидел молодой литературовед с вывернутой верхней губой: когда он говорил или улыбался, розовый подбородок выгибался наружу, образуя как бы третью губу. Но он подавал большие литературные надежды, и в научной среде его ценили. И позволяли занимать Дашеньку до приезда жениха. Когда семья явилась к завтраку и обнаружила на столе клумбу обрызганных влагой роз, Дашенькина мать, то ли в искреннем заблуждении, то ли предвидя тягостные последствия галантного дара, осклабилась белозубой людоедской улыбкой и притворно сердито накинулась на трехгубого:

— Ах, Игорь, вы, право, невозможны! Я так и знала, что от вас жди сюрприза!

И этот гад, вместо того чтобы отвести от себя лестные подозрения, выпятил с довольным видом третью губу и застенчиво потупил рачьи — за толстыми стеклами — глаза: мол, каюсь, но такой уж я парень! Я молчал, убитый горем, но Оська был на страже. С величайшей развязностью он подошел к профессорскому столу, поздоровался, назвал Дашеньку «таитянской» и сообщил, что милиция ищет злоумышленника, обрвавшего розарий МАИ. Трехгубый побледнел и пролепетал, что не повинен в этом ни сном ни духом.

— А на вас никто и не думает, — пренебрежительно бросил Оська. — Кишка тонка! Это сделал мой безумный друг, пожелавший остаться неизвестным.

Дашенька густо — сквозь загар — покраснела, а моя будущая теща метнула на меня первый исполненный ненависти взгляд.

— Зачем вы это сделали? — спросила Дашенька, когда мы столкнулись днем на садовой дорожке.

Я обонял свежий смуглый аромат ее загорелой кожи и ореховых, нагретых солнцем волос, теплые волны накатывали, мутя сознание.

— Не знаю, — пробормотал я, — от беспомощности.

У нее была манера чуть заводить левый глаз; коричневая радужка сдвигалась в уголок, к виску, прибиток подголубленной белизны обдавал холодом. Позже я узнал, что мгновенная косина значила отторжение Дашеньки от собеседника в обиде, недовольстве или недоумении.

На этот раз причина была в последнем, она не сразу поняла, что я имею в виду, а когда поняла, теплая коричневая изгнала накат холодной белизны.

— Я не хочу, чтобы вы из-за меня стали узником.

Вечером мы пошли на танцы. Оська оказался провидцем: профессорское воспитание можно было прошибить лишь выдающимся хулиганством. Когда поэт-жених наконец приехал, большой, грузный, добродушный, на редкость симпатичный, он понял, что опоздал. Было объяснение, и поэт укатил в Москву. Там он написал цикл стихов о ревности с такой силой, что чуть было не закрыл навсегда тему, и утешился. Но не утешилась Дашенькина мать, возненавидевшая меня раз и навсегда. Ее совсем не занимал вопрос: а если это любовь? Близкий друг больших поэтов и замечательных музыкантов, она чтит святыню любви, но отказывала в праве на нее студенту из тусклой семьи, коли его чувство мешало великолепному будущему дочери. Это будущее гарантировалось красотой и очарованием Дашеньки, высоким местом ее отца, громкой репутацией семьи, первоклассным окружением. Тут дело было не в плоской корысти. Умная, властная, но несколько зашоренная чрезмерной целеустремленностью своего сильного, не ведающего ни сомнений, ни компромиссов характера, Дашенькина мать привыкла видеть вокруг себя либо людей выдающихся, либо преуспевавших, случалось, что оба качества совпадали. Для нее естественным стало мерить окружающих весьма строгой меркой, я же под эту мерку никак не подходил. В ее представлении — отчасти справедливом — я еще не начинался как человек и вряд ли когда-нибудь начнусь. И уж если и начнусь, то никак не для Дашеньки; она старше меня на два года, в зените девичьего расцвета, которому пора

уже стать расцветом женственности. Бутон должен взорваться алой прелестью цветка, но не для соплива, а для взрослого человека, достойного любви по своим талантам, положению или хотя бы гарантированному будущему. Она и сама так вышла замуж и была отменно счастлива в своей семейной жизни. Лишь однажды она поддалась стихийному чувству к великому поэту, их старому другу, а он этого даже не понял, и ничего, кроме стыда, горя и разочарования, столь заманчивая в стихах любовь ей не принесла. Уплатив горькую дань иллюзиям, она раз и навсегда поняла, что не надо путать поэзию с правдой. Она знала, как строится счастье, — и прочь паршивого мальчишку, сбившего с толку ее разумную дочь! Посчитав Оську чем-то вроде Лепорелло при мне, она не простила даже его тени, что Дашенька не стала музой добродушного и вовсе не безумного поэта...

И так получилось, что Оська оказался поверенным нашей любви. У Дашеньки было к нему двойственное отношение: она ценила его безграничную преданность мне, то есть нам, ее привлекала Оськина легкость, беспричинная праздничность, — так сладко хоть на время забыть о неустанной и душевной материнской давиле, — и вместе с тем ей казалось, что дружба с мальчишкой компрометирует и меня, и наши с ней отношения, утягивая их во что-то детское. Козырями ее матери были мои юные лета и душевная незрелость. Дружба с Оськой — все равно что игра в пятнашки или казаки-разбойники. В дальнейшем, уже в Москве, этот мотив усилился: я вовсе не спешил остепениться, по-прежнему предпочитал обществу серьезных, даровитых людей компанию какого-то шалопаю. Дашеньке нечего было возразить матери. Но это было не совсем так: к «геллертерам», посещавшим их дом, я не испытывал ни тяги, ни пиетета, но Поэт и Музыкант обладали в моих глазах притягательностью, почти равной Оськиной.

Впоследствии, когда Оська резко и довременно (по ханжескому счету) повзрослел, Дашенька опасалась, что он увлечет меня в свою грешную соблазнительную жизнь. Словом, совсем не просто было отношение моей подруги, потом жены к лучшему другу, и все же между нами тремя случались минуты и часы удивительной родности. Павлик к тому времени служил действительную, очень редко приходил на «побывку», и

хотя он единственный из моего окружения пользовался признанием в Дашенькиной семье, волей обстоятельств оставался в стороне от наших сложных игр.

Мы встречались с Дашенькой дважды в неделю. Один раз официально и чинно на приемах в ее доме, в субботу вечером или в воскресенье днем, в зависимости от того, ждали гостей к ужину или к обеду. Круг их почти не менялся, то были старые, испытанные друзья, за редким исключением — супружеские пары, но каждый раз опробовался хотя бы один новый гость. За все время, что я участвовал в этих встречах, к монолиту постоянной компании пристал надолго лишь известный прозаик. Время от времени приглашались молодые ученые — потенциальные Дашенькины женихи (по расчетам ее матери), блестящие умы, тщательно скрывавшие этот блеск, но они не задерживались, робко, печально и твердо отвергаемые Дашенькой. Любопытно, что от меня вовсе не пытались скрыть мотив их присутствия в доме, Дашенька — по честности, ее мать — из желания лишний раз подчеркнуть, что со мной никто всерьез не считается. Пренебрежительное отношение ко мне разделяли все гости, кроме двух, главных: Поэта и Музыканта — я чувствовал идущее от них тепло. Это объяснялось отчасти их добротой и уважением к Дашеньке, распространявшимся и на ее избранника, — они-то в отличие от остальной компании прекрасно понимали суть наших отношений, отчасти же — тайным недоброжелательством к ее матери. Отдавая ей должное как значительной и сильной личности, многолетней участнице их сложного бытия, они видели ее фальшь и маскировку утонченным эстетством плоских жизненных расчетов.

Справедливости ради должен сказать, что Дашенькину мать никто не знал до конца, и в первую очередь она сама. В дни своего долгого, мучительного и сознаваемого умирания она поднялась над бытом, болью, даже страхом за безмерно любимую дочь и сравнялась с тем высоким, одухотворенным образом, который неудачно примеривала к себе всю жизнь.

Проницательность напрочь отказывала ей, когда дело касалось самого важного в ее жизни. Она тряслась над Дашенькой, как Скупой над своими сокровищами, но ее ничуть не настораживало, что раз в неделю дочь уходит заниматься к подруге (без телефона), которую никто из домашних в глаза

не видел, надевая лучшее платье, а вместо учебников укладывая в портфель лакированные лодочки. Допустим, последнего она могла и не видеть, но почему не удивлял ее нарядный облик дочери, подкрашенные ресницы, запах французских духов и то, что с занятий Дашенька возвращается во втором часу ночи и сразу же запирается в своей комнате? И это в семье, где весьма ценились такие старомодные сантименты, как прощальный поцелуй на ночь.

Занятия проходили в однокомнатной квартире моего отца в Подколокольном переулке. На редкость не повезло мне с памятными местами моего детства! Я знаю москвичей, которые могут показать и дом, где они увидели свет, и школу, в которой учились, и даже дачу где-нибудь в Мамонтовке, Удельном или Кратове, где проводили лето. Мой старый дом перестроен, а флигель, где я родился и рос, снесен, акулловская дача затоплена Учинским водохранилищем, школу заняла Академия педагогических наук, а дом, где жил отчим, забрало Агентство печати «Новости».

Мы уходили из Подколокольного переулка в девятом часу вечера и ехали в ресторан «Москва» на четвертый этаж, где нас ждал Оська, уже заказавший столик. Почему мы облюбовали этот шумный и несколько тревожный ресторан? Он был сравнительно дешев, и хотя я уже получал гонорары за рассказы и рецензии, но все же не такие, чтобы покушаться на «Метрополь» или «Националь». Кроме того, здесь не нарвешься на знакомых Дашенькиной семьи, которые могли бы просветить ее мать насчет истинного усердия дочери в науках, и, наконец, там пел Аркадий Погодин, который нам нравился.

И под песню Аркадия Погодина «Сегодня мы должны с тобой расстаться» Дашенька сказала мне однажды, что это — о нас. Ее жизнь стала адом, она вконец изолгалась, и лучше сразу порвать, чем длить эту трусливую, воровскую жизнь. «А зачем нам скрываться? Давай скажем все как есть. Почему мы не можем любить друг друга открыто?» — «Ты с ума сошел! — У нее выступили слезы. — Это убьет маму!»

Пусть я не бог весть что, но и не настолько омерзитель, чтобы вызывать такую жгучую и стойкую ненависть. Дашенькиной матери нужно было выдать дочь за такого человека, в которого она сама могла бы влюбиться, чисто платонически,

разумеется. Дашенька должна была получить мужа из рук матери — это одно могло избавить раскаленную душу от мук ревности к тому, кто получит Дашеньку. Моя беда была в том, что Дашенькина мать не могла влюбиться в меня. Она могла влюбиться в знаменитость — действующую или потенциальную, на худой конец в человека видного, авантажного, с лестным положением.

Она привыкла к таким людям в своем окружении и не хотела других, не верила им, даже боялась. Студентик с жалкими литературными потугами был ей гадоком, враждебен, невыносим.

Дашенька любила свою мать, восторгалась ею, была убеждена в ее мудрости, знании жизни, людей и, конечно же, ее, Дашенькиного, блага. Наша история ничуть не поколебала этой веры. Дашенька шла ко мне — и в прямом, и в широком смысле, — как иные вступают в холодную воду: зажмурившись, оглохнув, утратив память, с обреченностью в сердце. Человек и сам не знает, зачем подвергает себя такому мучительству, но веление неотвратимо. И я совпал с чем-то в ней неотвратимым, исключавшим рассудок. Но сейчас она опять слышала голос разума, и родовое, конструктивное громко заговорило в ее душе. Я был приговорен...

Хорошо помню, как странен и красив был ночной московский мир, когда мы отвозили Дашеньку на такси домой. Мы не разговаривали, я смотрел в окно, и щемяще прекрасными казались мне знакомые дома, подворотни, подъезды, фонари, деревья; таким драгоценным окружающее становится лишь перед отъездом. Я уезжал в страну, где не будет Дашеньки, в страну, где все плоско, двухмерно, лишено тайного смысла, тускло исчерпывается в себе самом.

Когда мы подъехали к ее дому, мне показалось, что она хочет попрощаться, и я теснее припал к окошку.

— До свидания, — сказала она холодно и вышла из машины.

— Я поеду к тебе, — сказал Оська. — Не хочется будить мать.

Последнее никогда не останавливало его от весьма поздних возвращений домой, я был признателен ему за эту ложь. Сам бы я не позвал его к себе — из гордости.

Потом, когда мы легли — я на тахте, Оська на раскладушке, — он спросил, закуривая:

— Вы что, порвали?

— Она порвала.

— С чего вдруг?

— Ни с чего. Это давно назревало. Ты же знаешь — ее мать меня не выносит.

Дымок от папиросы расплющивался о луч света законного фонаря, бьющий в щель меж шторами, и, клубясь, растекался по нему. Я не мог представить, как мне одолеть завтрашний день и все последующие дни, которые теперь будут днями без Дашеньки.

— Не злись и не бей мне морду. Ты у Даши — первый?

— Да.

— Значит, она вернется.

— С чего ты взял?

— Она растратила семейное достояние. И это — при такой матери! Значит, она тебя здорово любит. Ты осилил мамашу.

— Как видишь — нет.

— Это последний рецидив покорности. Дать тебе добрый совет? В следующий четверг отправляйся на свою мансарду у Хитрова рынка и жди ее там.

— Ты спятил!

— Ничуть. Она человек жеста. Помнишь букет? Ее сразил твой жест наповал. Поверь умному человеку. Она все равно вернется. Будет звонить. Знаешь, как дозваниваются из автомата?.. Дай ей возможность красивого, великодушного жеста, без бытовой шелухи и сора. Она человек мелодраматический, любит добрые эффекты... недобрые тоже. Мне лично это нравится...

Так уговаривал меня семнадцатилетний мудрец, и я не то чтобы поверил ему, но что-то привлекало в диковатом предложении. И в следующий четверг я приехал в Подколокольный. Ждал я напрасно. Но ожидание было таким значительным, страшным, насыщенным и опустошающим, что подумалось: так можно излечиться. Через неделю я снова был в темноватой неуютной комнате, глядевшей единственным окном в глубокий асфальтовый двор. Я не успел начать ждать, когда в дверь постучали. Я сразу узнал быстрый и решитель-

ный от смятенности стук. Прежде чем открыть, я посмотрел во двор, словно желая запомнить, какая творилась жизнь в то мгновение, которое все равно не остановится, как ни моли, и не повторится никогда. Ребята гоняли в футбол. Из грузовика бережно вынимали огромные, сверкающие, мучительно хрупкие листы стекла. Писал на корточках ребенок, а над ним высилась, защищая от вселенского зла могучим крупом и ширью спины, его молодая мать. Мелькнула стайка воробьев и сгинула. Небо было чистым и голубым. Я открыл дверь. Мы были так потрясены явлением друг друга, что впервые в нашем укроме пренебрегли близостью. Она ничего не могла прибавить.

Я так и не сказал Дашеньке, что меня надоумил прийти сюда Оська, она не простила бы этого ни мне, ни ему. Оська находил достаточно глубины на поверхности жизни, его бесконечно радовало внешнее существование, но когда требовалось, он включал некое тайное устройство и проникал за зримую очевидность людских характеров и обстоятельств. Это ум души, который куда ценнее головного ума. Он знал окружающих лучше, нежели они знали его. Завидная, даром давшаяся проницательность ничуть не мешала ему любить людей...

Наверное, следует, по выражению Аполлона Григорьева, «договаривать» каждую песню, коли начал; хотя другая песня тревожит гортань. Дашенькина мать добилась своего, когда я был на фронте, мне досталось слабое утешение самому отказаться от моей любимой, от жены, с которой не прожил семейно и месяца...

8

Оська, как уже говорилось, заторопил приход юности мятежной. До войны оставалось полгода, когда он ринулся во взрослую жизнь. Кружок «просветителей» собирался на катке «Динамо». Мне и моим друзьям этот маленький каток представлялся местом идиллическим, но было у него и другое лицо. Тут царил бандитизм, состоявшая из недорослей разного «профиля»: папенькиных сынков, познавших в опережение лет все

земные радости, и опекавшая их — отнюдь не бескорыстно — местная шпана. И те и другие мало времени проводили на льду, они торчали в открытой курилке возле мужской уборной и трепались на вечные темы: девочки и выпивка. Еще их интересовали заграничные шмотки, портной Смирнов, бесподобно подымавший плечи коротких по моде пиджаков, бильярд и карты. Компания, повторяю, была крайне разношерстная: одним концом она сползала в блатную трясину, на другом — цинизм и низкопробщина соединялись с известной культурностью, начитанностью, знанием языков и редким по тем простым временам внешним лоском.

Обаяние приблатненного мирка не могло бы захватить здоровую душу Оськи, но его сводила с ума изысканность Бромелей с Петровки. Как элегантно они курили, как легко и привычно вливали в себя крепкие напитки, как небрежно и властно обращались с девушками, как высокомерно цедили слова и разяще острили с каменными лицами, как резали в середину и с каким шиком забивали в угол, а их фланелевые брюки и пиджаки из синей рогожки! Дома у них можно было насладиться полной «Книгой маркизы» Сомова, полистать голливудские журналы, послушать песенки Мориса Шевалье, к тому же они были умны, насмешливы, ничего не принимали всерьез и — самое главное — предельно упростили Оське нелегкий для всякого сколько-нибудь значительного юноши шаг.

Оська вначале ничего не говорил ни мне, ни тем более Павлику, морально крайне брезгливому, о своей новой компании. Не то чтобы он ее стыдился, ничуть не бывало, — он упивался новым образом жизни: с ресторанами, бильярдными, картами, ночными грешными сборищами, равенством с бывальыми людьми, и не хотел, чтобы мы высмеивали то, что для него было осуществлением мужского идеала. Ему проще было жить в двух мирах: в старом — с нами, в новом — с теми, чье зловещее очарование пленяло. Мы и не догадывались, как далеко зашла болезнь. Выдал Оську язык. У него была хорошая речь, воспитанная средой, стихами и традицией Маяковского, речь, конечно, сугубо городская, но чистая и образная — Оська умел красиво и хлестко говорить, а сейчас с дурацкой самоуверенностью черпал из мусорного ящика пошлость омертвевших сленговых оборотов и слов-уродцев. Первым не выдержал Пав-

лик. Он пришел по отпускной: в солдатской одежде, тяжелых сапогах, стриженный под машинку, с погрубевшим костяком, серьезный и хмурый. «Где ты набрался этой дряни? — спросил он Оську. — Со шпаной дружишь?» Оська смутился, что случилось с ним нечасто. «Я просто дурака валяю. Люблю, как Сатин, мудреные слова. И вас надо немного просветить. Отстали от жизни. Знаете, например, что такое «закон хазы»?» — «Знаем, — мрачно ответил Павлик, — дерьмо». И тут меня осенило: «Твои новые дружки — это идиоты из динамовской курилки. Ты вечно там ошиваешься». — «Они вовсе не идиоты, — с достоинством возразил Оська. — Тут ты сильно ошибаешься. Конечно, идиоты есть всюду, но они не делают погоды. Тон задают ребята острые, начитанные и классные игроки. С ними интересно». — «Представляю!» — «Ничего ты не представляешь. Павлик — служба, ему нельзя, а ты взял бы да и пришел разок на наши сборища. Писатель должен все знать!» — захохотал Оська. «А ты правда сходи», — поддержал Павлик, и я понял, что он имел в виду. Мы не должны отдавать им Оську, но нельзя бороться с призраками, надо знать врага в лицо.

И я узнал вскоре, на сборище, состоявшемся в Оськиной квартире в связи с отъездом его матери в командировку. Сильное впечатление! Я все-таки не думал, что это так противно. Пили много и гадко: из стаканов, чашек, прямо из горла, лишь «аристократы» лениво потягивали сухое винцо. Они держались наособицу, и мне показалось, что главное удовольствие они получают от распада окружающих, в первую очередь девчонок. Их переглядки, ухмылки, брезгливые, сквозь зубы реплики были противнее пьяного угара, неопрятности застолья: вилок не признавали, ели руками, консервы выскребывали ножом, плевали на пол, окурки давили в бокалах. Свинство было сознательным, но унижался не конкретно этот вот дом, как мне вначале представилось, а родительский дом вообще — опрятность, устои, порядок. В этой компании не пели — их песни еще не были написаны, не танцевали — их ритмы еще не родились, им, в сущности, нечем было занять себя, кроме примитивного эпатажа, издевательства над любовью и ленивого переругивания на непонятном мне языке.

С трудом выпив рюмку водки и не закусив, так все антисанитарно выглядело, я забился в угол дивана, не пытаясь соединиться с происходящим. До войны во всех молодых компаниях обязательно был Король. Имелся он и здесь — юноша с лицом Дориана Грея. Он повернулся ко мне и любезно сказал, что видел в «Огоньке» мой рассказ. «Это дебют?» — И улыбнулся темно-кариыми глазами и уголками прекрасно очерченных губ. Господи, какая у него была улыбка! Оська тоже хорошо улыбался, но слишком простодушно, слишком открыто. А этот юноша, улыбаясь, приобщал всех к тайне, которая откроется лишь избранным и доверенным. И я наверняка поддался бы очарованию королевской улыбки, если бы не подскочил парень по кличке Делибаш с экстренным сообщением. Король засмеялся, кровь мгновенно прилила к голове, матово-бледное лицо грубо, свекольно побагровело, полутоткрывшийся и застывший буквой «о» рот стал выталкивать порциями хрипло-захлебные звуки, будто он выпал из петли, и наш разговор, не успев завязаться, погиб в приступе тупого, неуправляемого, недоброго хохота. Как позже выяснилось, обрадовало Короля, что «Катьку накачали вусмерть». Катька была его фавориткой, недавно вытесненной другой избранницей — Елкой. Она поклялась свести счеты с Елкой на этой вечеринке, и Король приказал обезопасить ревнивицу. Сейчас Катьку унесли в спальню и запихнули под кровать. И довольный Король хохотал.

Затем он окликнул дюжего парня со странной фамилией Подопригора.

— Катьку — нах хаузе!.. — И швырнул ему пятерку.

— Мало, — сказал Подопригора. — Она в Останкине живет.

С брезгливым выражением Король швырнул еще пятерку.

Подопригора прошел в спальню и через некоторое время выволок оттуда растерзанную Катьку с красным, помятым лицом.

— Король, — сказала она жалобно. — Ну чего он?.. Ведь больно... Ты скажи ему, Король...

— Кирять надо меньше, — заметил Делибаш.

Катька обвела компанию осоловелыми несчастными глазами.

— Нарочно меня напоили?.. Это ты им велел, Король? Избавиться хочешь?.. Какая же ты дрянь!.. — И, оттолкнув Подпригору, сама пошла к двери.

Я поискал глазами Оську. Он исчез. Не видно было и пепельноволосой Ани, спокойно и отчужденно просидевшей весь вечер в темном углу...

Компания исчезла молниеносно, когда я звонил домой по телефону из длинного, темного, зловещего коридора — Оська жил в сдвоенной квартире. Вернувшись, я застал лишь грязную посуду — подружки Короля и его свиты не потрудились прибрать за собой. У меня дома никто не подошел — все спали, на метро я опоздал, такси ближе чем на площади Свердлова не поймаешь, останусь здесь. Я распахнул окно, зловещее здание телефонной станции надвинулось всей своей слепой громадиной, но чистый горьковатый воздух ранней осени ворвался в комнату и погнал прочь миазмы. Я собрал остатки еды в салатницу и поставил ее на подоконник, бутылки снес в угол комнаты, столешницу вытер газетой, вымыл руки в ванной и, сняв ботинки, улегся на широком, с выпирающими пружинами диване.

Я чувствовал, что мне не заснуть. Хотелось понять, что значит для Оськи низкопробная компания. В его поведении была какая-то двойственность: он уверенно плавал в мутной воде этого аквариума и одновременно наблюдал его содержимое как бы извне, сквозь стеклянную стенку. Холодноватый прищур со стороны явился для меня полной неожиданностью. В своих отзывах о новых приятелях он был куда наивней и восторженней. Чего-то я не ухватывал в Оське.

А сна ни в одном глазу. В изголовье находилась этажерка с книгами и журналами. Я стал тянуть оттуда то одно, то другое, удивляясь, как всегда, многообразию и непоследовательности Оськиных интересов: то мне попадалась занимательная физика, то монография о Фелисьене Ропсе, то детские книжки Хармса, то «Автомобиль дядюшки Герберта» с чертежами моторов и шасси, то стихи Маяковского в обложке Оськиного отца, то потрепанные, зачитанные до дыр томики Джека Лондона из дешевенького собрания сочинений начала тридцатых годов. Потом я нащупал довольно тяжелый, совсем свежий альбом с фотографиями. Я стал его листать и вспомнил, что Оська го-

ворил о цикле фотографий «Московский дождь», который он сделал с помощью своего приятеля из арбузовской театральной студии. Я знал этого своеобразного парня, сочетавшего напряженную жизненную активность с обескураживающей замкнутостью и молчаливостью, почти равной немоте. Он был интересный актер, а потом открылся как самобытный поэт и первоклассный переводчик. Сцену он бросил после первого успеха, единственная книга стихов вышла после его смерти, а как переводчик он получил признание при жизни, оставаясь за спиной поэтов, которым дал русский голос. Под маской невозмутимости таился страстный характер, приведший его к гибели.

В те юные годы, о которых идет речь, у него была ладная, крепкая фигура и легкая косолапость, определившая поступь — бесшумную и мощную, как у таежного медведя, узкие глаза с поволокой над крутыми скулами и редкая томительно-застенчивая улыбка. Он присутствовал на всех фотографиях — большей частью в своей естественной печали, изредка улыбающийся, и тогда становилось еще печальней: топчущий лужи под косыми струями дождя, у гранитного подножия памятника, у витрины с крабами и коньяком, на трамвайной остановке, у водосточной трубы, глядя на нее так задумчиво и нежно, словно собирался сыграть ноктюрн на извергающей воду флейте, у афиши с просторным лицом актрисы, роняющей из огромных глаз дождевые слезы, на бульваре с черными, по-весеннему голыми деревьями, смотрящими вслед девушке. Это была тихая, «под сардинку», как произносил артист Оська в роستانовском спектакле, песня городскому одиночеству. Печальная песня, но без тоски, без маеты и уныния. Хотелось быть на месте юноши под дождем, на перекрестке, на трамвайной остановке, в аллее бульвара, его что-то ждало впереди, не за тем, так за другим поворотом, пусть эта девушка не остановилась, прошла мимо, появится другая, она уже движется навстречу ему сквозь косые струи, прозрачный пар, и они уже не разминутся. Песня одиночества и надежды...

Когда я проснулся, довольно поздно, герой-любовник пошел в школу, куда направилась его пепельноволосая дама, не знаю. В комнате прибрано. На столе под чистой салфеткой я обнаружил баночку шпрот, хлеб и масло, а на спинке

стула — чистое полотенце. Я помылся, поел и собрался уходить, когда в дверь позвонили. Открыв, я, к своему удивлению, узнал Елку, новую возлюбленную Короля, с ней была незнакомая рослая девушка с влажными глазами оленихи и прыщавым подбородком.

— Слава те Господи! — сказала Елка. — С утра названиваю, хоть бы кто трубку снял. Думала — перемерли. Я тут клипсу обронила.

— Какую еще клипсу?

— А вот такую. — Она показала на правое ухо, в розовой мочке голубела поддельными сапфирчиками дешевенькая клипса. — Мы с Королем в ванной обжимались. Наверное, там.

Она прошла в ванную комнату и сразу вернулась, привинчивая клипсу к мочке.

— Порядок! Пиво там осталось?

— Нет.

— Вот свиньи, все вылакали. А Оська где?

— В школу пошел.

— В какую еще школу?

— В обыкновенную.

— А зачем ты его продаешь? — сказала она с упреком. — Он врал, что работает. Оказывается — школьник.

— Он работает. Помогает отцу. У него отец выставку оформляет.

— Все равно ты его заложил. Он скрывал про школу.

— Я этого не знал. Пусть врет умнее. А если всерьез — может, оставите мальчишку в покое?

— Ты его воспитываешь?

— Это вы его воспитываете. И довольно вонюче.

— Не дешевишь! Пи-да-гог!

Несмотря на вульгарный тон, она была симпатична. Стройная, сухощавая, с миловидным сероглазым личиком и странно озабоченным лбом. Молодая кожа не могла собраться в настоящие морщины заботы, но стягивалась в тугие вертикальные складки между бровями. Я ничего не знал о Елке, но по тому, как она примчалась за копеечной клипсой, было ясно, что жизнь королевской наложницы отнюдь не роскошна. Одета Елка была очень скромно, хотя и со вкусом: приталенное легкое пальтецо поверх серого вязкозного платья, шляпка из мяг-

кого материала под фетр, принимавшая в ее руках любую форму. За время нашего разговора Елка придавала ей то фасон «маленькая мама», то пирожка, то картузика, отчего менялось и выражение лица: от «не замути вода» до вызывающе хулиганского.

— А сама ты что делаешь? — спросил я.

— Работаю, что мне еще делать? Я у тетки живу, на своих хлебах.

— А почему филонишь?

— Отпросилась. Надо в Быково съездить. По теткинским делам. Вот Гретку подбила. Она с занятий смылась.

— С каких занятий?

— Что ты как следователь? В техникуме она.

— А вчера почему не была?

— Уже влюбился? Пустой номер. Она на Короле чокнутая. А к нам ей вход запрещен — нецелованная. — Елка иным, хлестким словом обозначила девственность рослой Греты.

— Не думал, что вы такие моралисты!

— Нам лишний шорох ни к чему... А ухватилась обеими руками, ну и держись покрепче, дура! — Последнее относилось к Грете.

— Я красиво хочу, — тоненько донеслось с высоты.

— Ходи на балеты, там красиво... Слушай, поехали с нами, — вдруг предложила мне Елка. — Все равно тебе не черта делать.

Дел у меня было по горло, но неожиданно для самого себя я согласился.

Эта поездка в осенний пригород, в золотой теплый солнечный октябрь, в пустынные, тихие дачные улицы, усталые палой листвой, бесшумно скользящей по земле, осталась шемящей памятью в моей душе. В отличие от моих друзей я жил слишком зашоренно в свои двадцать лет. День мой делился между институтом, «муками слова» и беготней по редакциям. Моиими праздниками была Дашенька, но оставались эти нечастые праздники по-прежнему строго регламентированными, и с каждым разом я все больше переживал их предопределенную краткость. Изменить же что-либо Дашенька была не в силах, и приходилось молчать, чтобы вовсе не потерять ее. Жилось мне трудно. Писать оказалось нелегко. Те-

перь и лето утратило свою безмятежность. А осенью я впрягался в воз, который был мне совсем не по силам. Чтобы выдержать, я заковывал себя в строжайший режим. И вдруг ни с того ни с сего — золото, и синь, и чуть горчащий мед воздуха, красивая девушка и чувство полной свободы. Я был близок к тому, чтобы влюбиться в Елку. Но она этого не хотела и по своему деликатно удержала меня на расстоянии.

Наверное, мне хотелось отомстить ей за скрытый отпор, когда я сказал, что она спровоцировала жалкую историю с Катькой.

— Да ты сдурел! — Елка даже не обиделась. — Все от Короля. А за Катьку не переживай. Она с Подопригорой спелась. Два алкаша — пара... И за Оську не переживай. За себя лучше опасайся. А к Оське ничего не прилипнет.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю. Нагляделась. Оську не ухватить. Он сам по себе.

— А ты?.. Ты тоже сама по себе?

— Нет. Я — при Короле. Я в него — вот как!.. — Она провела рукой над шляпой, которой перед этим придавала форму поповского колпака. — Я тебя понимаю... Только ты зря. Пусть ребята отгуляют, им недолго гулять.

— Почему?

— Адольф не даст. Войны не миновать. И пули на ребят уже отлиты.

— Только не на Короля, — подначил я.

— Да!.. — сказала она с непонятым, презрительным торжеством. — Тут я с тобой согласна. На него пули нету.

Так и оказалось. Короля не взяли — по здоровью. Все остальные из веселой компании надели шинели. Ни один не вернулся.

9

Когда началась война, Оська еще сдавал выпускные экзамены.

В день получения им аттестата мы собрались у меня. Пили вино. Моя любимая была с нами. Охмелев, Оська уговаривал

нас срочно пожениться. «Вы должны это сделать. А то война расшвыряет так, что не найдете друг друга. Так валяйте, пока я с вами. У меня нет ни одного женатого товарища. А до чего же приятно бросить: «Жена моего друга!» Это как патент на взрослость. В суровых фронтовых условиях Дашенька станет «жинкой одного кореша». Пошли в загс!» Дашенька закатывала глаз, что было недобрый признаком. «Зачем тебе косвенные доказательства своей взрослости? Ты можешь и сам жениться». — «И оставить вдову с персидскими глазами?» — смеялся Оська. «Почему обязательно?..» — «Не надо! — оборвал он с каким-то брезгливым выражением. — Утешай кого-нибудь другого. Мне наплевать, что убьют». Таким я не видел Оську. В его тоне прозвучало не ухарство, не хмельная бравада, а презрение к жизни. Если ему наплевать на жизнь, то и на дружбу наплевать. Значит, нет для него ничего святого?.. Пройли десятки и десятки лет, прошла жизнь, когда я понял смысл его до конца серьезных, сокровенных слов.

10

Уходил Оська на войну в конце октября из опустевшей Москвы. До этого он проводил отца и мать в эвакуацию. По странной игре судьбы эти два человека, чьи пути так рано разошлись, уезжали одним автобусом. Муся сунула своего бывшего мужа в транспорт, принадлежавший учреждению ныне действовавшего поклонника. Оська был комически умилен этим совместным бегством. «Отошли на заранее подготовленные позиции, — смеялся он. — Отец вторично обрел в моей матери друга по спасению». Но ему было грустно, и переживал он остро разлуку с отцом, а не с матерью. «За мать я спокоен. Это стальная птица. Отца жалко. Весь год он маялся желудком. Язва, что ли? Он молчит, но я вижу, какой он желтый, ссохшийся». Желтый ссохшийся человек оказался самым прочным из троих: истлели косточки его румяного, сроду не болевшего сына, улетела в мир иной стальная птица, а он, еще более ссохшийся, по-прежнему налегает худым плечом на ветер. Дай Бог ему здоровья...

Оська уезжал со дня на день, его уже дважды требовали с вещами на призывной пункт, но почему-то отпускали домой. Со мной было неясно. Мой институт эвакуировался в Алма-Ату, а я подал заявление в школу пехотных лейтенантов. Медицинская комиссия меня забракела. И военком посоветовал доучиваться в институте. Надо было суметь попасть на фронт в обход райвоенкомата.

Но вот стало точно известно: Оську и его товарищей по выпуску отправляют на восток в трехмесячное пехотное училище. Он пришел проститься с моими домашними, потом мы поехали к нему на Мархлевского. Я знал, что он ждет девушку, ту самую пепельноволосую Аню, которую выудил из «королевского пруда», а вернее — она его выудила и незаметно увела из мутных вод, и хотел попрощаться у подъезда, но Оська настоял, чтобы я поднялся.

Когда мы провожали Павлика на действительную, он разделил между нами свои скромные богатства. Павлика не баловали дома и растили по-спартански. Правда, в восьмом классе ему сшили бостоновый костюм «на выход», и Павлик проносил его до армии, время от времени выпуская рукава и брюки, благо запас был велик. Но у него имелся дядя, выдающийся химик, и однажды этого дядю послали на международную научную конференцию за кордон, что в ту пору случалось нечасто. В пожилом, нелюдимом, обсыпанном перхотью, запущенном холостяке, по уши закопавшемся в свою науку, таилась душа пижона. По окончании конференции он потратил оставшиеся деньги на приобретение жемчужно-серых гетр — тогдашний крик моды, смуглой шелковой рубашки, двух свитеров, роскошного галстука и темных очков, почти не встречавшихся в Москве. Но, вернувшись домой, он понял, что наряжаться ему некуда, поскольку ни в театр, ни в гости, ни на балы он не ходил, а таскать на работу столь ослепительные вещи стыдно, да и непрактично: прожжешь химикатами, и тогда он вспомнил о юноше-племяннике, и на скромного Павлика пролился золотой дождь.

Ко времени его ухода в армию вещи малость пообносились, утратили лоск, но все же мы с Оськой были потрясены до глубины души, когда Павлик царственным жестом передал нам свои сокровища. От костюма пришлось отказаться — по

крайней ветхости, остальное мы поделили: Оська забрал дымчатые очки, я сразу напялил гетры. Оська взял галстук с искрой, я — рубашку, каждому досталось по свитеру.

Теперь Оське ужасно хотелось повторить мужественный обряд прощания, когда без соплей и пустых слов товарищу отдается все, чем владеешь на этом свете. Но сделать это Оське оказалось куда сложнее, нежели Павлику: все сколь-нибудь стоящие джемперы, рубашки и галстуки он давно проиграл Бочке, Делибашу, Карасю и Подопригоре (за исключением наследства, полученного от Павлика, — с ним разделалось беспощадное время); фотоаппарат еще раньше подарил герою фотосерии «Московский дождь», библиотеку вывезла мать, а картины — отец. Оставались предметы домашнего обихода, и Оська совал мне рефлектор, электрический утюг, кофемолку, рожок для надевания туфель, пилу-ножовку и две банки горчицы; от испорченной швейной машинки я отказался — не донести было всю эту тяжесть; еще Оська навязал мне лыжные ботинки и траченную молью шапку-финку, суконную, с барашковым мехом.

Может показаться странной и недостойной эта барахольная возня перед разлукой, скорее всего навечной, ничтожное копанье в шмотье посреди такой войны. Неужели не было о чем поговорить, неужели не было друг для друга серьезных и высоких слов? Все было, да не выговаривалось вслух. Нас растили на жестком ветру и приучили не размазывать по столу масляную кашу слов. А говорить можно и простыми, грубыми предметами, которые «пригодятся». «Держи!..» — а за этим: меня не будет, а ты носи мою шапку и ботинки и обогревайся рефлектором, когда холодно... «Бери кофемолку, не ломайся!» — это значит: а хорошая у нас была дружба!..» «Давай, черт с тобой!» — а внутри: друг мой милый, друг золотой, неужели это правда и ничего больше не будет?..» «На дуршлаг!» — но ведь было, было, и этого у нас не отнимешь. Это навсегда с нами. Значит, есть в мире и останется в нем...

В разгар расхищения Оськиного имущества пришла Аня. Я уносил, она что-то принесла — байковые портянки своего отца, ненадеванные, теплое белье, табак. Она серьезно, как положено русской женщине, собирала на войну своего любимого. Оську это развеселило. «Неужели я настоящий? —

спрашивал он. — Портянки, теплое белье — это не шутка, особенно портянки. Я начинаю чувствовать себя частицей народной жизни. Что еще положено солдату? Котелок, деревянная ложка за голенищем, парочка вшей, трехлинейка, подсумок... Кстати, знаете, я хорошо стреляю. Даже выиграл районное первенство. Мне казалось, что это когда-нибудь пригодится. Допрыгался Адольф! Когда настанет миг воинственный, падет последний исполин, тогда, ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин!..»

Аня никак не отзывалась на все это витийство. На ее полудетские плечи опустилась тяжкая ноша — судьба солдатки.

Осыка чуть скиксовал, когда, нагруженный дарами, я вышел на лестничную площадку. Мы не видели друг друга в темноте, но я знал, какое у него лицо, когда он сдавленным голосом сказал:

— Слушай, может, отправить ее домой?.. У меня есть спирт.

— Не надо.

— А зачем она? Хоть отговоримся напоследок.

— Не отговоримся.

Я знал, что ему будет легче, если он останется с этой девочкой. Утром, неспроставшийся, обалделый, опаздывающий, он кинется на призывной пункт и опомнится уже в другой, окончательной жизни.

Что-то сместилось в сумраке, и на миг обрисовалась его худая, совсем детская шея.

— Не сломай голову. Ступеньки сбитые, — были последние его слова.

Мы не обнялись, не поцеловались, даже не пожали друг другу руки — все это было так незначуще. Он долго стоял на площадке, слушая мои удаляющиеся шаги. Парадная дверь и дверь его квартиры захлопнулись почти одновременно.

На улице было так же темно, как на лестничной клетке. Синие маскировочные фонари не давали света. Телефонная станция, даже не проглядываясь, ощущалась давящей громадой. Вот здесь на тротуаре большеголовый мальчик с раскосыми глазами самозабвенно рисовал мушкетера, а я из зависти и ревности зашаркал его рисунок. И он хохотал, пораженный новой загадкой жизни. Давно это было или недавно?.. А может, только случится?.. Я приду сюда и увижу мальчика,

ползающего на коленях с куском угля в руке, и сам буду мальчиком, только добрым, и не испорчу его рисунок; а потом начнется долгая, бесконечная жизнь бок о бок... Нет, не будет этого, да и было ли когда?..

От улицы Мархлевского до Гоголевского бульвара я прошел пешком. Почему я не сел в метро, ведь мой путь шел мимо станций: «Площадь Дзержинского», «Площадь Свердлова», «Библиотека имени Ленина» — не знаю. Я шел и шел, почти по прямой, а вещи оттягивали мне руки. Дважды меня останавливали патрульные, придирчиво осматривали рефлектор, электрический утюг и кофемолку, небрежно — все остальное и отпускали. Помню, я думал о том, что мама обрадуется рефлектору, в доме перестали топить, а печурки еще не вошли в московский военный быт.

11

Осыку я никогда больше не видел, хотя долгое время верил, что он мелькнул мне на снежной, но почти уже потекшей мартовской дороге между аракчеевским поселком Селишево на Волхове и Малой Вишерой.

Я возвращался в деревню Дору, где стояла моя часть, из «прорыва», как называли вражеский мешок под Мясным бором, куда фатально вползала наша ударная армия. Мы только что переправились через реку, и наша полторатонка, гремя разболтанными бортами, кашляя и задыхаясь, стала карабкаться по береговому откосу, когда навстречу нам вышли лыжники-автоматчики. Из-под круглых зеленых касок глядели усталые мальчишеские лица. Очень новые, с необмявшимися воротниками шинели, необстрелянное оружие за спиной, блестящие, как зеркало, шанцевые лопатки, не отрывшие ни одного окопчика, говорили о том, что эти автоматчики — молодые бойцы пополнения. Маршевый батальон не держал строя, и многие из автоматчиков ложились на снег для короткой передышки: кто ничком, кто свернувшись калачиком. Иные жадно, горстями, запихивали себе в рот пушистый сухой снег. Но были более выносливые или более упрямые.

Согнувшись и не глядя по сторонам, они упорно шагали обочь дороги с лыжами на плече.

Промчалась штабная «эмка». Сзади нее, привязавшись ремнем к буферу, неся на корточках, молодой лыжник. Вслед ему полетели веселые выкрики и шутки, забавная его выдумка как будто вернула бодрость уставшим паренькам. Они сдвигали на затылки глубокие каски, чтобы полюбоваться на своего лихого товарища.

Проносясь мимо нас, боец поднял голову, и я узнал беспечное, нежное, с чуть монгольским разрезом глаз, красивое, дерзкое, дорогое лицо Оськи. Я что-то заорал и на ходу вывалился из кузова.

Штабная машина быстро удалялась к Волхову. Размахивая руками и крича во все горло, я бежал следом за ней. Оська приподнялся, я чувствовал — он силится меня разглядеть, но расстояние между мной и машиной быстро увеличивалось. Лыжники провожали меня удивленными взглядами. Я выбежал на берег Волхова, когда машина уже подпрыгивала на досках моста.

Впереди лежал замерзший, в черных полыньях Волхов. Другой берег тонул в сумерках, а наш как-то печально светился, словно по его откосам расстелили бледные ризы.

Никогда не забыть мне щемящей тоски закатов Приволховья. Казалось, что солнце, исчерпав свою скудную, бедную силу, навсегда прощается с землей, медленно и блекло навек умирает день.

Резкий, гортанный крик команды заставил меня очнуться. Уже весь батальон собрался на краю обрыва, и вот первый автоматчик, словно пущенный из пращи, сорвался и понесся под откос, взметая снежную пыль. За ним второй, третий... Один за другим лыжники стрелой неслись к реке, в воздухе мелькали палки, синие колеи на снегу сплетались в сложный узор. Вот уже первый лыжник петляет между черными ямами полыней, и, настигая его, мчатся десятки других юных автоматчиков. И уже нет здесь усталых детей — быстрые, собранные в комок, устремленные вперед солдаты наступления. Противник был далеко, за ледяными валунами другого берега, за редким, как расплзшийся шелк, иссеченным снарядами лесом, но мне казалось, что стремительное движение этих лыжников не кончится, пока они не достигнут сердца врага. И мне стало менее грустно при мысли о том, что Оська находится среди настоящих людей...

...Оказалось, Оська никогда не был на Волховском фронте. Он погиб у Ильменя. В один из московских госпиталей привезли его товарища, однополчанина, который был с ним в последнем бою. И перед тем, как его ранили, он видел Оську, тащившего на спине раненого.

Так сказал он Оськиной матери, когда она пришла к нему в госпиталь...

А как же с упреком, брошенным мне мертвым солдатом? Может быть, Оська просто подставил плечо раненому товарищу, а потом того подхватили санитары, и Оська вернулся в бой?.. Может быть, Оська не хочет, чтобы поступок, естественный для него, как дыхание, выдавался за подвиг? А может быть, еще глубже: всякие котурны оскорбительны для нашей дружбы?..

12

Однажды я спросил Владимира Осиповича, писал ли он Оську. «Пробовал, не получилось. Чего-то не ухватывал». Он достал из шкафа небольшой карандашный портрет Оськи, нет, портрет — чересчур сильно — набросок, сделанный уверенной и мастеровитой рукой. Удлиненные китайского разреза глаза, сжатый рот, нежный овал, лицо серьезное и печальное — я не помню Оську таким. Но чем пристальней вглядывался я в портрет, тем крепче становилась убежденность, что я вижу настоящее Оськино лицо. Наверное, я вычитывал в его чертах то, что мне хотелось: легкость, веселье, озорство, иногда задумчивость, предшествующую шутке, остроумной выходке, озарению. Это был Оська, с которым божественно просто. А непредвзятому зрению Константина Рождественского (я разобрал подпись под наброском) открылся совсем другой юноша.

— Какое печальное лицо! — сказал я. — Это не Оськино выражение, а сходство удивительное.

— Вы считали Оську бездумным весельчаком?

— Бездумным — нет. Но конечно, он был веселым человеком. Очень веселым, в этом его очарование.

— Ему было весело жить — правда... Но очевидно, не всегда. Вы видели его рисунки?

— Детские?

— Взрослых у него и не могло быть. Скажем, юношеские.

— Я думал, он давным-давно это забросил.

— Оказывается, нет. Мы с Мусей нашли целый ворох его акварелей последних лет. Значит, он их никому не показывал.

Владимир Осипович с приметным усилием наклонился и достал с нижней полки шкафа толстую стопу акварелей. На всех рисунках присутствовал паучий знак свастики. Фашизм пытал, терзал, уничтожал человечесью плоть. Шли в пике «юнкеры». Падали бомбы на городские крыши. Перли вперед солдаты в рогатых шлемах, почти закрывавших лица, с прижатыми к боку автоматами. Резиновые дубинки обрушивались на головы. Волосатый кулак ломал челюсть, крошил зубы. Задастые, с закатанными выше локтей рукавами узколобые неандертальцы били, пытали, жгли, расстреливали. В пыточных застенках, за решеткой тюрем, за колючей проволокой лагерей. В лужах крови умирали люди с нежно-скуластыми лицами; ни одному из них смерть не смогла навязать безобразной позы.

На каком сильном чувстве творил Оська свою тайную «Гернику»!

— Он ненавидел жестокость, — услышал я голос Р-на. — Ему не уцелеть было в современном мире.

Я вспомнил и понял Оськину фразу: «А мне наплевать, пусть убьют». Он знал, что не вернется с войны, и не хотел выглядеть жертвой. Он шел на смертный бой и не ждал пощады.

13

...Недавно раздался телефонный звонок.

— Юра, доброе утро. Это Володя... Как какой?.. Р-н!

Что-то помутилось у меня в голове. Сходство голосов, короткая, похожая на воинскую команду, на выстрел, фамилия,

и потом... отец моего друга никогда не называл себя так. Мы оба помнили о разделяющей нас разнице в четверть века. И что-то сбилось во мне. Владимир Осипович... Осип Владимирович... Ося... Володя... Ну почему он вдруг назвал себя по имени? Недавно он потерял жену, с которой прожил жизнь. Одиночество, срыв всех привычек, беспомощность. Конечно, он все это преодолеет, но сейчас нужно дружеское плечо, о которое можно опереться. И наверное, мы стали равны в державе старости?.. Юра... Володя... Нет, Ося! Я дождался его, и вот уже не призраком юноши на лесной поляне под медленным сизым облачком явился он мне, а во плоти, в образе естественной и хорошо несущей себя старости.

— Я болел, но сейчас все в порядке. Работаю, — слышал я Оськин голос. — Грех забывать друзей. — Металлом пробивается привычное бесстрашие, но меня уже не обмануть, я знаю, что Оська нашел способ вернуться ко мне.

НЕНАПИСАННЫЙ РАССКАЗ СОМЕРСЕТА МОЭМА

Когда мы встретились, он уже подвел итоги и зачехлил стило. С подведением итогов явно поторопился, сделав это четверть века назад, видимо, не допускал, что Господь пошлет библейское долголетие худому, слабогрудому, много болеющему человеку. Стило еще долго служило ему верой и правдой. Его быстрый бег по бумаге навсегда остался дрожанием в правой кисти. «Это не «Паркинсон», — сказал Сомерсет Моэм, заметив, что я смотрю на его руку. — Профессиональная болезнь. Расплата за прилежание».

Сказав фразу-другую, Моэм плотно сжимал запавший рот и ждал реакции собеседника: отзыв был ему необходим, как автомату монета. Иначе — немота. Но так продолжалось, пока он не сел на своего конька. Тут сразу обнаружилось, что по натуре он рассказчик, а не собеседник, мастер монолога, а не диалога. Но сейчас для «автомата» срочно нужна была «монета». Я тщетно шарил в карманах памяти. Лев Толстой «выдавал» порой больше печатного листа в день, но рука его оставалась тверда. Вряд ли эта справка взбодрит Сомерсета Моэма. Я ограничился нейтральным сообщением, что у меня тоже ноет плечо. «Это соли!» — сказал он быстро и раздраженно. Мальчишка, шенок, разве я пролил столько чернил, чтобы нажить благородную профессиональную хворобу! Тяжело со стариками, никогда не знаешь, что может их задеть. И так не хотелось

огорчать Моэма. Меня заливала несказанная нежность, обостренная страхом за грозную хрупкость так щедро истратившей себя души.

Я чуть ли не со слезами смотрел на мумифицированного, изысканного джентльмена, сотворившего столько чудес. Все на нем было сверхэлегантно: летний пиджак из синей рогожки, узкие светлые брюки с бритвенно острой складкой, бесстрашно яркий шейный платок и последней модели массивный «Роллекс», соскальзывающий на узенькое смугло-крапчатое запястье.

Он живет почти безвыездно на Ривьере, прогревая свою оскудевшую кровь жарким солнцем Средиземноморья, но раз в год отправляется в Лондон, чтобы обновить гардероб. Лучшему портному заказываются костюмы и пальто, лучшему сапожнику — обувь, с особым тщанием отбираются галстуки и платки в нагрудный кармашек. Франтовство девяностолетнего старца не смешно хотя бы потому, что оно позволило ему одевать своих персонажей (особенно дам) с изысканностью, которую можно встретить у Бальзака и Пруста.

В разговоре нам подвернулся Жан Жироду. Возможно, я упомянул о том, что живу в Париже на улице, носящей его имя, это возле Елисейских полей, в сторону Триумфальной арки. Моэм стал говорить о нем в тоне, напрочь отвергающем лицемерное правило: о мертвых или хорошо, или ничего. То был уже не первый случай, когда он набрасывался на ушедших с яростью, достойной противника во плоти и крови, в крепком доспехе, с наостренным мечом. Я осмелился напомнить, что Жироду беззащитен перед живыми — стоит ли нападать на него столь яростно.

— Бедные, бедные великие мертвецы! — всплеснул он своими маленькими старушечьими руками. — С ними никто не считается, их в грош не ставят. За что?.. Они творили, боролись, шумели, отстаивали свое я, делали все, чтобы вырваться из тени забвения. А мы, пользуясь печатью на их устах, отмываемся от всего ими сделанного и считаем ниже своего достоинства спорить с ними, опровергать их, тем паче ругать, как, по выдумке Жироду, ругали греки неприятеля, прежде чем кинуться на деморализованных бранью воинов. Жироду беззащитен? Ничуть! Он имеет миллионы защитников по всему миру, вы, очевидно, из их числа, он имеет защитника в себе самом и

даже во мне — я до сих пор разделяю его заблуждение, что можно находить достаточно глубины на поверхности жизни. Но я злюсь на него, я не могу простить, что «Электру» написал он, а не я. Пьеса о троянской войне еще лучше, но я не завидую — такого мне не написать. Английской иронии, тяжеловесным дотугам на юмор никогда не достичь роскошества галльского остроумия. А нет ничего остроумнее «Троянской войны не будет». У англосаксов есть ирония, есть сарказм, грубоватый юмор, но остроумие всегда вымученное, даже у Бернарда Шоу. Я острою тоньше, чем Шоу или Во, но слишком робко. А «Электру» я мог бы написать, но написал ее Жироду, оставив меня без лучшей пьесы. Что я, должен ему за это руки целовать? И я ведь тоже не из землероек, мне на поверхности было не хуже, чем Жироду, но в этом двухмерном пространстве он меня теснил. Боже, как он был красив и элегантен! Прав этот школьный учитель Моруа, назвавший его первым во всем. Говорят, Жироду отравили. Он был дипломатом и пал жертвой политической интриги. Никогда в это не поверю. Как не верю в важность дипломатических миссий Рубенса. Художник не может быть ничем, кроме того, что он есть. Все остальное — игра.

Я спросил: была ли служба Моэма в Интеллидженс сервис тоже игрой? «Чистой воды! — не задумываясь ответил он. — Лоуренс — Аравийский, Моэм — Петербургский. Я начисто не понимал, что у вас происходит. Положа руку на сердце, не понимаю и сейчас. Вы хотите осчастливить людей, в этом, если не ошибаюсь, цель марксизма. Но ведь это невозможно. Каждый носит в себе свой ад и никому его не отдаст». Я не стал возражать. Нельзя же на скорую руку перевоспитать девяностолетнего старца. Лучше вернуться к литературе. Он сделал это сам, прежде чем я отыскал монетку. У него не было склероза, он не терял нити разговора и размышления. Хорошо разработанный мозг сам себя защищает. «Жироду убили из зависти, — сказал Моэм. — Он был слишком талантлив, слишком знаменит, слишком блестящ и к тому же на редкость удачлив. Он шел от успеха к успеху, ни разу не оступившись. Добавьте к этому победительную внешность, обаяние, брызжущее фонтаном остроумие, успех у женщин и душевную широту, начисто отсутствующую у французов. Чересчур много для одного

человека. Казалось, он создан Господом в назидание и унижение окружающим. А великих людей и так ненавидят. Сколько ненависти возбуждали ваш Толстой и ваш Достоевский! Как ненавидели Байрона, мучили Шиллера, Бетховена, тех, кого надо носить на руках и осыпать лепестками роз! Их и носили, и осыпали, но за это же ненавидели: за свои восторги и поклонение, за собственную малость».

Я вспомнил его слова, когда через много лет был застрелен Леннон, лучший из «битлов», давший людям столько радости и не обронивший крупинки зла.

— Это горестная и страшная черта двуногих, — продолжал Моэм. — И чем дальше, тем будет хуже. Ненависть распространится с творцов на их творения.

— Но почему ненависть ограничилась одним Жироду?

— А вам мало? — ядовито осведомился Моэм.

— Получается так: живых надо холить и лелеять, а мертвых поносить?

— Я имел в виду другое: не делать между ними различия. Любовь не исключает спора, даже ругани. Полагаю, что могу говорить от лица мертвых, я к ним ближе, чем к живым.

Как и полагается в подобных случаях, я выразил смутное несогласие с последним утверждением.

— Ну-ну, не надо... Лучше спросите меня о том, что вам наверняка интересно: очень ли страшно быть таким старым?

А мне это и в голову не приходило. Глядя на Моэма, я думал не о том, как много он прожил, а о том, как много он сделал, и сделал блистательно. Вот человек, осуществивший себя до конца. Впрочем, сам он может быть на этот счет иного мнения, но мне казалось, что, написав свои романы и пьесы, он мог бы без паники поджидать неминуемое. У меня лично были куда более напряженные и тревожные отношения с потусторонним миром, о чем я сообщил Моэму.

— Это мысли очень молодого человека, а ведь вам за сорок.

— У меня замедленное развитие — общее и литературное.

— У меня тоже, — сказал Моэм. — За всю свою жизнь, считающуюся долгой (это грубое заблуждение), я почти ничему не научился. То, что я мог с самого начала, то и осталось со мной. Разве мой последний роман написан лучше, чем «Луна

и грош»? Я накопал кучу мур, вроде «Мага», в пору своего утверждения, но в смысле словесного искусства это было не хуже моих поздних вещей. А можно ли вообще утверждать, что писатель развивается, прогрессирует с годами? Я не уверен. Прибавляется ремесла, профессионального навыка, но это зачастую оплачивается утратой непосредственности. Разве поздние романы Диккенса, Гамсуна, Фаллады лучше ранних? Конечно, можно отыскать примеры литературного роста, но еще легче — примеры обратные: хотя бы Тургенев или Хемингуэй. Но все это — исключения. А правило: писатель задан сразу, раз и навсегда.

— А почему вы в какой-то момент бросили писать романы и занялись мемуаристикой?

— Необычайно приятно писать романы, когда они пишутся, и необычайно приятно не писать их, когда они не пишутся. Тогда смакуешь каждое мгновение бытия. — Он вдруг озадачился. — Что это — плохие стихи или внезапно родившаяся во мне банальность? Когда вы пишете прозу, вы или закрываете глаза на окружающее, коли оно посторонне вашей теме, или относитесь к нему сугубо потребительски: выискиваете детали, вылавливаете нужное, копаетесь, как мусорщик на свалке, в надежде найти серебряную ложку, перстень или монету в куче дряни. Вы не живете окружающим, вы паразитируете на нем. А когда душа свободна от замысла, все в радость и удивление: свежесть травы, дождевые капли на ветвях, птицы, цвет и запах земляники — все источник счастья. Наименьшее — человек. Он всегда многозначен и потому неудобен. Раньше мне интереснее всего были люди, сейчас этот интерес почти угас. Влекут сигналы неодушевленного бытия, не сознающей себя материи. Я рад, что у меня оказалась долгая старость. Все-таки упоительно не готовить уроков, а просто быть в мире. Страх смерти?.. Я его не знаю. Потому что не знаю, что такое смерть. Иногда я ловлю себя на теплом чувстве: интересно, в какие игры играют там. Вообще же долгая жизнь ничуть не длиннее короткой. Ведь ты не замечаешь, что живешь долго. Все пронесется слишком быстро, ни в кого, ни во что не успеваешь взглянуться, ни в чем разобраться. Чем хорошо творчество? Оно дает иллюзию сближения с собой. Знаете, что мне доставляло наибольшее удовольствие, когда я садился за

очередной роман? Примерять новую маску. Так называли критики мой обычай уступать роль рассказчика кому-то, кто не совсем я. Впрочем, когда я выступал под собственным именем, они считали это наиболее изощренной маскировкой. На самом деле тут совсем другое. Человек не может познать себя изнутри. Но кое-что он узнает о себе в общении, столкновениях, близости с другими людьми. Я был всю жизнь очень одинок и потому лишен возможности взглянуть на себя глазами близких, глазами людей, по-настоящему ощущающих давление моей личности. Надо в ком-то отражаться, лишь тогда что-то увидишь в себе. Персонажи, которым я поручаю рассказ, служат мне зеркалами.

— Но почему бы не оставаться самим собою?

— Я-то думал, вы меня слышите!.. Что значит «самим собою»? Это и нужно выяснить. Рассказчик интереснее для меня других действующих лиц. Если б я знал себя, вернее, думал бы, что знаю, то никогда бы не писал от первого лица.

— Но вы же не всегда писали от первого лица. Вы часто пользовались «объективной» формой.

— Да, но всегда мне было как-то не по себе. В свое время я очень преуспел в театре. Меня прочили в новые Бернарды Шоу. А я порвал с театром. Ведь автору нет хода на подмостки. Правда, Шоу это делал, но ради сценического эффекта, а не ради самопознания. Еще не кончили оплакивать Мозма-драматурга, а я уже покончил с беллетристикой и перешел к мемуарной форме, наиболее подходящей для моих целей.

— Насколько мне известно, вы публикуете лишь малую часть своих воспоминаний. И старательно уничтожаете переписку и все прочее, что может пролить свет на вашу таинственную личность.

— Но разве я говорил, что хочу объяснить себя окружающим? Я говорил о самопознании. Это совершенно разные вещи. Почему нельзя творить только для себя, как мой вымышленный Гоген? Меня до сих пор радует, что Гоген сжег хижину со всей своей живописью. Хорошо придумано! Важно творческое состояние, а не сопутствующая шумиха. Я все время жгу какие-то бумаги, наброски, записи, но я не сжег ничего законченного, за исключением одного вовсе не удавшегося романа. Я не сжег даже «Мага», слишком нужны были

деньги. К сожалению, деньги нужны подавляющему большинству литераторов. Писатели редко рождаются в семьях миллионеров. Марсель Пруст, а кто еще?.. Но дело, конечно, не только в деньгах. Литература под стать письму, а письмо всегда кому-то адресовано. Но разве нельзя писать самому себе? Вернее, себе будущему, мы же каждый день становимся иными. Были люди, которые так и поступали, ведь обнаруженные посмертно рукописи — вовсе не редкость. А что мы знаем о сожженных рукописях? Существующая литература — это то, что не сожгли и не скрыли. Ее много, очень много, а вот есть ли в ней смысл? Раз все миллионы написанных книг не могут помешать ни войне, ни мирному убийству, ни насилию, ни предательству, ни всем формам подавления человеческой личности, значит, литература не нужна. Но кто знает, какой бы царил разбой, если б не литература. Да и можно ли исходить из критерия нужности? Что нужно, а что не нужно? Если жизнь — состояние, а не предприятие, — жалко, что эту формулировку придумал не я, а Жан Ренуар, откуда такая прыть у киношника? — то надо жить, доверяясь самой жизни, и не опутывать ее правилами. Значит, вовсе не обязательно сжигать рукописи, ведь они чему-то соответствуют в прожитых днях, они частица жизни и принадлежат ей, а не нам, как листья и трава. И все же я, наверное, уничтожу большую часть своих мемуаров. Из опрятности, не из принципа. Я подбираю бутоньерку не менее тщательно, чем слова во фразе. Девяностолетний франт, наверное, смешон, но если Господь пошлет мне мафусаилов век, я не изменю своим привычкам. Никто не увидит меня с расстегнутой ширинкой, в заляпанной овсянкой пижаме, я и в гробу буду — с иголочки. Мои сомнения, муки, страхи, мое смятение принадлежат только мне. Не хочу кормить стервятников своей печенью. Уходя, прибирай за собой. «Лев Толстой этого не сделал». Лев Толстой!.. Это не писатель, не человек, это стихия. Он не судим, ибо не подвластен никаким законам. Он сам — закон. — Мозм помолчал, шевеля губами, и вдруг сказал с детской радостью: — Но и его подводили утверждения. Помните, что писал ваш любимый Жироду? «Трою погубили утверждения». Ну почему это не я придумал? Ведь мысль гнездилась во мне, только не успела одеться в слова.

Я сказал, что не улавливаю его мысль.

— Но это так просто! Вспомните хотя бы утверждение, каким начинается «Анна Каренина», эти чудные, музыкальные, остающиеся навсегда в памяти слова: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему». Но если справедливо первое утверждение, то несчастье, разрушая стереотип, тоже будет неизменным. Нет, семьи счастливы так же по-своему, как и несчастливы. Я не успел написать рассказ на эту тему, — вернее, быть, — хотите, я вам его подарю?

Я не в силах передать дословно рассказ Моэма, буду пытаться, насколько возможно, сохранить его интонацию, но боюсь, что и в этом не преуспею. Слишком много времени прошло, и стерся его голос в моей памяти, а заметки, сделанные по живому следу, обидно кратки.

Прежде всего Моэм познакомил меня с героями. О Капитане (пишу с большой буквы, поскольку так он будет называться в рассказе) Моэм начал чуть расплывчато, приблизительно, то ли не очень хорошо зная его предысторию, то ли позабыв, а придумывать не хотелось. Еще в молодых годах Капитан испортил себе карьеру, разбив — по лихости — катер о причал. После этого ему пришлось начинать все сначала, очень медленно одолевая каждую ступеньку служебной лестницы. Это не улучшило характера колючего нелюдима.

Однажды, очумев от штурманского безделья (из-за поломки долго болтались возле скучных Гибридных островов), он набросал несколько морских пейзажей двухцветным карандашом. Это его развлекло, и в очередное плавание он захватил с собой ящик с дешевыми масляными красками. Писал он каждую свободную минуту, не получая ни малейшего поощрения от окружающих: неумелые и странные его картины отталкивали простодушных моряков. Да он и сам вроде бы не придавал значения своей мазне, но, вернувшись на берег, не выбросил полотна за борт, а взял с собой. Он снимал крошечную квартиру в портовом городе Саут-Энде.

Мотаясь по морским и житейским волнам, Капитан оставался безытным человеком. Заядлый холостяк, он беспощадно обрывал каждую связь, которая грозила затянуться. Если женщина не ждала от него ничего, кроме короткого партнер-

ства, он легко и спокойно сближался с ней и так же спокойно брал расчет, потому что не был ни пылок, ни ласков, ни привязчив. Ему казалось, что он оберегает свою свободу, на самом деле он боялся малейшей ответственности за другого человека. Капитан был эгоистом до мозга костей. Больше всего он ценил нетребовательных портовых дам. А вообще он не был бабником, виски играло куда большую роль в его жизни. Он любил беседовать с бутылкой один на один. Беседовать в прямом смысле слова: когда в бутылке «Скотча» оставалось не больше чем на три пальца золотистой, пахнувшей гнилым сеном жидкости, Капитан начинал говорить, глядя в темное непрозрачное лицо собеседницы. Он говорил всегда об одном и том же: какая кругом сволочь и какой он прекрасный, чистый, непонятый человек. Иногда бутылка отвечала, иногда нет, но и в том и в другом случае была полностью согласна с Капитаном.

Все были виноваты перед Капитаном, прежде всего и больше всего — родители, которые, не отличаясь ни красотой, ни статью, осмелились его родить. От них он такой низкорослый, костлявый, ястреболикий. В нем не было ни одной привлекательной, хотя бы заметной черты, кроме улыбки, но улыбку эту — нежданную и опасную — он не получил в наследство, а воспитал сам, подметив, что внезапное обнажение белых острых зубов, врезавшее в кожу две глубокие складки от крыльев хрящеватого носа к уголкам тонкогубого, тугого рта, производит впечатление на окружающих. Улыбаясь, впрочем, редко, он становился человеком, с которым надо считаться.

В состоянии крепкого подпития Капитан начинал верить в Бога и менял собеседника. В пошибе библейского Иова — верующего номер один, по мнению Серена Кьеркегора и его последователей, — он предъявлял Вседержителю серьезный счет. В отличие от шумного, но корректного Иова Капитан не стеснялся в выражениях, требуя у Господа возмещения убытков: его подло обманули — не дали причитающегося таланта. Этим он являл трогательную веру и во всемогущество, и в бесконечную снисходительность Творца Всего Сущего.

В трезвом виде он был куда более высокого мнения о своих художественных возможностях, порой чувствовал себя положительно талантливым, очень талантливым, дьявольски

талантливым, но взлету мешало полное незнание ремесла. Учиться было поздно, к тому же он догадывался, что кое-как усвоенные профессиональные навыки убьют то единственно несомненное достоинство, которое удерживало самых разных людей у его картин: какую-то варварскую свежесть.

Начавшееся со скуки незаметно стало потребностью и отдушиной, а там и единственным смыслом существования. Конечно, он не порывал с морем, если каботажное плавание на гнилых посудинах можно числить по романтическому морскому ведомству, да ведь нужно было на что-то покупать выпивку и краски. Человек с душой Дрейка, сэра Уолтера Раллея, Нельсона и Кука терся у грязноватых берегов Англии, развозя какие-то скучные грузы. Его фрегаты, корветы, бригантины назывались «сухогрузами» — нет унылее, безнадежнее слова. Но мечта о белых кораблях, томившая юношеское воображение, не оставила его, хотя он никому в этом не признавался, даже самому себе. И если возникал волнующий образ, он гнал его прочь, как Мартин Лютер — беса, правда, не с помощью чернильницы.

Изображал он лишь то, что было перед глазами: мусорное прибрежное море, причалы, пристани, складские строения, порталные краны, лебедки, катера, баржи, сухогрузы, чаек на маслянистой, радужной воде, восходы, закаты, сумерки, очень редко людей — всегда в пейзаже, за портреты не брался, равно и за натюрморты. Он писал без затей, с первобытной простотой и доверием к руке, но получалось затейливо, странно — часто он сам не узнавал предмета изображения. Непослушная кисть делала что хотела: окружающий мир смещался, перекашивался, терял свои пропорции и представлял в «обратной перспективе» — все, что позади, оказывалось крупнее того, что на переднем плане. Но главное, он становился разнузданно-нищенски ярк, словно цыганские лохмотья. Коли непременно надо сравнивать, то ближе всего Капитан был к итальянским примитивистам и отличался от них лишь отсутствием нежности и неосознанной радости бытия. Все его пейзажи, кричащие и не озаренные солнцем, а будто исходящие собственным свечением, как гнилушки, давили мрачностью, именно мрачностью — не печалью, в последней есть очищение; омраченная душа Капитана вне-

дрялась в аляповатую яркость красок и отравляла их. Он был человеком художественно не образованным, никогда не ходил в музеи, на выставки, понятия не имел о направлениях в искусстве, но чем больше тратил красок, тем тверже и ожесточеннее утверждался в своем праве писать так, как он пишет. Иначе он не хотел. А затем кто-то показал ему альбом таможенника Руссо и назвал направление: «примитивизм». Слово его разозлило, но уверенности в себе прибавило — можно делать все, что хочешь, никаких правил не существует, никто тебе не указка, и пусть другие придумывают твоей манере какое хочешь название. Это делается от трусости, так заговаривали в деревнях бесноватых. А ты плюй и беснуйся на всю катушку. Кстати, Руссо в репродукциях ему не понравился. Капитан решил, что Руссо — таможенник липовый, а художник — профессиональный, хорошо обученный, только ломающийся под ребенка, чтобы не походить на других. Его деревья, листья, травы, звери были слишком изысканны, чтобы поверить в топорные и смешные фигуры людей. Зато Капитан поверил искренности, неумению и таланту другого художника, с которым познакомился позже, грузина Пиросмани, но чернобородые, на одно лицо, люди, пирующие за длинными столами, были ему неинтересны. По правде говоря, вся живопись, какую только доводилось видеть, была ему неинтересна и чужда. По душе было лишь то, что делал он сам, и то лишь на трезвую голову. Подвыпив, он терял веру в свой гений.

Неприятное подозрение шевельнулось во мне: уж не угощает ли меня старец своим главным романом, вывернутым наизнанку? У англичан есть странное слово для обозначения старческой замутненности рассудка: «гага». Конечно, я не произнес этого слова, но, как мог деликатно, дал понять, что очень хорошо помню «Луну и грош» и хорошо бы быстрее двигаться к цели, если таковая имеется.

— При чем тут «Луна и грош»? — сказал он холодно. — Там история гения. Выразить себя до конца и, уходя, истребить созданное — вот высшее бескорыстие творчества. Этим поступком человек становится выше Бога, ибо стирает со стекол вечности прекрасное, Господь же все не отважится прибрать за собой после провалившегося эксперимента. А то, о

чем я сейчас говорю, принадлежит не Богу, а быту... В сущности говоря, искусство Капитана не заслуживает столь странного разговора, хотя со временем он добился определенного успеха, известности, имел персональные выставки и неплохую прессу. Некоторое время он был даже в моде, то есть полагалось знать его имя, видеть или хотя бы утверждать, что видел его последние работы, слегка иронизировать над ним, но с подтекстом: конечно, тут что-то есть, но я, признаться, ретроград. Дурной, заносчивый, вздорный характер Капитана пробивался в его живопись, наделяя ее той энергией и резкостью, которые не свойственны искусству примитивистов. Там всегда присутствует какая-то уютность, милота, безопасность, даже в чудовищных страстях праведников итальянских примитивов. Полотна Капитана бранились, брызгая слюной, и это стало нравиться снобам, они же все немного мазохисты.

Когда он познакомился с четой Джонс, его имя мало кому что говорило, но Джонсам было небезызвестно. Случаются такие приметливые, внимательные ко всякой малости люди. Идет ли это от доброты, сочувствия к спутникам-пассажирам того же обреченного корабля дураков или от внутренней суетливости — сказать затруднительно. Но Джонсы действительно были людьми добрыми и участливыми. Они угадали за картинами художника-моряка то, что ускользало от других, заведомо настроенных на неприятие: одиночество и несчастный характер, и зажалели его в своем душевном комфорте. Конечно, Капитан не преминет взорвать этот хрупкий комфорт, но не делайте пронизательного лица, на историю моего Стрикленда это ничуть не похоже.

Кто такие были Джонсы? Он — крупный археолог, много работавший в Африке, ученый с мировым именем. Но научное мировое имя — это совсем не то, что в литературе, живописи, музыке. О выдающихся людях искусства слышали все или почти все, знакомство с их художественной продукцией отнюдь не обязательно. Имя ученого, если он не перевернул все вверх тормашками, как Дарвин, Маркс, Эйнштейн, Фрейд, не знает никто, кроме его коллег, учеников и кучки интеллигентных вездесуев. Впрочем, в физике и химии — за всю историю этих наук — наберется с десятков имен, которые на слуху

у обывателей, но из археологов знают одного Шлимана, для этого ему понадобилось открыть местонахождение Трои.

Джонс ковырялся в пересохшей земле африканских пустынь, за его убийственно медленным продвижением к глубоко захороненным тайнам с волнением следил чужак японец, ковырявшийся на острове Пасхи, другой дурак — швейцарец, убивавший жизнь где-то на Юкатане, и еще несколько прекрасных безумцев, но ни один лондонец, ныряющий по утрам в подземку или штурмующий переполненный автобус, не подзревал о существовании ученого мужа Джонса, носившего, кстати сказать, довольно звучное старинное имя, но по меньшей мере один на тысячу слышал о зловредном Капитане, малюющем море и прибрежные виды. Правда, в узком, ото всех отгороженном мирке Джонс одерживал многочисленные победы: он рано стал доктором, затем членом Королевской академии, президентом археологического общества, почетным членом старейших европейских академий, был награжден несколькими золотыми медалями. Он издал много толстых умных книг, но все это происходило словно в иной системе координат, посторонней сфере обычного человеческого существования.

Джонс отнюдь не мучился своей безвестностью, он любил науку за нее самое. Награды и поощрения его удивляли: смешно и странно было бы получить медаль или звание за то, что ты дышишь, ешь, пьешь, чистишь зубы, бреешься, ходишь в туалет. Возня с черепками, костями и прочим мусором, пролежавшим в земле тысячелетия, была его естественным состоянием, как и любовь к жене, сыну, интерес к искусству. Да, при всей своей захваченности наукой Джонс не принадлежал к зашоренным фанатикам, он видел во все стороны, был отзывчив и знал много ненужного: органную музыку добаховского периода, наизусть всего Йитса и огромные куски непроторной прозы Марселя Пруста; следил он и за современной литературой, посещал выставки и не ленился съездить в другой город на премьеру шекспировского спектакля. И что вовсе неожиданно для такого серьезного и занятого человека — мастерски играл в теннис. Джонс утверждал, что в Оксфорде проводил куда больше времени на травяных и грунтовых кортах, нежели в библиотеке. Наверное, это не так, просто он

был от природы силен и ловок. Спортивная закалка помогала ему в экспедициях, и он тщательно следил за своей формой.

Счастливец Джонс! Ко всем прочим достоинствам природы наградила его привлекательной и оригинальной внешностью. Будучи чистокровным англичанином — хотя нет ничего более зыбкого, ненадежного, чем чистота крови, ибо как за ней уследишь? — он являл собой полное отрицание англосаксонского типа. Многие думали, что его просторное лицо покрывает вечный африканский загар, нет, он был смуглым от рождения, а смуглота отливала кирпично-красным, что еще усиливало его сходство с индейцем: крупный нос с горбинкой, белые острые клыки, удлинённые глаза под тяжелыми веками, широкие крепкие скулы — ни дать ни взять цивилизованный Чингачгук. Он рано облысел, но ему это шло: обнажился совершенной формы крупный череп с мощным сводом лба, округлым затылком и гладким теменем, обтянутым коричневой глянцевиной кожей; черные сухие, тщательно зачесанные с висков волосы придавали завершенность великолепному абрису головы. У него были широкие, чуть покатые плечи, плотная фигура без унции жира. Для того чтобы создать его внешность, смеясь, говаривал Джонс, одной из его прабабушек пришлось согрешить с последним из могижан, на худой конец с сыном племени навахо, сиу или кроу. Что, кстати, представлялось возможным, поскольку предки Джонса устанавливали, отстаивали и утрачивали владычество Британии на всех материках. Среди них имелись воины, администраторы, миссионеры.

Своеобразная внешность Джонса являлась его личным достоянием, и родители, и деды были типичными англосаксами: бледными, высокими, худыми. Не передались его черты и единственному сыну, которого он любил почти так же, как свою науку. Мальчик все взял от матери: здоровую матовую бледность кожи, синие глаза под темными ресницами, золотисторыжеватые волосы. Смущали Джонса его узенькие плечи и некоторая слабогрудость. Но то был очень здоровый, выносливый и спортивный мальчик с нежной долгой улыбкой, от которой у Джонса все замирало внутри. Это была улыбка доброго и незащищенного человека, это была улыбка матери мальчика, которую безнадежный однолюб Джонс обречен любить

до последнего вздоха. Его радовало, что сын — весь в мать: черты лица, сложение, краски — все ее. Но каким-то таинственным образом и он проник генами в столь несхожую с ним плоть. Даже ненаблюдательному человеку мгновенно становилось очевидным, что хрупкий, светлый, эльфический подросток — единая кровь с коренастым меднолицым крепышом. Поворот головы, извиняющаяся улыбка, какой он искупал внезапный провал в себя посреди общей беседы, наклон головы к плечу, когда что-то в окружающем соглашалось стать милым, трогательным, интонации доверия, даже резкое отклонение корпуса при теннисной подаче — все было отцовским. Как и рыцарственное отношение к матери.

Эта милая, красивая женщина жила в атмосфере неустанного поклонения. И большой, и маленький мужчина вели себя так, словно она фарфоровая хрупкость, которую надо непрестанно оберегать. Они вскакивали при ее появлении, угадывали каждое ее желание, окутывали сетью заботливых жестов, словно незримым покрывалом; за семейными трапезами превосходили друг друга в церемонной предупредительности. Так на сцене «делают» королев актеры-придворные, сыграть собственное величие невозможно. Но Мери Джонс вовсе не привлекал трон, ей хотелось бы поменьше почтительности, поменьше ухаживаний, поменьше опеки и побольше семейной простоты, непосредственности, товарищества с самыми близкими людьми, даже небрежности, несогласия, спора — во всем этом больше теплоты, нежели в чопорном обожании. Нельзя быть всегда при параде. Когда кто-то из них недомогал, она почти радовалась: рыцари хоть на время расставались с доспехами, и она могла помочь их недужащей плоти, могла быть полезной родным людям.

В остальной жизни ее доброта не находила себе применения. А доброта была единственным даром этой милой, мягкой, скромной, созданной для котурн женщины. Она принадлежала к средним классам, удобно чувствовала себя в роли учительницы начальной школы, где ее доброта, жалость к малым и слабым, не знающее срывов терпение находили широкое поле для применения. Случайно на нее наткнулся Джонс, влюбился с первого взгляда и сделал предложение. Он ей тоже нравился, и, не имея сколь-нибудь отчетливого представления

о его характере, занятиях и жизненном положении, она дала согласие. Стремительно взлетев по социальной лестнице, она вначале озадачилась, смутилась, но постепенно и без особого труда свыклась с новизной: быть спутницей многообещающего ученого, хозяйкой большого дома оказалось куда приятнее, чем бедной училкой. Ее очень женственная, а стало быть, пластичная натура легко приспособивалась к любым обстоятельствам, формам быта и отношениям. Первая очарованность необыкновенным, чуть загадочным человеком с красной, как у индейца, кожей перешла в спокойную, преданную любовь.

У Мери были чудесные глубокие темно-синие глаза, но еще заметнее на красивом лице был яркий, свежий рот. Его часто сминала непривольная гримаска жалости, сострадания. Ее добрая душа все время получала неслышимые другим сигналы бедствия из окружающего. Если верить ее сминающимся печалью и тайным страхом губам, мир губельно бедовал, все наполняющее его своим дыханием — от человека до дерева или цветка — взывало к спасению. Джонс чувствовал разрывающую родное сердце доброту и томился невозможностью доказать, что не надо так тратиться: люди в подавляющем большинстве не заслуживают, да и не хотят жалости, животные обречены, а неодушевленная материя сама разберется с «венцом творения», которого сотворила для своего познания и уберет в должный срок. Его попытки что-либо объяснить ни к чему не вели, Мери неспособна была к отвлеченному мышлению. На все мудрые и мудреные слова она лишь послушно кивала, а губы продолжали сминаться болью. Муж не давал жалеть себя, а как откликнуться темным сигналам мирового неблагополучия? Неухоженные дети бедняцкой школы требовали участия и заботы, а здесь ее окружали выхоленные люди. Джонс правильно решил: единственное спасение — деньги, он записал Мери в разные благотворительные общества, выделив из семейного бюджета порядочную сумму в помощь нуждающимся. Пусть это было совсем не то, к чему стремилась ее душа, все же оно давало некоторое облегчение.

Джонс и сам был добрым человеком, но в разумных пределах, его доброта ничем ему не грозила. А жене грозила, и он не поступался тяготящими ее перенапряженностью и церемонностью быта, чтобы хоть немного подсушить ей душу. Внеш-

нее поведение влияет на внутреннюю суть человека, и если бы миссис Джонс не сдерживали домашние ритуалы, почти равные религиозным обрядам, пути неукоснительного порядка и многочисленных обязанностей, ее поглотила бы бездна чужих мук и горя, разверстая у самых ног. Уплотненный день: домашние хлопоты, заботы о большом открытом доме, о муже, потом и о сыне, ежевечерние приемы, посещение театров, музеев, выставок, концертов, заседания благотворительных комитетов с неизменным чаем и с сухим печеньем — служил противоядием изнуряющей душу доброте.

Рассказ о семье Джонс носит сугубо локальный характер, историческим событиям уделяется место, если они имеют прямое отношение к этой маленькой человеческой ячейке. Первая мировая война такое отношение имела: дала занятие миссис Джонс и оттянула неминуемое. Корпии, которую нащипала трудолюбивая Мери, хватило бы еще на одну битву народов. А за мужа она не успела испугаться: лейтенант Джонс вернулся из Франции с перебитой рукой, когда англичане еще толком не осознали, что воюют. Кость срослась, и рука вернула прежнюю подвижность в самом исходе войны.

А дальше пошло все то же, нет, куда хуже: Джонс стал надолго уезжать в далекие экспедиции. Пока рядом был сын, Мери не чувствовала пустоты, она слишком любила его и входила — ненавязчиво, тонко — во все детские, потом и отроческие увлечения. Но когда сын поступил в колледж и уехал в Оксфорд, ей стало нелегко. Она ринулась на передний край приложения собственной благотворительности — в трущобы. Это скрадывало время, но ее преследовало чувство какой-то скользкой неправды. Похоже, ей попадались профессиональные бедняки: их нищета была напоказ, благодарность преувеличена, смирение и праведность отдавали лицемерием и скрытой насмешкой, к тому же от всех взрослых (старше пятнадцати) несло джином и кукурузным виски, а от малолетков — пивом. Ей всегда было немного стыдно, а главное, она подозревала, что ее помощь проходит в стороне от истинной нужды.

Какая-то часть души тратилась на страх за сына и мужа, на ожидание их приезда. Телефонный звонок из Оксфорда, письмо с яркой африканской маркой дарили ее счастьем на целый

день. Не желая быть счастливой в одиночку, она приглашала в гости своих старых подруг, таких же, как некогда она сама, школьных учительниц, а потом долго плакала в постели, не понимая, за что они так ее ненавидят.

Но когда муж и сын возвращались домой, она тоже не была по-настоящему счастлива. Их самостоятельность, уверенность в себе и в своих целях, благородно-покровительственное отношение к ней, слабой женщине, лишало Мери главной радости — жалеть любимых. Молоко ее нежности и доброты перегорало в ней, причиняя боль. Джонс понимал это умным сердцем, но бессилён был помочь. Не мог же он в угоду Мери бросить труд своей жизни и опуститься, как не мог их великолепный сын искусственно стать «трудным» ребенком, утехой психоаналитиков. И вот в эту притуманившуюся без чьей-либо вины жизнь семьи шагнул Капитан во всем своем отрицательном обаянии.

По чести говоря, никакого обаяния, даже отрицательного, не было и в помине: вздорный, колючий, неудовлетворенный, почти всегда нетрезвый человек без малейшей культуры чувства и уважения к чему бы то ни было. Ленивый браконьер с моральным вакуумом. Но для Мери он обладал одним великим достоинством, перед которым меркли все неудобства его характера. Если мир пел для нее бесконечную песнь боли, то от Капитана шли волны беззвучного волчьего воя тоски, злобы и одиночества. Недавняя война усугубила в нем чувство несостоятельности. Половину войны он переучивался на военного моряка, вторую половину расхлебывал дело о разбитом в избытке лихости катере. Очнулся он от кошмара следствия, суда, обжалования, пересмотра, взыскания, помилования посреди тихих прибрежных вод и остался в них, похоже, навсегда. Лавры Нельсона безнадежно ускользнули, на лавры Кука плоха надежда в прозаический век, когда все моря и океаны исплаваны и заплеваны. А живопись не принесла даже тернового венца, что в искусстве нередко ценнее лаврового.

Джонсы познакомились с ним на выставке. Его пейзажи понравились Джонсу, и он объяснил Мери, почему они хороши. Она это поняла, когда ощутила кричащее с полотен одиночество.

Капитан был на выставке. Их познакомили. Мягкий китель, воспаленные глаза, смрадное дыхание, в котором запах

виски боролся с запахом крепкого табака — Капитан курил в выставочном зале, пуская дым в рукав с обтрепанным обшлагом, — произвели на Джонсов сильное, хотя и диаметрально противоположное впечатление. Свежий, опрятный, собранный человек, Джонс содрогнулся и тут же осудил себя за дешевое чистоплюйство, а миссис Джонс зажалела Капитана всем своим большим сердцем. Она увидела связь между ним и его полотнами — при всей несхожести красок живописи и личности, — и это было залогом правды.

Мучаясь тайной виной перед Капитаном, Джонс пригласил его поужинать. Капитан пожал плечами, что можно было принять за согласие. К ним присоединился владелец выставочного зала Смит, давнишний знакомый Джонса. За столиком Капитан упорно молчал, ничего не ел, зато пил не переставая.

— Зачем вы так много пьете? — наклонившись к нему и коснувшись грязноватого рукава, спросила миссис Джонс.

— А вам какое дело? — громко ответил моряк.

Он посмотрел на медленно сползающие с его рукава длинные, просвечивающие розовым пальцы и добавил:

— Чтобы скорее очуметь.

Рот миссис Джонс смялся и не вернул твердых очертаний до конца томительного застолья.

Разговор не клеился. Капитан жадно курил, скрываясь в клубах вонючего дыма; обычно говорливый Смит, напуганный его угрюмством, отвечал односложно и косился на Капитана. Один Джонс упрямо раздувал огонек общения, мужественно снося неудачи.

— Вы позволите посетить вашу мастерскую?

— У меня нет мастерской, — со странным злорадством отозвался Капитан.

— Вы продаете ваши работы?

— Я-то продаю, но никто не покупает.

— Почему? — осмелился возразить Смит. — Две работы оставил за собой музей...

— Ладно! — прервал Капитан. — Это никому не интересно.

— Если пейзаж с опрокинутой лодкой еще не продан, я хотел бы его приобрести, — сказал Джонс.

— Меценатствуете? — едко спросил Капитан.

Виски пошло ему не в то горло, он закашлялся, давясь и хватаясь за грудь.

В атавистическом порыве миссис Джонс вскочила и стала бить его кулаком по спине. Боже, какая это была костлявая, бедная спина!

Капитан прижал салфетку ко рту, сплюнул в нее и перевел дух.

— Спасибо, — сказал он, с усмешкой глядя на раскрасневшуюся от трудов миссис Джонс. — Для такой тонной леди у вас крепкий кулак.

— Я вовсе не тонная леди, — сказала миссис Джонс, — с чего вы взяли?

Капитан рассмеялся и отчего-то пришел в хорошее настроение.

— Хотите, приятель, я вам задарма отдам этот пейзаж?

— Нет, — спокойно сказал Джонс. — Если вы действительно хотите оказать нам любезность, назовите цену и разрешите по закрытии выставки забрать вашу работу.

— Он скажет, — небрежно кивнул Капитан на Смита. — Я ни черта в этом деле не смыслю.

— Ваше здоровье! — Джонс поднял бокал.

— Всеобщее процветанье! — отозвался Капитан.

Вечер завершился лучше, чем можно было ожидать.

Смит спросил Капитана, почему тот никогда не пьет большую воду.

— Это что еще за «большая вода»?

— Море. Открытое море. Вы всегда пьете его с видом на берег. Вы маринист, который пьет берега.

— А море нельзя написать, — тихо, без следа обычной агрессии сказал Капитан. — Это не удалось Тернеру, ни тем паче всем остальным. И не может удасться. Знаете ли вы, островитяне, что такое море? — Он разразился невнятной яростной речью, из которой миссис Джонс не запомнила ни одного слова, но навсегда поверила, что ей открылась грозная тайна — море. Это было прекрасно — то, что он говорил и как он говорил. А смолкнув, он улыбнулся страшной улыбкой, слил в стакан последние капли виски, которое пил не разбавляя, медленно выцедил и сказал без обычной запальчивости:

— Седьмая степень концентрации. Все! Пошел спать.

— ...Как он говорил — чудо! — мечтательно сказала миссис Джонс, когда они вернулись домой.

— Да, — согласился муж. — Хотя я чувствовал лишь силу страсти. Суть от меня ускользнула.

— Он все-таки необыкновенный человек!..

— Не знаю, какой он человек, но художник интересный. Странно, — задумчиво добавил Джонс, — почему художественный талант так часто оплачивается ужасным характером, алкоголизмом или сумасшествием? Что это — в природе дарования?..

«Тебе легко говорить, — подумала миссис Джонс, и впервые легкое недоброжелательство к мужу шевельнулось в ней. — Ты всегда жил на солнечной стороне жизни». А вслух сказала:

— Он такой несчастный!..

Джонс посмотрел на нее и подавил вздох.

Капитан задержался в Лондоне, и встречи продолжались. Джонс купил понравившийся ему пейзаж с опрокинутой лодкой и сам повесил в гостиной между гравюрой Хогарта и этюдом Дерена. Капитан посмотрел и не сказал — понравилось ли ему соседство. Эта встреча, уже на дому у Джонсов, происходила в том же ключе: Капитан много пил, не прикасался к еде, жадно, неаккуратно курил, изредка улыбался жесткой улыбкой, как бы призывавшей окружающих к осторожности, что было совершенно излишним с Джонсами. Он не эпатировал их, но и не прорывался больше той сумбурной искренностью, с какой говорил о море. Оттого, что он не дерзил, Капитан казался (конечно, Мери, а не ее мужу) еще более несчастным, одиноким, заброшенным, нуждающимся в дружеском участии, заботе, уходе, оберегании (его мучила застарелая язва), поддержке, похвалах, поклонении. Капитану не пришлось лишнего жеста сделать, чтобы разрушить семейное счастье Джонсов. Он был так образцово несчастлив, что стендалевская кристаллизация творилась в душе миссис Джонс с умопомрачительной быстротой. Капитан был достаточно пронизателен и циничен — в отличие от Джонса, — чтобы сразу увидеть, какой неожиданный подарок приготовила ему обычно немилостивая судьба. Но самолюбие отвергало истинную причину уда-

чи. В сознании Капитана отсутствовали такие понятия, как неопрятность, дурные манеры, невоспитанность, захудалость, он казался себе мужчиной хоть куда, во всяком случае, интереснее и привлекательнее разлюбезного, прилизанного растяпы Джонса.

Капитан с годами изменил мнение и о своей внешности. Экранные красавцы уже не царили безраздельно, в цену вошли мужчины с характером. Пусть ты не Аполлон, не Антиной, ты человек, обдутый ветрами, просоленный морскими брызгами, овеванный романтикой пространств, грубый, прямой, неотесанный мореход, бродяга, презирующий расслабляющую светскую муть, ты личность, к тому же большой и странный талант.

Овладев Мери, Капитан осуществил право сильного. Его не смущало, что Джонс куда больше изнемогал под беспощадным солнцем пустыни, часто без пищи и воды, чем он просаливался на своих сухогрузах, что Джонс пользовался непререкаемым научным авторитетом, а он — сомнительной славой художника-дилетанта, в котором «что-то есть», что Джонс мог раздавить его, как клопа, если бы захотел, что никакого мужского подвига в его победе нет, ибо это поступок Мери, а не его.

Капитан не допускал в бодрствующее сознание и мысли, что он рассчитывается с Джонсом за его превосходство — материальное, моральное, мужское, за его безукоризненные манжеты, красивый дом, девонширский замок, за его гордость сыном — загребным студенческой восьмерки, за его деньги, манеры, дурацкую доверчивость, идущую от смехотворной веры в первоклассность всего, чем владеет. Но в пьяной откровенности с собой Капитан торжествовал, что нанес Джонсу удар, от которого тот уже не оправится, — в сплетение всех жизненных устоев. Но мы сильно забежали вперед.

Началось же все так. Мери едва дождалась отъезда Джонса. В дни, когда муж готовился к экспедиции, придирчиво осматривая каждый предмет снаряжения, каждую банку консервов и соков, плитку сушеного мяса, упаковку с витаминами и лекарствами, Мери, безразличная к его заботам, чуждая тревоги, думала только о Капитане, который валяется где-нибудь в дешевом номере захудалой гостиницы на неприбранной по-

стели, потягивая дрянное виски, губительное для язвенника, и соря вокруг пеплом. Едва Джонс отбыл, она с удивительной ловкостью, не вызвав ничьих подозрений, отыскала след Капитана.

Он и впрямь валялся в дешевом номере на смятой постели, курил, роняя пепел на подушку, но был трезв и потому раздражен. Добрую самаритянку встретил выговором:

— Надо предупреждать о своем приходе. Я мог быть не один.

— Простите, — смиренно прошептала миссис Джонс. — Я так тревожилась за вас.

Мери поразило, что Капитан воспринял ее появление как нечто само собой разумеющееся. Она не знала, насколько хорошо владеют собой бездушные люди.

«Она что — дура или потаскуха? — думал Капитан. — А может, и то и другое одновременно?»

И он немедленно решил проверить это. Надорванный алкоголем и безалаберной жизнью организм Капитана лишил его, однако, уверенности в себе. Но с теми дамами, с какими он обычно имел дело, это ничего не значило. Все сводилось к тому, что заслужит партнерша — два фунта или оплеуху, — себя Капитан никогда ни в чем не винил. Здесь же все было иначе.

А миссис Джонс вряд ли знала, когда шла сюда, что, спасая душу страдальца, ей придется спасти и его тело. Она просто подчинилась обстоятельствам. В нежной, постоянной, чистой и спокойной близости с мужем, приносившей ей тихую радость, что ему хорошо с ней, Мери не была страстной натурой. Это, как ни парадоксально, вероятно, и облегчило ей шаг, который непросто дается и весьма искушенным в любви женщинам.

И почему-то все физически тягостное, что она испытала, отхлынуло, ей стало нежно, грустно и окончательно, когда рядом с собой она увидела маленького, худого как скелет, гордого Капитана.

То, что близость далась непросто, стало значительным. В сравнении с Джонсом Капитан предстал человеком с содранной кожей, нервным, трепетным, истинно художественной натурой. Приговор Джонсу был подписан. Впрочем, сейчас муж

ее мало заботил, как не заботила и вся разом перечеркнутая прежняя жизнь. Она даже о сыне не подумала, а ведь и с ним теперь будет по-другому...

Возвращаясь от Капитана, Мери испытывала новое, незнакомое чувство: она — нечто. Женщина, которая решилась... Решилась бросить в ноги своей любви (жалость уже вознеслась в сан любви) любящего мужа, единственное дитя, блестящее положение в обществе, все устои своей среды. Ее непривычное возвышенное состояние естественно включило в себя простую житейскую заботу, когда она вспомнила об одной поразившей ее подробности: на Капитане не было белья. Казалось, само сердце сжалось: «Милый... бедный... дорогой!..» Теперь она знала, что делать: начинать надо с малого...

Душа ее словно расправилась и заполнила все тело, как рука лайковую перчатку. Она никогда не знала такой блаженной цельности и совпадения с самой собой.

Днем Мери позвонила Капитану, получила милостивое разрешение на визит и явилась с огромным пакетом белья, одежды, разных косметических принадлежностей. Капитан пришел в такую ярость, что чуть не прибил ее.

— Нечего было связываться со мной! — бушевал он. — Ты думала, я вроде твоего вылощенного мужа? Плевать я хотел на это тряпье, на эти вонючие притирки.

Кончилось тем, чем обычно кончаются такие бессмысленные бунты: Капитан позволил загнать себя под душ и — верх унижения — вымыть с головы до пят. Когда ему было подано нательное белье, легкие фланелевые брюки и шерстяная рубашка с большими нагрудными карманами для табака и трубки, он снова рассвирепел, но уже по другой причине. На кой черт она вводит его в непредвиденные расходы, он не так богат, чтобы швырять деньги на пижонское барахло.

— Но это подарок, — пролепетала Мери.

Капитан, в элегантных брюках и кокетливой рубашке, с мокрой маленькой головой, взвился под потолок. За кого она его принимает? Он что — альфонс, жиголо, сутенер? Он кинулся к старому комоду, долго рылся там, потом швырнул деньги.

— Это много...

— Остальное пропьём, — безмятежно сказал Капитан.

Он поднял весь шум, боясь не расплатиться. В чем, в чем, а в деньгах он был крайне щепетилен. Ему часто приходилось тужить, но никогда он не позволил Мери заплатить хотя бы за пиво. Лишь раз он принял от нее подарок — дешевую вересковую трубку.

Ему пришлось сократить расходы по части виски и основательно заняться живописью, чтобы как-то сводить концы с концами в новой полусемейной жизни.

Видя его изо дня в день трезвым, с перепачканными краской пальцами, Мери все более и более верила в свое благотворное влияние и в своей слепой вере не могла трезво оценить, что в Капитане брало верх не нравственное начало, а то «мужчинство», которое и обрекало его на праведную жизнь, если исключить такую малость, как сожительство с чужой женой.

Но порой Капитану требовалось спустить пары. Он исчезал на несколько дней и возвращался без гроша в кармане, с глазами кролика и трясущимися руками. Обсуждению такие выходы не подлежали. Мери разрешалось приводить его в чувство. Поправившись, Капитан наказывал за свой разгул и мотовство их обоих — заключением в четырех стенах. А Мери так хотелось пойти с ним в какой-нибудь бар и потанцевать под громкую джазовую музыку или покачаться на качелях в увеселительном саду, а потом тянуть темное пенистое пиво за столиком над прудом, в котором отражались китайские фонарики. В чопорном мире Джонса Мери жила не своей жизнью. Пластичная натура помогала ей прилаживаться к окружающим, но сродниться с их уставом она так и не сумела. Ее настоящее жизненное пространство было возле Капитана.

Он нередко обижал ее, мучил пустой подозрительностью, пытал молчанием за воображаемые провинности, редкий день не доводил до слез. Мери все ему прощала. Особенно досталось ей за неумение позировать, когда у Капитана не получился ее портрет.

Посещая с мужем музеи и выставки, Мери была знакома с самыми смелыми художественными манерами. Порой от странных портретов исходила некая магия таинственной человеческой сути, чаще ничего не исходило, но был ребус, загадка.

Она не любила и не умела разгадывать ребусы, а Джонс любил и умел, и, рассматривая нагромождения кубов, конусов, скрещенния плоскостей и просто мутные разводы, Мери верила, что там действительно что-то скрывается.

Но в последней работе Капитана не было ни художественного произвола, ни «опрокинутого» зрения, ни ребуса, ни дикарской игры, бедняга был вполне серьезен и добродетелен, когда писал портрет «своей женщины». Он явно пытался создать реалистическое произведение. Мери оценила это трогательное усилие превзойти самого себя ради любимой, у нее пощипывало в носу, когда она вглядывалась в изображение безрадостного и безжизненного существа, имевшего в чертах известное сходство с нею. Он не был виноват, видит Бог, он выложил до конца, но даже гений расшибается о тусклую маску, о безнадежную пустоту бытового, неодухотворенного лица. Мери со всем соглашалась: если в портрете чего-то и не хватало, то лишь по ее вине. Она действительно не умела позировать, думает о всякой чепухе, а ведь натура должна возвыситься до художника. «Откуда ты это взяла?» — подозрительно спросил Капитан. Мери пробормотала, что где-то прочла. Капитан перестал беситься, швырять кисти, пинать ногами мольберт, но в остаток дня вызывающе хватался за бутылку кукурузного, а Мери не отваживалась даже на слабый протест, она понимала, как тяжело этот ранимый человек переживает неудачу, грозящую — намекал он зловеще — обернуться затяжным творческим кризисом. Мери знала, чем это грозит, и слезы набегали на глаза...

И все-таки это была жизнь. Терпкая, грубая, горькая, упительная жизнь, а не скакание с жердочки на жердочку по золотой клетке.

Все оборвалось в ней, когда Капитан объявил, что уходит в плавание. Она зарыдала, и он, видимо, не ожидая такого взрыва горя, тронутый до растерянности и потому сразу обозлившийся, резко прикрикнул: «Хватит реветь! Забыла, что твой скарабей возвращается?» — «Забыла», — честно призналась она. И он впервые допустил, что близость с Мери — не прихоть заевшейся барыньки, не магическое, но краткое действие его чар, которые развеются с приездом настоящего хозяина, а

нечто совсем иное, никогда им не испытанное, то, что люди называют любовью.

Он не знал, что делать с этим даром, а мыслишка, что его хотят опутать, связать по рукам и ногам, лишить мужской свободы, превратила растерянность в панику. Но он тут же понял, что его свобода и безответственность гарантированы Джонсом-отцом, Джонсом-сыном, всем мощным семейным сцепом, и успокоился, остались благодарность женщине и гордость собой. Вот что значит сильная личность: с какой легкостью он, безродный скиталец, морской бродяга, бедный художник, опрокинул замок, возводимый многими поколениями Джонсов!

Мери не догадывалась об этих мыслях Капитана. Она впервые поверила, что тоже нужна ему, так почему же не скажет он простого слова: «Останься». Она готова была ехать с ним в Саут-Энд и терпеливо, как положено моряцким женам, ждать его возвращения из плавания. Но заветное слово так и не сорвалось с сухих, обветренных губ Капитана. Как может он при его бешеном, необузданном нраве мириться с ее возвращением к Джонсу? Лучше бы он убил ее. Но Капитан молча укладывал свой скудный багаж и даже не огрызался на бессмысленные просьбы беречь себя и свой талант, следить за здоровьем, не пить и хоть немного помнить о бедной Мери. Насчет переписки Мери не заикалась. Капитан давно предупредил, что не признает эпистолярной формы общения.

Она проплакала весь путь до дома, рыдала всю ночь, с грустью подумала утром, что Капитан уже ушел в плавание, и по контрасту вспомнила, что вечером приезжает муж.

Это не вызвало в ней никаких чувств — ни дурных, ни хороших, было естественно, что Джонс возвращается в свой дом. Надо сделать необходимые распоряжения, позаботиться об ужине. Джонс, обходившийся в экспедициях сушеным мясом, консервами и сухарями, дома становился гурманом, ему подавай все самое лучшее. Пустые домашние заботы неожиданно доставили ей удовольствие. Этим хоть как-то заполнялась объявшаая ее пустота. Надо было купить цветы. Джонс обожал ее букеты, которые она и правда умела составлять с неподражаемым искусством. Потом она вспомнила, что на каникулы придет сын. Последнее время она запрещала себе ду-

мать о нем, и это ей удавалось. Но сейчас можно было порадоваться свиданию.

Джонс не любил, когда его встречали. С аэродрома он приехал на такси, вид у него был такой, словно он явился не из тягчайшей экспедиции, а из Букингемского дворца. Она сама потом удивлялась, что все произошло как обычно, будто не было этих сумасшедших месяцев с Капитаном, ее любви, измены, внутреннего переворота.

Многолетняя привычка руководила ее поступками, жестами, словами, интонациями. Их отношения с мужем всегда были если не регламентированы, то обузданы формой: они не кидались в объятия друг друга, она не висла у него на шее, не утирала слез радости после долгой разлуки, не было ни беспорядочных речей, ни разных милых нелепостей, когда люди над чемоданом сталкиваются головами, говорят невпопад, заливаются бессмысленным счастливым смехом. Джонс церемонно склонялся к ее руке, потом осторожно целовал в голову, отстранял от себя, заглядывал в глаза и прижимался виском к виску. Ей почему-то отводилась роль сугубо пассивная.

Стол был накрыт, шампанское стыло в ведерке со льдом. Они садились ужинать...

Конечно, он рассказывал об экспедиции очень скупно, понимая, что для неспециалиста изнуряющее ковыряние в земле малоинтересно, но всегда в его рассказе оказывался какой-нибудь забавный случай, заставлявший ее смеяться.

И на этот раз все шло по заведенному порядку. Джонс спросил, как она жила без него. Этот вопрос он всегда задавал как бы между прочим, с улыбкой, подчеркивающей, что не ждет сколько-нибудь пространныго ответа. Прежде, когда ей нечего было скрывать, она объясняла его манеру той деликатностью, которой было отмечено все его поведение, он не хотел, чтобы она отчитывалась перед ним. А тут ей вдруг почудилось в легкости его тона что-то нарочитое, поддельное. Дико думать, что в пустыню дошли какие-то слухи. И все же она не могла отделаться обычным: «О Господи, да что у меня могло быть?.. Разве было вообще что-нибудь?.. Да, заседания, жидкий чай, сухое печенье и мои дорогие бедняки...» Попробуй бездумно щебетать, когда ты пронесла Антееву ношу.

Как быть? Признаться?.. Слишком неожиданно и жестоко. Он вернулся из долгой, трудной экспедиции, и за безупречной формой угадывается смертельная усталость, возможно, какие-то неудачи, разочарования, неотделимые от его профессии. Ему надо выспаться, отдохнуть, прийти в себя. К тому же Капитан ни словом не обмолвился о том, чтобы она открылась мужу. Похоже, он вовсе не хотел этого. Она не имеет права делать решительный шаг без его согласия. Да ее и не тянуло. Сейчас она находилась в привычной системе координат, начисто исключаяющей подобного рода признания. Это было все равно что положить ноги на стол, выругаться или плюнуть в супницу. У нее хватит мужества сказать правду; пока еще эта правда была не нужна ни Капитану, ни Джонсу. А ей самой?.. Этого она не знала.

Не дождавшись ответа, удивленный и слегка встревоженный, Джонс спросил о сыне. «Мальчик почти не пишет, — пожаловалась она, — я знаю только, что он здоров и много времени проводит на гребном канале». «А большего и не требуется, — усмехнулся Джонс. — Переходный возраст. Сейчас ему нужно освободиться от нашей власти, опеки и авторитета. Мы должны осторожно помогать ему в этом: не приставать с расспросами, наставлениями, поучениями, а не то он нас возненавидит, но и не выпускать его из поля зрения. Сейчас не он, а мы сдаем экзамены на зрелость». «И сколько это будет длиться?» — спросила Мери, озабоченная тем, что до «сдачи экзаменов» нечего и думать о каких-то переменах в жизни. «Года два-три», — неуверенно ответил Джонс.

В эту ночь она проявила стойкость, разделив с мужем ложе и пойдя навстречу его желаниям, не остуженным чудовищной усталостью.

Целую неделю Джонс отсыпался. Она терпеливо сносила его нежность. Ведь так было всегда, а привычка — госпожа души. Однажды Мери представила на месте мужа Капитана и впервые испытала наслаждение, какого в отдельности не мог ей дать ни тот, ни другой. Было сладко и очень стыдно, и она зареклась думать о Капитане в объятиях мужа. Иногда ей это удавалось, иногда нет, а потом все пошло по-прежнему, как и всегда с Джонсом, — тихая, отстраненная нежность.

Приехал сын. О Капитане она почти не вспоминала. А затем начался новый виток: сын вернулся в колледж. Джонс снова отправился в экспедицию, а незадолго перед тем появился Капитан, обдутый прибрежными ветрами.

Поначалу Мери казалось, что она не выдержит раздвоенности, сойдет с ума, наложит на себя руки. Но и через десять лет все оставалось по-прежнему. Нет, это неверно. Произошло много трудного, грустного и страшного, тайное стало явным, боль одних послужила расхожей монетой сплетен для других, затем и сплетни смолкли, но в главном ничего не изменилось: Мери все так же оставалась женой Джонса, любовницей Капитана, грешной матерью теперь уже взрослого сына, прошедшего в отношении к ней через все этапы: гнева, стыда, страдания, презрения, брезгливости, полупрощения и благожелательного равнодушия.

В этом месте рассказа Моэма у меня снова возникло ощущение повтора — такое уже было, потом забрезжило воспоминание, вначале смутное, но вскоре прояснившееся.

— Ей-богу, мы впадаем в Ивлина Во!

— Никуда мы не впадаем, — последовал незамедлительный ответ, — и впасть не можем. Это мистер Во вытек из меня, когда я зазевался.

И только тут я поверил, что, несмотря на свой профессиональный нюх, понятия не имею, куда движется эта история. Я посмотрел на Моэма: от усталости и жары он побледнел, еще больше съезжился, как-то запал в самого себя. До чего же он был изношен, ветх! Да хватит ли у него сил довести до конца затянувшийся рассказ?

Мери тщетно ждала, чтобы Капитан позвал ее к себе навсегда. Что мог он предложить ей, кроме своей потрепанной личности, дурного характера и жалких мебелирашек? При всей завышенной самооценке он полагал, что это будет слабой компенсацией за потерю того образа жизни, который создал для нее Джонс. Он не верил в человеческое бескорыстие. Ему и в голову не приходило, что Мери все бросит по первому же его слову. Сын перестал отвечать на ее письма, значит, узнал все

раньше отца; этим обрывалось последнее, что привязывало ее к дому.

Мери поражало, как Капитан может мириться с тем, что она принадлежит двоим. Собственная раздвоенность ее тяготила, хотя и не слишком. Она отвечала Джонсу только покорностью. Мери не знала, что к мужьям и вообще-то не ревнуют, а Капитан продолжал находить удовольствие в том, что наставляет рога этому богатому простофиле, этому лощеному джентльмену, потомку раздувшихся от спеси недоносков, чьи мерзкие рожи не гнушались писать Рейнольдс и Гейнсборо.

Оставалась надежда, что Джонс все узнает и сам прогонит ее, тогда Капитану волей-неволей придется открыть перед ней дверь. Неведение Джонса поражало. Они же ничуть не скрывались. Всюду появлялись вместе: в барах, дешевых ресторанах, кафе, в дансингах, на боксе (Капитан любил этот мужественный вид спорта и в молодости не без успеха подвизался на ринге в весе блохи), на выставках, в музеях. Конечно, люди одного с Джонсом круга чуждались тех народных развлечений, до которых охочи были Мери и Капитан, а появление ее на вернисаже или в музее с художником, чьи картины приобретает муж, казалось естественным. И все же... Сын знал, прислуга знала — и Мери усомнилась в неведении Джонса. Это было похоже на него: знать и молчать.

Неизвестность, зловещая немота Джонса, ложь, проникавшая в каждое слово, жест, улыбку, ледяное отчуждение сына доконали Мери, и она, не думая о последствиях, однажды открылась мужу.

Сделав свое признание, Мери так и не поняла, явилось ли оно неожиданностью для Джонса или подтверждением давно мучивших его подозрений. Вид у него был до того растерянный, ошеломленный и беспомощный, что Мери почудилось: игра! Но тогда он был гениальным актером. Во что не слишком верилось. Самое же непонятное: он молчал и словно ждал продолжения. Мери задумалась. Конечно, она не сказала главного: «Я ухожу от тебя». Но этого она и не могла сказать, ей некуда было идти. Если в нем есть хоть капля гордости, самолюбия, он должен выгнать ее вон. Это будет жест милосердия, тогда все само собой образуется. Или не образуется. Но это уже не его забота. От него требуется короткий и естественный мужской жест.

Джонс молчал. Лицо его стало спокойным, благожелательно-серьезным, разве что немного поглупевшим.

— Ну скажи хоть что-нибудь, — попросила Мери.

Голос прозвучал издали, словно из пустыни.

— Видишь, как жестоки белые люди. Их губы тонки, носы заострены, на их лицах складки и морщины, в глазах острое ищущее выражение. Белые всегда чего-то хотят, всегда ищут. Они беспокойны и нетерпеливы. Они никогда не довольствуются своим, им нужно чужое. Я — индеец, а ты предпочла белого.

— Ты кого-то цитировал? — неуверенно спросила Мери, которой в первые мгновения показалось, что Джонс сошел с ума.

— Карла Юнга. Весьма приблизительно. Это из его путешествий.

— Даже в такую минуту у тебя нет собственных слов. Наверное, из-за этого все и произошло.

— Важно то, что за словами, — сказал Джонс. — Тонкие губы, острый нос, складки и морщины. Голодный ищущий взгляд. Разве не точный портрет? Конечно, он должен был найти, хотя сам толком не знал, что ищет.

Выложив ему правду, Мери совсем обессилела. Его личности падали в пустоту. Люди были слишком сложны для прямолинейной Мери. Они набиты сентенциями, цитатами, парадоксами, чужими мнениями, дурными страстями, изворотливыми пороками, непрозрачными добродетелями и непоколебимой внутренней правотой. Наверное, Джонс — лучший в мире человек, но и в нем она ничего не понимает. Зачем он витийствует, вместо того чтобы прямо объявить свое решение? Она на все согласна. Лишь одно страшило: а что же с сыном?.. Она сознавала, что лишилась прав на сына, — Джонс ни при чем, мальчик сам от нее отказался. Но тут уж ничего не поделаешь, надо было раньше думать. Остается одно: верить, что, повзрослев, он простит или хотя бы поймет грешную мать. Скорее бы все кончилось. Но Джонс не спешил подвести черту, он только страдал, теперь уже молча, не стало даже чужих слов. Что-то сломалось и в Мери, она забыла о своей цели и смертельно зажалела Джонса. Все в нем взывало

к жалости: модный твидовый пиджак и старомодное благородство, стрелка брюк, крахмальные манжеты, мягкие замшевые мокасины (бедный лондонский индеец!), вся его безупречность, которая ни от чего не защищает, его растоптанная радость возвращения в родной дом, представлявшийся ему крепостью.

В постигшем их крушении оставалась лишь власть многолетних привычек. Ни одному не пришла в голову естественная мысль покинуть супружеское ложе — огромную старинную кровать, каждый лег, как обычно, на своей стороне. Ночью не исчезнувшее и во сне чувство жалости толкнуло Мери к мужу, он машинально обнял ее, как всегда обнимал, — оба подчинялись инерции годами выработанного поведения. Утром Мери подумала: «Пересчитаны все ступени, дальше падать некуда, я законченная дрянь». Но не почувствовала ни боли, ни раскаяния. Все произошло по какой-то не зависящей от человеческой воли правде.

Больше она к этим мыслям не возвращалась. Пришел черед новых дел, слов, жестов, движений, улыбок, бытовых необходимостей.

Предстоял традиционный прием в честь благополучного возвращения Джонса из экспедиции. Это всегда стоило Мери больших волнений и хлопот.

Прием удался на славу, заодно выяснилось, что на нее в обиду все старые друзья: она исчезла, не подходит к телефону, не отвечает на приглашения, за что такая немилость? Неужели благотворительность поглощает все ее время?

Капитан находился в плавании, и она могла посвятить себя целиком восстановлению дружеских связей и светским обязанностям. Все складывалось так, чтобы избавить Мери от самокопания, от бесцельной и тягостной возни с собой. Порой она забывала о своем признании. Джонс вел себя так, будто оставался в блаженном неведении, — и при этом ни одного ложного жеста, ни одной фальшивой ноты. Она восхищалась его выдержкой, тактом и добротой. Джонс — чудо!

И тут случилось еще одно событие в их жизни: Джонсу дали титул баронета. Он был представлен королю, разумеется, с женой, и дочери лондонского Ист-Энда оказалось небез-

различным внимание коронованных особ. Огорчало одно: не сможет она рассказать об этом Капитану, презиравшему титулы и прочие пережитки феодализма.

И тут Мери постигла огромная нечаянная радость: она получила короткое, почти ласковое письмо от сына с извинениями, что не может приехать на каникулы домой, потому что нанялся коллектором в экспедицию на север Шотландии. Пусть его любовь еще не вернулась, но у нее снова был сын. Она сразу поняла, кому обязана этим даром. Как сумел Джонс — да еще на расстоянии — сломать упрямство гордого, оскорбленного юноши и вернуть сына матери? Это принадлежало той державе тонких отношений и чувств, куда Мери была не в силах последовать за Джонсом. Ее восхищение мужем возросло, но ничего не отняло у Капитана, внезапно вернувшегося в Лондон.

Потом оказалось, что никакого «вдруг» и не было, он явился в точно назначенное время, это она все перепутала в своей счастливой замороченности.

О том, что он в Лондоне, Мери узнала от приятельницы, с которой столкнулась в антикварной лавке — искала подарок баронету Джонсу. Подруга сообщила о прибытии Капитана как бы невзначай, но таким фальшивым тоном, что отпали всякие сомнения в полной осведомленности света. И тут же вспыхнула мысль о Джонсе: каково ему все это? Вспыхнула и погасла. Мери купила мужу бювар XVIII века, а Капитану, тоже слегка ею обиженному, — недорогую вересковую трубку; кажется, такие старые, давно вышедшие из употребления трубки называются носогрейками — подарок в самый раз для удалившегося от дел пирата.

Ей захотелось скорей вручить Капитану и подарок, и шутку, но между нею и любимым стояла безупречная фигура мужа — в твиде, фланели и замше. Да и попробуй забыть, кто вернул тебе потерянного сына. Красноватое лицо, сероголубые глаза и твердая загорелая рука были гарантией ее сохранности в мире, лишь прикидывающемся добрым. Она пыталась стать ангелом-хранителем Капитана, но ее ангелом-хранителем был и оставался Джонс. Капитан слишком мучается с собственной неустроенной душой, чтобы тратить ее на другого человека. И Мери затосковала.

Помощь, как всегда, пришла от Джонса. Как-то вечером он сказал своим обычным, спокоинно-мягким голосом:

— Я слышал, Капитан в Лондоне. Ты не хочешь повидаться с ним?

Сказанное Джонсом выходило за рамки нормальной человечности, от его слов отдавало каким-то великомученичеством или... холодом.

— Ты что же, совсем не ревнуешь меня? — Наивность порыва искупала жестокость слов.

— А тебе еще и этого хочется? — улыбнулся он одними губами. — В основе всякой ревности — недостаток любви.

Это прозвучало сентенциозно, похоже, он опять кого-то цитировал. Да Бог с ним, что поделаешь, если о самом задушевном он умеет говорить лишь чужими словами. Так его воспитали, приучив прятать слабость за броней обескураживающих формулировок.

— Как я могу тебя уважать, не уважая твоих чувств? — продолжал Джонс. — И я не средневековый рыцарь, чтобы верить в пояс добродетели. Мне не хочется, чтобы ты унижалась до лжи.

И тогда Мери показалось, что игра мужа не совсем чистая. Ощущение такое, будто ее незаметно к чему-то подталкивают. К чему?.. Ведь какая-то преграда между нею и ее любовью уже выросла. А щедро предложенная мужем встреча с Капитаном скорее связывает, нежели раскрепощает. Зачем все это? Она не могла состязаться с мужем в благородстве и жертвовать Капитаном. Неужели Джонс так наивен? Ведь когда ей станет неважно, она просто уйдет к Капитану, и пусть тогда Джонс на досуге придумывает софизмы для ее оправдания. Неужели до сих пор не ясно, что он сохранит ее лишь до тех пор, пока Капитан не скажет своим прокуренным, непрокашлянным голосом: «К ноге!»...

— Я ничего не имею против Капитана, — продолжал Джонс. — Какое мне до него дело? Он просто частица мировой суеты и неустройства, откуда приходят все беды. Лишь мы сами придаем безликостям силу рока. Он мог быть не Капитаном, а шофером, клерком, кондуктором, не писать картины, а играть на трубе или на бильярде, все это не имеет значения, кроме одного: он попал в круг твоей доброты. Он заме-

чен, выбран, вознесен тобой, наделен вовсе не присущими ему силой и властью. Все эфемерно, это ты одариваешь столь щедро человека толпы. И его значительность лишь в нас двоих. Для всех остальных он неприметнее моли. И ненавидеть я должен не его, а тебя, но я тебя люблю, и ничего с этим не поделаешь. Так пусть не становится наша жизнь фарсом. Повторяю, я не хочу, чтобы ты научилась лгать, обманывать, притворяться, носить в себе тайную злость. Оставайся свободной и достойной. Ты не виновата в случившемся, и ты сказала мне правду. Спасибо тебе за это. Знаешь, как сходятся великие вожди? С гордо вскинутыми головами. Сохраним в глазах отвагу встречать взгляд другого... Странно, я действительно начал чувствовать себя индейцем, а ведь прежде шутил насчет своей красной кожи. Так вот, «индеец» удаляется в старый девонширский вигвам. А ты можешь увидаться со своим гринго. Скажи ему, что нет никакой нужды избегать меня. Но упаси его Бог приучить тебя к огненной воде, тогда я без шуток вытряхну его морскую душу. В конце лета мы съедемся всей семьей, я привезу на несколько дней нашего мальчика, а там — опять в экспедицию.

Все было вроде бы по чести, по добру и справедливости, а осадок у Мери остался горький. И не понять, в чем причина. Он ставит ей условия... Смотреть друг другу в глаза. Тут нечего возразить. Он сам сделал все, чтобы она не опускала головы. Так в чем же дело? Хозяйская интонация?..

Встреча с Капитаном после долгой разлуки получилась сердечной. Правда, не сразу. Капитану сперва надо было выплеснуть все свое презрение к титулам и прочей светской мишуре. Потом он выдал ей за то, что заставила так долго себя ждать. Но в сильнейший гнев его повергло сообщение, что Джонс сам предложил ей встретиться с ним. Мери не сочла нужным это скрыть. Капитан взвился и заорал, что не намерен плясать под Джонсову дудку. Если она настолько зависит от мужа, им лучше прекратить встречи. Он просит раз и навсегда избавить его от подробностей ее отношений с Джонсом, из которого она делает дурака и все-таки трусливо ему врет.

— Я не вру, я ему все сказала.

— Что сказала?

— Про нас с тобой, — замерев от страха, пролепетала Мери. Вопреки ожиданию Капитан пришел в восторг:

— Так и вlepила ему? Bravo, старушка! Это по мне. Пусть почувствует, как у него растут рога. Люблю открытую игру. Ну, расскажи по порядку. Ты, значит, ему так спокойненько, а он?..

— Ему было неприятно, — пробормотала Мери.

— Я думаю! — захохотал Капитан. — Если б моя жена... — Тут он осекся и закончил другим, деловым тоном: — Так или иначе, дело сделано. Молодец! Не выношу недомолвок.

Но недомолвка, и весьма серьезная, осталась — для Мери. Она не услышала заветных слов.

А Капитан стал на редкость мил. Рассказывал о своем плавании в комических тонах, что ему не было свойственно, ибо смешное он подмечал только в других людях, показывал новые работы, которые очень понравились Мери. Это было все то же, но как-то раскованнее — смелое неумение становилось твердой манерой. Потом они сходили в ресторан, пообедали и вернулись назад.

Мери хотела остаться у Капитана, но он не позволил. Она уже научилась не обижаться, ей нравилась его грубая прямота после утомительных околичностей Джонса. Он проводил ее на такси.

В общем, это был счастливый день. Капитан даже трубку принял великодушно. Набил ее табаком и задымил, строя свирепые «пиратские» рожи. Делал это на редкость артистично. «А ведь он и сам не знает, как много в нем заложено», — думала Мери.

«Все течет, но ничего не изменяется» — шутка Анатоля Франса как нельзя лучше выражала ситуацию этого тройственного союза. Кажется, у всех его участников было достаточно времени разобраться в себе самих и в своих отношениях, сделать выводы, принять достойные решения и осуществить их. Создавшееся положение не устраивало всех троих. Но никто не отваживался на решительный поступок.

Джонс не пытался что-либо изменить, боясь потерять Мери; та ожидала знака от Капитана, робея взять игру на себя, а Капитан равно опасался того, что Мери в последний момент

отступит, и того, что на него ляжет ответственность за другого человека.

Но внутри этой стабильной системы все время происходили какие-то сдвиги. Так, Капитан стал появляться у Джонсов, конечно, по желанию главы дома. В Англии любое отклонение от нормы, если оно освящено временем, обретает силу непреложности, поэтому связь Мери с Капитаном была как бы санкционирована обществом и уже не подлежала ни обсуждению, ни тем паче осуждению. Чутко уловив перемену в общественном мнении, Джонс решил узаконить Капитана в традиционном образе друга дома.

Передавая в первый раз Капитану приглашение на ужин, Мери была уверена, что он, по обыкновению, взвезется и обрушит на голову Джонса — да и на ее собственную — отборную брань. Однако он спокойно и даже как-то чопорно принял приглашение. Ей и невдомек было, что этого требовал капитанский «кодекс чести» — не отступать перед любым вызовом.

Мери заранее мучилась, что Капитан придет в нарочито расхристанном виде, с сальными волосами и вонючей трубкой в зубах, а Джонс будет делать вид, что все в порядке, и глубоко презирать неряху. Вообще-то Капитан отказался от босяцких замашек, он носил либо безупречную морскую форму, либо черную бархатную куртку художника, но склонность к эпатажу в нем сохранилась, и едва ли он упустит свое.

Действительность превзошла все ожидания: Капитан принарядился. Он раздобыл черную пару, которая была ему великовата: пиджак сидел мешком, а рукава закрывали пальцы, отчего он казался безруким. К тому же он нацепил глухо-черный шелковый галстук — последний штрих к портрету факельщика диккенсовских времен. Неужели это маскарад и он оделся в магазине «Все для похорон», чтобы посмеяться над Джонсом? Как и большинство добрых людей, Мери не отличалась проницательностью. Она взглянула на мужа, надеясь по его реакции понять, что это — всерьез или очередной фортель Капитана. Джонс был слегка ошарашен, но явно не подозревал Капитана в мистификации. И сердце Мери исполнилось щемящей нежности — не к элегантному, изящному,

прекрасно владеющему собой Джонсу, а к нелепой фигуре в траурном одеянии.

Джонс мгновенно угадал, что соперник выиграл эту блиц-партию, ему все на пользу, даже самые нелепые промахи, и это лишний раз подтверждало, что дело не в нем, а в Мери, поэтому и бороться с ним бессмысленно. Джонс с трудом высидел ужин, а затем разыграл маленький спектакль: взглянул на часы, охнул, сделал огорченное лицо, извинился перед женой и Капитаном — у него назначено в клубе деловое свидание, и он должен там быть. Для дома Джонсов это было нарушением этикета, полагалось дожидаться кофе и ликера, но впервые в глазах Мери выдержка изменила Джонсу. Капитан, конечно, ничего не понял и великодушно простил хозяина, обменявшись с ним крепким рукопожатием.

— А он ничего, твой брат, — заметил он добродушно, когда Джонс откланялся. — Я думал, он хуже. И что мне нравится — знает свое место.

Мери не отозвалась, сейчас она жалела Джонса: потащился в клуб со смертной тоскою в душе, а там надо делать вид, что все в порядке, что у тебя отличное настроение, улыбаться, отшучиваться, поддерживать беседу. Бедный Джонс!..

Мери все-таки не до конца знала своего мужа. Джонсу по роду его деятельности приходилось всегда рассчитывать, предусматривать всевозможные случайности — ведь успех экспедиции зависит от самых разных причин, прямого отношения к науке не имеющих. От состава группы, в первую голову от снаряжения, продовольствия, транспорта, медицинского обслуживания, запасов питьевой воды, исполнительности и честности рабочих, нанимаемых на месте. Но и это все еще не гарантирует успеха, в дело могут вмешаться стихии, политические осложнения, расовая ненависть, тайные пороки. Всего предвидеть нельзя, но надо стараться предвидеть все.

Он не мог, например, угадать, что Капитан вырядится как шут гороховый и Мери от доброты и жалости потеряет над собой контроль, а он не выдержит зрелища такой нежности, изливаемой на другого, и будет вынужден удрать из дома. Но он предусмотрел главное — что ему захочется уйти хотя бы для того, чтобы дать им возможность побыть вдвоем. И что настроение при этом у него будет совсем не клубное.

Сейчас речь пойдет об институции, которую ошибочно считают порождением нынешнего просвещенного времени, а существовала она, хоть далеко не в таких масштабах, с середины тридцатых годов. Воистину новое — это хорошо забытое старое. Сейчас на Лазурном берегу каждый уважающий себя отель располагает штатом «девочек по вызову», но еще в доброй старой довоенной Англии имелись хорошо засекреченные отельчики, приносившие своим владельцам славные доходы отнюдь не за счет коммивояжеров и путешествующих старых дев. Обстоятельный во всем и дотошный человек, Джонс получил доступ в один из таких отелей. Он был потрясен, узнав, что ночь с телефонной жрицей любви стоит много дороже той суммы, какую выручает за сезон рабочий-абориген в экспедиции. «Что же такое умеет эта молодая особа?» — спрашивал себя Джонс, разглядывая фотографию темноволосой девушки с широко расставленными светлыми глазами. Она отличалась от журнальных красавиц печатью индивидуальности: хорошо очерченный рот не улыбался, светлые, чуть удлиненные глаза смотрели спокойно и строго — серьезное, хмуроватое лицо профессионала высокой пробы, и он, не колеблясь, выбрал эту девушку, хотя с альбомных фотографий ослепительно улыбались и более яркие существа. Когда девушка пришла — точно в назначенный срок, как служащая, которая и минуты не подарит работодателю, Джонс оторопел. Она была невиданной стати: выше его ростом, с развернутыми плечами, с сильными округлыми икрами и гордо посаженной головой — воительница, темноволосая Брунгильда, Валькирия. На сворке она вела рослую афганскую борзую с громадными мягкими лапами, пышной, промытой и расчесанной волосок к волоску золотистой шерстью и длинным острым щипцом. Афганские борзые обычно добры и чуть флегматичны, но этот аристократ был напряжен, собран, как перед бегом или броском, он не располагал к фамильярности.

— Какой красавец! — восхитился Джонс, помогая Брунгильде снять шиншилловую накидку.

— Чемпион породы, — сдержанно сообщила та.

Она опустила в кресло, закинула ногу на ногу, пес сел рядом, он шурился, тяжело дышал, высунув розовато-пепельный язык, но не расслабился.

— Зачем вы водите его с собой? — поинтересовался Джонс.

— Отчасти для стиля, — без улыбки ответила девушка. — Когда клиент видит такое чудо, он уже не считает, что переплатил. А еще — моя защита. Вы не представляете, с какими психами приходится иметь дело... — Она внимательно посмотрела на Джонса: — Вы не псих, но вы трудный случай.

— В каком смысле?

— Плакать не будете? — спросила она мимо его слов. Джонс деланно засмеялся. — Пожилые женатые мужчины оплакивают свое падение, как изнасилованные монашки.

— О чем вы?

— Первая измена жене в таком возрасте страшнее потери невинности.

Джонс разозлился, но как-то глупо ссориться с женщиной, которая так дорого стоит. Он пожал плечами:

— Что вы обо мне знаете?

— Вы женатый человек. — Она кивнула на обручальное кольцо Джонса. — Вы лондонец и джентльмен. Вы никогда не имели дела с продажной любовью. Интересный, богатый, знающий себе цену человек — вам ничего не стоит сделать любовницей даму вашего круга, это приличнее и неизмеримо дешевле.

— С последним я полностью согласен, — вставил Джонс.

— Мы — для нуворишей, американских миллионеров, считающих Европу сексуальным раем, неполноценных, но богатых старцев и богатых юнцов, которым хочется скорее все узнать, — продолжала она, не обратив внимания на фразу Джонса. — Вы не подходите ни под одну из этих категорий. Что остается? Крушение. Вы потерпели крушение, приятель. — Странно и волнующе прозвучало это фамильярное обращение.

— Вы проницательны, — пробормотал Джонс.

И тут он заметил, что с появлением Брунгильды его рана перестала кровоточить. Конечно, так не излечишься, но и малая передышка — благо.

— Эй, приятель, вернитесь! О чем вы думаете?

— О вас.

— Как трогательно! Я вам была нужна лишь как предмет для размышления?

— Нет, — сказал Джонс. — А собака не может побыть в прихожей?

— Она не мешает. Или у вас аллергия?

— Нет. Но я верю, что у животных есть зачатки душевной жизни.

— Рой! — повелительно сказала Брунгильда.

Пес поднялся, ореховые глаза его сочились тоской. Он медленно, понуро побрел в прихожую.

Позже, за ужином, который им подали в номер, Брунгильда сказала:

— Вы великолепный мужчина. Так в чем же ваша беда?.. Хотите, угадаю? Вам изменяет жена.

— Предположим, — сказал Джонс, не понимая, как он позволяет себе говорить об этом с девкой.

— Вы не можете ее оставить?

Джонс кивнул.

— Дети... дом... налаженная жизнь... — У нее был рассеянный вид, потом взгляд вдруг собрался в фокусе. — Это все не главное. Любовь. Единственная и неповторимая. Что ж, бывает, крайне редко, но бывает. Почему она не уходит?

Джонс промолчал. Ему было стыдно продолжать этот разговор и вместе с тем хотелось, чтобы она продолжала.

— Опять же... дети, дом, положение... — И в упор: — Любвник не хочет?

— Может быть, и хочет, но не говорит.

— Он беден?

— Неустроенный. Безбытный.

— Понятно. Так ему удобнее. И давно это у вас?

— Сейчас мне кажется, что всю жизнь.

— Она стерва?

— Добрый и милый человек.

— Немножко вялая, да? Ни рыба ни мясо?

— Чепуха! Она женственная, милая...

— И бестемпераментная, — уверенно добавила Брунгильда. — Дайте мне мужчину, и я скажу, чего стоит его жена. Успокойтесь, она не уйдет.

— Вы предсказательница?

— Да нет, это все так просто. Никуда не денется ваша Мери.

— Откуда вы знаете, как ее зовут?

— Вы дважды назвали меня «Мери». Ее поезд уже за поворотом, она сама это скоро поймет. От вас требуется немного терпения. Ну а станет неумогу, у вас есть мой телефон. Теперь поняли, почему я так дорого беру?

— Да! — искренне и серьезно подтвердил Джонс.

Мери и Капитан провели время менее содержательно. Капитан захотел осмотреть квартиру и сделал это с большим тщанием, воздерживаясь от критических замечаний. Большое впечатление произвела на него библиотека Джонса, да и весь кабинет. Он отдал дань картинам, их было немного, но все высшего качества, долго стоял перед своим старым пейзажем и что-то соображал про себя.

— Юношеская работа... Не мешало бы Джонсу приобрести меня позднего.

Мери подумала, что он шутит. Ни в малейшей мере. Капитан был серьезен, искренен, прост — не так часто эти добродетели совокупно осеняли мятежную душу Капитана.

Как и всегда, когда Капитан отдалялся, Мери попыталась прибегнуть к нежности, но была не грубо, однако решительно отстранена. То ли его сковывала возможность скорого возвращения Джонса, то ли весь чужой, слишком основательный, жирный быт, но когда Мери проявила слабую настойчивость, он сказал важно: «Я пират, а не карманник». «Устричный пират!» — сердито подумала она, покоробленная мелкотравчатой этикой ближнего действия. А потом возникла другая мысль: Капитан уважал Дом и Ложе. Возможно, тут сказывались его крестьянские корни, он не полностью деклассировался в городской жизни.

Капитан вообще был положителен и очень важен в этот визит, он хотел во что бы то ни стало дожидаться Джонса и напоминал ей сторожа, который должен сдать под расписку оставленный на сохранение товар.

Джонса он так и не дождался и, добродушно поворчав на счет «загулявшего старика», отбыл.

И во все последующие визиты Капитана (для Мери они были наказанием Божьим, но муж настаивал, а Капитан не ук-

лонялся) программа оставалась неизменной: в какой-то момент Джонс ссылаясь на неотложное дело и оставлял их вдвоем. При этом он далеко не всегда спешил к даме с афганской борзой, чаще просто шел в клуб или в ночной бар. Он догадывался, что локальная верность Мери гарантирована лишь присутствием в их доме Капитана. Впрочем, теперь это его волновало меньше. Близость с Брунгильдой сделала духовнее его любовь к Мери, что отнюдь не остудило супружеского рвения. Он заметил, что Мери стала как-то «обязательнее» к этим постоянным приливам страсти, начисто исчезла едва ощутимая даже обостренным чувством Джонса заминка — знак пассивного сопротивления. Тайная душа Мери угадывала неведомо для нее самой, что за спиной Джонса не так пусто, как прежде, и столь же неведомо для своего дневного сознания она ревновала мужа.

Были очевидны и перемены в жизни Капитана. Скандальная слава донжуана способствовала его успеху как художника. Свет прослышал о нем и заинтересовался. Стало модным иметь одно-два полотна этого героя-любownika, «пирата», «морского разбойника», завладевшего женой баронета Джонса. Сам баронет был слишком взыскан удачей, чтобы желать ему добра. Светские люди не сговариваясь делали все, чтобы поддержать «дьявольски талантливого» и романтического отщепенца. Конечно, в широком мире Капитан оставался безвестен, но ведь люди живут не в безбрежности, а в той ячейке, которую им отвела судьба. Капитан и плавал-то у берегов, имея даль лишь по одну руку, а по другую — преграду земной тверди. Но ему повезло и на суше, и на море.

За годы близости с Мери Капитан цивилизовался. Ушли в прошлое дебоши, драки, безрассудное злоязычие, сменились и люди, ведавшие его морской судьбой. В глазах нового начальства он слыл умелым, опытным и дисциплинированным мореходом, которого незаслуженно держали в загоне. И Капитана толкнули наверх. Нет, он не стал водить океанские лайнеры, китобойные флотилии или гигантские нефтеналивные суда, которые почему-то нередко гибнут в самых рыбных местах и возле пляжей, ускоряя экологический кризис, но он оторвался от прибрежной полосы. Теперь океан предлагал ему свою грандиозную ненужность во

все четыре стороны. И наконец настал тот великий день, когда он впервые пошел не старпомом, а капитаном на экспедиционном судне и не куда-нибудь — на Джорджес-банку, а это для морской души что Мекка для мусульманина. Сладко было произносить мужественное, щекочущее гортань и небо слово: «Джорджес-банка».

Как на грех, Мери никогда не слышала об этой океанской ямине.

— Можно ли быть такой дурой? — даже не разъярился, а затосковал Капитан. — Такой непроходимой дурой!

— Хорошо, я дура, — смиренно сказала Мери. — Но объясни мне, что это такое.

— И не подумай. Не знать Джорджес-банку!.. И ты хочешь быть подругой моряка!

— Я хочу другого, — тихо сказала Мери, — быть женою моряка. Подруга я уже сто лет.

— Одинокий путник идет дальше других, — подумав, сказал Капитан.

Мери разрыдалась. Сколько лет ждала она, что Капитан ее позовет, позовет навсегда, сколько лет жила мечтою о полном соединении с ним. Ей до судорог надоело быть неверной женой, грешной матерью, нарушительницей общественной морали, она уже немолодая женщина, неужели не заслужила она права на покой? Ее любовь, терпение, преданность — все ничего не стоит перед какой-то Джорджес-банкой, будь она проклята! И почему мужчины в трудную минуту прикрываются чужими словами?..

Конечно, они помирились. Ее доброта не могла устоять перед смутным обещанием «все крепче обдумать». Под конец она попросила написать для нее эту замечательную Джорджес-банку, что вызвало новый приступ гнева у Капитана: с таким же успехом можно просить его написать дыру, пустоту. Тут Мери вообще перестала что-либо понимать; если Джорджес-банка — просто дыра, то почему столько шума из ничего? Но сказать это вслух не решилась. На всякий случай попросила Капитана одеться потеплее, наверное, оттуда сильно дует.

Капитан уехал. Джонс приехал. Медно-красный, худой, как кость, бодрый и помолодевший. Его наградили Золотой медалью Шведского Королевского общества и торжественно вручили ее в посольстве.

«Я спутница двух величайших людей Англии, — с горькой иронией думала Мери. — Наверное, я приношу счастье. Только не себе самой».

Так оно и было: и Джонс, и Капитан процветали, а она по-прежнему сидела между двух стульев, и осень стучалась в ее двери. И тут ей выпала чуть грустная радость: она стала бабушкой. «Бабушке Мери» — так теперь называли ее домашние — было доверено ясноглазое, горластое и алчное сокровище. Целыми днями пропадала Мери в доме сына, вечером Джонс заезжал за ней, она встречала его застенчиво-радостной улыбкой.

В упоении своей новой счастливой заботой, она совсем забыла о приезде Капитана, о чем ей напомнило его письмо: впервые Капитан просил встретить его в саут-эндском порту. Видимо, хотел показаться во всем блеске, ведь он возвращался с таинственной Джорджес-банки и сам вел корабль в гавань. Письмо запоздало, ей было уже не собраться.

Вскоре она получила другое послание: оскорбленное, гневное и с неожиданным концом. Капитан крепко обдумал все и пришел к выводу, что в нынешних условиях их связь бросает на него тень. Довольно шадить Джонса, им необходимо узаконить свои отношения. Несмотря на несколько рассудочный тон любовного послания и канцелярскую терминологию (недаром Капитан отвергал эпистолярный жанр), это были те самые слова, которых она тщетно ждала всю лучшую часть жизни. Но вместо ожидаемого счастья Мери испытала растерянность и страх. Все приходит слишком поздно, но выбора нет — ее долг быть с Капитаном. Вспомнилось личико внука с кисло зажмуренными глазенками. Мери разрыдалась.

Вернувшийся с прогулки Джонс нашел ее в спальне, она лежала ничком на кровати, спина ее мелко дрожала. Немолодая печальная спина с заострившимися лопатками.

Низко наклонившись, чтобы он не видел ее заплаканного лица, Мери протянула ему письмо.

— Я тебя не отдам, — спокойно сказал Джонс.

— Что же мне делать?

— Не знаю. У тебя внук.

— А если он явится за мной сам?

— Я тебя не отдам, — повторил Джонс. — Но он не явится.

Он не явился и не ответил на письмо Мери.

Прошло немало времени, когда Мери услышала от знакомых, что у Капитана был сердечный удар, он лежал в госпитале и с трудом выкарабкался.

Она не помнила, как собралась. Джонс ее не удерживал. Они прожили вместе всю жизнь, но сейчас у нее не оказалось для мужа ни одного слова. Да он, похоже, и не нуждался в этом. Он был тих, задумчив и спокоен. Когда она уже села в машину, он сказал негромко и будто успокаивающе:

— Я тебя ему не отдам.

...Дверь квартиры Капитана не была заперта. Ее охватил страх: в доме покойника двери настежь... Она вошла, миновала прихожую, холл и откинула неприятно захрустевшую бамбуковую занавеску, прикрывавшую вход в мастерскую.

Капитан сидел за столом, уставленным бутылками, с носогреющей в зубах; напротив в мягком кресле, поджав под себя голые ноги, уютно пристроилась известная лондонская натурщица Лиззи. Она хохотала, расплескивая вино в высоко поднятом бокале. Веселая пара обходилась минимумом одежды, поделив по-братски голубую шелковую пижаму Мери. Лиззи досталась куртка, Капитану — брюки. И в те первые мгновения Мери возмутилась не изменой Капитана, а тем, как распорядились ее пижамой.

Со сжатыми кулаками она набросилась на Лиззи:

— Дрянь!.. Паршивка!.. Как ты посмела?..

Непонятно, чего так перепугалась здоровенная молодая девка. Она выронила бокал и кинулась из мастерской, сверкая розовыми ягодицами, столь хорошо известными ценителям прекрасного. Мери настигла ее, вцепилась в рукав, тонкий шелк лопнул, Лиззи выскользнула из куртки, подхватила брошенное на спинку стула платье и выскочила за дверь.

— Лиззи! — орал Капитан. — Куда ты, девочка?

Он поднялся, пошатываясь, прошел мимо Мери — ее обдало запахом вина, табака, несвежего тела и дамских духов, — выглянул наружу.

«А ведь это у них не начало, — мелькнула усталая мысль. — И что я знаю о нем?.. Чем он занимался без меня?..»

— Какой ты скверный человек! — сказала она, сжав виски. — Боже, какой ты скверный человек!

— Ты больно хороша! — ощерился Капитан. — Я чуть не слдох, а ты где была?.. Девчонка меня выхаживала, настоящий преданный друг.

Мери понимала, что он лжет, девчонка его не выхаживала и появилась здесь как закуска к выпивке, но с нее самой это не снимало вины... Если б не голубая пижама!.. Ее куртка, в которой она столько раз засыпала возле Капитана, обтягивала жирное тело этой потаскухи. Зачем он так унизил ее? Конечно, он в запое, не отвечает за свои поступки. Это дало иное направление мыслям. Он только что вышел из больницы, алкоголь смертелен для больного сердца.

— Тебе нельзя пить. Ни капли.

— Не твое собачье дело! — сквозь зубы процедил Капитан. Ее замечание так его оскорбило, словно она коснулась самого святого, перед чем померкли и другие нестерпимые обиды.

— Будешь мне еще указывать, дрянь!..

— И буду. Тебе нельзя пить.

Инерция столько лет управляла ею: она чувствовала и говорила одно, а делала другое — заботливо вынимала из сумки банки с соками, упаковки с витаминами, лекарства.

— Откупиться думаешь? — с ненавистью сказал Капитан. — Что я — нищий? Не видел этого дерьма? — Он подступил ближе, она опять почувствовала тошный запах чужой, враждебной плоти, и этот запах притуманил ей сознание. Если б она владела собой, то наверняка поняла бы, что в ненависти Капитана больше любви, чем в истерических вспышках страсти или снисходительном — сверху вниз — расположении.

Капитан протянул руку и смел все дары на пол.

Даже самые смиренные души должны хоть раз в жизни взбунтоваться. Мери неловко ударила Капитана по лицу. Он успел отдернуть голову, острый ноготь задел щеку, выступила капелька крови. Капитан коснулся царапины, увидел на пальце пятнышко.

— Ты пролила мою кровь? — произнес он трагическим голосом. — Ты посмела?..

Два оглушительных удара в глаз и в скулу повергли Мери на пол. Она нелепо поднялась на четвереньки, цепляясь за кресло, выпрямилась. В голове гудело, левый глаз ослеп, но боли не было, вся эта сторона лица онемела. «Он выбил мне глаз», — спокойно подумала Мери.

Сознание будто отключилось, а то, что было за сознанием, знало цель: уползти в свою нору, больше ничего не нужно.

В вагоне она заметила, что все смотрят на ее распухшее лицо, но ей это было безразлично.

Джонс ни о чем не спрашивал.

— Давай лечиться, — сказал он и потащил ее в ванную...

Через некоторое время Капитан вышел из запоя, но был так плох, что его опять положили в госпиталь. Здесь он окреп на удивление быстро и запросился домой. Его не удерживали. По дороге он купил бутылку «Скотча» и подцепил в порту некую Мегги, с которой ловкий поддельщик старинных икон Линч писал разных святых второго разряда. Но дома он обнаружил, что пить не хочет, а от «святой» Мегги его мутит. И он ее выгнал. Работать тоже не хотелось. Мысли о новых рейсах не радовали, скорее наоборот. Даже воспоминание о Джорджес-банке вызывало отрыжку. Полугодовое стояние над морской ямой, которую невесть за чем обшаривали вкрадчивые научные гомики, казалось идиотством. Ну их всех к черту!..

Наконец он признался себе через силу, что ему недостает Мери. Все-таки привычка... Вообще-то она неплохая баба и не задавака... Он, конечно, перегнул палку, уж больно ценил свою независимость. Она была хорошо выдрессирована и не капала ему на мозги, но под конец дала сбой. Ему бы помягче... Но с другой стороны — нельзя и распускать — она подняла на него руку. Подумаешь, застала девчонку в своей пижаме. Все богачи — собственники. А он плевать хотел на барахло, ему человек важен. Ладно. Приползет. Куда денется.

Но Мери не приползала. И беспокойство Капитана обернулось лютой тоской. Никогда еще он так не разваливался и даже подумать не мог, чтобы из-за юбки!.. Он был сам себе противен. Все успехи последних лет показались ничтожными. Справедливости нет и не будет. Он должен радоваться, что на старой калоше сплавал на Джорджес-банку, а разные ничто-

жества водят океанские пароходы, крушат льды Арктики, огибают Огненную землю. Он продал за бесценок десятка два картин, а трюкачи, вроде Руо, пишущего грязью, загребают деньги лопатой, жулик Линч купил замок. Хотелось отвести душу, да не с кем. Эта кретинка Лиззи начинает раздеваться, когда ты просто хочешь спросить о погоде: розовое животное. А ему надо, чтобы его понимали. Мери вздумалось поиграть в оскорбленное самолюбие. Поиграла, и хватит. Пора и честь знать.

Несмотря на случившееся, Капитан был уверен в своей власти над душой женщины, которую так часто и легко брал напрокат, что считал своей собственностью, — да так оно, в сущности, и было. Он ничуть не раскаивался в содеянном. Ну, надавал оплеух, так она же его довела. Он валялся как собака в госпитале, а ей хоть бы что — уткнулась в мокрые пеленки. Подумаешь, физиологическое чудо: наспали еще одного никому не нужного муравья. Рассиропились!.. Жалеть надо взрослых страдающих людей... Устроила вульгарнейший скандал, накинулась на его натурщицу, единственно преданного человека. Чуть не прибила бедную девчонку, та выскочила за дверь в чем мать родила. И что она думает: сама где-то шлялась, а он должен заниматься умерщвлением плоти? Пьян был — а кто виноват?.. Но какое все это имеет значение? Она ему нужна. Он привык... да и как им друг без друга — неужели сама не понимает?.. Это все штучки Джонса. С ним давно пора кончать, хватит играть в благородство. Раз в жизни можно нанести удар ниже пояса.

Сказано — сделано. Он написал Джонсу страшное письмо: «Человек вы или нет? Сколько лет я живу с вашей женой, а вы и в ус не дуете. Мне это надоело. Немедленно отпустите женщину».

Ответ не заставил себя ждать: «Вы ошибаетесь, дорогой Капитан. Вот уже сколько лет я живу с Вашей любовницей, и меня это вполне устраивает. Мы оба очень счастливы. Искренне Ваш, Джонс».

МАШИНИСТКА ЖИВЕТ НА ШЕСТОМ ЭТАЖЕ

Савин не мог понять, где находится нужный ему дом. Он не был тут с войны, а сейчас эта часть города изменилась до неузнаваемости. Вообще-то ему приходилось бывать наездами в Москве, но всегда оказывалось столько дел, что на паломничество к памятным местам не хватало времени. И вот сейчас его потянуло взглянуть на старый дом, к тому же выдался свободный час, почему бы и не окунуться в прошлое.

Но сколько ни выхаживал он Арбат, Серебряный и другие переулки, он не мог обнаружить даже подступов к дому. Единственное, что он сразу нашел, так это угловой дом по Серебряному, где прежде висело объявление с адресом машинистки, который он запомнил. Он никогда не помнил ни адресов, ни имен-отчеств, ничего точного. При этом у него была великолепная память на стихи и прозу, а также имена литературных героев, он мог без запинки назвать третьестепенных персонажей Достоевского или Диккенса.

Он шел тогда по Серебряному вверх, сворачивал налево, нет — направо... Зачем обманывать себя, он же понятия не имеет, куда сворачивал. Зато он отчетливо помнил дом, доходный восьмизэтажный серый дом начала века, с большим, плавным, медленным лифтом в глубине обширного, мрачно-величественного подъезда. Лестничный пролет являл готическую высь, витражи стрельчатых окон бросали мрачноватые красные, синие и желтые блики в бархатный сумрак, а в не-

зримой выси, казалось, обитали летучие мыши и грифы — электрическая природа лифта ничуть не мешала сказочности.

У высоких парадных дверей с козырьком цепного навеса было прибито еще одно объявление: «Машинистка живет на шестом этаже» — и номер квартиры, который он, конечно, теперь тоже не помнил.

Жизнь нередко удивляла Савина, но такого прямого и непосредственного — в лоб — удивления, какое постигло его при первом посещении машинистки, он не испытывал никогда. Он был студентом-третьекурсником ИФЛИ, заведения давно не существующего, как и многого другого, создававшего лицо довоенной Москвы. Учился он на литфаке и мечтал о писательском будущем. Жил в громадном, шумном, плохо освещенном сокольническом общежитии, но часто бывал на Арбате, в Староконюшенном переулке, у своей сокурсницы, с которой его связывала деловая дружба: они вместе готовились к экзаменам, ходили в студенческую библиотеку, находившуюся в здании, позднее отошедшем ресторану «Прага». Возвращаясь как-то от своей приятельницы, он и наткнулся на объявление машинистки. А ему нужно было перепечатать курсовую работу «Пушкин и Байрон». С некоторых пор у ифлийцев завелся такой обычай — подавать работы перепечатанными на машинке, да еще в коленкоровой папке с тесемками. Для ребят, живших на стипендию, это было весьма накладно. Приходилось неделю экономить на буфете, или срочно подыскивать какую-нибудь халтуру, или отправляться на Павелецкий вокзал, где носильщиков всегда не хватало, а грузы были велики и объемисты.

Савин мог считаться богачом по сравнению со многими другими студентами. Потеряв родителей в раннем возрасте, он вырос в доме бабки, в деревне под Орлом, и бабка регулярно присылала ему продовольственные посылки. Она не только подкармливала внука, но и одевала, а летом помогала ему купить путевку на море или на волжский пароход. К чести Савина, он не раз пытался освободиться от трогательной и мучительной заботы, но тщетно. «Если мне не для кого будет жить, я лучше помру», — серьезно и печально говорила бабка.

Даже в смутную пору юности Савин многое видел в себе — отчетливо, будто со стороны: свою крестьянскую прижимис-

тость — не скупость, не жадность, а именно прижимистость, нежелание расстаться с копеейкой, недоверчивость к малознакомым людям — отсюда всегдашняя мучительная скованность. Но он умел преодолевать себя. В общезжитии всегда делился и салом, и окороком с соседями по комнате, а в институте принимал участие во всех общественных мероприятиях и даже, умирая от смущения, выходил походкой паралитика на сцену любительского театра. Он дружил с нервной и ломучей, противопоказанной ему всей своей сутью девушкой из Старокопюшенного, чтобы день за днем одолевая проклятую, доходящую до трусости застенчивость, которая всякий раз охватывала его на пороге ее дома, многолюдного и шумного.

В институте Савин пользовался некоторой популярностью из-за одной-единственной фразы в ненапечатанной, но читанной вслух на семинаре статье о молодых ленинградских «философских» лириках. Прочитав стихи Тютчева, он с силой воскликнул: «На колени, невские болтуны!» Его считали честолюбивым, упорным, скуповатым и трудным человеком, то есть тем, чем он и был на самом деле, несмотря на весь подвиг каждодневных усилий. В тесноте институтского существования трудно уберечь себя в тайне. При этом многие были убеждены, что Савин непременно добьется чего-то в жизни, станет видным литературным деятелем. Было что-то убедительное в его круглой крепкой голове с внимательными, вечно размышляющими серыми глазами, упрятыми под твердую лобную кость.

Уже направившись к машинистке, Савин все еще колебался. Дело было не в деньгах, вернее, не столько в деньгах, сколько в докучной необходимости вступать в отношения с новым, незнакомым человеком, с усталой, одуревшей от трескотни пишущей машинки женщиной. Она представлялась худой, издерганной, с тонкими подагрическими руками и блестящими от подавленного раздражения глазами. Она, конечно, перепечатала на своем веку несчетное количество рукописей, в том числе студенческих, в подавляющем большинстве бездарных, скучных и малоумных, и привыкла по первому же абзацу угадывать ожидающую автора неудачу, провал, крушение надежд... И он будет чувствовать ее презрение, ну если и не презрение, то брезгливую жалость. Да и пока он доберется до нее, его

ждет множество испытаний. Надо войти в дом, в коммунальную квартиру, под недружелюбными взглядами соседней машинистки, которых наверняка раздражают ее частые посетители; надо будет представиться, назвать себя, а там может оказаться какой-нибудь ученый, или, того хуже, писатель, или журналист, и стыдно говорить, что ты притащился со студенческой работой, даже не дипломной; и, наконец, самое мучительное — разговор об оплате. Наверное, существует определенная такса, но он не позаботился узнать о ней, кроме того, оплата, видимо, зависит и от того, с чего перепечатаывают, в каком количестве экземпляров: отдельно надо платить за бумагу, копирку и сколько-то оставить в задаток. Нет, все слишком сложно...

Савин пришел к этому выводу, промахав чуть не весь Серебряный переулок. Был конец холодного, черного марта. Пушечно рушилась наледь из водосточных труб и стеклянной хрупью разлеталась по тротуару. С карнизов текло, жгуче-студенные капли поразительно метко попадали за воротник бобриковой куртки. Он так и не удосужился купить кашне. Правда, зима выдалась мягкая, «кроткая», как говорят у них в Коношкове. А вот весна началась жестко и нерадостно: без сини и света, темно, облачно и душно; загрязненный городской воздух, насыщенный влагой, превратился в какую-то слизь. Он облипал щеки, склеивал глаза, от него першило в горле, груди не хватало дыхания. С наступлением сумерек понизу мело холодным ветром. Никак не удавалось обсушиться, согреться, почиститься. Бобриковая курточка, всасывающая влагу словно губка, оставалась сырой, повисев на батарее всю ночь. Брюки по обшлагам твердели мокрой коркой.

Калош он не носил, и как ни вытирай резиновые подметки о половик, с ног все равно потечет. Он наследит и нагваздает у этой машинистки и будет терзаться видом своих мокрых следов на полу и лужиц, натекших с брук. Она же будет делать вид, что ничего не замечает, и проклинать его про себя на чем свет стоит.

А вдруг все окажется по-иному? Ему откроет молодая, милая одинокая женщина, такая же одинокая, как он сам. С тихими глазами, доброй улыбкой, нежными руками. А на тонких, прозрачных пальцах — защитные кожаные колпачки, и

легкие волосы повязаны косынкой, чтобы не падали на лицо, когда она склоняет голову над машинкой. Мысли привычно побежали по знакомой пленительной дорожке...

Громадная сосуля в грязной снеговой шубе сорвалась с крыши и, разбившись вдребезги, хлестнула его осколками по ногам. Будь что будет, он пойдет к машинистке, даже не ради рукописи. Просто ему опротивела улица, захотелось войти в дом, в тепло и сушь, в уютный свет настольной лампы и спокойно, как таблетку от головной боли, проглотить разочарование от встречи со старой воблой.

Он быстро пошел вперед и вскоре с натугой отпахивал тяжеленную, дубовую, с массивной медной ручкой парадную дверь, возле которой висело объявление, что машинистка живет на шестом этаже. Насладившись готическим видом подъезда, он вошел в лифт — кабину с обитым вишневым плюшем сиденьем. Кабина подрагивала, колыхалась в широкой клетке, стенки слегка вибрировали. Мимо пронеслись стрельчатые окна с цветными витражами, словно сигналили диковинные светофоры. Он посмотрел на себя в узкое продолговатое зеркало, вделанное в одну из стенок, неприятно столкнулся с ответным взглядом сизо-багрового, тяжелочелюстного лица и не сразу узнал себя. Нет уж, пусть лучше машинистка не будет молодой, одинокой женщиной с тихим взглядом и нежными руками!..

Лифт содрогнулся, лязгнул, хрястнул и стал. Затем, будто переступил с ноги на ногу, чуть осел и снова хрястнул костьми. Савин отодвинул защелку, толкнул тяжелую дверцу и оказался на темной площадке. Окна с витражами находились в междуэтажных. На двери против лифта белела бумажка, он разобрал начертанное тушью слово «машинистка». Список жильцов под звонком был вовсе неразличим, да, впрочем, он и не знал фамилии машинистки. И тут привыкшие к сумраку глаза разобрали под словом «машинистка» мелкую подпись: «один звонок». Он ткнул пальцем в кнопку звонка и не услышал его задверного верещания. А может, оно и было, но такое коротенькое и слабое, что сюда не донеслось. Во всяком случае, надо выждать какое-то время перед новой попыткой, а то, не ровен час, получится два звонка.

Он так и сделал. Отсчитав про себя три раза по шестьдесят, он позвонил вторично, задержав палец на вогнутой кнопке. И снова настало ожидание. «Да ее просто нет дома!» — радостно вспыхнуло в нем, и тут за дверью послышался мерный постук, затем звяк сброшенной цепочки, мягкий, с прищелком шорох английского замка, замкнутого на два поворота, дверной вырез заполнился высоченной фигурой на костылях, и тихий голос произнес:

— Прошу вас.

Савин вошел в тускло освещенную прихожую большой коммунальной квартиры. Отсюда разбегалось несколько коридоров, в одном из них мелькнуло недовольное лицо старухи в халате, ее голова была обвязана махровым полотенцем.

— Шляются всякие!.. — громко сказала она и скрылась в той стороне, откуда гремело и пахло кухней.

— Мне к машинистке, — пробормотал Савин.

— Пожалуйста, — отозвался человек на костылях, указав на ближнюю дверь.

Савин двинулся туда, но рослый инвалид, успев замкнуть дверь на все запоры, в два могучих броска костылей опередил его и распахнул перед ним дверь. Савин вошел в узкую, длинную комнату с высоким потолком. Против двери находилось зашторенное окно, слева от него, возле тумбочки с зеленой лампой, стояла узенькая кушетка, накрытая серым солдатским одеялом. Справа к стене притулился фанерный канцелярский столик, на нем — зачехленная машинка. Еще было два стула — один перед столом, другой сбоку, а на стене висела полочка с десятком книг. Спартанская обстановка комнаты по неуютю напоминала сокольническое общежитие.

— Простите, — пробормотал Савин, шмыгнув засочившимся носом, — мне нужна машинистка.

— Я машинистка, — спокойно и любезно произнес человек на костылях.

Савин диковато глянул на инвалида. Даже при чудовищном напряжении фантазии нельзя было поверить, что это омужившаяся участница гражданской войны, комиссарша, коротко стриженная, в боевой, пропахшей порохом и дымом степных костров гимнастерке, ватных брюках и грубом сапоге на уцелевшей ноге. Нет, человек, высящийся над ним, без всяко-

го сомнения, был мужчиной лет пятидесяти, с тонким интеллигентным лицом, светлыми, в рыжину, волосами, сильно поредевшими на темени и чуть вьющимися на висках и затылке, с впалой грудью и жилистыми руками, цепко сжимающими перекладыны костылей. У него были большие бледно-голубые глаза в красноватом обводе то ли от бессонницы, то ли от постоянного напряжения.

— Садитесь, — сказал человек. — Что вам надо перепечатать?

Савин опустил на стул против пишущей машинки.

— Простите, не сюда. Это мое место.

Поспешно пересев, Савин ударился коленкой об угол стола. Похоже, инвалид намерен упорствовать в своем жутковатом притворстве.

— Да вы не удивляйтесь, — сказал, улыбнувшись, человек. — Я действительно зарабатываю на жизнь машинкой. — Он ловко послал свое длинное тело на стул и, освободившись от костылей, прислонил их к столу.

— Но зачем вы называете себя «машинисткой»? — почти жалобно произнес Савин.

— Ах, вы о моих вывесках?.. А как еще прикажете себя называть? Машинистом?

Человек снова улыбнулся, хорошо так, полно, спокойно и весело. И убирал он улыбку с лица неспешно, словно жалел с ней расстаться.

Это ободрило Савина, он овладел собой, но все-таки не испытывал доверия к обстоятельствам, в которых очутился. Уж слишком тревожно сложен был образ человека в гимнастерке. Где он потерял ногу? На войне или просто несчастный случай? Гимнастерка, сапог, ватные брюки толкали мысль к войне, человек как бы подсказывал приходящим причину своего несчастья. Но почему он не носит протез? Если бы он потерял ногу юношей в мировую или в гражданскую войну, то непременно имел бы протез. Впрочем, гражданская война отпадает, он никак не вписывается в нее. К протезу обычно не могут привыкнуть люди, лишившиеся ноги в немолодые годы. Да, тут легче представить себе несчастный случай, происшедший сравнительно недавно. Но почему занимается он таким жалким, недостойным мужчины делом? Ведь была же у него

профессия до несчастья. Сколько угодно безногих работают инженерами, учителями, бухгалтерами, чертежниками, да кем угодно...

— Так где же ваш труд? — слышался мягко-нетерпеливый голос.

— Да, да...

Савин открыл портфельчик и достал рукопись. Протягивая ее человеку, он вдруг почувствовал, что простуженный нос наполняется влагой, а в правой ноздре будто виноградина вспухает. Рука его дернулась к карману — о ужас, он забыл носовой платок! С превеликой осторожностью он втянул в себя простудное вещество.

— «А. Савин», — прочел человек, — «Пушкин и Байрон». Вас как зовут — Александр?

— Алексей... Леша. — И он почувствовал, что виноградина опять набухает в ноздре.

— Лунин, — назвал себя человек. — Борис Семенович. — Вынул из ящика чистый, аккуратно свернутый носовой платок и протянул Савину. — Вы простужены. Держите. Монету можете не давать, я не суеверен.

Громадное облегчение, испытанное Савиным, притупилось чувством стыда. Он взял носовой платок и с ожесточением высморкался.

— Хотите принять кальцекс?

— Спасибо. Сейчас это бессмысленно, мне же опять на улицу. А дома у меня есть...

— Вы в общежитии живете? — спросил Лунин.

— Да, — удивленно ответил Савин. — Как вы узнали?

— У вас какой-то неухоженный вид. Вы не обижайтесь. Я старый человек, на меня обижаться не стоит.

— Ну что вы! — искренне сказал Савин. — Какая там обида! Меня просто удивило, что вы сразу угадали. Я так не умею... — Он замолчал, смущенный тем, что выдал свое не нашедшее утешения любопытство к сидящему перед ним человеку.

— Вам все непонятно про меня — это вы имели в виду? — спокойно сказал Лунин. — Я потерял ногу лет двенадцать назад — спонтанная гангрена. Причем болела у меня левая нога, а лишился я правой. Это значит, что другая нога тоже под

угрозой. Вот почему я нигде не служу, сижу дома и печатаю на машинке. Я боюсь перетрудить ногу.

— И вы никогда не выходите? — испуганно спросил Савин.

— Очень редко. Разве что на переосвидетельствование. Я ведь имею инвалидность.

— А что же там проверяют?

— Не отросла ли нога, — спокойно пояснил Лунин. — Мне положена пенсия полтора ста рублей в месяц. Вдруг я восстановил свою конечность, как ящерица — оборванный хвост, и зря беру государственные деньги.

— Черт знает что!.. — беспомощно сказал Савин.

— Чепуха! Я рад поводу выбраться на улицу. А так — одолевают лень и страх. И весь Божий мир для меня — в окне. Это не так уж мало. Тут и небо со всеми оттенками, и облака, и деревья — напротив растут старые вязы и молодые липы. А ведь я сугубо городской человек, книжный, мне этого хватает.

Савин косо глянул на тощую книжную полочку, и Лунин с присущей ему пронизательностью понял его взгляд.

— Совсем молодым человеком я попал в дом к одному сельскому учителю. Он давно сбился с круга, но делал вид, будто причастен мировому духу. И когда речь зашла о скуке деревенской жизни, он сказал: «Нас, интеллектуалов, спасает одно: у нас же книги!..» — и широким, почти царственным жестом показал на книжную полку, где ютилась всякая затрепанная дребедень: «Сад пыток» Мирбо, романчики Локка, «Брынский лес» Загоскина, самоучитель игры на гитаре, немецко-русский словарь и «Хельдензаген фон Зимрок». Я до сих пор помню этот жалкий набор. У меня другие книги. Посмотрите, если вас интересует.

Слегка смущенный, Савин встал и, едва не свалив прислоненные к столу костыли, прошел к полке. Однотомники Пушкина и Тютчева, дневники Льва Толстого, «Мысли» Паскаля, «Былое и думы» Герцена, «Опавшие листья» Розанова и Библия. Дальше смотреть он не стал, испугавшись сыщицкого оттенка в этом осмотре. Книги все были старые, неумело переплетенные в коричневый коленкор.

— Тут собрано то, что вы любите? — спросил он.

Лунин, листавший его рукопись, поднял голову:

— Вернее сказать, тут осталось то, что я люблю. Когда-то у меня было довольно много книг, но я предоставил им разойтись по друзьям и знакомым. Я не давал на руки лишь то, что мне действительно было необходимо. Правда, случалось, что необходимое сегодня утрачивало цену завтра, и в конце концов я остался с тем, что вы видите. С этим я уже не расстанусь до конца дней. В молодости можно быть расточительным в чтении, как и во всем другом, в старости надо ограничиваться лишь вечным. Мы перевариваем уйму чтива, а многое ли входит в наше вещество, становится частью нас самих? Да с десятков книг, не больше. А если тебе кажется, что их больше, значит, ты так и не соединился ни с одной из них. Скажите, вы читали Пушкина?

Савин залился краской.

— А как же... раз я...

— Ну да, «Пушкин и Байрон»... Вижу. «Синкретизм литературных жанров, столь характерный для романтизма», — так ведь?

«Зачем спрашивать? Ведь он же дословно цитирует меня», — чувствуя румянец тяжестью на лице, подумал Савин.

— Речь не о том, — продолжал Лунин. — Я о настоящем, живом, прекрасном Пушкине, не униженном ни сравнениями, ни анализом. Вот его-то вы читали? Не стесняйтесь ответить «нет», вы окажетесь в большой и хорошей компании, включающей даже иных пушкинистов. Правда, никто в этом не признается. Ведь любого из нас с детства пичкают Пушкиным. Дома — «Сказка о царе Салтане», в школе — «Евгений Онегин», а потом оперы Чайковского, глинковские романсы на слова Пушкина. И все искренне убеждены, что читали Пушкина. На самом же деле читали его совсем немногие.

— Я среди этих немногих, — криво улыбнулся Савин.

— Слава Богу! — обрадовался Лунин. — Вы когда-нибудь думали о том, как повезло России, что гений нации воплотился в такое необыкновенное и совершенное существо, как Пушкин? Совершенный талант, совершенный ум, совершенная доброта, храбрость, благородство, сострадание к падшим. И при этом какое остроумие, легкость, дерзость, мужская доблесть, способность ко всяческим очаровательным безобразиям и не-

обыкновенная физическая сила в таком крошечном человеке. Вы видели его жилет в музее-квартире на Мойке?

— Я не был в Ленинграде, — сказал Савин.

— У него была талия как у девушки. Жилет изящный, модный, но такой маленький, деликатный!.. Когда я в первый раз увидел его, то заплакал. Меня потрясло, что Пушкина физически было так мало, а всякой сволочи, ну, хотя бы убившего его Дантеса, — так много. И тогда решил: пробраться в Париж, найти кого-нибудь из потомков Дантеса, вызвать на дуэль и убить. Ну, все это чепуха!.. Хотя не совсем чепуха. Пушкин — единственный великий писатель, которого любишь как своего, родного кровью, дыханием, за которого — я не раз ловил себя на этом — не перестаешь бояться, как будто ему еще может что-нибудь угрожать. А как невероятно опередил он свое время и поэтически, и умственно, и душевно! Все его современники рядом с ним кажутся детьми, к тому же косноязычными. Вас никогда не удивляло, как умен Пушкин, и не только в своих размышлениях, статьях, письмах, а в лирике? Он все знал про человеческое сердце. Помните его грозные стихи: «Ненастный день потух...»?

— Н-нет... — Савин наморщил лоб. — Мне нужен текст... Тогда я, наверное, вспомню.

— Несомненно! — улыбнулся Лунин. — Напомню вам последние строки:

Никто ее любви небесной не достоин.

Не правда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоен;

Но если...

Боже мой, как это прекрасно и страшно: «Но если...» — и ничего больше! Многоточие. И за этим все, на что способна оскорбленная, обманутая страсть африканца... За этим судьба, постигшая Пушкина... Вы почитайте, обязательно почитайте Пушкина, — упрасивал Лунин автора исследования «Пушкин и Байрон». — Это куда увлекательнее и полезнее всех копаний анатомов литературных трупов. Ведь Пушкин не труп, он живой, живой, дыши им — не надышишься!.. А работу вашу я перепечатаю к сроку. Вам она когда нужна?

— Неделя не слишком мало? — робко спросил Савин.

— Ну что вы, если б я так работал, то давно бы умер с голоду, хотя ем очень мало. Позвоните мне через три дня, думаю, все будет готово. Вы в ИФЛИ учитесь?

— Да, — снова удивился Савин. — Откуда вы узнали?

— Мне часто приходилось печатать для ваших коллег. У вас все пишут, но никто ничего не читает.

На том и кончился первый визит Савина. Он покинул Лунина заинтересованный, слегка обиженный, сбитый с толку и зверски недовольный собой. Впрочем, последнее чувство Савин выносил из всех соприкосновений с людьми, будь то профессор-экзаменатор, преподаватель, ведущий семинар, просто товарищ по институту, библиотekarша, парикмахер или трамвайный кондуктор. Почти всегда Савину было в чем себя упрекнуть: в соглашательстве, невежестве, несообразительности, неумении отстоять свои взгляды, робости или просто неуклюжести. Но пожалуй, сегодня он провинился во всех грехах сразу. Единственным человеком, при котором он всегда чувствовал себя умным, красивым, просвещенным и ладным, была его бабушка. Но это не вознаграждало Савина за бесконечные провалы. Порой он задумывался над тем, действительно ли так уж приметны окружающим все его скрытые и явные промахи, замешательство в мыслях и поступках... Он пытался уговорить себя, что все это не стоит выеденного яйца, что люди рассеянны и неприметливы друг к другу, что лишь его несчастная манера делать, по выражению бабушки, «без мухи слона» заставляет придавать значение чепухе. Но в иные минуты он исполнялся уверенности, что окружающие видят, замечают и оценивают решительно все, что некое всевидящее око рассматривает тебя ежемгновенно, словно в микроскоп, и ты сам не замечаешь за собой даже малой доли того, что видно этому оку. От подобных мыслей становилось жутко.

Пожалуй, нигде еще Савин не проваливался так безнадежно, как в гробовидной комнате странного инвалида, и все же он не чувствовал того жгучего стыда, на который готов был настроиться. И вовсе не потому, что человек на костылях настолько не принадлежал к нормальному жизненному обиходу, что с ним можно было не считаться. Нет, он чувствовал, что его, Савина, растерянность, неуклюжесть, невежество, даже

виноградина, столь некстати созревшая в ноздре, не вызвали у Лунина ни насмешки, ни презрения, ни брезгливости. Что он оставался симпатичен Лунину. Было ли то состраданием к нелепой молодости? Или же запертого в четырех стенах инвалида радовало всякое проявление жизни, будь то дерущиеся на подоконнике из-за крошек воробьи или студент-ифлиец с курсовой работой о Байроне и Пушкине? Любой посланец из большого мира был желанен погребенному заживо. Нет, пожалуй, это неправда, не любой. Далекое не любой. По всему чувствовалось, что Лунин так же разборчив в людях, как и в книгах. Нет, такой человек не может быть всеяден. Он широк и примчив, но в нем преобладает избирательное начало. Значит, он нашел в Савине что-то стоящее. Но ведь в нем находили что-то и другие люди, хотя бы его подруга из Староконюшенного, некоторые профессора и сокурсники. «Нет, это не одно и то же, — подумал он тут же. — Ценности, которые обнаруживали во мне институтские люди, пожалуй, ничего не стоят в бледно-голубых, с красным обметом, глазах Лунина. Достаточно вспомнить его мягкую и беспощадную насмешку над стилем сочинения. Но верно, я показался ему не безнадежным. Он проницателен. Он привык близко наблюдать людей. Я тоже кое-что понял про него. Он, конечно, не просто машинистка. Он наверняка помогает приходящим людям. Кому-то составит заявление, напишет письмо, возможно, и отредактирует какую-нибудь работу, вообще оказывается куда ближе к делам и душам своих клиентов, нежели простая машинистка».

«А что, если я все это придумываю? — спросил он себя уныло. — Беллетризирую, по обыкновению, простую и грубую жизнь. Он может понимать и оценивать людей, вовсе не беря на себя заботы подпольного адвоката, советчика и редактора. Во всяком случае, я чувствовал его приязнь и в этом-то не обманываюсь. И я не стану никому говорить о нем, оставляю для себя нашу встречу. А все-таки сколько интересного и неожиданного скрывается за окнами с желтыми и зелеными абажурами!» — думал он, озирая осветившиеся этажи домов.

На следующий день Савин поймал себя на том, что раз другой иронически улыбнулся, слушая лекцию любимого институтского златоуста, на котором сходились все противоречивые вкусы, ибо он единогласно был признан «умницей». Это

улыбался проникший в него Лунин, сам Савин готов был по-прежнему восхищаться ловкой подделкой под оригинальное мышление...

Но вечером тревожная мысль о судьбе реферата заставила Савина иначе отнестись к вчерашнему знакомству. Он связывал со своей работой некоторые честолюбивые надежды. Его подруга из Староконюшенного, очень строгая и требовательная к себе и особенно к другим, считала, что работу можно опубликовать. А руководитель семинара сказал, что такой труд оказал бы честь и диссертанту. А Лунину — на этот счет не было сомнений — трактат не понравился. Но кто такой Лунин и почему надо считаться с ним? Будь у него две ноги и служба, он являл бы собой рядового городского интеллигента-говоруна, каких в Москве легион. Но тревожный и необычный облик: рост, худоба — он похож на тень в полнолуние, — костыли, гимнастерка, сапог; наконец, его убежище, лишенное признаков быта, — там нет ни чашки, ни тарелки, словно он и не питается вовсе, бабья профессия, которой он придается без всякого смущения, наделяют его довольно банальные рассуждения той значительностью, какой в них на самом деле нет. Ведь это старо как мир — смеяться над пушкинистами и литературоведами. И великий снобизм — отобрать из сокровищницы человеческого духа несколько будто бы вечных книг, пренебрегая всем остальным. «На каком основании, Борис Семенович Лунин, вы позволяете себе судить других, выносить оценки и приговоры? Чем вы сами-то осчастливили человечество? Да ничем! Так уж лучше оставьте в покое тех, кто пытается что-то сделать!..» Словом, он разделался с Луниным по всем правилам яростной самозащиты малых душ.

Он не позвонил Лунину на третий день, как было условлено, позвонил на четвертый, и то лишь потому, что в посылке, которую снова прислала бабушка, оказалась банка засахаренного липового меда, а он слышал, что пожилые люди приписывают меду чудодейственные свойства. Надо было отнести эту банку инвалиду; он, Савин, никогда не любил меда.

— Ну куда же вы пропали? — своим радостным голосом сказал Лунин. — Ваша работа давно готова.

— Я могу к вам сейчас приехать?

Лунин ответил, что как раз сейчас он идет на переосвидетельствование, и неожиданно предложил захватить за ним на Ваганьковское кладбище. Савин подумал, что это неудачная шутка, но Лунин говорил серьезно. Он будет ждать от половины третьего до трех возле центральной аллеи и просил не опаздывать — сейчас еще рано темнеет. Савин сказал, что будет вовремя.

Повесив трубку, он вдруг удивился, почему его так огоршило предложение Лунина. Можно подумать, что тот приглашал его на собственные похороны. Одиноким человек, он ходит на кладбище, на могилы своих близких, и вообще было бы куда невероятнее, если б Лунин пригласил его в Парк культуры или в ресторан.

Савин не бывал на Ваганьковском кладбище и поначалу забрел в его армянскую часть. Он шел по аллее мимо богатых безкусных надгробий, удивляясь обилию армянских имен и отсутствию русской простоты в убранстве могил. Наконец он догадался спросить встречного деда, куда он попал, и таким образом обнаружил свою ошибку. Дед объяснил, что русское кладбище находится за воротами, через дорогу. «Вишь церковь? Во, туда и топай!»

Савин угодил к выносу. Хоронили какую-то старуху. Гроб несли на плечах шестеро пожилых мужчин в черных драповых пальто, и чувствовалось, что ноша им тяжела, хотя в открытом гробу покоилась совсем изношенная, невесомая плоть. Мужчины держали свои кепки и ушанки в свободной руке, и мартовский ветер вздымал слабые волосы на их лысеющих головах. Еще десятка два людей шли за гробом. Среди старух и стариков выделялись две молодые миловидные женщины. Одна из них держала за руку румяного, тепло и плотно одетого мальчика, который то и дело оборачивался и смотрел на бредущего чуть в стороне хмурого лилипута. Никто не плакал. Уже намерзшиеся в неотопливаемой церкви, люди зябко ежились, но все-таки не убыстряли шага. Савину показалось неловким идти впереди шествия, и он поплелся сзади.

День выдался посветлее и поприветливее всех последних дней, и, кабы не ветер, было бы совсем хорошо. Всю влагу на земле и на деревьях прихватило морозцем, порозовевшие ветки вербника и позеленевшие — осин оказались в льдистых

чехольчиках. Под ногами похрустывал тонкий ледок, серый снег искрился. На самых тоненьких веточках ледок оплавлялся, и легкая капля наполняла шорохом кладбищенский парк.

Процессия вышла на перекрест двух аллей и свернула направо. А слева Савин увидел Лунина, сидящего на скамейке. На нем было старое, многожды крашенное и все истрескавшееся коричневое кожаное пальто, мохнатая кепка с большим козырьком и толстый шерстяной шарф. Свою единственную ногу он тепло обул в валенок с блестящей новой калошей. Он сидел, чуть подавшись вперед и обхватив острое колено большими бледными руками, показавшимися Савину очень красивыми. Костыли были прислонены к скамейке. Худое, большещекое лицо Лунина было оживленным и каким-то родственным всему окружающему.

— Вы молодец, что шли за гробом! — сказал он, крепко пожимая Савину руку. Пальцы его остудились, а ладонь была теплой. — Вы часто бываете на кладбище?

— А что мне делать на кладбище? Я даже не знаю, где похоронены мои родители. Отца убили в гражданскую, а мать умерла от сыпняка в поезде.

— У меня тоже никого нет, ни среди живых, ни среди мертвых. Но ведь на кладбище так хорошо, особенно летом. Глубокая трава, старые деревья, тишина... Городским людям надо бывать на кладбище для душевной профилактики. Все-таки мы все слишком суетливо живем, даже я, почти не выходящий из дому. Суетливо в себе самих. Нам все время хочется того, чего у нас нет. Отсюда вечный внутренний зуд, много лишних мучениц, ненужных поступков, отсюда во всех нас столько мелкого и неценного. А приходишь сюда, видишь, чем завершается вся наша суматоха, и успокаиваешься. Понимаешь, что жить надо только главным.

— А что главное? — спросил Савин.

— Чисто юношеский вопрос!.. Для меня, например, главное — это творческое состояние.

— Вы пишете?

— Да, но не в том смысле, как вы это себе представляете. Я живу... Вам, наверное, странно, но свое убогое существование я считаю жизнью, да еще какой! Прежде я знал, что такое внешняя жизнь, потратил на нее многие годы и, если б не

потеря ноги, наверное, продолжал бы свою мельтешню. Болезнь возвратила меня к самому себе. Я очень много читаю, да, да, одно и то же, — сказал он улыбаясь, — и думаю. Иногда мне хочется дать форму тому или иному размышлению, или переживанию, или всплеску памяти. Под формой я разумею не жанр, а лишь завершенность выражения в пределах отпущенных мне сил...

— А это можно печатать?

Лунин рассмеялся:

— Опять чисто юношеский вопрос! Конечно, можно, но разве в этом дело. Печататься надо — и без проволочек, — если пишешь беллетристику. Иначе для чего она вообще нужна? А мне торопиться некуда, впереди вечность. Для меня важно одно — творческое состояние, внутренняя обостренность ко всему, готовность к чуду. Тогда чувствуешь себя частицей великого усилия мирового духа... Но порой наступает упадок, а с ним страх смерти. И тогда я еду на кладбище. Уже не спасаться от суеты — для иного... Здесь вся земля набита ушедшими. Они лежат тихо, спокойно. Вот так же умиротворенно буду лежать возле них и я. И мне уже не страшно...

Они еще некоторое время сидели молча. Савин курил, отгоняя рукой дым, вдруг повернувший в сторону Лунина. Прошли рассыпавшимся строем, негромко переговариваясь, провожавшие старуху люди. Головы мужчин были покрыты, лица деловито оживлены предвкушением поминок. Красношешкий мальчик все так же пялился на озябшего, совсем сморщившегося лилипута. Затем новое шествие потянулось от церкви по той же аллее и в ту же сторону, что и предыдущее, и вообще оба шествия были до странности схожи и составом, и обликом провожающих, только теперь в гробу лежал старик.

Трудно было поверить, что вокруг громадный и шумный город. Изредка доносился автомобильный гудок, взвонь трамвая, но так приглушенно, что эти звуки легко можно было принять за голоса живых существ. Савину грустно вспомнилась деревня, бабушка с ее угрюмой добротой, огнистый кривоглазый петух с испортившимся будильником — он namного опережал петушиный час, поросенок Кузя — на самом деле его встречал каждый раз новый Кузя, но в том же возрасте и с тем же добродушным рылом, что и предшественник...

Начало смеркаться, влажно, терпко запахла стволы деревьев. Потеплело. Громче стал шорох капель. Савину было хорошо, не понять отчего. Просто оттого, что он сидит на скамейке рядом с другим человеком, а где-то еще есть бабушка, родная душа, есть жизнь и смерть, а в жизни, кроме прошлого и будущего, есть еще и настоящее. Он чувствовал свою весомость в этом настоящем, время перестало нести его, словно мартовский ручей щепку, а трудно, натужно и бережно держало в себе, он чувствовал, что оно словно прогибается под его тяжестью. Может быть, для этого и позвал его сюда Лунин?..

Когда они вышли из ворот кладбища, в окна зажглись огни. Савина тревожило, как доведет он до дому своего спутника, но Лунин сразу остановил такси.

— Изредка я могу позволить себе такой кутеж, — сказал он, чуть подтолкнув Савина плечом к двери.

Три экземпляра савинского труда, сшитые при помощи дырокола и заключенные в папки, лежали возле зачехленной машинки. В них была убедительность, заставившая Савина поверить, что на сей раз дело пахнет типографской краской. И еще ему подумалось, что столь любовное оформление реферата не могло возникнуть из равнодушия или, хуже того, неодобрения. Но он напрасно ждал оценки своей работы — Лунин заговорил об оплате, весьма умеренной, выразил готовность подождать, если Савин не при деньгах. Конечно, Савин гордо отверг это предложение.

Он заворачивал папки в газету, когда Лунин принялся расспрашивать его: откуда он родом, где рос, кто были его родители.

— Родиться на Орловщине, в деревне... С колыбели слышать самую чистую русскую речь!.. Господи Боже мой!.. — восторгался Лунин. — Я рос в безъязычье. Мой отец считался купцом третьей гильдии, хотя в жизни ничем не торговал и шастал по белу свету, занимаясь чем придется. У него была одна цель — не сидеть дома. Тут я его понимаю. Мачеха, эстонская немка, с тяжелейшим, нудным характером, могла уморить кого угодно. Мы жили в Петербурге, на Островах, кругом чухна и обрусевшие немцы. На каком языке все они говорили!.. Их воляпюком, как грязью, были забиты мои уши. Когда я пошел в гимназию, одноклассники думали, что я иностранец.

Сколько минуло лет, а я не могу отучиться говорить «всёй» и «по первоупутке». Я продирался к родному языку, как сквозь чашу, а вас поили им от рождения. Счастливец!.. Что такое литературный талант? Это экономия. По теории вероятности обезьяна может создать «Душеньку», если будет миллиарды миллиардов лет складывать буквы. Бездарный, но не чуждый стихии языка писатель стоит много выше обезьяны. При громадной усидчивости, трудоотдаче он может дописаться до прозы, которая будет почти точной копией хорошей. Но его хватит не больше чем на одну-две книги. Просто не успеет — помрет. Талант находит кратчайший путь от переживания и мысли к словам. Но вся дивная работа таланта обесценивается, если нет настоящих слов, если писатель лишен языка. Тем не менее, — добавил он задумчиво, — существует, и весьма счастливо, множество одаренных безъязыких писателей... Но вы — орловец, вспоенный молоком такой речи! И вдруг — «реминисценции», «синкретизм»!..

Вот Савин и услышал оценку своего труда. Дался Лунину этот проклятый «синкретизм»! Неужели ничего больше не мог он сказать?

Горечь, оставшуюся после этого разговора, не уластил даже огромный успех реферата в институте...

Савин много думал о своем новом знакомце. Кто он — писатель, не воплотившийся в слове, или одухотворенная натура, обойденная тем самым даром экономии, который Лунин считал сутью таланта? И он обрек себя на затворничество, чтобы денным и ночным трудом сложить слова в подобие настоящей прозы. Или его загадка в чем-то совсем ином, или же просто нет никакой загадки? Интеллигентское кокетничанье мыслью и словом? Но последнее Савин отвергал — не логически, а всем своим нутром. Он чувствовал свою повязанность с Луниным, но было ли то странным, необъяснимым сходством между ними или же односторонней его, Савина, зависимостью от мира чужой души, он не мог понять. Савин чувствовал, что не нужен Лунину, хотя тот и рад ему. Даже не то чтобы вовсе не нужен, просто легко заменим в наученном одиночестве сердце. Заменим не обязательно на другого человека — на книгу, на размышление, на воробьев или голубей, на кладбищенское шествие, на воспоминание, на радость при-

косновения к «мировому духу». А ему Лунин был нужен, но с обычной заторможенностью он не мог отважиться на какие-то усилия для продолжения знакомства. Савину казалось, что он должен предстать перед Луниным в обновлении: душевном, умственном или творческом, что он должен что-то принести ему, как дети несут взрослым в кулаке бабочку, красивый камешек, цветок, травинку или блестящую медную пуговицу, обнаруженную в песке. Но не было ни бабочки, ни цветка, ни даже обманчивой блестинки ложной ценности. Была вечная возня с собой, сизифовы потуги творчества и посылки от бабушки.

Но однажды Савину показалось, что к Лунину можно пойти запросто, с бутылкой коньяка, — подумаешь, что он, не может раз в жизни разориться на коньяк! Купить еще крабов и шоколаду «Золотой ярлык»!.. Но и в хмельном тумане он спохватывался, что это не способ общаться с Луниным. Душевные разговоры под бутылочку — не стихия Лунина. Ни под уютный чаек. Недаром же он ни разу не предложил Савину чая. У него небось и чашки-то лишней нету. Ему не хочется, чтоб малости быта отвлекали его от главного...

И все-таки Савин нашел предлог для визита, он решил перепечатать все свои беллетристические произведения: начало романа, рассказы...

Он явился без звонка, чтобы подчеркнуть деловой характер своего посещения, и попал не вовремя. У Лунина находилась клиентка — полная женщина с грубым мужским лицом и темными усиками. Штабс-капитан в юбке и коротком жеребковом жакете. Между ней и Луниным происходила какая-то склока, и Савин, извинившись, хотел захлопнуть дверь, но Лунин остановил его:

— Заходите, заходите, я сейчас освобожусь!.. — И, повернувшись к штабс-капитану, сказал хотя и вежливо, но с отчетливым металлом в голосе: — Платите пять рублей, голубушка, и освободим друг друга.

— Я сужусь не в первый раз, знаю, что почем, — тихим, быстрым и злым голосом отозвалась усатая тетка. — За такое заявление любая машинистка больше двух рублей не возьмет.

— Любая машинистка не станет вас редактировать.

— Поэтому я и даю трешницу! — еще злее сказала тетка.

— Повторяю, работа стоит пять рублей.

Савину стало не по себе. Неужели это тот Лунин, который предложил ему подождать с оплатой довольно большой работы? Его ледяной, неумолимый тон стоил откровенной злобы усатой сутяжницы. Как не совестно ему становиться с ней на одну доску?! Господи, неужели для него так важны жалкие два рубля?

— Может, вы покажете мне ваш прејскурант? — ядовито сказала усатая.

— Я его помню наизусть, — холодно усмехнулся Лунин. — И если вас не устраивает, забирайте свое заявление. Перепечатывать его бессмысленно. Оно слишком глупо и в юридическом, и даже в житейском смысле. А зарабатывать на вашем невежестве я не желаю. На Арбате полно машинисток.

Щелкнула сумочка. Женщина положила на стол мятую пятерку. Жадным движением схватила листки.

— Не помните, — предупредил Лунин, смахнув пятерку в ящик стола.

Уже открыв дверь, женщина обернулась:

— Если будет еще инстанция, могу я к вам обратиться?

— С девяти до четырех. Ежедневно, кроме понедельника.

Савину даже жутковато стало — до того не окрашен интонацией был голос Лунина. Он ждал, что Лунин захочет как-то объяснить разыгравшуюся на его глазах неаппетитную сцену или хоть пошутит над собой, чтоб снять ощущение неловкости. Но Лунину и в голову не вспало что-либо объяснять, а тем более оправдываться. Это входило в систему его деловой жизни и никого не касалось, кроме него самого.

— Принесли работу? — сказал он своим обычным при встречах с Савиным радостным голосом.

Савин уже жалел, что затеял всю эту бодягу. Теперь он понимал, что сочинил для себя Лунина — современного Дон Кихота, бессребреника, доброго советчика страждущих и томящихся, отвлеченного чудака. А этот бессребреник и чудака оказался весьма крутенок в делах, прижимист и даже жесток. Правда, баба была препротивная: завзятая склочница, сутяжница и пройдоха. Может, с ней так и следовало? Лунин переписал ей деловую бумагу и требовал ту плату, какую всегда брал. А почему он должен уступать этой выжиге?.. Да, все так,

все правильно — для любого дюжинного человека, для любой машинистки, кроме этой, живущей на шестом этаже...

Разговора у них не получилось. Только условились о сроках, и Савин сразу заспешил домой. Лунин его не удерживал.

Их следующая встреча произошла недели через две, когда Савин пошел за готовой работой. Был конец апреля, и вся природа, сохранившая жизнь в камне города, готовилась к весеннему расцвету. Набухли и уже пустили зеленую стрелку почки, каждое обнажение почвы прикрылось слабой травкой. Вымытые, кое-где распахнутые окна отблескивали синью, на подоконниках толпились голуби, еще не начавшие своего грубого любовного бормотания.

И в комнате Лунина окно было приоткрыто, и менее ощутим стойкий тленый дух. Экземпляры рукописи Савина, как и в первый раз, лежали на столе, заключенные в самодельные переплеты из скоросшивателей. Савину подумалось, что разговор опять не состоится, и в этом молчании весьма красноречиво скажется оценка Луниным его прозы. И тут он увидел две странички, лежавшие отдельно, и сразу по внешнему виду узнал свой рассказ, вернее, зарисовку, а еще вернее, вопль под названием «Поросенок Кузя». Он намучился с этими полтора страничками, выражавшими чувство столь подлинное и пронзительное, что даже не понять было, отчего оно само не нашло для себя слов, и помнил их наизусть:

«Мы играли в городки, когда из закутка выскочил поросенок Кузя. Впрочем, слово «поросенок» плохо к нему подходит. Это солидных размеров боровок с хвостиком в четыре кольца, упитанный, розовый, гладкий.

Выскочив на свет божий из темного вонючего закутка, он несколько секунд стоял молча, задрав к небу пяточок, ошеломленный прелестью окружающего мира. Он мешал мне сделать удар. Мне никак не удавалось выбить последний городок «пушки», завалившийся в ямку, и я с раздражением ждал, когда Кузя очистит место.

Солнечный луч позолотил ему рыло, он подскочил и щелкнул клыками, словно желая на вкус попробовать солнце.

— Пошел ты! — крикнул я ему, замахнувшись битой.

Кузя глянул на меня узким монгольским глазом, сверкнул добротой, веселой иронией и с гениальной простотой Колумба, поставившего яйцо на попа, решил задачу невыбиваемого городка. Он поддал его пяточком, выкатил из ямки, схватил в пасть и понесся по улице. Не поняв урока, я грубо заорал и швырнул в него битой.

Нисколько не обиженный, он выпустил городок, ухмыльнулся и, издавая басовые, как вздох, ноты, помчался дальше по саду.

По пути он нежно покусал за ноги вихрастого черного козленка, подкинул на воздух вислоухого щенка, выхватил плюмаж из хвоста белого петуха, выкупался в луже, вытерся о лопухи, перекувырнулся и полетел дальше, здоровый, веселый, всем друг и брат: и мне, злomu человечку, и неуклюжему щенку, и козленку, траве, лопухам, воде, небу и солнцу.

Пока он носился по саду, приглашенный бабкой резник успел хорошенько наточить ножи. Боровка выпустили побегать, чтобы разогнать кровь, загустевшую в период откормки. Через несколько минут бешеный, взяхлеб, визг известил о кончине Кузи.

А я подумал, насколько покойный был счастливее меня. Если б мне хоть раз... хоть раз в жизни Кузино счастье... вот такое — до одури, до задыха, до черт знает чего!.. Тогда нате горло — режьте...»

Лунин перехватил его взгляд.

— Как трудно вы живете с собой! — сказал он. — Никакой ад не сравнится с тем адом, который человек носит в себе самом. Но знаете, Леша, — впервые назвал он Савина по имени, — дальше будет легче. Юность — самая мучительная пора жизни человека.

— А считается самой счастливой.

— Это придумали старики от беспамятства. Самая счастливая пора — старость, но лишь до начала обратного движения в детство. Боже мой, как чудовищно прожил я свою молодость! В какой суете, каких заблуждениях!.. Нет, я не совершил ничего предосудительного, но я мнил себя поэтом. Эти бесконечные шатания по ночным улицам, потоки виршей, и своих, и чужих, бдения в Доме поэтов — слышали о таком? Сколько самообольщения, спеси, отчаяния, ложных озарений, пустых мук! Как может истерзать человека слабое

дарованьице, когда на свете есть столько простых и серьезных вещей, ради которых стоит жить. И писать свою книгу. На обрывках, клочках бумаги, просто в себе — не имеет значения...

Савин, как всегда, пытался впрямую отнести к себе слова Лунина. Получалось не слишком обнадеживающе. Ему казалось, что Лунин как-то адаптирует свои мысли, приспособливает их к его скудному пониманию, а он, в свою очередь, упрощает их до низкого ранга стимула, или препятствия, окончательно освобождая от первоначального, далеко не столь утилитарного смысла. Если бы Лунин говорил на своем внутреннем языке, Савин, возможно, и не все понял бы, но в нем началось бы медленное, затрудненное движение мысли к чему-то высшему.

— А вы долго писали вашего «Кузю»? — спросил вдруг Лунин.

— Долго.

— Ну, как долго?

— Даже не скажу. Писал, откладывал, опять возвращался, перепечатывал, рвал... А разве это так плохо, когда долго пишешь? — спросил он с наивным испугом. — Гёте писал «Фауста» всю жизнь.

— Верьте больше литературоведам!.. Так уж и всю жизнь! А когда же он написал «Годы странствий Вильгельма Мейстера», «Поэзию и правду», книгу об итальянских путешествиях, всю лирику, поэмы?.. «Фауста» он писал с огромными перерывами. Понимаете, он сам двигался вместе с этой поэмой, он как бы созревал для ее продолжения... Да, и «Фауст» толкал его дальше. Они, как два богатыря из немецких сказаний, поочередно тащили друг друга. Я не думаю, чтобы нечто подобное происходило у вас с «Поросенком Кузей». Писать не обязательно быстро, можно писать медленно, даже должно, если хотите. Но до какого-то предела. Всякое действие обладает определенной минимальной скоростью, ниже которой — остановка, паралич, смерть. Художественная натура — это еще не писатель. Должна включаться скорость, пусть небольшая... А впрочем, самое главное — причастность мировому духу, не правда ли? — Он улыбнулся. — Вы мне не разрешите оставить «Кузю», четвертый экземпляр?

Польщенный, хотя куда больше огорченный и негодующий, Савин разрешил. Он расплатился и унес под мышкой свои непризнанные труды, дав себе мысленно слово не встречаться больше с непробиваемым инвалидом.

Он пришел к нему в самом конце июня, перед отправкой на фронт. Уже с бритой прохладной головой, но еще в штатском. Просто вдруг оказалось, что ему некуда пойти, не с кем проститься. Его приятельница из Староконюшенного была озабочена отъездом другого человека. И так получилось, что у всех ребят, решивших уйти на войну, было с кем прощаться, а у него не было. И он вспомнил о Лунине. По правде, он о нем и не забывал. Какой-то внутренний разговор, вернее, спор с Луниным не прекращался в нем со дня их последней встречи. Он хотел изгнать Лунина из себя, а для этого нужно было обезоружить его и победить. Машинистка в гимнастерке не хотела, чтобы он был писателем, не верила, что он способен включить скорость, требовала от него невозможного: причастности мировому духу без литературы, обрекала его на безвестность, на тусклое внешнее существование. Он яростно отвергал такое будущее. И все-таки не удавалось осилить безмолвного противника. Как у бедного андерсеновского Кая, в глаз Савина попал осколочек кривого зеркала. Осколочек этот отнюдь не обнажил скрытое уродство в окружающем, он давал о себе знать, лишь когда Савин обращался к собственным сочинениям. Все прежде написанное и все, что он пытался писать сейчас, казалось ему выпреним, натужным и пустым. Играя с собой, он задавался таким вопросом: «А вдруг я преувеличиваю свои недостатки, вдруг другие люди найдут все это достойным печати, похвал и наград, — нужно ли мне это, хочу ли я такой славы?» И с грустной твердостью отвечал себе: «Нет!.. Ну, а чем тогда жить?» — спрашивал он себя и, не находя ответа, вновь начинал борьбу в потемках, как Иаков с тем Невидимым, что вывихнул ему бедро. С Савиным дело обстояло еще хуже: проклятый чертов затворник вывихнул ему мозги!

И после всех бранных слов он кинулся к нему как к единственно близкой душе. Он застал Лунина за машинкой. Оказалось, тот печатает всего лишь двумя указательными пальцами, изредка помогая себе средними, но довольно быстро. Удар

у него был слишком жесткий, да и вообще сухая сила его движений рассчитана на какой-то более грубый и выносливый механизм, нежели пишущая машинка. Приближаясь к краю страницы, машинка издавала мощный пронзительный звон, под стать трамвайному. Лунин протягивал большую бледную руку и резко перегонял каретку.

Он кивком приветствовал вошедшего Савина, глазами попросил извинения, — губы его шевелились, беззвучно выговаривая какой-то текст, — в несколько энергических щелчков допечатал и вынул страницу.

— Ну, здравствуйте, — сказал он, — давненько мы не виделись... Как странно, пришла война, большая и страшная, что-то навсегда кончилось, а я завален работой. Люди как будто решили доссориться, досутяжничать, додраться из-за всяких малостей. Ну конечно, есть дела, уже порожденные войной, — это понятно. Но остальное? Зачем все это? Из желания делать перед собой вид, будто ничего не изменилось и жизнь идет своим чередом? Попытка схорониться от беды за чепухой мнимых забот?!

— Я уезжаю, Борис Семенович. Пришел попрощаться...

— Как! — Лицо Лунина странно скосилось.

Савин злорадно отметил про себя ненаблюдательность Лунина, лишь сейчас обнаружившего его нулевую стрижку. Художник должен сразу замечать такие вещи. А может, он связал эту стрижку с летом, а не с войной?

— Зачем... зачем вам ехать? — говорил Лунин. — Закончите сперва институт. На вас этой войны все равно хватит.

— А война будет долгой?

— Долгой. Никак не короче Первой мировой. — Он сказал это не с напором убежденности, а с тихой грустью точного знания.

— Так какой же смысл отсиживаться? — улыбнулся Савин.

— Я понимаю вас. — Лицо Лунина оставалось все таким же скошенным. — Вы не хотите, чтобы за вас гибли другие...

Савин поднялся, протянул руку, Лунин взял костыли и тоже встал. Савину сдавило горло. Лунин показался ему таким старым и таким непрочным на стебле своей длинной, худой ноги! Они обменялись рукопожатием. Лунин задержал руку

Савина в своей. Каким-то странным, не присущим ему смятым голосом он сказал:

— Вы очень хороший молодой человек... И вы умеете ни-зять слова... Правда! И если даже у вас не окажется таланта, вы будете литературным критиком. Ну, дай вам Бог!..

В Москву Савин попал лишь в феврале 1943 года. После ранения и госпиталя ему полагался небольшой отпуск. Он съездил к бабке в Конюшково, уцелевшее несмотря на то, что война дважды прокатилась по нему колесом. А затем махнул в Москву. В ту пору московская комендатура строго расправлялась с военными людьми, болтающимися без дела в столице. Но Савин здраво рассудил, что дальше фронта не пошлют, а ему туда и нужно было, он не цеплялся за оставшиеся пустые дни отпуска. Пехотинец Савин побывал в аду и вынес оттуда странное спокойствие. Если бы ему предложили остаться в Москве и снова сесть на студенческую скамью, он отказался бы, не испытав даже минутного колебания. Ведь это значило бы, что его место на войне будет заполнено другим человеком, а там так страшно, что нельзя соглашаться на заместителя. Не строя никаких иллюзий, не думая о будущем, Савин хотел позволить себе единственную роскошь — перед возвращением на фронт повидать Лунина и отговориться за полтора года молчания. Он знал, что теперь сможет говорить. Застенчивость, неловкость, скованность мучительно неуверенного в себе молодого человека — все это осталось за порогом, куда нет возврата. На войне он отвечал не только за себя, но и за несколько десятков парней, именовавшихся стрелковым взводом, и это было так серьезно, что пришлось навести порядок в самом себе. О переменах, происшедших в нем, можно было судить хотя бы по тому, как он владел сейчас своим телом. Предметы, населяющие мир, больше не бежали его рук, как испуганные птицы. Хоть это и глупо, и ребячливо, но его радовало, что он войдет к Лунину не прежним нелепым увальнем.

Уезжая в Москву, он отоварил свой продаттестат, и командирская сумка была до отказа набита доппайком: две банки американской колбасы, плитка шоколада, сахар, кубики какао, табак и четвертинка спирта. Лунин не пил и не курил,

но табак и водка были самыми большими меновыми ценностями в тылу.

Знакомый лифт, еще более вихляющийся и дребезжащий, чем прежде, повлек Савина по ветхой, сумрачной штольне.

Серая февральская хмурость погасила цветные стекла витражей.

Савин долго звонил у входной двери. Наконец ему открыла старуха, жившая стена в стену с Луниным. Она всегда выглядывала в прихожую, когда Савин приходил. Тот кланялся ей, но не получал даже слабого привета с угрюмого лица.

— Здравия желаю! — сказал Савин и пошел к двери Лунина.

— Куда? — неожиданно звучным голосом остановила его старуха. — Не видишь, что ль, замок висит? Вот люди, не спрасятся, знай себе прут!

— Он что — эвакуировался?

— Эвакуировался — на тот свет.

— Вот как... — И ненужно спросил: — Когда?

— Еще осенью... А комната до сих пор пустует.

Старуха направилась к себе, Савин машинально последовал за ней.

Посреди комнаты топилась печь-буржуйка, и большеголовый мальчик лет восьми подкладывал в нее бумагу. Самодельный дымоход был выведен в форточку, но дым где-то утекал, и сразу защипало глаза. Савин и сам не знал, зачем пришел сюда. Лунина нет, остальное не имеет значения.

— А от чего он умер? — снова ненужно спросил он.

— А кто его знает? От сердца, поди.

— Долго болел?

— В одночасье скрутило. А ты ему кем приходишься? — подозрительно спросила старуха.

— Никем. Работу приносил.

Савин увидел знакомый шрифт машинки на листках, которыми мальчик питал печь. Мальчик брал листки из коричневой коленкоровой папки, комкал слабыми руками и совал в красный зев печки. Безотчетно Савин нагнулся, пошевелил листки, покрутил папку и увидел наклеенный на переплет четырехугольничек плотной бумаги: «Борис Лунин. Неслучайные заметы».

— Стой! — побледнев, сказал Савин мальчику, собиравшемуся скормить печке очередную порцию топлива. — Это нужно! У вас еще остались его рукописи? — спросил он старуху.

— Какие рукописи? — не поняла та и вроде струхнула.

— Ну, вот такие листки...

— Нет, мы их стопили, милок, — сказала старуха нарочито жалостным голосом. — Холодно, дом почти что и не отапливается. Мы и свои-то книжки сожгли, и стульца, и табуреточки, чего же такую лохматуру беречь.

— А много ее было? — спросил Савин.

— Порядочно, однако...

— Шесть папок! — гордо сказал мальчик.

— Неужто шесть? — удивилась старуха. — Я думала, меньше. Очень нас это выручило.

— Знаете что, — сказал Савин и вынул из сумки колбасные консервы. — Отдайте мне эту папку, а вам — вот...

— Спасибо, милок! — Старуха забрала колбасу. — Кабы раньше знать, что такая ценность... Нешто б стали жечь... Экая незадача...

— Да, незадача... — повторил Савин, глядя на низенькую почерневшую печку, в которой сожгли Лунина.

Он взял уцелевшие листки, сложил вдвое и спрятал в планшет...

...Мы столкнулись с Савиным прошлым летом возле Калининского проспекта, именуемого москвичами Новым Арбатом. Он искал нужный ему дом, а я — журнал «Наш современник», недавно переехавший на улицу Писемского. Тщетно приставал я к прохожим — все, как полагается, были нездешними, никто не знал такой улицы. В конце концов я начал подозревать, что улица Писемского была в девичестве Борисоглебским переулком, но это мне мало помогло, поскольку Новый Арбат расчленил переулок и я не знал, как к нему подступиться.

Если быть точным, мы не «столкнулись» с Савиным, а несколько раз выходили друг на друга в плетении арбатских переулков. Вначале я и внимания не обратил на человека в опрятном старомодном пиджаке, надетом на гимнастерку, и в брюках, заправленных в сапоги; потом мне приметилось его

сильное, задумчивое, красноватое от солнца и ветра лицо немосковского жителя, а когда он меня окликнул, я сразу вспомнил, что это бывший ифлиец Алеша Савин. Мы встречались до войны, он несколько раз приходил на занятия литературного кружка при «Молодой гвардии», которым умно и весело руководил покойный Александр Митрофанов.

Мы поздоровались. Савин сказал, что хотел взглянуть на один старый дом, но сейчас все так изменилось, что ему уже не хочется искать этот дом, потому что память его не пробуждается в новом и чуждом пейзаже. Я тоже вдруг охладел к цели своих поисков, и как-то так получилось, что мы оказались за столиком кафе, совсем нового кафе, где много стекла и металла, дневного белого света, холодного и резкого, как в прозекторской, молодых крахмальных подавальщиц, держащихся табунком и делающих вид, что они не имеют никакого отношения к посетителям. Впрочем, так оно отчасти и есть, ибо заказывать нечего. И если ты не пьешь портвейна и ванильного ликера, то должен ограничиться развесным молочным мороженым и приторным кофе со сгущенным молоком.

Мне с самого начала стало ясно, что Савин принадлежит к числу людей, не замечающих, что они едят и пьют. Спиртного он вообще не употреблял: «Не люблю — жалко времени». Мы заказали кофе, он сделал глоток, отодвинул стакан и забыл о нем.

— Наша встреча с тобой — это перст судьбы, — сказал он улыбаясь. — Ты можешь не торопиться в свой журнал и выслушать меня? Я не буду просить тебя читать, а тем более устраивать мои рукописи. Прежде всего в силу отсутствия таких. Я библиотекарь, к тому же сельский, но не пугайся, я не стану приглашать тебя на встречу с читателями. Я только хочу рассказать, почему я здесь очутился.

И он рассказал мне все, что изложено выше.

— Слушай, — сказал я, когда он замолк. — Я не верю, что ты не пишешь. Так не бывает, от этой болезни не выздоравливают.

— Отчего же? При хорошем лечении... Лунин мне открыл, а война подтвердила, что я не художник. Я нашел свое настоящее дело. Понимаешь, это замечательное занятие — приобщать людей к чтению. Я редко испытываю отчаяние и выхожу

из него без кладбищенских инъекций. И я пишу ту единственную свою книгу, о которой говорил Лунин, но пока даже не на бумаге. Теперь о главном — у Моруа есть прекрасная фраза: «Мертвые уже не мертвые, если живые благоговейно воскрешают их». Мне ужасно думать, что Лунин не воскрешен мною...

— По-моему, ты как раз это делаешь. Ты, прости за открытость, продолжаешь его жизнь.

— Он имеет право не на такое, а на самостоятельное бессмертие, — серьезно сказал Савин. — Он был воистину творческой личностью. На беду, остались лишь фрагменты, разрозненные записи, какая-то часть неразобранного и неорганизованного материала, быть может, даже отходы его работы. Все остальное погребло... Я наврал, что ничего не хочу от тебя. Хочу. Многого! Очень многого. Чуда, воскрешения Лазаря! Хочу, чтобы мир стал богаче на одного человека. Я дам тебе эти обгорелые листочки, и ты должен что-то сделать... Чтобы Лунин уже не был мертвым...

УЦЕЛЕВШИЕ ЗАПИСИ ЛУНИНА

Вербный базар в старой Москве на Красной площади. Солнце, лужи, люди. Гроздь детских шаров — лиловых, синих, красных — рвутся в небо. От пряников тяжкий дух меда и весеннего ветра. Бабы и мужики в тулупах. Звонят колокола...

* * *

Тиберий — головорез, мерзавец! А вот полюбился же Светонию и вышел «в люди». Кого только не выводили в люди литература и искусство!

* * *

Я запомнил отца осенью в черном пальто. От пальто сырой сирий запах осени. В голубых глазах мелкая одержимость хлебом насущным.

* * *

Игрушки — это наш, взрослый мир, переведенный на детский язык. Когда дети подрастут, они будут читать мир в подлиннике.

* * *

Осень, падают листья, цепляясь за воздух.

* * *

Керосиновый фонарь — узкий и длинный, как лошадиная морда, — горит над окном моего детства.

* * *

Комар тоненьким, гнусавым голосом поет о нежном летнем закате и человечесьей крови.

* * *

Зря не попал он в лапы дикарей. Надо было зажарить его на костре и сожрать. Чтобы не суетился. Один на необитаемом острове тридцать лет и... ни минуты покоя!.. В детстве я был лучшего мнения о Робинзоне Крузо.

* * *

Когда я умру, извольте называть меня природой, а не покойником. Я честно заработал это право.

* * *

Посмотрел на себя в зеркало. Господи, что стало с детством!

* * *

Неужели был рассвет, свеча и тень кудрей на стене, скрип пера, игра ума... живой Пушкин? За окном старый Петербург, экипажи, цилиндры, Нева, розовые паруса, всхлип волны в тишине раннего утра?.. Мое-то утро где в ту пору?

* * *

Отец стоит в черном пальто на сухом, прохладном тротуаре и держит меня за руку. Горят стекла домов под весенним солнцем; пахнет лаком пролеток и конским навозом. Я, совсем маленький, смотрю на все снизу вверх, мир видится мне пронзительно свежим и невероятным...

* * *

Не могу не согласиться с Раманчараккой, что живем мы отвратительно, что загнали себя в каменные гробы, что плохо дышим, плохо жуем, что солнце, вода и воздух — редкие наши гости.

А все-таки жаль расставаться с нею, с этой жизнью, бросить ее, дуреху, в табачном дыму, захмелевшую, нервную, злую и дьявольски умную... у столика, где гора окурков, бутылки, бокалы, рыбий глаз на блюде и медленный рассвет за окном...

Дороги очень сердцу фонари на улице, вонь бензина и хлора, крик паровоза в ночи, юбки и «тусклый огонь желанья», больницы, газетки, политика, события, голубое небо над полем битвы и под небом Андрей Болконский, атаманная блажь Тараса, глазищи боярыни Морозовой, кудри Пушкина на снегу, солдатские песни, дрожь цыганки, хмельные гитаристы...

Не мыслю себе Федотова долго жующим пищу. Гоголя — в «ритме», Аполлона Григорьева — йогом... Как же мне бросить их на шестом десятке... Не могу, не хочу, жалко до слез!

* * *

Апрель на церковном дворе. Я сижу на скамье. У ног протаина и прошлогодняя травка. С дерева глядит на меня ворона глазами темными и скорбными. Пахнет снегом и елкой. Бледный, заласканный ладаном и весенним ветром девственный лик монашки, священник в лиловой рясе, с гривой волос. За толстыми церковными стеклами смятенная дрожь свечей...

* * *

Я в непрерывном отчаянии, даже без перерыва на обед. Я не шучу. Я говорю серьезно. Очень серьезно.

* * *

Не спится Федотову, тревожит тяжкий дух околевшей собаки, лихорадочный говор врачей, жаркие лампы-молнии, нестерпимое обилие вещей, у дверей гробовщик... За решеткой дух смятенный, безумие, и руки, воздетые к небу, и крик панихидный...

* * *

Старинный бал в русской провинции! Бледные квадраты окон на мостовой, и в квадратах — тени танцующих... «Позвольте же вашу ручку, милая барышня, и будем кружиться в вихре вальса, пока отстучит сердце!» Все-таки любопытное дело — появиться на свет, побыть и уйти!.. А под утро, когда гаснут звезды и ластится солнце к земле, распахнем окна туда, где красные лучи румянят кресты могил!..

* * *

Мальчик стоит на берегу Невы возле памятника Петру. Он стоит совсем близко, не испытывая никакого трепета.

— Вот такого же коня подарил мне папа, только чуть поменьше, — сказал мальчик.

* * *

У меня осталось совсем мало сил для других. Для себя ничего не осталось. Вот она какая — старость...

* * *

Ох, устало сердце, с коих пор стучит, стучит, стучит, а дорога еще длинная, а в пути метель, пурга, гром, молния! Отдохнуть бы, что конь в поле, на припеке, уткнувши морду в душистую траву.

* * *

Нет, я не верю в бессмертие! Я верю, что грозной золотой пылью буду носиться над вами во веки веков!

* * *

Еще не стерлось детство в моей стариковской памяти, еще коптит керосиновая лампа, еще соплвится лед на весенней оконной раме, еще тревожат Гаршин и Надсон.

* * *

Предместье старого Парижа. Нищета и бордели. Ночь, фонари, мелкий осенний дождь. Юбки, шляпки, зонты, коралловые рты... давно увядшие «цветы зла».

* * *

В глубоком подвале — канделябры свечей, на стенах чернь портретов и крыла теней, на стульях — джентльмены во фраках, узкие длинные пальцы, в зубах сигары, и синий штопор дыма. В открытую дверь... снег, звезды и ветер, ветер, ветер!

Масонская ложа!

* * *

Потушили рождественскую елку, и разом стемнело, как в ночном лесу. В темноте сияют хлопушки — серебряные и золотые, душит запах воска и елки, тревожит причудливый рисунок на ледовом окне. А уж внутри, в детской душе, завывают метели. Надолго. Навсегда. И не дожидаться тихой погоды.

* * *

Сбежали детство, отрочество, юность, зрелость. Сбежит старость. Все сбегут — один останусь.

* * *

Заглянул на кладбище в яму, свежую, только открытую. Тесновато?.. Нет?.. Примеряюсь.

Старость, и тут же, рукой подать, смерть. А ведь начинал я с детства. Как скоро ночь минула!

* * *

Сажу у стола. А в это время мысли мои, подобно зайчикам на стене, играют где-нибудь за миллионы километров отсюда, в великой тишине мироздания.

* * *

Александр Блок мечтал с кистенем уйти в лес, Лев Толстой — бежать к духоборам. Гоголя влекло ко гробу Господню. Вот уж не оседлый народ эти русские писатели. Не то что иностранные, у тех крепкая задница.

* * *

Когда я думаю о мироздании, меня пугает не количество, нет. Меня пугает качество.

* * *

— Представьте, за всю жизнь не прочел ни одной детской книги!

— А разве бывают взрослые?

* * *

Я уже не мечтаю о счастливой жизни, я мечтаю всего лишь о счастливой мысли.

* * *

На столе передо мной труха моих сочинений, бедный, бедный плод ума, бессонных ночей, слез, стенаний, крика! А я все тот же... младенец, просквоженный ненужностью слов.

* * *

Когда помру, чужие руки будут рыться в ящиках моего стола. Священный порядок, налаженный годами, разлетится вмиг.

О, как бы я злился, случись это при жизни, а в новом моем положении все едино: пропади они пропадом, эти ящики!..

* * *

Да, Лев Толстой знал цену толстовству. И по душе ему были не кроткие, не добрые его сочинения, а разбойные: «Казаки», «Хаджи-Мурат».

* * *

Художник — тот, от кого пахнет дымом и гарью, из окон его комнаты — зарево, и орут во дворе мальчишки: «Пожар, пожар, пожар!» И со всех концов к нему — пожарные части.

* * *

В 1910 году комета Галлея так близко прошла от Земли, что чуть не задела ее своим хвостом.

Люди убивали себя от страха. Не выдержали девичьи нервы человечества.

Появись комета сегодня, мы бы ее за хвост, за хвост!..

* * *

Бог в отставке, на пенсии! Седые баки с расчесом, на глиняной розовой морде молодые глаза. Схоронил всю родню.

День целый сыплет анекдоты, смеется сам с собой, до слез, до живота колик! В комнате поет кенарь, аж перья летят с натуги. На окнах герань и занавески синего ситцу. Ох и здорово же, когда летом, в жару, вдруг налетит ветер с реки, занавески враз пузом, пахнет водой и рыбой!.. Так бы доживать дни... Богом в отставке, на пенсии! Дай-то мне Бог!..

* * *

Ходит в нем метель, и в заснеженном окне избяной огонек ночи, и мертвый мужик под иконой, и синий язык свечи, и суетня ржи на жарком ветру, и белая церковь, и туча, и пыль в деревенской глуши... (О Сергее Есенине.)

* * *

75 лет со дня смерти Ф. Достоевского. А мне хотя бы час, хотя бы миг... после смерти.

* * *

Запомнил гипсовый бюст Сократа в актовом зале гимназии: широкий лоб, могучий череп, праздный взгляд болтуна. Очень уютный старик. Его никогда не забудут русские гимназисты.

* * *

Меблирашка «Маяк» на Рождественке — улице в старой Москве. Длинная, узкая комната, диван, обитый розовым плюшем, жестяной умывальник, провонявший уриной и мылом, на стене арлекин в полумаске, загаженной мухами, за окном вечерний снег, фонари... Здесь я бормотал стихи, думал о самоубийстве, плакал, как малый ребенок... Житейское, милое... страшное!

* * *

Прочел «Жан-Кристофа» и так устал! Сколько накричали люди! Я вышел на улицу — в новь, в мороз, в тишину, в прекрасный окоченевший мир. И разом отдохнул.

А вы говорите — литература, искусство...

* * *

Вся ее жизнь на слова Апухтина.
Милая, милая барышня!

* * *

— Дорога тебя ждет, счастлив будешь, долго жить будешь, дай денежку, еще погадаю, все расскажу, правду скажу... — Глядит на меня цыганка — пыльная, что дорога, темная, что мощи. Лохмотья на ней — синие, желтые, красные — полевые цветы в засуху. — Невеста ждет тебя, красавица с приданым, дай денежку! Ну, дай же! Не дашь? Смерть ждет тебя! — вскрикнула и рассмеялась чистым детским смехом.

* * *

Ушел поезд, только фонарь мигает в хвосте, утопая в черной дыре ночи. Я остался совсем один на глухой российской станции. На стене — последний царь. Внизу — чудище-самовар и стадо стаканов. Сонный буфетчик, провонявший махрой и водкой, глядит на меня осовело. Высокие окна схвачены утренней бледностью. За окнами бежит дорога, пахнет росой и железом. Дальше, в синеве леса, чуть краснеют жесткие кудри деревьев. Раннее утро в уездной глуши начала века...

* * *

Я разбросал крошки хлеба на окне, чтобы приманить голубей. С какой настороженностью приближались они к «источнику жизни»! Каждую крошку они покупали ценой потрясения... Но ведь в каждой крошке хлеба — крылья, сердце, глаза, в каждой крошке — жизнь! И они слетаются к окну, дрожа мелкой предсмертной дрожью. У них нет выбора.

* * *

Ночью, в полубреду, показалось, будто дверь в комнату настежь, за дверью — черно, огонь, туман, звезды... И вдруг, как в луче прожектора, стол, уставленный яствами: куличи, занесенные сахарным «снегом», яйца крашенные и бутылки с причудливыми пробками... Пасхальный стол начала века... А тут еще колокольный звон да полыханье свечей на улице... Еще живы царь с царицей, еще засилье купцов и дворян на Девичьем кладбище... Революция только начинается — слабым, далеким голосом. «Отречемся от старого...»

* * *

Все простил Лев Толстой Хаджи-Мурату, Наполеону — ничего, потому что Хаджи-Мурат разбойничал от души, Наполеон — от ума.

* * *

В дневнике Жюлья Ренара много остроумной печали и поверхностной глубины.

* * *

Чуть бы снять лаку, чуть бы вздохнуть живопись Брюллова. Вот был бы художник!

* * *

Однажды кто-то принес художнику Александру Иванову тетрадь удачных карикатур. Иванов долго их рассматривал и вдруг, подняв голову, промолвил: «Христос никогда не смеялся».

* * *

Близится гроза, горячий ветер гонит пыль и листья.

Вдруг молния рассекла небо, и покатились с грохотом деревянные шары грома. Первые капли слезят стекла окон, за ними вдогонку бегут другие, стучат, разбиваются с разбегу... Но вот сквозь дымную пелену прорезался луч. Ни грома, ни молний, и дождь на исходе. Распахнул окно, оттуда нездешняя сумасшедшая свежесть! Радуга обвила небо девичьей лентой. Солнце греет глаза, грудь распирает надеждой...

* * *

Нет, не променяю мое сегодня на милое, тухлое детство в старом Петербурге: Зимний вечер, окно, занесенное снегом, извозчик, фонарь. А вверху — черный колпак чухонского неба в бисере звезд. О, тесный, обманчивый мир Андерсена и братьев Гримм... Дремучий лес, Красная Шапочка и бабка с пилою зубов.

* * *

Лев Толстой, умирая, пальцем писал по одеялу.

Неужели не сохранили эту — самую подлинную из его рукописей?

* * *

Врубеля в летний июньский день в черной, прогретой солнцем карете увезли в сумасшедший дом. Там большие зеленые

мухи бьются о стекла окон, за окнами сад, где на жестких скамейках — «испанская знать» в колпаках и халатах.

* * *

Карету мне, карету... «скорой помощи»!..

* * *

Чехов тревожит *душу*.

Достоевский — *дух*.

* * *

Картина Дега. Упрямые, давно умершие танцовщицы, окутанные дымкой юбочек, прочно стоят на полупальцах. Сияет старинный паркет. За широким окном лежит давно умерший белый зимний пейзаж старого Парижа.

Тишина, чистота, безнадежность.

* * *

К «Фаусту» написали музыку, его поют.

К «Братьям Карамазовым» музыки не напишешь. Россия и Запад.

* * *

Тютчев не мог простить природе равнодушия к человеку: сотворила и забыла.

* * *

Утомительный, назойливый пафос. Не литература — а партитура. Ромену Роллану очень мешает музыка.

* * *

Я очень люблю тихую, ясную жизнь.

Я очень люблю грозную литературу.

* * *

Обыкновенные сюжетики: вдовушка, чья-то женитьба, родители художника... А ведь страшнее «Гибели Помпеи» и «Медного змия». Вот она какова — «нервная система» Федотова.

* * *

Старая горилла глядит на меня сквозь чашу седых бровей. В глазах — тяжкая обида живого предка, не вышедшего «в люди».

* * *

Всего-то горстка — мои «сочинения», спички довольно, чтобы ушли дымом... Прощайте, милые, может, и встретимся... дымами. И уж тогда про себя каждый: «Боже мой, да где

же видались?» И хлынут слезы, и смокнет дым мокрой сединой грязи.

* * *

Погасла рождественская елка, и пошел от нее дымок — тоненький, тяжкий, точно в церкви. И уходим мы в детскую — гуськом, грустные, и долго не можем заснуть. В темноте сочится седой свет луны в промерзшее, отяжелевшее стекло. Детство совсем не счастливое, оно очень грустное. У всех. Его называют счастливым за чистоту грусти.

* * *

В детстве был у нас немецкий музыкальный ящик. Поднимешь крышку — картинка: голубое небо, летят по небу ангелы — белокрылые, придурковатые. Поставишь железную пластинку с колючками, заведешь — крутится пластинка рывками, поет о старом добром немецком уюте.

Было время — поставляла Германия уют на весь мир! А теперь?..

* * *

Первый синемаграф! На экране Макс Линдер — в черном цилиндре, с мертвецки бледным лицом и тонкой талией... Гомерический хохот в зрительном зале и унылый мотив на рояле... Вот я выхожу из синемаграфа. На улице — лошади, лошади, лошади, милые, нежные, печальные предшественники жестоких чудес науки и техники.

* * *

Меня уже больше не волнует кладбище. Я утратил мелкое любопытство к Смерти.

* * *

Кто там бренчит на гитаре, что мешает спать добрым людям? Ах, это опять непутевый Федотов на крыльце дома! Коптит лампа, летают коптинки — мохнатые, черные — в пропахшей красками и керосином квартирке. А здесь... восход, душистая, девичья свежесть летнего утра, пустынный, едва возникший город, в тумане моря корабли и розовый трепет птиц...

Эх, жить бы да жить!

Не тут-то было — не дает покоя мертвая собачонка! Лежит дохлая — ни поиграть, ни побегать! А была как все — резвая, глупая. И вот — не передохнуть от вони! Возле нее горничная

в белом — дует амбру; о чем-то спорят доктора; в постели — болящая с горя хозяйка; в щель двери глядит гробовщик; на полу играет мальчишка; живописец кистью спешит сохранить память потомству; в комнате теснота: люди, вещи, комоды, диваны, лампы, шторы, стулья, посуда...

Лихорадит, не дает покоя картина!

Великий художник безжалостен и беспощаден к себе, он подвергает себя тончайшим пыткам — в тишине, в одиночестве — когда никто не слышит и некому вмешаться.

Не знаю, так ли я рассказал о Борисе Семеновиче Лунине, как хотелось Савину. Но думается, что немногие уцелевшие записи этого несомненного, хотя и несбывшегося писателя говорят сами за себя...

ГИМН ДВОРНЯЖКЕ

Знаменитый словарь Даля не нашел для определения дворовой собаки (дворняжки) тех метких и точных слов, которыми обычно пользуется, и прибегнул к методу отрицания: это не комнатная, не чабанья, не гончая, не борзая. А вот два утверждения: живущая во дворе, сторожевая. Если уж пользоваться отрицаниями, то следует добавить: не легавая, не норная, не ездовая, не ищейка, не водолаз и т.д. Но почему «не комнатная»? Дворняжки отлично чувствуют себя в домашних условиях (пустили бы только!), предпочитая уют и тепло жилья промозглой сырости дворового пребывания; а есть собаки, которые органически не терпят четырех стен, скажем, гренландская, ей нипочем любой мороз, а в доме она задыхается. Да и вообще, собаки в богатой природной шубе предпочитают двор дому, чего никак не скажешь о дворняжке. К настоящим сторожевым, таким как овчарка или недавно появившаяся русская сторожевая, дворняжку тоже не отнесешь. Она, скорее, сигнальщик, пронзительным лаем оповестит о злоумышленнике, но в бой с ним не вступит.

Знаменитый словарь Брокгауза и Ефрона, после многоречивых рассуждений о неясности происхождения семейства собачьих, уделяет внимание лишь породистым собакам: охотничьим, сторожевым и комнатным, в том числе «дамским». Живым игрушкам оказано предпочтение перед беспородной несметью. Ну а мы будем говорить только об этих изгоях собачьего племени.

Дворняжки (на Западе их называют «перекресток дорог») — это живой укор человеческой неблагодарности и же-

стокосердию. В незапамятные времена дикое существо: волк, шакал или лисица, или общий их предок, или кто-то нам вовсе неведомый — дало приучить себя человеку. Так появилось новое домашнее животное, и было оно дворнягой, ибо не имело породы. Чего только не делало оно для своего хозяина, считая его другом: сторожило жилье, приглядывало за детьми и скотом, ходило на охоту, защищало его от диких зверей, нередко ценою жизни. А потом человек, уже достаточно изощрившийся во всех делах своих, стал отбирать из дворовых собак таких, в которых могли развиться в наивысшей степени нужные ему свойства. Так возникли охотничьи, сторожевые и комнатные — услада доисторических дам — собаки. Дальше — больше, этот селекционер-самоучка сумел из охотничьих собак вывести гончих, легавых, борзых, норных, «придумал» собак-поисковиков, собак-ищеек, водолазов, ездовых...

И видимо, ценя вложенные в них усилия, стал только к ним относиться с бережью и заботой. А обойденных вниманием высокомерно презирал и выгнал из дома. Дворняжкам не возбранялось жить возле человека, но без права на ответное внимание, а тем паче заботу. Конечно, никто не мешал доброй хозяйке бросить кость голодному псу, но в целом дворняжкам надо было рассчитывать только на себя самих. Они стали париями в мироустройстве своего бога. Случалось, дворняжки с голодного отчаяния сбивались в стаи, уходили в лес, дичали, становясь опасными для бывшего кумира. Тогда их беспощадно истребляли. Мне говорили в Австралии, что динго не дикая, а одичавшая собака, то есть вернувшаяся от очага назад в природу. Но это все исключения, а в общем преданный человеку народ дворняжек смирился со своим незнатным положением и не ожесточил сердца.

Каждая порода обладает двумя-тремя очевидными признаками: пудели ласковы, игривы, сенбернары добры, флегматичны, овчарка подчинена чувству долга, доберманы сухи, нервны, малоконтактны, бультерьеры свирепы, таксы уживчивы и при этом внутренне независимы, эрдельтерьеры — вечные щенки, неуправляемые, восторженные и любящие, борзые — печаль и томление в четырех стенах, восторг движения на просторе и т.д.

Дворняжек так не определишь. В них превалирует индивидуальность над тем общим, что дает порода. Поэтому они непредсказуемы. Общее — лишь преданность дому, который не гонит их прочь. И рефлекторный страх перед агрессивным жестом. Сделайте вид, что вы нагнулись за камнем, — породистый пес ухом не поведет, а дворняжка метнется прочь, поджав хвост. Она вернется, станет вновь облаивать вас, кидаться, защищая доверенное ее надзору, но первая реакция необорима, ибо возникает из родовой памяти — страха.

Собаки одной породы похожи друг на дружку и внешне, и внутренне. Дворняжки многообразны: большие и маленькие, мохнатые и гладкошерстые, прямоногие и криволапые, порой в них проглядывает «благородная» кровь сеттера, пойнтера, овчарки, таксы, пуделя, а порой при всем желании не вычислишь предков; столь же разнообразны дворняжки характеры, богатые игрою и глубиной чувств. Трудная жизнь, непрестанная борьба за существование наделили дворняжку необычайной пластичностью, умением применяться к любым обстоятельствам, угадывать характер и намерения двуногих богов. Когда говорят, что в собаках есть зачаток душевной жизни, а не только инстинкт, то, на мой взгляд, это в первую очередь относится к дворняжке. Породистые собаки как бы запрограммированы, суть дворняжки в постоянном движении. И они необычайно умны. Зачем пойнтеру ум, ему достаточно хорошо делать стойку, зачем ум борзой — ей хватит быстрых ног, и декоративный дог может обойтись малой каплей ума, а дворняжке, чтобы выжить, нужен недюжинный, изворотливый и тонкий ум. Это ее главное оружие в немилостивом, исполненном опасностей мире.

Как себя помню, рядом были собаки. Первая — фокстерьер Трильби, но эта изящная дама была так привязана к моей матери, что на всех остальных у нее не оставалось душевного времени. Моим собственным псом стал сменивший Трильби Джек, дворняга из дворняг, по случайному совпадению имевший в близких предках фокстерьера. Его голова казалась сколком с головы Трильби, только чуть грубее и массивней, и тот же черный «румянец» на щеках.

Джека я купил на Чистых прудах у мальчишек за сорок копеек — немалые по тем временам деньги. Это двадцать гру-

шевых конфет, или сорок барбарисок, или восемьдесят прозрачных. Да, прозрачная стоила полкопейки, были смуглые монетки достоинством в один грошик.

Когда я принес Джека домой, мой друг и сосед по квартире Колька Поляков, разглядев с некоторой оторопью новосела, вынес вердикт:

— Джек — собака редкой красоты!

У Джека было веретенообразное туловище, кривые, как у таксы, лапы, хвост бубликом и славнаямышленная мордочка. Когда он подрос, то оказался на редкость кусачим. Я мог делать с ним что угодно: поднимать за задние лапы или за хвост — видел такие фокусы в цирке, — он сроду не огрызнулся. Столь же снисходителен он был ко всему населению нашей большой коммунальной квартиры, но чужаков кусал. И делал это как-то бессистемно: мог накинуться на старого гостя и не тронуть незнакомца, особенно не любил он уходящих. В этом был смысл: не выпускать проникшего в дом злоумышленника. Но за что он укусил мамину приятельницу балерину Оленину или старого нашего знакомого инженера Сбруева, не раз игравшего с ним, осталось тайной. Мудрые квартирные старухи уверяли, что это неспроста: Джек чует, когда человек приходит не с добром. Кто знает, может, они и правы...

Когда Джек в третий раз укусил ужасно боявшуюся его почтальоншу, к нам явился милиционер, чтобы забрать «носителя повышенной опасности». Я не успел разреветься, из своей комнаты выскочил, размахивая именованным наганом, герой гражданской войны Данилыч и заорал:

— Катись отсюда! Мы за Жека грудью пойдем!

Милиционер счел за лучшее ретироваться.

Гулять Джека выпускали только в наморднике, рассчитанном на дога, других в продаже не имелось. И без того длинный, Джек в этой штуке превращался в крокодила. Кусаться он не мог, что не мешало ему всякий раз вязываться в драку с уличными псами. Домой он неизменно возвращался окровавленный, но в отличном настроении. Он шлялся по всей Москве, его встречали не только на Чистых прудах, Покровке и Мясницкой, но и на Театральной площади, Кузнецком мосту, Тверской. Собаки плохо переходят дорогу, уступая в этом искусстве не только виртуозам: свинье и гусю,

но даже весьма посредственному пешеходу — человеку. У Джека не было недоразумений с городским транспортом. В те годы свирепствовали собачники, но Джек был им не по зубам. Прошло сколько-то лет, и нам открылась причина и бесконечного шлянья, и кровавых драк Джека. Он был отъявленный донжуан. Вся окрестность наполнилась его потомством, весьма причудливого облика. В любви Джек был гурман, уделяя внимание лишь чистопородным дамам. По Армянскому, Сверчкову, Телеграфному, обоим Златоустинским ходили хортые с лапами таксы, бульдоги с мордой фокстерьера, спаниели с хвостом бубликом.

Исход Джека покрыт тайной. Мы переехали на новую квартиру в один из арбатских переулков. Десятилетний Джек не снизил кавалерственного рвення и в чужих пределах, проводя дни в драках и любви. Ходил слух, что он пал жертвой мести владельца болонки, которую он соблазнил...

Мы долго не заводили другого пса в надежде, что Джек вернется, а потом познакомились со странной молодой женщиной, у которой была странная собака по кличке Альфарка. Женщина эта часто плакала — от жалости ко всем несчастным на земле; стесняясь своего приятного лица, низко клонила голову; в темной комнате мужским глубоким басом читала есенинского «Пугачева». Пес являл собой несуществующий вид карликовой овчарки. Расцветка, строение тела, постав ушей, даже бородавки на морде — все было овчарочье, лишь иногда подозрительно загибался хвост. Но ростом этот вполне сформировавшийся пес был с четырехмесячного щенка овчарки. Он любил сидеть столбиком на задних лапах и ходить на двух, делая это по собственному желанию. Мы думали, он из цирка, а он был из клиники, где его, готовя к эксперименту, неудачно усыпили. Я никогда не знал подробностей этой истории, не желал их знать, но каким-то образом мертвый пес оказался на руках своей будущей хозяйки и ожил. Конечно, жалостливая, нежная, она и не думала дрессировать Альфарку, все свои трюки он принес то ли из первой жизни, то ли с того света. Понятливости он был невероятной. Однажды мама вынимала шпильки из прически, Альфарка заинтересованно следил за ее движениями.

— А ну, Альфарка, шпилечку!.. — сказала мама.

Он будто того и ждал: сразу вскочил на диван и ловко, осторожно вынул все оставшиеся шпильки. Он сразу избрал себе хозяином мою мать. С остальными он был мил и ласков, но маму боготворил. Он страдал, если кто-то прикасался к ней, даже просто близко подходил. Альфарка начинал жалобно поскуливать и пытался отодвинуть соперника лапой.

Вскоре после начала войны, когда в жизнь пришло много разных волнений и забот, мама, оставшаяся одна в доме, выпустила Альфарку на улицу. До этого его всегда кто-то выгуливал. Отсутствовал он очень долго, и мама не на шутку встревожилась. Тут она услышала, что в дверь кто-то толкнулся. Альфарка...

Она поспешила открыть. Это действительно был он — с парализованными задними лапами. Он перегрелся на солнце, и его хватил паралич. Так случается с овчарками. Он приполз умирать к родному порогу. Вызванный ветеринар ничего не мог поделать, лишь констатировал: солнечный удар.

Мы больше никогда не видели и бывшей хозяйки Альфарки. Она исчезла, быть может, он увел ее за собой в свою вторую и окончательную смерть?..

Дворняжки часто бывают похожи на породистых собак, и ничего не стоит распознать предков. А бывают ни на кого не похожи, я люблю таких больше. К ним принадлежала любимица нашего загородного поселка — исчерна-черная маленькая прыгучая, как блоха, Вакса.

Вакса была матерью Мити, прожившего в нашем доме без малого шестнадцать лет.

У нас пропала старая-престарая карликовая такса Кузик, полуслепая, с седой мордочкой, с выкрошившимися зубками, словом, до конца изжившая свой земной образ. Конечно, она не потерялась, а ушла умереть в укромном месте. Хорошие породистые собаки так делают, если позволяют обстоятельства, чтобы не огорчать хозяев зрелищем своей смерти. Но мать и отчим не могли смириться с мыслью, что Кузика уже нет, и развесили по всему поселку объявление: «Пропала маленькая черная собачка, нашедшим — вознаграждение». В один прекрасный день на участке появилась наша старая знакомая Вакса в сопровождении крошечного черного комочка, который даже не шел, а катился. «Вот, — сказал я своим старикам, —

ответ на ваше объявление». Они умилились, и щенок остался у нас. Он не заменил Кузика, никто на свете незаменим, но тоже стал любимцем дома.

Как потом выяснилось, в те же дни по такому точно подарку получили и другие жители нашего поселка: Твардовские, Яковлевы, Радунская. Вакса умно подобрала хозяев своим детям: в этих домах любили собак.

Сама Вакса бродила по поселку со стаей, предводителем которой был крупный, могучий пес Смелый, похожий на немецкую овчарку. Можно сказать, что Вакса со Смелым составляли семью. С любим, кто пытался посягнуть на Ваксу, вожак разделялся беспощадно. Веселая попрыгунья Вакса была любимицей поселка, но никому не удавалось ее приручить, она хотела быть в стае со своим повелителем. И вдруг семья новоселов посадила Ваксу на цепь. Это случилось в дни, когда явившиеся невесть откуда живодеры перестреляли стаю, в том числе Смелого. Мы решили, что Ваксу Бог спас. Осенью хозяева Ваксы закрыли дачу и уехали в Москву, оставив тяжелую собаку на цепи.

Каким-то чудом Ваксе удалось освободиться от железной цепи. В положенный срок она произвела на свет четырех щенков и одного за другим пристроила в хорошие руки. Все они прожили долгую и счастливую жизнь.

О самой же Ваксе позаботилась покойная писательница Людмила Уварова. Опасаясь нового налета собачников, она увезла Ваксу в Москву и пристроила у своих друзей. У нее самой уже были собаки. Вакса отблагодарила за приют подвигом. В квартире находились только она и спящая старушка, когда на кухне загорелось. Вакса принялась будить старушку, но той снились какие-то сладкие сны и не хотелось скучной яви. Вакса не отставала: лаяла, тянула старушку за домашнюю туфлю. Все еще цепляясь за сон, старушка стала лягаться. Вакса вцепилась ей в подол и стянула старушку на пол. Та оклема-лась, почуяла запах гари и вызвала пожарных. Вопреки обыновению, мастера огненной потехи прибыли вовремя и спасли квартиру.

Митя унаследовал ум матери и смелость отца, но, подобно Барбье д'Оревилли, не умел подчинять свои страсти холодному рассудку. Он сразу возненавидел щеночка-эрделя, которо-

го мы взяли в дом. Он покусал его, только что оторванного от теплого материнского брюха. А ведь на молочных щенков собака никогда не покушается. Но Митя нарушил закон природы. Проученный, он, казалось, смирился с новоселом, а Проша полюбил его больше жизни, признав в нем «пахана». Эта любовь не растопила суровое сердце сына Смелого. Где-то я слышал, что дворняжка никогда не принимает подселенную породистую собаку. Но в обратной комбинации мир и дружба возможны.

Когда пришло лето, Митя что ни день стал заводить маленького ковылялу в далекие непролазные чащи и там бросать. Для этого он прогрыз щель в заборе, чего сроду не делал. Теперь каждое утро начиналось с истошного вопля: «Ушел Проша!» Нам и в голову не вспало, что это результат Митиново коварства. А четвероногий Сусанин, изображая крайнюю озабоченность, старательно искал Прошу по всему участку, в то время как пропавший исходил слезами и жалобным визгом в заросшем лопухами кювете или крапивной непролази. В конце концов мы догадались о Митиных кознях, отыскивали и заделали лаз.

Затем наступило короткое перемирие. Дом попытались населить крысы, и Митя повел с ними беспощадную войну. Очевидно, у него были в роду крысоловы, потому что делал он это довольно ловко и даже стал учить Прошу крысиной охоте. Они отстояли дом от грызунов. Но с исчезновением внешнего врага началась междоусобица, принимавшая все более кровавый характер. Самые яростные схватки учинялись во время встречи приезжих из города. Правда, поначалу больше лилось крови разнимающих, но Проше тоже доставалось. Сам он не кусал пахана, которого давно уже обогнал ростом, но, забрав его за гривок в пасть, прижимал к земле. Митя рычал, бился, исходя пеной злобы, — зрелище было тяжелое.

Бессильные предотвратить эти схватки, мы стали разводить псов: пока один гулял, другой находился в доме, пока один «смотрел телевизор», другого запирали в столовой. Здоровались с каждым по очереди. То была трудная жизнь и для собак, и для хозяев.

Копя ненависть к Проше, Митя все нежнее и трепетней относился к нам. Он словно хотел показать, что не от злого

сердца кидается в бой, просто не хочет и не может делить с кем-либо нашу любовь. Как сказано у Жана Жироду: «Да, братик, это правда: любовь — невеселая штука». Чувство дворняги к своим хозяевам несопоставимо с чувством породистых собак, у тех хоть что-то остается про запас, дворняга отдает себя полностью.

Я вспомнил о чудных существах, населявших в разное время мой дом, и еще раз убедился, что в дивном царстве собак привлекательнее всех отлученные от двorca.

Недаром же в здоровых странах дворняжки стали самыми популярными собаками. Можно сказать, что они вновь одомашнены. Их водят на поводке, зимой кутают в теплые попонки, они отмыты, расчесаны, шерсть шелково лоснится. На Западе никому не придет в голову с помощью собаки утверждать или повышать свой имидж. Там собаку держат, потому что любят, потому что с нею дом теплее, уютнее, и ребенок, если рядом четвероногий друг, становится добрее к миру.

Другое дело в хмурой державе совков. Здесь собак и вообще не больно жалуют, считая, что они объедают народ, а дворовых просто ненавидят, все время слышится призыв к уничтожению бездомных псов (на Западе их забирают в приемник). Но сейчас появилось немало зажиточных, даже богатых людей, считающих престижным иметь собаку, разумеется, породистую. Это почти столь же обязательно, как подержанный «мерседес». За собак редких пород: бультерьеров, мастифов, бассет-догов — платят сумасшедшие деньги. Пыжась от гордости, водят их на красивом поводке, не подозревая, что аристократизм пса лишь подчеркивает плебейство хозяина.

При таком отношении к собакам дворняжкам не на что надеяться.

По счастью, не перевелись еще хорошие люди. Вот у нас в поселке артель каменщиков пригрела очаровательную в своей некрасивости, пятнистую, всегда взъерошенную дворняжку, окрестив ее Чумкой. Недавно ранним утром я ехал в Москву, и возле строящегося дома, обочь дороги сидела Чумка, а вокруг нее, переваливаясь, ковыляли четыре молочных щенка в дымчато-палевом пушке. Чумка оглянулась на шум машины и посмотрела на меня с застенчивой гордостью. О, этот глубокий

собачий взгляд! Я прочел в нем и счастье матери, и тихую уверенность в будущем: не дадут ее в обиду. Молодые хозяева и детенышей ее пристроят, а она будет нести свою преданную службу.

Природа споткнулась на человеке, потерпев поражение в попытке создать мыслящую материю. Человек не сумел распорядиться полученным даром, но узнал, что он смертен. Ужасно жить с сознанием своей конечности, отсюда все главные беды человека. Собака одна пытается убедить дрожащую двуногую тварь, что она прекрасна и могуча, что ей и смерть ни почем. И лучше всего в этом преуспевает умная, безмерно снисходительная и всепрощающая дворняжка. Низкий ей поклон!..

ЗАМОЛЧАВШАЯ ВЕСНА

То была странная весна — Сергеев ее не слышал. Первая беззвучная весна в его жизни. Не то чтобы слух вовсе покинул Сергеева, он прекрасно слышал из своего загородного жилья нарастающий грохот Илов и Ту, поднимающихся с Внуковского аэродрома, тихий, приставывающий бормот домодедовских и быковских самолетов, уже набравших высоту, пугающие взрывы, с какими истребители проходят звуковой барьер, уютное шмелиное погуживание старых винтовых тихоходов, патрулирующих шоссе, и стрекозиное потрескивание сельскохозяйственной авиации, кропящей сад, огород, крыши и дорожки белесой слизью. А еще Сергеев слышал автомобили, мотоциклы, трактора, радиоусилители из соседнего дома отдыха, неумолчно повторяющие четыре популярные мелодии, а позже — ликующие команды физзарядки из пионерского лагеря, заставляющие неспавшихся, со слипающимися ресницами детей кочевряжиться на росном зловонном плацу. Но кажется, мы залезли в лето, ведь пионерские лагеря начинаются с июня, но и весна залезла в лето: черемуха запенилась в середине июня, тогда же надулись шары одуванчиков, расцвели ландыши и купальницы — почти в одно время с лиловыми колокольчиками и розовой смолкой. Но и запозднившаяся весна не должна молчать. Меж тем весна Сергеева, если исключить грубые шумы, отчасти порожденные весной, но не являющиеся выражением ее сути, оставалась нема, безгласна. Голос младенческой весны — капель, голос зрелой весны — птицы, их-то Сергеев не слышал.

Вначале он думал, что птицы отложили прилет, как деревья и травы отложили цветенье, до тепла. Но потом он увидел грачей, еще не успевших запачкать ярко-желтых лап, вслед за ними — скворцов, приводящих в порядок свои домики после зимовавших там пачкуний белок, увидел пеночку-теньковку, покачивающуюся на сухом стебле чертополоха, ласточек в небе — птицы давно вернулись с курортов для хлопотной и серьезной семейной жизни, но почему-то молчат: не славят весну, не поют песен любви.

Вначале он думал, что странное онемение постигло только сад, но когда распогодилось и немного подсохло, он отправился в лес и не услышал его. Дрозды то и дело перелетали через просеки, но хоть бы раз прорезало ватную тишину леса их резким свистом, молчали чижи и щеглы, не чечекали чечетки, не прочищал горла коростель перед песней, которая никогда не начнется, не вскрикивал ликующе самец кукушки, исчезли и те таинственные голоса, что вырывались под вечер из лесных, полных тумана и крепких запахов балок, а на поляне за опушкой черно-белый чибис, перепадая с крыла на крыло над изумрудным выпотом, ломал зигзаги без обычного нежного постанывания. Даже дятлы умудрялись беззвучно выдалбливать корм из стволов. И сороки, хлопотавшие у своих гнезд, справили обряд легкой паники при виде чужака без стрекота. Лишь вороны, рушась с высоты на непрошеного зашельца, оглашали воздух ржавыми криками из своих луженых глоток. Но до чего же бедна весна, озвученная лишь воронами! Хотя и у ворон есть дивная песня: осенью, когда птицы сбиваются в стаи для отлета в теплые края, а вороны — для недалекого откочевания в сторону южную, их прощальный карк исполнен шемящей печали.

Но как звенели, как сияли в былые годы голосами весенних певцов скромные леса, рощи и поляны по берегам Десны подмосковной! С прозрачного розового подвечера до глубокой ночи, с мглистого предрассветья до высокого солнца били соловьи. Здесь самый соловьиный край во всем Подмосковье. Соловьи разливались на опушках лесов, в старых рощах, оставшихся от барских усадеб, в березово-осиновых перелесках, в ольховых зарослях вдоль дорог и шоссе, в сиренях, жасминах и ракитах садовочков, на сельском кладбище, где меж ста-

рых темных крестов белеют цокольки с красной звездочкой над упокоившимися ветеранами войны. Бесстрашные соловьи! Поселок у Сергеева собачий и кошачий, есть даже любознательная, настырная обезьяна и очень много распущенных детей, соловьям бы поостеречься, а они знай разливались, состязаясь друг с дружкой: кто дробью брал, кто лешего дудкой, а бывали мастера по всем девяти коленам.

Почему перестали петь птицы? За годы, что Сергеев жил на Десне, случались всякие, большие и малые, чудеса. В памятное лето, когда иссушенная, прожаренная оголтелым солнцем земля звенела под ногой и болели ступни от ее броневой жесткости, любимая Сергеевым сыроватая прежде, а сейчас растрескавшаяся, как каракумский такыр, лесная тропа была усеяна дохлыми, будто налакированными лягушками. Видимо, они сползались сюда из пересохших прудов, ручьев и болот, памятуя о былой тени и сырости, и солнце высушивало их до смерти. Тогда же из леса выбежал лосенок, ошалело повел головой и грохнулся замертво. Оказалось, в нем не осталось и капли крови, выпитой комарьем и всяким лесным гнусом.

В то страшное лето горели леса и торфяные болота вокруг Москвы, машины ходили днем с включенными фарами: их сильный свет, не пробивая белесых клубов дыма, расплющивался в радужные лепешки. Еще не зная о пожаре, Сергеев шел обычным маршрутом через лужайку у Черной речки, как прозвали эту излуку Десны за фабричным стоком, аспидно-черную и летом, и зимой, и вдруг обнаружил, что все зримое пространство медленно и неуклонно затягивается молочным, чуть мерцающим маревом. В считанные минуты скромный подмосковный пейзаж, от века верный уютной кисти передвижников, обрел Леонардову лунную призрачность: все в нем обесконтурилось, поплыло, растворилось в бледно-голубоватой дымке, из яви стало сном.

В другой раз он обнаружил на проселочной дороге у иссохшей лужи, от которой паутиной расходились трещины, темный холмик из слипшихся мертвых бабочек. На холмик налетали другие бабочки, глубоко погружали хоботок в трупный ком, складывали крылышки и переставали жить.

Как-то перед Сергеевым на большую сосновую лапу в янтарных потеках смолы, будто засахарившейся у кистей игл, открыто и бесшабашно опустился самец кукушки, которого, как ни ищи, сроду не увидишь, и разорался на весь лес, топорща крылья и ставя колом хвост; его звонко-ошалелый голос сопровождал Сергеева до самой опушки.

А еще он помешал сорочьему суду над лисенком, видимо разорившим гнездо: воспользовавшись замешательством горластых судей, лисенок бежал, оставив на траве клочья красной шерсти. И тут Сергееву пришлось позаботиться о собственной безопасности. Откуда ни возьмись налетели мириады маленьких изумрудных мушек и облепили его с головы до пят, намереваясь высосать, как комарье лосенка. Они лезли в глаза, в самые зрачки, в рот, в уши, запутывались в волосах, проникали за пазуху. И не отбиться было от смешной и жутковатой напасти. Приправленная юмором досада сменилась бешеным раздражением, а раздражение перешло в панику — Сергеев кинулся прочь из леса, обдирая ноги о впутавшийся в траву валежник, мухи провожали его до конца просеки, а там стали, зависли изумрудно взблескивающим гудящим облачком.

Словом, творились разные чудеса, но такого печального чуда, как немая весна, еще не бывало. Тщетно напрягал Сергеев слух, тщетно спешил к очнувшейся природе, тщетно бежал на вечерней зорьке к приютившему тень густому бузиннику за рекой, где в прежние годы были самые голосистые соловьи. Музыка расцветающего влюбленного мира умерла.

Однажды жена сказала:

— Как чудесно поет соловей на соседнем участке! Знаешь, мне кажется, это наш прошлогодний соловей, но чем-то мы ему не угодили, и он поменял местожительство.

— Когда ты его слышала? — спросил Сергеев.

— Да каждый вечер. Может, он и утром поет, но я поздно встаю.

В отличие от жены Сергеев вставал рано. В шестом часу утра он вышел в сад. Была роса на манжетках, роса на листьях и кистях венгерской сирени, был дивный младенческий запах пробуждающегося мира и хрустальная тишина. Затем в стороне Внуковского аэропорта загрохотал поднимающийся самолет. Промчался мимо дома грузовик, гремя разболтанными бор-

тами. Сергеев ждал, но иных звуков, принадлежащих мягкой жизни природы, не возникало. Он с усмешкой подумал, что соловей заспался, подобно его жене. Вернулся в дом и сел работать.

Вспомнил Сергеев о соловье вечером за чаем на террасе, заметив внимающее лицо жены. Соловей пел только для нее, а Сергееву оставался неслышим. Раз померещилось желанное «тёх, тёх, тёх», но то оказалось рабочим шумом — бабушка рубила молодую крапиву для шей.

— Неужели ты не слышишь? — спросила жена.

— Не слышу.

— Что с тобой?

— Со мною, наверное, старость.

— При чем тут старость?.. Бабушка! — крикнула жена. — Вы слышите соловья?

Бабушка отложила сечку.

— Ах разбойник! — сказала она умиленно. — Как выводит, шельмец! — И опять затюкала по крапиве.

Но однажды Сергеев услышал птиц едва ли не всех, что создавали подмосковную весну; они слетелись в сад из окрестных лесов и полей, чтобы дать концерт под его окнами, распахнутыми в неестественную, пугающую тишину. Они пели все разом и ничуть друг дружке не мешали, их сильные, наполненные голоса сливались в единый хор, но каждый вел свою партию. Как они заливались, какие пускали трели, какие ноты брали!.. Сергеев ждал, что ветви деревьев, еловые островершки, крыши, карнизы и провода усеяны птицами, но, взглянув в окно, не обнаружил ни одной певуны, даже синичек, которых бабка подкармливала обрезками колбасы. Незримость птиц, чья оглушительная звень колебала зеленое, горячее, пропитанное солнцем пространство, поразила Сергеева до испуга. В висках застучало. Он сел к столу и зажал ладонями уши: дивное пение продолжалось еще громче и победней. Это шумела кровь в склерозированных сосудах, с трудом проталкиваясь сквозь них, а внешний мир оставался все так же беззвучен. Видимо, он обречен довольствоваться той музыкой, которую носит в себе, в чем есть свои преимущества: его певучая кровь безразлична к временам года...

...Минувший февраль Сергеев провел в подмосковном санатории. Громадная, из светлого кирпича башня высилась посреди обширной площади, обдуваемой всеми ветрами, гуляющими по средней Руси. В народе это называется стоять на юру, на сквозном ветру. Тут можно ощутить мозжащее дыхание норда, прилетевшего аж с самого Ледовитого океана, и теплый вей остудившихся в долгом пути раскаленных ветров пустыни, и солено-влажный охлест с запада, где море, и судорожные порывы переменчивых восточных ветров. «В России всегда ветер», — говорил один старый писатель, но с таким же успехом можно сказать, что в России всегда дождь или всегда ведро, ведь Россия не страна, а целый мир, где всегда — все. Но высказывание старого писателя обретает предметный смысл, если свести необъятную Россию к крошечному пространству, занимаемому санаторием «Плакучая береза», здесь всегда ветер, тревожно, мучительно, сладко и гибельно натягивающий тонкие нервы подопечных здравницы. Ветры приходят из пустоты, за которой угадываются потонувшие в снегах деревеньки, из сквозного березового редняка, подковой охватывающего санаторий.

Наверное, из-за ветров тут живешь словно под током, в напряженном ожидании чего-то. Для Сергеева это ожидание разрядилось приездом четырех красивых, стройных людей, составляющих семью. То были муж, жена, дочь и внучка. Первые трое выглядели много моложе своих лет, а четвертая — много старше, и требовалось некоторое усилие, чтобы поставить их в правильные отношения друг к другу. Родителей пришлось состарить, дочери прибавить лет, внучке порядочно убавить, что низвело ее из ранга взрослой девушки в скромный чин большой девочки.

Нервная обостренность помогла Сергееву угадать еще одного, отсутствующего члена семьи (разумеется, не мужа дочери — отца большой девочки, он подразумевался, нет, другого); Сергеев вычитал его в раненых глазах старшей женщины, в странной судороге, порой кривившей ее крепкий добрый рот, в складках, вдруг прорезавших гладкое, прочное, не поддавшееся старению лицо. Не стоит преувеличивать проницательность Сергеева, он провидел лишь потерю, но, конечно, не мог знать, что потерял, и совсем недавно, был сын, талант-

ливый юноша, обещавший стать незаурядным ученым, — его унесла внезапная, редкая, мучительная и неизлечимая болезнь.

Семья держалась стойко против ветра, не того пронзительного низового, но малого своей очевидной краткостью, что в пору их приезда наметывал сухой, рассыпчатый снег на северный фасад санатория, а против ветра судьбы, с неиссякающей злобой стремящегося оборвать их парус, черного ветра, что на половине жизненного пути ослепил отца, в раннем детстве отнял слух у дочери, а недавно унес сына. Не сразу понял Сергеев, что темные, внимательно обращенные к собеседнику глаза красивого, неторопливо-изящного в движениях человека слепы. Его глазами была жена. В долгой совместной жизни они выработали такую систему поведения, неприметных для окружающих легчайших жестов, касаний, покашливаний, междометий, вскользь роняемых слов, что слепой человек мог вести себя в предметном мире с уверенностью зрячего. У него не было ошибочных или просто неуверенных движений, ни малейшей шаткости в походке, он не закидывал косо голову в опасении неожиданного препятствия, мог сказать, который час, вынув из кармашка брюк часы с выпуклыми цифрами, и вы не замечали, что он видит время пальцами, ко всему еще бегло печатал на машинке, но хоть он и много умел, его вела жена.

Еще дальше не догадывался Сергеев о глухоте дочери, относя ее странную, не окрашенную живым выражением, подчеркнуто отчетливую речь за счет тембровых свойств довольно низкого голоса. Но она говорила так, потому что не слышала себя, потому что освоила речь по слабой памяти детства о звучащем мире и артикуляции специальных учителей, в первую очередь родителей, которые вели ее сквозь объявшее безмолвие так же неприметно и твердо, как мать вела отца сквозь его ночь.

Сергеев почти всерьез задумался: что, если мы вовсе не почетные гости на пиру всеблагих, как горделиво рисовалось Тютчеву, а жертвы грандиозного эксперимента? Цель беспощадного опыта — определить, насколько значителен слой человеческого в человеке. Если так, далекие боги должны снять шляпы, или как там называется то, чем они прикрывают вместилище своего блистательного и страшного разума, перед нравственной силой этой семьи.

Каждый член семьи осуществляет до конца свое назначение. Увенчанный всеми наградами и званиями, отец создает немислимые математические структуры, равно способные и пересоздать Вселенную в лучшем образе, и разрушить до основания. Но разве думают ученые — жизнелюбы, весельчаки, альпинисты — о гибельности своих построений, они просто дают работу серому веществу мозга, а сами нацелены лишь на доброе. И слепой математик, исполненный нежности ко всему сущему, в свободное время изобретает автомобильные двигатели, которые не отравляли бы, а озонировали воздух, и самолетные моторы, посылающие на землю не адский грохот, а звуки скрипок Вивальди и Моцартова клавесина.

Дочь — кандидат наук, она отстаивает свои научные взгляды на международных конференциях, форумах, симпозиумах, столь же добросовестно и ясно произнося низким немодулированным голосом слова английской речи, как и русской.

Мать осуществляет себя в высшем человеческом подвиге самоотдачи: свою профессию — а строить дома больше, чем профессия, это призвание — она оставила ради мужа и дочери, став глазами одного и слухом другой. Но меньше всего она похожа на жертву. Раз в лесу на лыжне наперерез Сергееву вынеслась лыжница с раскаленным лицом девы-воительницы; она резко свернула в просеку Сергеева и промчалась мимо, обдав свежим жаром, и лишь по дружеской улыбке и взмаху ресниц над серо-голубыми глазами он признал в прекрасном молодом существе, словно разламывающем лес в стремительном могучем беге, жену слепого математика.

Ну а внучка вся в очаровании юности. У нее золотые глаза и розовые маленькие уши, так чутко слышащие мир, что мочки то и дело прозрачно вспыхивают — восхищение окружающих стыдно радуется и смущает. Эта девочка — общее творение и награда семьи.

— Я проследил внутренне сквозь годы образ моей жены и даже дочери, — говорил Сергееву математик, когда они попили легкое вино в номере. — Я знаю, как они выглядят сейчас, и радуюсь этому. Но я не знаю, как выглядит моя внучка. Впрочем, так ли уж это важно? Она милая, милая, я создал себе ее портрет, и мне не надо другого. Зрение дает восемьдесят пять процентов информации о мире, но слух представля-

ется мне самым важным из пяти чувств. Лишиться музыки!.. Недаром же Толстой, смирившись с неизбежностью смерти, лишь об одном жалел — о музыке. Там ее не будет... Почему вы не носите слуховой аппарат?

— Разве я настолько плохо слышу?

— Глухота быстро усиливается.

Так вот почему он завел этот разговор!

— Аппарат мне не поможет. У меня другая глухота.

— Война? — спросил он сразу.

Сергеев замялся. Ему не хотелось вдаваться в подробности, а прямой, утвердительный ответ содержал бы какую-то героическую неправду. Хотя с другой стороны... Сергеева послали в городок Анну, где находились тылы Воронежского фронта, показаться в госпитале врачам. Несколько дней назад на передовой он раздражал немецких солдат, выкрикивая в картонный рупор «Гитлер капут!» и другие обидные вещи, это входило в службу контрпропаганды. Когда немцам окончательно надоел его простуженный голос, назойливо и ненужно нарушавший тишину пустого, грустного осеннего поля, называемого ничьей землей, они ударили из миномета. Осколок задел и повернул каску на его голове, но боли особой не было. Не больше, чем в детстве, когда дворовый враг Женька Мельников попадал ему в лоб из рогатки кусочком чугуна, отбитым от лестничной отопительной батареи. Но, как и встарь, была жгучая обида — ведь не ответишь. Женька стрелял из форточка своей квартиры, и до немцев не добраться. Сергеева удивило, почему через несколько дней его отправили в госпиталь, он полагал, что находится в отличной форме. Он добрался на попутных до Анны, но, прежде чем идти в госпиталь, завернул на жалкий, нищий базарчик, где за катушку ниток получил стакан коричневатого варенца. Он только поднес к губам краешек холодного стакана, как вынырнувший из туч «хеншель» сбросил на базарчик фугасную бомбу, одну-единственную, словно яйцо снес. Не было ни воздушной тревоги, ни зенитного огня, не слышалось и прерывистого самолетного гуда, впитавшегося в ватные тучи и туманную сочь воздуха. Когда Сергеева откопали, он сжимал в руке зубристой донце стакана. Много лет спустя на диспансеризации врач-ларинголог постучал его костяшками пальцев по темени и определил по-

терю слуха в левом ухе вследствие контузии. «А правое ухо вы мне оставите?» — тревожно улыбнулся Сергеев. «Я не предсказатель», — вздохнул старый врач. Жизнь научила его смирению, он верил в природные силы человеческого организма куда больше, нежели в медицинское предвидение. Но мужественный собеседник Сергеева, в чьем тяжком опыте утрата одного из пяти чувств представлялась почти неизбежной, считал неуместным даже пифийское двусмыслие, оставляющее хоть тень надежды. Он хладнокровно нарисовал Сергееву ожидающее того будущее. «Ну что ж, — думал Сергеев, с чуть лишней жадностью глотая вино, — тогда я примкну к вашему богатырскому клану, если станет сил, а не станет, займу у вас...»

...Так как же, друг мой Сергеев, стало или не стало у тебя сил? Ты еще и сам не знаешь. Ты сильно растерялся, когда обнаружил, что вместо весенних голосов птиц получил шумную возню крови в сужившихся сосудах. Значит, ты все-таки думал обмануть судьбу? Не вышло, да и не могло выйти. Ты получишь сполна все, что война запрограммировала тебе на старость. Утешайся тем, что всякая старость трудна, а телесные недуги и физические потери еще не самое страшное. И не верь, что бывает величая старость. Олимпийца Гёте, сохранившего до исхода остроту чувств, силу мозга и духа, железное здоровье, постигло иное, почти смешное, на деле же горшее из всех несчастий: на восьмом десятке он без памяти влюбился в восемнадцатилетнюю девушку. Он верил, старый ребенок, величайший поэт, что мать с радостью отдаст дочь за творца «Вертера» и «Фауста», кумира Европы. Но та решила, что старец сошел с ума (так оно отчасти и было), кругом столько достойных женихов, подходящих по возрасту ее сокровищу: сын булочника, аптекарь, подающий надежды чиновник магистрата. Молодому сердцу старого поэта не дано было спеть последней песни любви. Кажется, девушка так и не вышла замуж ни за сына булочника, ни за аптекаря, ни за обещающего чиновника. Поверить этому трудно, уж больно возвышенно, но, может, и впрямь «звуков небес», коснувшихся юного слуха, «заменить не могли ей скучные песни земли»?

Но оставим Гёте вечности. Он свое отстрадал, а твои муки только начинаются. Покамест ты лишился соловьев и жаворонков, но у тебя остались вороны. Ты слышишь мно-

го механических шумов, громкую музыку, да и человеческую речь потерял лишь в кино, а это невелика потеря. Наслаждайся же еще звучащим миром и чаще вспоминай своих друзей по «Плакучей березе». Жаль, что глава семьи принадлежит к нередкой в наше опасливое время категории «невидимок». У него нет адреса и телефона, он живет в столь засекреченном месте, что, возвращаясь туда, как бы исчезает из мира. А с недавних пор он стал по-особому нужен Сергееву.

В конце июня Сергеев шел по лесной прогалине, ведущей сперва сквозь березняк, потом сквозь темный еловый лес к поляне с тремя старыми дубами. Раньше он часто ходил этим путем, обещавшим неожиданные встречи: то с лосем, то с лисой, то с куницей, раз в густых сумерках протопали кабаны. Но затем возле дубов построили теплицы, и звери покинули эту часть леса. Куда уходит гонимое строительством подмосковное зверье, где находит тихую обитель? Газеты часто с непонятым восторгом пишут о «лосе в черте города». Чему тут радоваться? Неужели городские улицы кажутся сохатому приветливей подмосковных лесов? Лишь дрозды остались верны прогалине да появились недавно какие-то ошалевшие совы, путающие ночь с днем. При свете солнца, когда им положено спать, плотно смежив круглые изжелта-зеленые глаза, они срываются с ветвей и несутся куда-то, натываясь на деревья.

И как возликовал Сергеев, когда в полусотне шагов впереди себя увидел лосенка, объедающего кустарник. Он не обращал внимания на приближающегося человека, и, замерев на мгновение, Сергеев быстро зашагал к нему. Лосенок и не думал бежать, утратив осторожность в жадном насыщении. Порой он совсем исчезал в кустарнике, затем вновь, испятнанный тенями листьев, возникал на краю лесного коридора. С каждым шагом в Сергееве нарастало дурное предчувствие. И когда уже не стало сомнений, что слух не единственная его потеря, он продолжал тупо и жалко убеждать себя, что это лосенок, а не игра света и теней. Легкий ветерок, тянувший по прогалине, да косой солнечный луч наделяли обманной жизнью куст боярышника с запутавшимися в нем сохлыми стеблями дудок. Где твой соколиный глаз, Сергеев, которым ты за шестьдесят метров брал летящего чирка на цель?..

ПРЕКРАСНАЯ ЛОШАДЬ

Я видел ее несколько раз, тем безотчетным, не посылающим в мозг четкого сигнала взглядом, каким мы чаще всего обходимся в повседневной жизни, защищая невыносливое сознание от жгучего обилия впечатлений. Нечто находилось в пространстве вокруг дома отдыха, не входя в положенный реестр; оно не было ни деревом, ни кустом, ни машиной, ни отдыхающим, ни землемером с теодолитом — небольшая, компактная масса, проступавшая сквозь утреннюю туманную изморось и наливавшаяся сгустком тьмы в ранних ноябрьских сумерках. Для рассеянного сознания это вот «неположенное» сперва «находилось» на территории дома отдыха, затем потребовало для себя иных глаголов, признающих динамизм явления: оно «по-являлось» и «исчезало», и наконец великим глаголом «жить» было возведено в ранг одушевленного существа: в нашем просторе, то рождаясь из света, то пропадая во тьме, жила лошадь.

Впрочем, тут у меня сдвиг, пропуск: лошадь — это позже, поначалу же был призрак лошади. Да, мы узнали, что вокруг громадного корпуса дома отдыха, по необъятной и почти девственной территории, как-то ненадежно и неуверенно отобранной у леса, реки и поля, бродит призрак лошади.

Во всяком другом месте подобное открытие возбудило бы тревогу, брожение умов, но только не в этой подмосковной здравнице, самом странном заведении из всех виданных мною за долгую жизнь.

Двусмысленность была в самой основе «дома отдыха санаторного типа», ибо никто не ведал, в чем призвание громазда,

выросшего не так давно с краю старой барской усадьбы: созидать или разрушать здоровье своих обитателей. Одни являлись сюда с простой путевкой и откровенным желанием «пожуировать жизнью», другие — с курортной картой и робкой надеждой, что тут им обновят тело и душу. А в храме здоровья немолчно гремел праздник, звучала вакхическая песнь, и густые, подступающие к окнам дома леса служили прибежищем озорной любви.

Из леса являлись разные таинственные существа. Однажды поутру тонкий чистый снег, выпавший за ночь, оказался испещренным бесчисленными маленькими следами, которые невозможно было приписать обычным обитателям Подмосковья: лисицам, зайцам, кабанам, ласкам. Разгадку подсказало художественное чутье одной отдыхающей дамы. Томимая бессонницей, она поднялась на рассвете, отдернула занавеску, и ей почудилось, что по земле расстелена царская мантия. Образ подсказал отгадку: к дому приходили горностаи — белые с черными хвостиками, их шкурками некогда отделявали парадное царево платье.

Другой раз по залитой луной опушке леса металась тень гигантского рогача. Наверное, то был лось, но самого зверя никто не углядел, лишь стремительная тень промелькивала по лунной бледности земли и хвойника.

Старинная усадьба вносила свою мистическую лепту в здешнее бытие. Там был глухой парк, темные липовые аллеи, желтый облупившийся дворец с белоколонным портиком, старое кладбище, розовая барочная действующая церковь Всех скорбящих с ампирной колокольней. На кладбище, среди металлических ажурных крестов, под которыми осыпались могилы елизаветинских фрейлин и екатерининских вельмож, мигали ночами синие огоньки. Молва утверждала, что неугомонившиеся души фрейлин развеселой императрицы, покинув тесные обиталища, любезничают с душами галантных кавалеров любвеобильнейшего из всех монарших дворов.

Готовность к чуду была разлита в непрочном воздухе поздней осени, то крепком, на ранье каленом от сухо-студеного утренника, а днем прогреваемого солнцем до летней благоуханности, то квёлом, сопливом, сочащемся скользкой влагой. И когда появился призрак лошади, он естественно впи-

сался в пейзаж, дружелюбный подлунному буйству теней и миганию потусторонних огоньков.

Но сейчас я прихожу к выводу, что подлинность лошади отвергали не из мистической настроенности, а из приверженности к житейскому правопорядку. Наша здравница отличалась терпимостью к животным. Внутри было полно кошек, а снаружи — собак. Но кошки — маленькие существа, к тому же с четкой служебной функцией, нередко обитают в учреждениях на полуправильном положении и даже множат род четвероногих клошаров, бродячие собаки могут находиться у хлебных человеческих стойбищ, пока о них не вспомнят — обычно в пору буйных свадоб — и не отдадут на отстрел собачникам. Но чтобы жила ничейная, вольная лошадь, какой-то одинокий, независимый гуингнм, — это не укладывалось в правовом сознании еху. Вот почему ее проще было считать призраком, нежели тварью из плоти и крови. И все-таки настал день, когда силуэт загадочного коня обрел трехмерность, четкую живую окраску, суету мелких движений плоти, ежемгновенно приспособляющейся к среде, и пришлось отбросить самообман — возле нас существовала лошадь, которая ходит сама по себе.

Я люблю лошадей с раннего детства, с большого московского двора, приютившего винные подвалы, куда гривастые битюги доставляли груженные бочками подводы, с ночного в рязанском поле на краю сухотинских яблоневых садов, с лихих московских извозчиков, гонявших по кривым улицам списанных с ипподрома рысаков. Но как же редко доводится мне теперь видеть лошадь! И вот она пришла, словно из дней детства, но что-то непонятное мешает мне приблизиться к ней.

Ее одиночество являлось преградой, которую я не осмеливался переступить. В почтительном отдалении я наблюдал, как неспешно и сосредоточенно обирает она осеннюю траву, где бурую, с редкими прожилками живой зелени, а где изумрудную, напоенную сладким соком; как замирает в дремоте или медленно бредет куда-то, отгоняя взмахами коротковатого хвоста прилипчивых осенних мух.

Порой на огнисто-черном закате или в утреннем, просквоженном аlostью тумане простая рабочая скотинка превращалась в сказочного коня — громадного, скульптурно-совершенного, равно готового к неистовой ковыльной вольной скачке

и к подчинению забранной в железа богатырской руке, правящей на врага, и к звездному полету с отважным Иванушкой на спине...

А потом началось мое приближение к лошади. Медленное, неравномерное, прерывистое, но неизменно наступал день, когда с поворотом прогулочной тропки я оказывался ближе к лошади, занятой терпеливым трудом насыщения и деликатно непричастной окружающей жизни.

А потом лошадь вышла из глубины пейзажа и стала пастись вдоль дорожки, ведущей к старинной усадьбе, церкви, кладбищу. И я оказался так близко от нее, что почувствовал слабый запах мокрой шерсти. Эта дикарка была на редкость ухоженной: хвост подрезан и расчесан, так же расчесаны густая грива и челка. Обрызганные утренней влагой копыта опрятны, не заскорузлы и освобождены от подков. Надранный скребницей круп сыто блестит. Чист и промыт был глянувший на меня полный, сферический, темно-лиловый глаз, вобравший в свою прозрачную мглистую глубину весь окружающий простор с моей крошечной фигурой на переднем плане. Красив и значителен был мир, отраженный в ее большом, глубоком и добром зрачке, а вот другой глаз ничего не отражал — тусклый, затянутый голубоватым бельмом, он мертво пялился в пустоту. Лошадь редко и крепко моргала своим живым глазом, а мертвый глаз не мог себя защитить, даже когда к нему приставала травинка или муха начинала биться в моллюскоподобный сгусток под щеточкой ресниц с поседевшими кончиками.

Но странное дело, бельмо не уродовало лошадь, а прибавляло ей достоинства. Природный ущерб не помешал ей выполнить свое жизненное назначение; крепко поработала старая на своем веку и награждена нынешним привольем.

Это была не простая деревенская лошадь. В ней чувствовалась порода, хотя не знаю, какие крови слились, чтобы создать такое милое существо. В ее предках, несомненно, значились тяжеловозы, от них — массивность груди и крупа, крепость ног с мохнатыми бабками, ширь непровалившейся спины. Но не бывает таких маленьких тяжеловозов. Нерослая и коротенькая, она казалась помесью битюга с пони. Впрочем, такое сочетание невозможно, как помесь сенбернара с болонкой.

Мощь и миниатюрность на редкость гармонично уживались в ее стати, и красива была жаркая гнедая масть.

Тут ее заметила большая рыжая собака с темной мордой и решила выслужиться перед своими кормильцами. Ведь появление бродячей лошади возле торжественного входа в главный корпус — явный непорядок. Собака подбежала к лошади и деловито облаяла. Лошадь продолжала спокойно пощипывать траву. Тогда собака залаяла громче, злее, морща храп и скаля желтые клыки. Она разжигала себя, но лошадь, столько видевшая на долгом веку своим единственным оком, не придала значения этому деланному ожесточению. Ее невозмутимость озадачила собаку. Она перестала лаять и несколько раз крутнула хвостом, словно прося у кого-то прощения за несостоявшееся представление, и тут заметила, что за ней наблюдают. Шерсть на загривке стала дыбом, она зашлась визгливым лаем, забежала сзади и попыталась ухватить лошадь за ногу. Лошадь не видела ее, собака зашла со стороны ее мертвого глаза. Подумав, лошадь угадала ее местонахождение, повернулась и старательно, как и все, что она делала, кинула задними ногами. Попади она в собаку, той пришел бы конец. Но лошадь вовсе не хотела причинить ей ущерб. Собаке вздумалось поиграть в бдительную и самоотверженную службу, лошадь без охоты, но добросовестно подыгрывала ей. В промежутках между схватками лошадь продолжала щипать траву, тихо удаляясь от дома отдыха. Наконец собака посчитала свою миссию выполненной, твякнула раз-другой и побежала гарцующей походкой к стае рассказать о своей победе.

Мое восхищение лошадью еще возросло. Она попала в глупую и докучную историю, но вышла из нее с замечательным достоинством...

Покинув свою таинственную даль, незнакомка стала обычной жующей, хрумкающей лошадью, но печать загадочности осталась. Чья она, почему гуляет одна, где хочет, без надзора и ограничений, положенных каждой приобщенной цивилизации особи, будь то животное или человек, куда уходит на ночь, откуда и когда возвращается?..

Некоторые отдыхающие попытались вступить с лошадью в более тесные отношения, но она не шла на сближение, не принимала ни сахара с ладони, ни черного хлеба, скромно

довольствуясь осенней травой. Долгие годы возле людей научили ее мудрой осмотрительности. В отличие от глупых и доверчивых собак она знала, что добровольцы порядка строго следят за распределением государственного продукта, учитывая каждый кусок, идущий по назначению. Лошадь не понимала другого, — что сама безнадзорность ее была вызовом правопорядку.

Звуковой фон нашего мирка был многообразен, он исходил рокот голосов, скрип шагов, хлопанье дверей, плеск воды в бассейне, звон стаканов в баре, костяной стук бильярдных шаров и глухо-тугой — теннисного мяча, музыку, выстрелы с экрана телевизора, обвальная грохот из приоткрывшейся двери кинозала, мгновенно отсекаемый, но длящийся эхом обрывок песни, смех, зовы... Провал мгновенной тишины тоже был озвучен высоким чистым звоном, вновь принимавшим в себя рокот, скрипы, шорохи, шепоты, взрэвы... Из хаоса звуков слух выхватывал отдельные слова, фразы. Все чаще слышалось: лошадь... лошадь... лошадь... Приковалось к страннице бездельно-цепкое внимание отдыхающих. Доброжелательное, с теплым удивлением, а мне тревожно стало. Из доброго хора нет-нет да и вырывалось:

- Не положено...
- А может, ее ищут?..
- А что, если больная?..
- ...Ящур, сап, бешенство...
- Глаз у нее плохой...
- ...Бельмо? А если трахома?..
- Ежели каждая старая кобыла...
- ...Травы не хватит...

А потом я заметил, что исчез кошачий помет из верхнего, не обжитого отдыхающими громадного холла, который я пересекал по пути в столовую, и понял, что кошек ликвидировали... А вскоре тишина и пустота за входными дверями оповестили о другой пропаже: не стало милых, вечно голодных бродячих псов, что сбегались сюда в обеденное время в надежде на подачку. Ловко их отловили, втихаря. Мне подумалось, что кто-то не вовсе злой выкупает этими подачками жизнь бездомной лошади. Та же мысль, как позже выяснилось, промелькнула во многих головах. А когда лошадь вдруг исчезла,

все заговорили разом, что ее застрелили по наущению какой-то вездесуйной сволочи.

Но она вернулась — и не одна. С ней пришел лесник, сильно пожилой, крепкий, поджарый человек в зеленой лесной форме, фуражке с бляхой и болотных, подвернутых ниже коленей сапогах. Был он рыже-сед, веснушчат, с седыми желто-обкуренными усами. Его съжившиеся от чащобного охлеста прозрачно-зеленые глаза добро улыбались из глубоких глазниц. Прочный, надежный в каждой жилке, морщинке, движении, слове трудовой человек, что обратил опыт долгих лет в доброту, в уверенное приятие жизни, которую он, видать, умеет принуждать к справедливости.

— ...Да что вы, ей-богу! — насмешливо говорил он (я попал на продолжение его разговора с отдыхающими). — Кто же позволит ее стрéлить? Да и кому Маруська мешает?

Заведя руку назад, он погладил лошадь по крутой, твердой скуле. Она стояла за ним, упираясь головой ему в спину и дыша родным запахом.

— Без малого двадцать годов мы с ней вкалывали. А сейчас пусть гуляет, заслужила бессрочный отпуск.

— А ничего, что она... так вот... ходит? — спросил кто-то.

Лесник ответил не сразу, улыбка его стала чуть напряженной, он хотел сообразить, в чем смысл вопроса: в опасении за лошадь или в неодобрении Маруськиной вольности? Верх взяла вера в добрые намерения людей. Он сказал посмеиваясь:

— Да кто ее обидит? У кого подыметесь рука на старую заслуженную лошадь?.. Маруська умная и вежливая, она не полезет куда не надо, сроду не напачкает, от нее никакого вреда.

— Вы уж поберегите ее! — попросила круглолицая старушка с гвардейским значком на шерстяной кофте.

— А как же! У нас, окромя друг друга, никого нету. Разве что лоси да кабаны! — совсем развеселился лесник. — Пошли, — сказал он Маруське. — Людям отдыхать надо.

— Вы все-таки отпускайте ее к нам, — попросила гвардейская старушка.

— Есть отпускать! — засмеялся лесник, прикоснулся пальцами к околышу фуражки и пошел в свой лес, а Маруська поплелась следом.

Обрадовал всех разговор с лесничим, никто и внимания не обратил, что старая Маруська прикрыта от судьбы лишь худым плащом лесниковой доброты, а не законом. Нет охраняющего закона для старых прекрасных лошадей. И никто не обратил внимания на полуторку, проехавшую в лес мимо главного корпуса дня через два после умирительного собеседования. В кабине рядом с водителем сидел милиционер, а в кузове два парня с широкими скучными лицами. Никто не придал значения и слабому выстрелу, ватно шелкнувшему в сыроватом просторе. Но когда полуторка катила назад, многие заметили, что торчащие из кузова четыре толстые коричневые палки были не палки — ноги убитой лошади.

И тут забили набатно давно снятые колокола церкви Всех скорбящих. Чугунными языками оповестили миру о совершенном зле. И никто не поверил Всезнайке, утверждающему, что это отзвончивый гуд набравшей силу электрички. За логом и верно находилась молочная ферма, но почему ее не было слышно в другие дни?..

Как бессильно добро и как действенно зло! Добрый старый лесник не смог защитить свою прекрасную лошадь. Добрые, растроганные люди из дома отдыха спасовали перед ядовитым ничтожеством, «запятой» — такое было название у Лескова для невидимых и губительных, как бактерии заразных болезней, носителей зла.

«А стоит ли подымать шум из-за старой, полуслепой, бесполезной лошади?» — скажет какой-нибудь здравомыслящий человек. Но это была прекрасная лошадь... И потом, меня беспокоит будущее. Помните, у Рея Брэдбери, чем обернулось в расцвете цивилизации поврежденное в доисторические времена крылышко бабочки? А тут не мотыльковое крылышко, а Лошадь, Прекрасная Лошадь, погубленная не случайно, а сознательно. Что, если через миллион лет из-за этого расколется земной шар? Земной шар, населенный лучшими, чем мы, людьми?

Ну, никто так далеко не заглядывает.

А надо бы...

СТРАДАНИЯ ЦЕНСОРА КРАСОВСКОГО

Цензор Красовский, фигура печально приметная в русской литературной администрации первой половины прошлого века, вел дневник. Быть может, самый загадочный дневник в мире, ибо при наиуглубленном размышлении невозможно понять, зачем он это делал. Во всяком случае, не для того, чтобы закрепить в собственной памяти или в назидание потомству события своей усердной службы и однообразной жизни. А ведь он встречался с особами царского дома, выдающимися военачальниками, сановниками, видными деятелями дней Александра и Николая, а также со знаменитыми писателями, о чем даже не упоминает. Тщетно искать в его дневнике значительных примет времени, описаний лиц и событий, внимание литературного Цербера сосредоточено лишь на приснившихся ему снах и состоянии желудка. Не будем голословны. Вот несколько наудачу взятых записей за 1848 год, когда Красовскому было шестьдесят семь лет и он собирался отметить пятидесятилетие своей ревностной службы по удушению литературы. Впрочем, сам цензор в существо своей службы не вникал, применяя к ней лишь мерки исполнительности, усердия и долголетия.

«1848,

Благослови, Господи, Творче веков, наступивший 1848 год и не отними от меня Твоей помощи. Продолжи милость Твою, Долготерпение!

Благодарение Создателю и Промыслителю, сон был хорош от 1-го до 5-го часа. Во сне видел протоиерея Михайловского

дворца Семена Александровича, желавшего дослужить некоторое время с отставки, и еще что-то. Отправление желудка* было обыкновенное в 10 ч. Ужинал в 9 ч. и на ночь лег спать в 12 ч.

Благодарение жизнедавицу Христу, нас ради крестившемуся от Иоанна в водах Иорданских. Сон был хорош от 11-го до 3-го и потом до 6-го ч. (во сне виделось что-то в дороге, на каком-то постоялом дворе, и после завтрака из молочного кушанья увидел Неву и впадающую в нее речку; потом Е.И. Ильмер, уходившую от меня, потом остановившуюся с какой-то старушкой). Отправление желудка было порядочное в 11 ч.

Помяни, Господи, кроткую душу рабы Твоей княгини Татьяны; даруй ей покой чистых сердцем в Твоем лицезрении! Благодарение Богу, сон был хорош от 2-го до 4-го и потом до 7-го и не прерывался (во сне виделись цензурные дела и В.Д. Комовский) и проч.».

Эта ничем не примечательная запись потом вспомнится Красовскому, когда он станет отыскивать причину надвинувшейся на него невзгоды, омрачившей безмятежные, исполненные радужных надежд дни в канун приближающегося юбилея: семнадцатилетним юношей вступил он в государеву службу при несчастливом монархе Павле Петровиче, царствие ему небесное!..

«Благодарение Господу, сон был хорош от 1-го до 4-го или до 5-го ч. (Во сне виделся город Ревель и в нем небольшое возвышение, с которого я опускался в воду и искал башмаков или обуви, чтобы перейти по воде на другую сторону; мне дал какой-то мужик, с красным наростом на носу, башмаки деревянные, большие, с соломой, и за них требовал 2 к. серебром.) Отправление желудка было в 10 ч. обыкновенное.

Благодарение Долготерпеливому, сон был крепкий от 12-го до 6-го ч. (Во сне виделся Зимний дворец, в котором я надел на себя одежду с орлами ливрейными, ожидал фельдмаршала князя П.Ф. Варшавского, бывшего внизу у своей супруги. Еще видел верхний этаж дома графа Строганова, деревянный, круглый; еще какие-то слова духовного содержания, писанные мною на стене.) Отправление желудка было в 11 ч. порядочное».

А вот где обнаружили первые симптомы неблагополучия:

«Помяни, Господи, душу раба Твоего митрополита Серафима. Благодарение Спасителю и его святому Антонию великому, сон был хорош от половины первого до четвертого и пятого ч. (Во сне виделось, что я на Каменном острове, в мундире и ленте; потом собираюсь в Новую или Старую деревню на похороны, снимаю мундир и ленту, надеваю черный фрак и, не зная, где взять круглую шляпу, просыпаюсь.) Отправление желудка было порядочное и обыкновенное в 10 ч.; в 12 часов ночи необыкновенное (разрядка моя. — Ю.Н.).

Помяни, Господи, душу раба Твоего благочестивейшего, государя императора Петра 1-го, преставившегося в вечность в сей день 1725 г. Даруй ему покой от земных трудов в Твоем бесконечном царствовании с праведными царями. Еще благодарю Тебя, Господи, за явленные мне Тобою милости от сего дня 1832-го донныне. Благодарение Богу, сон был хорош. (Во сне виделось: чей-то гроб с телом, уже попортившимся и закрытым; еще какой-то огород, еще кто-то в платье сером, и темный сюртук, и еще что-то.) Отправление желудка было в 5 и 10 ч. не так порядочно и в 11 и в 12 вечера хуже, может быть, оттого, что утром принимал магнезию».

Красовский обманывает себя: что значит магнезия для луженого бурсацкого желудка, в котором и долото сгниет? Пищеварительный тракт реагировал на смятение духа.

Благодарение Господу, сон был хорош от 12-го до 7-го ч. (Во сне виделось преосвященные Илиодор и Иннокентий, последний подающий мне книгу в переплете, и митрополит Антоний, отказывающий мне дать для целования крест, чем я был смущен.) Отправление желудка было поздно, в 4 ч. пополудни, несколько трудное и в малом количестве. После обеда уснул от слабости часа три...

Помяни и упокой, Господи, души рабов Твоих, родителей моих, братьев, сестер, сродников, друзей, благодетелей и всех православных христиан, отошедших от сей временной жизни к вечной, и даруй им вечное блаженство! Благодарение Богу, сон был хорош от 12-го до 3-го и потом до 7-го ч. (Во сне виделось: князь Алек-

· сандр Николаевич Голицын и его книги и ландкарты, ценсурованием которых я должен был заняться; еще Иван Иванович Ястребцов; еще Василий Иванович Копылов, говорящий о дешевизне в Сибири и проч.) Отправления желудка почти не было (разрядка моя. — Ю.Н.), в 7 вечера малое».

И грянуло самое страшное:

«Благодарение Подающему, сон был хорош от 1-го до 6-го и 7-го ч. (Во сне виделись Варшава, княгиня Варшавская и несколько приветливых поляков.) Отправлений желудка не было (разрядка моя. — Ю.Н.)...»

Сколько в этих разреженных буквах скрытого страдания мужественной натуры, не привыкшей жаловаться да и не имеющей кому пожаловаться. Был цензор Красовский холост, а некоторые вдовы и одна кума, которых он изредка навещал, сохраняя и в преклонные годы значительную телесную крепость — дар чистой, воздержанной, чуждой каким-либо излишества жизни, — едва ли годились для такого рода признаний. Жена, как говаривал Пушкин, свой брат, ей все можно сказать, она не смутится, не скривится, все поймет, озаботится пуще, чем собственным недомоганием, и поможет. А с этими только о приличном да красивом говори.

Нам (впервые с горделивым чувством применяет автор это множественное число для обозначения своей личности, хотя немало писано им о днях минувших, но в сугубо беллетристическом роде, в этом же небольшом произведении он выступает не только как повествователь, но и как историк-исследователь), так вот, нам довелось проделать громадную работу, чтобы по крупицам реставрировать картину болезни и выздоровления цензора Красовского. В смысле течения недомогания дневники его дают достаточный материал, не ограничиваясь пищеварением, они подробно излагают, как омрачались, перепутывались, превращались в кошмар его чистые, стройные сны о святителях православной церкви, императорской фамилии, достославном князе Варшавском, министрах и сенаторах. А дальше пошло еще хуже: ему стали сниться отхожие места, которые он отыскивал в незнакомых домах через

лакеев, Вольтер и Семилетняя война. Перепуг больных сновидений оплел и священную фигуру императора: *«Во сне виделся государь, говоривший о лекарствах и удостоивший меня киванием головы на мой низкий поклон. Еще снилось приготовление какими-то двумя аптекарскими учениками при дворе порошков и хождение мое по доскам строящегося здания в верхнем этаже, с которых я чуть не упал».*

Тема падения-беды повторяется: *«...виделась какая-то женщина, которую, по желанию, бросали вверх и которая, сделав круг, обращалась на дно какого-то судна, невредима; еще иглы с большими ушами, в которых мне доставалось вдевать проволочную нитку...»* В ночных видениях цензора Красовского проглядывает Кафка.

В одном долгом сне, прерванном желудочными страданиями, ему снился сперва *«...покойный Ив. Андр. Крылов»*, которого он *«потчевал в своей столовой, у комода, нижней сладкой корочкой белого хлеба»*, потом *«...какие-то молодые люди, говорившие о наградах орденами и не заслужившие знаков отличия беспорочной службы на 15 лет...».*

Даже какая-то непочтительность появилась в его верно-подданнических снах: *«...виделась нечаянная встреча с лишившимся престола французским королем, которого я хотел угостить в трактире за свой счет и представил ему моего батюшку, как протоиерея и члена Русской Академии...»*

Картина смятенного духа и смятенной плоти вырисовывается весьма отчетливо, и в этом смысле для историка нет никаких затруднений, но о причине охватившего его беспокойства, перешедшего в мучительную тревогу, разрушившую его пищеварение, Красовский не говорит ничего. Путем сложнейшего и тончайшего анализа, для чего понадобилось на годы зарыться в архивы и спецхранилища крупнейших библиотек, нам удалось раскрутить эту историю. Более того, мы убедились, что Красовский и сам понимал, что хворь шла от головы, сообщалась желудку, претворялась в дурные сны, а расстроенное пищеварение и ералаш бредовых, а порой прозрачно грозных снов усугубляли страдания ума и души.

Нить нам дал сам цензор вполне невинным вроде бы упоминанием имени чиновника Министерства народного просвещения Комовского. Этот сухонький, легкий на ногу преуспе-

вающий чиновник-втируша был лицейским другом Пушкина. Вернее, считался таковым за давностью лет, ибо настоящей дружбы между двумя мальчиками, схожими лишь вертлявостью и живостью движений, никогда не было. Пустой, хитренький, склонный к подслушиванию и ябедам, Комовский, прозванный Лисичкой, не вызывал у Пушкина ни симпатии, ни интереса. И странно, что Комовский оказался верным и постоянным участником всех лицейских встреч. Но ведь и такой чинуша (переросший в сановника), как Модест Корф, вернопоподанный до мозга костей, напрочь чуждый лицейскому духу, тоже усердно хаживал на юбилейные сборища лицейстов. Конечно, главным магнитом этих встреч был Пушкин, хотя мало кто признавался себе в этом, но, видимо, каждому человеку в тайниках души хочется приобщиться вечности.

Эта преданность юной памяти сблизила воспитанников Энгельгардта сильнее, чем годы безмятежного расцвета в царскосельских садах. Ну, а для публики, начитавшейся лицейских од Пушкина, не было сомнений, что лицеисты первого выпуска наипреданнейшие друзья. В исходе же сороковых на всех, кто как-то прикасался к Пушкину, лежал его отсвет. И Красовский, знавший лицейский расклад лучше многих, тоже считал Лисичку близким другом Пушкина.

Служа по разным ведомствам, чиновники сталкивались не часто, и хотя Комовский вел себя лояльно, Красовский ему не доверял, всегда ждал каверзы, каждую встречу с ним воспринимал как дурную примету, хуже попа нос к носу, пустых ведер и косоногого через дорогу. А дело опять же в Пушкине, которого Красовский ненавидел всей своей угрюмой, темной и вялой душой, вроде бы неспособной к сильным чувствам. Пушкин преследовал его злыми остротами, эпиграммами — раз «дураком» назвал, другой «подлецом-поповичем», не упускал случая унижить в глазах света.

Ничего примечательного во встрече с Комовским не было: раскланялись, перекинулись двумя-тремя словами о поправках к ценсурному уставу, о дурном характере Уварова — об этом, правда, один Комовский болтал, провоцировал, да не на таковского напал, что еще?.. Да ничего вроде. Комовскому было под пятьдесят, он сохранил сухощавую легкость, хотя Лисичкой уже не назовешь, нет былой гибкости, верткости в членах,

подагра не обошла любителя шипучих вин, но хитролисье в нем осталось, даже сильнее проступило в заострившихся чертах тонкого лица с длинным хрящеватым носом. Но как он ни хитер, ни пронырлив, а большой карьеры покамест не сделал, думал Красовский, хотя этим молодым все проще дается, да ведь и не с нуля начинал, уже из лица с чином вышел.

Нет, что-то еще сказано было: о каких-то чиновниках, обойденных повышением (после в тяжелом сне отыгралось), о его близящемся юбилее. «Андреевскую ленту ждете?» — хихикнул Комовский, а чего тут смешного? Над такими вещами подшучивать вообще дурной тон. Андреевской ленты он не ждал, не такая у него должность, но разве не заслужил он высокой награды за полвека беспорочной службы? Конечно, заслужил. Да ведь кто заслужил и ждет, тому ничего не выпадает. А кто не заслужил и ничего не ждет... Таких не бывает: каждый считает себя достойным самых высоких отличий; кто помельче лелеет мысль о чине невздорном, а какой статский не видит себя генералом?

Тон Комовского не понравился. Лисичка что-то вынюхал, конечно, дурное, и за доброжелательными расспросами скрывалось злое торжество завистника, проведавшего о твоём провале. Вспомнились Красовскому и участвовавшие за последнее время подковырки от графа Уварова, и вообще-то не больно к нему благоволившего. Стал бы этот царедворец уязвлять человека, которому значительная от государя награда предстоит? Навряд ли. Уваров — жесткий, злой, мстительный, но Красовский ему ни в чем не помеха, а даром ожесточать человека, пользующегося благосклонностью государя, тоже не в его правилах. Он знает, кого язвить, одергивать, ставить на место, а с кем и поостеречься. Но если тебя обошли, нечего с тобой церемониться. Нет ли связи между ухмылочками Комовского и придирами графа? Все может быть!..

Но за что же с ним так?.. Уж он ли не... А кого этим разжалобишь? Недавно он запретил богохульные сочинения Вольтера, а кто-то напомнил императору, что его бабка, великая государыня Екатерина, состояла в переписке с фарнейским умником. Государь изволил обозвать цензора болваном. И сразу — пиявки на уши, кислый стул, сердечное недомогание. А ведь император, поди, не раскрывал Вольтера, а раскрой — в ужас

пришел бы. Вольтера, значит, нужно было разрешить, а как взгрели ценсурный комитет за допущение к продаже «крамольной» книги о подагре, выписанной из Берлина Смирдиным! Чем это медицинское сочинение угрожает видам и негоциям Российской империи?

Другим и не такие промахи прощают, а ему каждое лыко в строку ставят, любую оплошность муссируют, ибо с легкой руки Пушкина утвердилась за ним слава неуча и дурака.

Не было ничего удивительного, что, пытаясь разобраться в своей задаче, Красовский пришел к Пушкину. Уже сосредоточившись на Комовском, он догадывался: дело не в старом лисе, а в его лицейском дружке, что непременно высунет цензору лиловый негритянский язык. Языка Пушкина Красовский не видел, но был уверен, что африканской породе положен лиловый язык. Конечно, Пушкин лишь на одну восьмую эфиоп, но русская кровь примесей не любит, и если кто из предков не соблюд чистоты, то будешь ты уже не русский, а инородец.

С Пушкиным связана самая неприятная история в жизни Красовского, когда вышел он круглым дураком перед великой княгиней Еленой Павловной, почитавшейся самой просвещенной женщиной своего времени; перед ней, младшей, благоговел покойный император Александр и почтительно склонялся суровый Николай. Обхождение Елены Павловны было таким простым и милым, таким располагающим к доверию и откровенности, что каждый человек становился с нею самим собой, ничуть за себя не стесняясь. Она обладала способностью всегда находить в людях что-то привлекательное, даже их слабости обращать им на пользу. И в тот раз все обошлось бы, если б не Пушкин — нечистый его принес. И ведь знал Красовский, что его враг и хулитель среди гостей и, будто подстерегая жертву, смещает в его сторону плоскости желтоватых белков. Искренне почитая великую княгиню, Красовский плохо чувствовал себя в ее салоне, слишком острым и быстроумным. Любила Елена Павловна общество литераторов, художников, музыкантов и позволяла им большую свободу в словах и поведении. Красовский сроду бы не ходил на эти собрания, но его приглашали как-то подчеркнуто, разве мог он отказаться?

Видимо, считалось, что цензор — человек литературный и надо ему быть в обществе просвещенных умов, а может, доброй и наивной Елене Павловне хотелось сблизить вечно пребывающих в контрверзе словесность и цензуру?

Вот и в тот раз, промыкавшись часа два среди чуждых ему всей кровью завсегдатаев салона (помнится, были среди них Жуковский, князь Вяземский, граф Виельгорский, почт-директор Булгаков, проныра и сплетник, он-то небось и развознил на весь свет о приключившейся неловкости), Красовский собрался уходить, но колебался: не слишком ли рано даст стрекача, что может быть дурно истолковано, и тут перед ним оказалась Елена Павловна и, верно, подметив угрюмое и несчастное выражение его лица, сказала своим ласковым голосом:

— Месье Красовский, вам приходится столько читать. Не надоела вам литература?

И, поддавшись на ноту участия, исполненный доверия и благодарности, он утратил обычную осмотрительность и ляпнул от души:

— На дух не переносу, ваше императорское высочество!

Он заметил смущенную, сразу погашенную улыбку на тонких бескровных губах Елены Павловны, и тут раздался какой-то фырк и звонкий голос Пушкина произнес:

— Бедная литература! Ты в надежных руках!

Люстры были приглашены, вечер близился к концу, углы гостиной приютили густую тень. В сумраке меж шкафчиков с северским фарфором и дельфтской вазой на постаменте высветилась узкая полоска. Красовский сперва заметил высверк белых зубов в издевательском оскале, а потом — мозглявую фигурку Пушкина в развязной, как всегда, позе. Он облокотился о спинку кресла, отклячив зад и заложив ногу за ногу. Говорят, и на аудиенции у государя императора он не постеснялся греть ноги у камина, а потом чуть не уселся на край письменного стола.

Красовский хотел осадить весельчака резонным вопросом: «Над чем изволите потешаться, милостивый государь?» Но тут великая княгиня снова улыбнулась, и эта быстрая, молодая, какая-то заговорщицкая улыбка предназначалась Пушкину. И он вынужден был смолчать, проглотить оскорбление, ведь его фраза попала бы рикошетом в великую княгиню.

Раздумывая потом над этой сценой, Красовский не мог понять, почему он должен принять в обиду слова Пушкина, хотя намерение обидеть было несомненно. «Литература в надежных руках», — сказал Пушкин. Да, пока он, Красовский, на страже, никакой крамолы пропущено в печать не будет. Кстати, в своем послании Шишкову Пушкин и сам утверждал, что цензура необходима. Он сказал «бедная литература» — что ж, сочинителю так позволено считать, у него своя забота — марать бумагу, у цензуры своя — не пропускать. Спутал его мысли граф Уваров, с которым он столкнулся у дверей собственной его величества канцелярии. «Ну, батенька, и сморозили вы!..» — кинул граф своим хриплым, непрокашлянным голосом, усмехнулся и прошел мимо. Ему бы спросить: «Чего я такого сморозил?» — а он растерялся и пропустил момент. «Сморозил» — слово-то какое!.. Ответил он великой княгине по чести и совести, не слишком изящно, прямолинейно, по-бурсацки, так это от доверия к собеседнице, не терпящей светских околичностей.

А разве цензор может любить литературу? Любовь ослепляет, а цензор должен все насквозь видеть, подозревать каждое слово, даже то, что за словами, ведь иной крамольный смысл в недосказанности прячется. Чтение и вообще доука, а для человека, прикованного к этому делу, как каторжник к тачке, — мука мученическая. Эх же осточертела печатная галиматья, в которой и слова путного не встретишь! Все — плод дурного беспокойства кичливого ума и расстроенных чувств. Разве отцы, а тем паче деды читали книги, а как высоко стояла Россия среди других народов! В славный и тревожный век Екатерины II завелся этот несподручный россиянам обычай. Заигралась матушка-государыня в свои просветительские игры со всякими Вольтерами и Дидеротами, а после сама была не рада. Спихватилась, да поздно: Радищева в Сибирь закатала, Новикова в Шлиссельбургскую крепость, Княжнина в тайной канцелярии насмерть запытали, а зараза успела проникнуть в русское нутро.

Будь его, Красовского, воля, он запретил бы все книги, кроме Священного Писания, акафистов, месяцеслова, сонника и Домостроя, в них сказано все, что русской душе потребно. А еще надо читать правительственные указы и распоряже-

ния городских властей, остальное — от лукавого. Вот он за свою жизнь прочел столько книг, что из них Вавилонскую башню построить можно, а извлек ли из всего читанного хоть одно полезное наставление, добавилась ли ему хоть капля ума, омылось ли сердце хоть одной слезинкой? Нет, нет и нет. Учат человека родители, церковь и сама жизнь. Светлейший князь Меншиков ни читать, ни писать не умел, с трудом имя свое на бумаге рисовал, а был царю первый помощник и всю Россию под себя подмял. Русским администраторам книжное научение только помеха. Разве открывал когда книгу граф Аракчеев, разве читает Клейнмихель, а какими делами заворачивает! Можно ли представить за чтением князя Варшавского, первого героя России? Государь-император читает, но единственно для выговоров господам литераторам (ценсорам тоже перепадает). А ежели спуститься вниз: нешто народ-кормилец читает? Видел ли кто-нибудь читающего пахаря и сеятеля? Они и грамоте не знают, как и солдат — защитник Отечества. Все, кем сильна и прочна Российская держава, чтением ум не смущают. Зато дамы до чтения большие охотницы, жить не могут без романчиков и стихов. Критики это понимают и судят о литературе с точки зрения прекрасного пола, мол, подходит дамам или нет. Что ужасно бесит Пушкина. Хорошей литературы не бывает и быть не может, как не может быть сладким то, что по природе своей горько. Даже «Выжигин», самое благонамеренное и занимательное произведение российской словесности, — дрянь, на которую совестно тратить время. Об остальном говорить не приходится. В России литература не нужна, от нее лишь разврат и пагуба. Недаром декабристы сильно начитанные были.

Но все эти умные мысли не приносили успокоения. Он чувствовал, что печень в нем разгорячена, что тихая и справная работа пищеварительных органов вот-вот разладится и зашатается, похилится вся его такая размеренная, блаженно-созерцательная и на близорукий взгляд несколько однообразная жизнь. На деле же пестро и приятно расцвеченная разными занятыми малостями: то на поминки сходишь, то знакомый сенатор предложит вместе говеть, то государя во всей подробности на дворцовом приеме или на плацу узришь, то с архиереем побеседуешь, то рыбная торговка с лотком, полным ко-

рюшки, сковырнется с ног на гололеде, то кума Чемодурова соленых груздочков пришлет, пожалования тоже приятно волнуют сердце и будят мечту...

Коль пришло лихо, словами его не заговоришь. Постиг его душевно-кишечный недуг такой силы, что пришлось лечь в постель и вызвать лекаря. Тот прописал порошки и диету, когда ему и так кусок в горло не шел. Порошки изжелта-зеленые, будто плесневелые и дурно пахнущие, больной положил за образа: коли имеется в них сила, через святые образы скорей подействует. А сам решил испробовать народную медицину. Послали за Домной Пантелеевной, специальной женщиной, известной на весь околоток своим умением заговаривать любую боль, прогонять ветры и вообще приносить облегчение. Красовский почему-то считал, что все ворожеи — старые, худущие, черные, как галки, а Домна Пантелеевна оказалась особой молодежкой, приятно окатистой, на подбородке ямочка, руки с перетяжками, как у раскормленных младенцев, а глаза голубенькие, словно незабудки. На редкость привлекательная женщина. Спрыснула его с уголька, получила полтинник и провизии на четвертак (лекарь червонец содрал!) и попросила непременно обращаться к ней в случае нужды. Такая нужда, весьма настоятельная, возникла, когда Красовский поправился.

Сколько уже лет прошло, а Красовский все прибегает к услугам этой умелой и обязательной женщины, когда чувствует себя особенно бодрым и здоровеньким.

Может, уголек помог, а скорей всего визит лейб-медика Арндта, присланного самим государем императором. И не в таких чинах Красовский тогда был, а надо же, вспомнил государь о рачительном и преданном слуге своем и явил монаршую заботу. Приятство для души помогло освобождению кишечника, вновь спокоен и сладостен стал глубокий сон, даривший лицезрением царских особ, архиереев, сановников, самого князя Варшавского, изредка в сон допускались близкие: покойные родители, знакомые дамы, последнее служило напоминанием, что надо посылать за Домной Пантелеевной.

И все же полного покоя он не обрел. Мелкая и пустая история оказалась на редкость живучей. Она проникла даже в книгу французского путешественника, как полагается, бесстыд-

но перевернутая. Случалось, при его появлении на рауте, торжественном обеде, дворцовом бале или в театре какие-то кучно стоявшие люди прерывали свою беседу, косились на него, и он чуял за спиной грязный шепоток. Но по-прежнему, хоть убей, не понимал суть своего афронта. Наверное, все давно бы забылось, если б не растущая слава Пушкина. Она, эта слава, возводила в легендарный чин каждого, кого Пушкин коснулся хоть словом. И цензор, осмеянный Пушкиным в лицо и заглазно, стал по-своему легендарен.

Конечно, было бы преувеличением сказать, что скверное воспоминание неотступно преследовало его, омрачая жизнь. Нет, конечно. К тому же человек управляет своей памятью: не хочу — не помню. Были заботы поважнее. Но сейчас опять нахлынуло и повергло в болезнь. Все дело в близости юбилея и боязни, что обойдут. А уж если он сейчас не получит сполна, то не получит никогда.

Забрало его крепко, хоть завещание пиши. Кому только завещать и чего завещать: не нажил он палат каменных от всех трудов своих, а с заморенной деревеньки, доставшейся по наследству от тетки, оброк получал солеными огурцами, капустой и рыжиками. Конечно, про черный день кое-что отложено, капиталом не назовешь, но больше, чем ничего. Для Домны Пантелеевны это было бы настоящим богатством, для кумы Наталии Ивановны Чемодуровой — солидным приварком к пенсии, а для вдовы Александры Афанасьевны Блажиевской пожалуй что безделицей, не стоящей благодарности. А коли так — на-кась, выкуси! И больной с усилием складывал в кукиш мясистые квелые пальцы. Но и куме отказывать свои кровные не хотелось: подозревал Красовский, что в очередь с ним принимает она геморроидального старичка тайного советника Арцыбушева, а вне очереди — синодального служащего титуляшку Синицына, у которого вся заслуга — белокурый капуль да румянец во всю глупую щеку. Так неужто Домне Пантелеевне оставлять? Хоть она и ворожея и целительница, а в деньгах ни черта не смыслит. Облапошит ее первый попавшийся прохиндей. Не будет он этим бабам благотворительствовать. Где-то обреталась сестрица, двумя-тремя годами его моложе, уж лучше родной кровиночке порадеть. Да где отыщешь эту сестрицу — последнее письмо от нее пришло еще до награждения его Владимиром III степени, может, померла давно. А с чего ей

помирать — в провинции люди долго живут. Но вскоре ему стало безразлично, кому достанется его нажиток, весь он сосредоточился на своем вспучившемся, тугом, как барабан, но не пустом, как барабан, а тяжело набитом чреве. Он трогал его руками и не мог ушипнуть тела. Подпирало сердце, не продохнуть, было жуткое чувство, будто он тонет, но как-то изнутри. И пропала всякая охота сопротивляться. Он запретил слуге входить к нему и кого-либо впускать. Он не собирался звать врача, и даже спасительный образ Домны Пантелеевны ни разу не прорезал его ночь. И если б государь прислал к нему своего лейб-медика, он не принял бы его, как и всех остальных. То была полная капитуляция. Красовский лежал на спине, брюхо возвышалось горой, закрывая спинку кровати, щетина небритого лица колола грудь и плечи, стояло чуть двинуть головой, и лишь это напоминало ему, что он еще живой.

Но как не готов он был к принятию кончины, как жаждал жить, Красовский узнал в одну из ночей, когда, громко и слышимо для самого себя застонав, открыл глаза в адов огонь. С невыносимым ужасом уставился он в багряно-угольную шевелящуюся тьму, оттуда надвинулся кто-то черный, волосатый, с мерцающим взором, высветом оскаленных зубов и простер к умирающему руки с длинными окогченными пальцами.

— Пушкин! — ахнуло в Красовском. Он узнал князя Тьмы и в то же мгновение понял, что каким-то далеким, недостижимым в обычной жизни умом всегда знал, что Пушкин — сатана.

И с этим последним страхом пришло к нему неизъяснимое блаженство и унесло на своих крыльях из сознания жизни.

Он очнулся утром: легкий, пустой, голодный, покоясь будто на пуховой перине, и сразу, цельно и ясно, принял свою блаженную освобожденность, смешной детский грех и возвращение в мир. Он еще полежал, наслаждаясь покоем, и вдруг услышал чей-то сиповатый голос, напевавший:

И сердце бьется в упоеньи,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Это — о нем. Но кто же мог петь в его доме глинкинский романс? Голос был глухой, старческий, но мотив передавал точно, с чувством. Господи, да ведь он сам поет! Но как же это он слова запомнил? Романс частенько напевали в разных гостиных, но он никогда не прислушивался, и слова и мелодия сами встряли ему в голову. А Пушкин-то каков — на все руки! «Эх, Александр Сергеич, — вздохнул Красовский, — и зачем вы со мной так?.. Ведь мы могли бы!..» Но что такое могли они с Пушкиным, было не ясно, а додумывать лень. Он встал, ополоснулся и велел затопить баню.

На другой день Красовский явился в присутствие, удивив подчиненных, похоже, уже похоронивших его, своим свежим и бодрым видом. На радостях он запретил не глядя всю скопившуюся за время его отсутствия литературу и понял, что это хорошо. Строгость, строгость и строгость — вот чего требует время. И никаких колебаний, никаких сомнений, исполнительность и строгость — только это нужно России. И нечего бояться, что его не оценят, обойдут, истинное усердие всегда будет вознаграждено, как бы ни кривился Уваров, ни злобствовали завистники, ни злопыхательствовали светские оstromцы.

Дневник тех дней отражает мир и лад, наступившие в душе и желудке Красовского. Впрочем, одна запись свидетельствует о некоем беспокойстве иного, сладостного свойства: «...во сне виделась покойная М.И. Капгер и особенно Антония, которая представилась открывшейся и сватаемой за меня со странным лицом... Сон был хорош, но во сне было сатанинское искушение».

И чтобы избавиться от грешных чар, насылаемых на спящего врагом рода человеческого, Красовский нанес визит вдове Блажиевской, через день-другой посетил куму Чемодурову, а напоследок вызвал целительницу Домну Пантелеевну.

Он совсем успокоился, и сны его стали светлы, благочестивы, достойны пожилого мужа, пришедшего через страдания к полной гармонии.

«Благодарение Создателю, сон был хорош от 1-го до 8-го ч. (Во сне виделась княгиня Клейнмихель, приведшая меня за руку к обеденному столу, и ее муж, граф Петр Андреевич, принявший

меня благосклонно и расспрашивавший о моей службе и проч.) Отправление желудка было обыкновенное».

И дальше в таком же благостном роде:

«Благодарение Господу, сон был хорош от 1-го до 8-го ч. (Во сне виделись: штаб-доктор действующей армии д.с.с. Четыркин и покойный преос. митрополит Гавриил в архиерейской мантии, вызывавший меня по имени и давший мне поцеловать свою правую руку.) Отправление желудка было обыкновенное».

А там и граф Уваров приснился в белых одеждах, говоривший с ним *«благосклонно»* (разрядка наша общая. — Ю.Н.). И сон этот был в руку.

«Благодарю Тебя, Создатель и Хранитель моей жизни, даровавший мне провести 67 лет на сем свете и долготерпевший беззакониям моим; даруй мне силу служить Тебе и правде и отойти от сей временной жизни к вечной путем, благоугодным Тебе; даруй кончину жития христианскую, не плотоядную и мирную! Благодарение Богу, сон был хорош от 1-го до 6-го ч. (Во сне мне виделось кое-чего, что я одевался идти куда-то и слышал какое-то детское пение...!)»

Знал хитрец, и во сне знал, куда он так тщательно одевается и почему звучит хор детских голосов, не детских — ангельских, — радовалось само небо, что восторжествовала справедливость, и в полном параде он идет во дворец за наградой, о которой мечтал.

МЯГКАЯ ПОСАДКА

Современная сказка

Сергеев совсем не боялся воздуха, скорее уж — он боялся земли. В воздухе, а летал он очень много, еще с дней войны, с ним не случилось никаких неприятностей, даже когда самолет, на котором он летел на бомбежку Чудова — сам Сергеев должен был скинуть на врага не бомбы, а кипы листовок, — попал под чудовищный зенитный огонь. От этих острых, но не страшных, а захлеб восторженных минут в памяти остался ослепительный зеленый свет, пробиваемый еще более яркими вспышками. В другой раз (он уже работал военным корреспондентом) у их «дугласа», совершавшего посадку на маленьком лесном аэродроме в партизанском крае ночью, на свет двух костров, не открылось левое шасси, и садились на одно колесо, — плохое случилось уже на земле: Сергеева вдруг сорвало с сиденья и кинуло грудью на ящики с боеприпасами. Позже, в дни мирных зарубежных командировок, он попадал в грозы с лезвистыми молниями, бившими прямо в плоскость самолета, — раз это было над Хартумом, другой — под Лагосом, в непроглядный туман, когда командиру корабля предоставили самому решать: будет ли сажать самолет или попытается дотянуть до запасного аэропорта с пустыми баками, — это случилось посреди вечерней неоновой Европы с ее ресторанами, дансингами, барами, ночными клубами, дискотеками, на подлете к Франкфурту-на-Майне. Пилот принял решение садиться и мастерски приземлился в душно-молочном месиве, — в отличие от большинства пассажиров Сергеев отлично понимал, что происхо-

дит, но ему не было страшно, а интересно и азартно. А вот на земле его преследовали неудачи: он попал в автомобильную аварию, отделавшись, правда, ушибами и небольшим сотрясением мозга; соседская овчарка, бросившись на его добрейшего пуделька, сшибла мениск пытавшемуся загородить свою собачонку Сергееву, и тот угодил в травматологический институт, где знаменитый футбольный хирург чинил ему ногу, а потом на месяц укатал в гипс; на земле ему изменяли друзья и женщины, на земле он напивался и в молодые годы часто лез в драки, не всегда кончавшиеся победой; на земле ему возвращали рукописи в редакциях и выкидывали из плана книги... В небе он отдыхал от земли, и никакие ямы, электрические бури и прочие напасти воздушного океана не были ему страшны.

Небо было куда надежнее земли. Но когда жена летала без него, Сергеев испытывал страх. Да и не просто страх, а какой-то жалкий бабий ужас. Если они летели вместе, он был так же спокоен, как и во время собственных — без нее — воздушных путешествий. Но даже самый короткий ее полет, скажем, к родственникам в Ленинград — пятьдесят минут летного времени, — повергал его в панику именно своей краткостью. Наиболее опасны в полетах подъем и посадка. В рейсе Москва — Нью-Йорк между двумя критическими моментами пролетает полдня, здесь же — менее часа, опасность уплотняется, конденсируется. Конечно, это чепуха, бред, игра, но игра мучительная. И всякий раз, когда жена собиралась в дорогу, Сергеев упрашивал ее ехать поездом, чего она терпеть не могла.

С земли самолет кажется крошечным, хрупким, ничем не защищенным, беспомощным, изнутри он становился для Сергеева символом надежности. Это чувство усугублялось верой и влюбленностью в пространство, известным лишь тем, кто, как Сергеев, страдает клаустрофобией.

Пространство было ему не только радостно, но и надежно. Он доверял купольной сини, возносящейся словно над застывшей лавой — взбитой пеной облаков, которую, не ощутив ни малейшего сопротивления, пронзит тело падающего самолета, если он вознамерится упасть. Но Сергеев не сомневался, что мнимая лава может выдержать на себе самолет, ибо в выси обретал самое для себя важное — разомкнутость, безграничность пространства — и потому верил тут

всему: и синей сияющей сфере, словно выдутой грудью исполина стеклодува, и разреженному воздуху, что был для него плотнее морской глади, и облачной пене, что крепче застывшей лавы. Когда он сидел в удобном самолетном кресле, а за стеклом сияла дневная синева или роились ночные звезды, им владело чувство совершенного психологического и физиологического комфорта.

Но для жены то же пространство вокруг алюминиевой сигары становилось смертельно опасным, если его не было рядом. Сергееву казалось диким, как можно доверить хрупкую и драгоценную человеческую жизнь металлической коробочке. Все же отечественным Змеям Горынычам Сергеев доверял чуть больше, нежели иностранным, в надежде на щедрую основательность несчастного производства. Каждый самолет, пролетавший над его загородным жильем — в зоне действия Внуковского аэропорта, — он провожал взглядом с таким чувством, словно там находились самые близкие ему по судьбе и крови люди. Но представить, что среди этих ничем не гарантированных летунов может оказаться его жена, было выше его сил. И когда она в очередной раз собиралась в Ленинград, а он не мог ее сопровождать, Сергеев начинал канючить: «Давай так: туда — дневным поездом, обратно — «Красной стрелой». Я тебя встречу. Мне так давно не приходилось встречать тебя на старом добром вокзале, на людном взволнованном перроне, где так хорошо пахнет рельсами, шпалами, паровозом, хотя паровозов давно нет, с букетом цветов — ты замечала, что в аэропортах цветов не бывает? Я точно рассчитаю место твоего вагона, и все-таки придется немного пробежать за ним, и я буду видеть тебя сквозь пыльное стекло или за плечом раскорячившейся проводницы. И будет маленький жилистый старик носильщик с бляхой на груди, и столько былого, милого, забытого оживет в душе!..» — «Чтобы это милое, забытое, точнее, никогда не бывшее у нас с тобой — мы встретились в эпоху авиации, ты и это забыл, — ожило в твоей душе, я должна трястись в пыльном, вонючем купе, где ко мне начнет приставать подвыпивший попутчик, насоривший до этого на столике яичной скорлупой, квелыми помидорами и колбасными очистками, и я буду спасаться от него в узком коридоре, по которому безостановочно сну-

ют в уборную и обратно неугомонные пассажиры. Добавим к этому раздраженную проводницу, у которой не допросится остывшего жидкого чая, — и картина моего путешествия будет довольно полной. Дороговатая плата за твои лирические воспоминания, к тому же связанные не со мной».

Похоже, жена никак не могла взять в толк, что Сергеев просто боится отпускать ее в небо. Она знала, что он любит летать — и один, и с ней вместе, любит самолеты с их резиновым запахом, откидывающимися креслами, с ритуалом посадки, куда меньше — высадки, ибо трапы всегда опаздывают, любит бортпроводниц со стройными ногами, любит самолетную еду с неизменным цыпленком и кислым рислингом, если летишь за границу, — и была слишком разумна и несуетлива, чтобы всерьез принимать уговоры мужа, в которых ей неприятно проглядывало любовное лицемерие с водевильным прикусом.

Но никогда еще Сергеев не чувствовал такой тревоги, как в ту пору, когда жена приехала к нему в подмосковный санаторий прощаться перед отъездом на воды. Это он сам склонил ее к временному перемещению в дурно пахнущее царство целебных вод, почему-то уверенный, что в ненадежные, переменчивые весенние дни она поедет поездом. Точнее, поездом — до Минеральных Вод, а оттуда автобусом до места назначения. Жена помалкивала на этот счет, но оказалось, что авиационный билет у нее в сумочке.

— Ну кто же летает ранней весной? — завел павший духом Сергеев. — Сплошной туман, изморось. Такого скверного апреля не было с тысяча восемьсот шестьдесят седьмого года, я сам слышал по радио. Рейс станут переносить — на час, на два, потом вовсе отменят. Ты зря измучаешься и вернешься домой. А завтра — то же самое: не выпускает Москва, не принимают Минводы. Ты даром потеряешь курортные дни. Поездом будет и скорей, и надежней.

— Ну нет! — возразила жена. — На Кавказе давно весна. А выпускают самолет при любой погоде, важно, как там, куда летишь. На юге — синее небо, солнце, теплынь.

— Ты забыла Кисловодск?.. Тамошняя погода полностью совпадала с московской. У нас до сих пор ходят на лыжах.

— На водных лыжах, — небрежно сказала жена.

«А ведь Лариса еще молодая женщина, — будто вспомнил Сергеев. — Но вот и откликнулось то, что аукнулось в ленинградскую блокаду. От конфет у детей портятся зубы, но столярный клей в качестве основного лакомства еще вреднее. Я был взрослым, женатым человеком, когда началась война, Лариса — дошкольницей. Мою физическую суть деформировала немецкая бомба, ее — голод».

И вот теперь она должна лететь в самую скверную и опасную для полетов пору, доверившись ничтожной металлической стрекозе, а он в жалком бессилии остается на земле...

Но билет был уже куплен, и Сергеев знал, что всякие угрозы бесполезны: ее мягкость, податливость, женственность имела четкий предел, обрываясь там, где, по ее мнению, начинались глупость, вздор или «мистика» — последним словом брезгливо определялось все, выходящее из границ чистой логики. Каждый человек существует в своих пределах, и никому еще не удавалось вышагнуть из них. Лариса могла услышать любящим сердцем его невысказанную муку и подчиниться ей (такая возможность была мала, но не вовсе исключалась трезвой строгостью); могла услышать, но не подчиниться, сочтя пустым чудачеством — это она презирала. Очевидно, после двух недель отдыха и лечения он не производил столь губельного впечатления, чтобы она, вопреки обычной рассудительности и приверженности к бытовому реализму, изменила своим разумным и естественным планам. Нужно было ожечься его неблагополучием, чтобы отбросить все житейские расчеты, хрустальную ясность своего мировосприятия и ввериться чуждым темным силам. Но сейчас она видела, что он крепок.

— Я еду на полсрока. Хочу сама забрать тебя отсюда.

Это не имело отношения к его тревоге, и он принялся настаивать, чтобы она пробыла на водах сколько положено. Но теперь наткнулся на другую ее волю.

— Я говорила с врачом: две недели — вполне достаточно. Да я и сама не выдержу. Ты — здесь, я — там!.. — Она перевернула плечами с таким отвращением, будто увидела подбирающуюся к ней ползучую гадину. Она нежно любила всех животных, кроме пресмыкающихся, то было следствие какого-то страха, пережитого в детстве, столь же неодолимого, как житейская ясность, хотя и противоречившего ей...

И вот настал этот день — четырнадцатое апреля. И были в нем заложены два часа, каждая минута которых весома и страшна. Можно, конечно, принять несколько таблеток димедрола и проспать эти два часа, да, пожалуй, и еще три-четыре в придачу, когда придет успокоительное послание — срочная телеграмма: долетела благополучно. Но Сергеев никогда не прибегал к этому средству — спасению с помощью снотворного. Ни когда жена летала, ни когда сам по крайней необходимости оказывался в купе поезда. Он удерживался от снотворного вовсе не из гордого чувства: как бы плохо ни пришлось, надо встретить испытание в ясном сознании, не унизив своей человеческой сути бегством в забытьё. Им двигало совсем иное: глупая боязнь, что сочетание ужаса со снотворным приведет к сну вечному. Чепуха, вздор, мистика, — но таковы были положенные ему пределы, из которых не вышгагнуть.

Он принимал успокоительное, отлично зная, что оно ничего в нем не умиротворит, не утешит, не приведет в равновесие, останется нейтральным к его состоянию, иначе говоря, безвредным. Он его и сейчас принял, как только проснулся.

А вообще утро, занятое врачебным осмотром и многочисленными процедурами, прошло легко и незаметно. Да и жена была еще далеко от взлетной площадки.

Она медленно и трудно, как и всегда после сна, приводила себя в порядок для дневной жизни, пила крепкий кофе без сахара, заказывала такси, укладывала чемодан, вызывала лифт, спускалась вниз, обнаруживала, что забыла путевку, паспорт, курортную карту и билет в другой сумочке, возвращалась в квартиру, оставив чемодан внизу на попечение лифтерши, в последний миг решала сменить кожаное пальто на легкий плащ, но поддеть шерстяную кофту, это почему-то требовало новых и долгих прикосновений щетки к волосам и дополнительных забот об уже «сделанном» лице; наконец спускалась вниз к разъяренному шоферу, давно поставившему чемодан в багажник и развернувшемуся в узком пространстве двора, успокаивала его быстро, как всегда умела это делать, беря беззлобностью, угадываемой любым косматым сердцем, и живым, искренним интересом к чужому существованию.

Вот уже успокоившийся шофер выводит машину из тихого переуллка на Ленинградское шоссе, сообщая симпатичной

пассажирке — невесть зачем — разные подробности своей личной и общественной жизни — Лариса была переполнена чужими признаниями, весьма сомнительного свойства, — затем сворачивает на Беговую, забирает к набережной и выезжает на Ленинский проспект, переходящий за Окружной во Внуковское шоссе.

Весь путь от дома до Внуковского аэропорта, проделанный бесчисленное число раз, Сергеев знает наизусть и может поминутно рассчитать, где проезжает его жена и когда прибудет в аэропорт. Что он и делает старательно...

Куда труднее было расчислить передвижения Ларисы внутри аэровокзала — здесь порядки постоянно меняются. Надо зарегистрировать билет, но иногда это делается в особой кассе, иногда за прилавком возле весов, иногда при выходе на посадку, — но могли придумать и что-то совсем новое. Отсутствие весовщика или контролерши еще усложняет задачу, и Сергеев на время теряет жену из виду, чтобы вновь обрести ее, когда объявят посадку. Следом за другими она с усилием втискивается в переполненный, будто раздавшийся от человеческих тел автобус, который подвезет пассажиров к находящемуся в двух метрах самолету. Едва ли кто сможет объяснить, зачем нужен этот короткий, но мучительный, душный, словно в злую насмешку рейс. Но так было когда-то заведено, и никто не осмеливается отменить освященное временем безобразие.

Наконец Сергеев посадил жену в самолет, откатил трап и, сделав поправку на неизбежное опоздание против графика, вывел самолет на взлетную полосу. Теперь ему предстояло прожить два страшных часа, ровно столько, сколько требовала его утренняя прогулка. Маршрут оставался неизменен: от ворот санатория ты идешь по широкой аллее, которую позже сочтут просекой угрюмые лобастые вальдшнепы и потянут низом и верхом, затем сворачиваешь к лесу и опушкой, огибающей еще заснеженное поле, что с наступлением тепла превратится в нетопкое зеленое болото, возвращаешься на аллею возле проходной. За это время самолет с женой на борту пролетит над Нечерноземьем и черными землями, скользнет над плодородной Кубанью и опустится у подножия Кавказского хребта, в виду той печально знаменитой горы, где оборвалась

жизнь Лермонтова. Когда Сергеев минует сонного вахтера, жена увидит из иллюминатора недвижимую землю.

Итак, его дело прошагать привычные восемь километров по совершенной плоскости подмосковной равнины. Расстояние обернется временем: теми двумя часами, которые разлучат жену с землей. И надо постараться не думать о ее полете, а развлекать себя разными необременительными мыслишками. Например, думать о том, что он шагает по земле, некогда принадлежавшей Ланским, да, да, тем самым, что при желании он мог бы дойти до их фамильной церкви и кладбища, где похоронены многие члены рода, Александр Пушкин, сын поэта, и некий Васильчиков, уж не секундант ли Мартынова?.. Сама Наталия Николаевна и ее муж генерал Ланской покоятся в Александро-Невской лавре. И церковь, и кладбище всегда на запоре, но могилы имеют опрятный вид, значит, кто-то о них заботится. Но развивать кладбищенскую тему почему-то захотелось, и Сергеев принялся думать о том, что Наталия Николаевна любила своего второго мужа, совершенную посредственность, куда больше, нежели первого, величайшего гения России, и вовсе не потому, что не знала тому цену — она была достаточно умна, и не от душевной скудости — «доброй бабой» называл ее сам Пушкин, а потому что сердцу не прикажешь. Как это просто и как верно! Рослый, крепкий, добрый, простой, немудреный генерал был люб ее душе и плоти, а маленький, острый, с переменчивым нравом поэт, чью редкую некрасивость она, в отличие от многих дам своего времени, никогда не находила очаровательной, остался чужд существу неглупой и простодушной красавицы, хотя она рано начала понимать, с каким дивом свела ее судьба. Все эти не новые, но никогда не надоедающие размышления хорошо заполняли время, не приводя ни к каким выводам, ни к какой морали, их можно было раздувать долго-долго, как мыльный пузырь, когда, все увеличиваясь и округляясь, радужась блестящей поверхностью, он обращается в громадный веселый шар, отделяющийся от соломинки, всплывающий выспрь и там лопающийся, исходя несколькими мыльными каплями...

Внезапно Сергеев остановился и постарался остановить мгновение — не для того, чтобы насладиться им, а чтобы разобратся в природе охватившего его страха, похожего на при-

лив крови к голове. «Тут что-то не то», — вспомнилось любимое выражение Агаты Кристи, без которого не обходится ни один ее роман. Да нет, вроде бы все то же, что и обычно: аллея, деревья, стяхнувшие последние липлые комочки снега, нищенски голые и словно бы продрогшие, обочины, затянутые тонким ледком, под которым дышала ожившая вода. Так что же его смутило? Страх не безотчетен, а имеет какую-то материальную причину. Асфальт был затянут наледью, в которую солью вьелся сухой рассыпчатый жесткий снег. Ледяная корочка продавливалась под ногами, и там было мокро. Сергеев заметил странную теплоту в правом сапоге. На нем были коротенькие голландские сапожки, едва достигавшие икр, на толстой подметке, как думал он — каучуковой. Нет, нарядные эти сапожки были скроены из эрзац-материалов: поддельной кожи и поддельного каучука. Он промочил ноги. Особой беды в этом нет. Он простужался хотя и довольно часто, все же не с той удручающей старческой обязательностью, когда промоченные ноги или дунувший под кашне ветер приводят к сильнейшему температурному недомоганию, с долгим и нудным лежанием в постели. К тому же он не успел далеко отойти от дома, надо скорее вернуться, принять горячую ванну, надеть шерстяные носки и теплые домашние туфли, выпить рюмку коньяка — в лекарства от простуды Сергеев не верил. Да, конечно, все это можно сделать, но странно, что он промочил ноги именно сегодня, когда обычная прогулка обрела особый смысл. Ведь были же куда более сырые дни, уже и дожди проходили, и таять дружно начинало, но он, веря в свои голландские обутки, шагал прямо по лужам, наслаждаясь полной защищенностью от разверзшихся хлябей. С чего это сапоги вдруг промокли, когда и мокрети особой нету? Он поднял сперва одну, потом другую ногу и не увидел темных полосок по ранту, свидетельствующих о том, что вода проникла внутрь. Но влажная теплота была — отчетливо и несомненно.

Поднапрягши свой усеченный слух, он услышал легкое чавканье в правом сапоге. Значит, там — вода. Так почему же не мерзнут пальцы? Ведь теплоту можно ощущать лишь в первые минуты, когда тело словно нагревает воду. Загадочная история!..

Возвращаться домой почему-то расхотелось. Он пошел дальше, уверяя себя, что все это — игра нервов и наваждение вскоре исчезнет. Оно не исчезло, а через некоторое время пальцы прихватило холодом. Но если хорошенько ими пошевелить, что позволял широконосый сапог, то они быстро согрелись. Затем опять брались студью. Нечего валять дурака — непонятно, каким образом, но сапог пропускал воду. Надо идти домой.

«И все-таки почему именно сегодня должно было случиться такое? — снова спросил себя Сергеев, продолжая удаляться от дома. — Почему великое чудо — жизнь — любит делать человеку мелкие гадости? Мне ничего не стоит вернуться, я несусеверен, хотя, подобно многим русским интеллигентам, верю — с ухмылкой — в приметы: черную кошку, встречного попа, бабу с пустыми ведрами, никогда не брошу рукопись на кровать, люблю приговорки, вроде толстовского е. ж. б. (ежели жив буду), — но все же я не сверну с дороги из-за кошки, попа или бабы с пустыми ведрами. Все же случаются вещи, которые раздражают своей нарочитостью, будто незримый злобный глаз следит за каждым твоим шагом, чтобы в критический момент учинить издевательскую пакость. Какого черта как раз сегодня дали течь мои великолепные, рассчитанные на век голландские сапоги? Можно подумать, что это действительно подстроено кем-то, чтобы я вернулся домой. Ну, а что случится, если я вернусь? Мне будет труднее прожить оставшееся до конца полета время. Ни читать, ни работать я не смогу. Ладно, как-нибудь перемогусь, бывали и пострашнее испытания... Господи, зачем я обманываю самого себя? Мне не повернуть назад, потому что в меня засело, что происходящее здесь связано с тем, что происходит там, в воздухе. Это отдает бредом... А откуда известно, что между тем и другим нет никакой связи? Что мы вообще знаем о взаимодействии тех странных сил, которые скрыты в одушевленной и неодушевленной материи? Мы вовсе не считаем чудом, что бесконечно малые, но вполне материальные частицы, одолевая не постижимые человеческим сознанием пространства, приносят на землю изображения Юпитера и Венеры, наше здравомыслие ничуть не смущается этой невероятностью, но с поразительным упорством отказываем в

доверии довольно простым чудесам, если они происходят на земле. «Мы провода под током» — давно ли это было поэтической метафорой, а сейчас — точное выражение физической сути. Но мы ужасно не хотим верить в наше человеческое электричество и высмеиваем рассказы об излечении безнадежно больных наложением рук. А кто знает, как связано мое электрическое поле с полем летящего сейчас самолета, с полем моей жены, а стало быть, и с полем каждого находящегося на борту самолета пассажира и члена экипажа?! И можно ли поклясться, что мое состояние нейтрально к сохранности этого самолета?»

Сергеев негромко засмеялся — до того вздорным и ребячливым показался гонящий его вперед по обледенелой дороге посыл, когда блистательное невежество нашло ему «научное» обоснование. У Сергеева была странная голова: он не постигал тех вещей и явлений, которые людям, еще менее образованным и куда более тупым, давались задаром. Сидя за баранкой машины более тридцати лет, он ничего не понимал в моторе, терялся перед малейшей неисправностью и не умел даже свечи сменить; он считал телефон величайшим и непознаваемым чудом и лишь в самое последнее время запомнил смысл слов «экология» и «акселерация», но так и не смог удержать в памяти значения слов «интеграция» и «эскалация», видимо очень важных, ибо без них не обходится почти ни одна научная статья. Но тут он признал свое поражение и, натываясь вновь и вновь на эти термины, уже не хватался за словарь иностранных слов.

Обосновав «научно» свою глупую тревогу и посмеявшись над собой, Сергеев не повернул назад, напротив, прибавил шаг, поскользнулся, хотел удержаться на ногах, чего в старости не надо делать, лучше мягко, умело упасть, как лечь, — и поясницу тотчас пробило радикулитной пулей. Конечно, он упал, больно стукнувшись о дорогу и подвернув ногу, проехался по наледи, и под перчатки набился жесткий, ужасно холодный снег. Он сперва вылизал из-под кожи перчаток этот снег, согрел запястья горячим языком, потом с натугой поднялся. Теперь уже не было и мысли об отступлении. Пусть он сам виноват в случившемся, нельзя давать обстоятельствам возобладать над тобой. Человек потому и стал человеком, что оказался

способен на бесцельные поступки. Там, где любое животное отступится, ибо им правят безошибочные инстинкты, человек непременно сделает вопреки всему, и прежде всего вопреки собственной слабости, и в этом заключена высшая человеческая идея, которую не нужно даже формулировать, ибо она растворена в крови.

Похоже, жизнь решила пойти навстречу Сергееву, чтобы избавить его от дурацкого путешествия по скользоте с поврежденной лодыжкой и скованной болью поясницей. Что-то случилось за минувшую ночь, которая для Сергеева в провально глубоком сне ничем не отличалась от всех остальных. Казалось, вдоль лесной опушки, где проходила дорога, пронесся ураган или же локальное землетрясение сокрушило местность; а может, сработала житейская разрушительная мощь — колонна гусеничных тракторов, ведомых ошалелыми от суши в глотке водителями, промчалась в ближайший сельмаг за водкой, сжевав железными челюстями землю. Вместо гладкой, чуть раскисшей дорожки в кабаньих и заячьих следах, в желтых пробоинах лошадиной мочи — здесь ездили за сеном к стогу — Сергееву открылось чудовищное нагромождение мерзлых глыб вперемешку с какими-то валунами — невесть откуда взявшимися посланцами ледникового периода и вывороченными из земли пнями; несколько старых плачущих берез с замшелыми стволами вышагнуло из леса, чтобы умереть, рухнув поперек изуродованной дороги.

Растерянно и спасательно мелькнула мысль, что в своем обалдении от тревоги, ушиба, боли в пояснице и ноге он промахнулся привычную тропу и вышел к не раз виденному, но не закрепившемуся в памяти по ненужности месту. Всегда была эта непролазь: валуны, глыбы, опрокинутые пни и поверженные березы. Возможно, тут начали прокладывать новую дорогу или же расчищать место для будущей стройки, его это не занимало, более того, отвращало, как и всякое превращение пейзажа в строительную площадку, и, защищаясь, сознание выталкивало прочь раздражающее зрелище.

Сергеев сделал шаг, прикинул расстояние до санатория, увидел мостик через не проснувшийся еще ручей, геодезическую вышку в поле, сухой камыш на далеком озерце у края видимого пространства и понял, что перед ним привычная его дорога, ставшая другой — непроходимой и непролазной. По-

чему узнавание дороги обратилось в уверенность, что самолет терпит бедствие, Сергеев не понял, да и не пытался понять. Это было не важно. Другое важно: он знал, что должен делать для спасения самолета.

Он спотыкался и падал, обдирая колени и руки, иногда ему удавалось обойти препятствие, иногда перелезть, а порой он просто переваливался через валун или глыбу. Но потом он стал куда осмотрительнее — собой можешь распорядиться как вздумается, хоть расшибись в лепешку, но ты отвечаешь не только за себя. «Будь осторожен, как слеза на реснице», — говорит древняя туркменская поговорка. Как назывался тот груз, который Сергеев нес и сохранял, ощущая его непомерную и вместе странно легкую тяжесть на своих плечах, — любовью или самолетом? — впрочем, тут не было противоречия, ибо одно слилось с другим. Маленькая, бедная сила Сергеева должна была помочь изнемогающим за тысячу верст отсюда моторам и спасти его собственное сердце. Все и всегда зависит от маленькой малости; она различает и соединяет людей, сгибает и распрямляет души, правит судьбами целых народов; удержится слеза на реснице — и быть спасену человеку и всему его роду-племени, державе и согражданам; скатится, охолодив щеку, — и вселенский разбой опустошит землю. Удерживай свою слезу, Сергеев, ломись вперед, кровенись, расшибайся, но не роняй драгоценный груз, пусть ты будешь выглядеть круглым идиотом в глазах всех здравомыслящих людей и в своих собственных, когда придет остужение, делай, что ты делаешь. Ты стал даже ловок, что не убегаешь от ушибов и ссадин, но ты неуклонно движешься к цели и надежно несешь свой груз.

Он не узнал достигнутой цели, так залило его потом глаза из-под вязаной шапочки, когда добрался до ворот санатория, завершив круг. Он чуть не наскочил на каменную сторожевую будку, но все же не наскочил, осторожно опустил на землю свою ношу и дал скатиться слезе с кончика ресницы...

...Когда хорошо выспавшийся Сергеев спустился в регистра́туру, опираясь на палку, но в прекрасном расположении духа, он не сомневался, что его ждет телеграмма.

— Почта приходит утром, вам ничего не было, — сказала востренькая, с модными лиловыми веками регистраторша.

— Ну, телефонограмма, — улыбнулся Сергеев.

— И телефонограммы не было, — сказала та чуть раздраженно, ибо ни на минуту не забывала, что ее выдающаяся красота не соответствует занимаемой должности.

— Была! — уверенно и весело сказал Сергеев. — Вы куда-то отлучались.

— Я ни-ку-да не отлучаюсь, — залилась свекольным румянцем красавица, злясь на свой простонародный румянец и на Сергеева — его виновника.

— Посмотрите в столе, — сказал он с напором.

Она резко выдвинула ящик, схватила какую-то бумажку, и будь Сергееву до нее хоть сколько-то дела, он бы пожалел самолюбивого и ущемленного человека — такими несчастными стали глаза под лиловыми веками.

— Я отходила только на минуту... Это нянечка записала.

Корявыми, большими, старательными буквами на оторванном от газеты клочке было нацарапано: «Долетела благополучно. Уже скучаю. Целую. Лариса»...

...А двумя часами раньше, спустившись по трапу на теплую, пахнущую травой землю южного аэродрома, командир воздушного корабля сказал второму пилоту:

— Так что же это было?

Второй пилот был много старше командира, но так и остался вторым, что сделало его душу вялой и неспособной к заинтересованному удивлению. Он равнодушно пожал плечами:

— О чем ты?..

— Брось!.. Ты же чувствовал... Но вот что нас держало?..

Второй пилот, конечно, сразу понял, о чем говорит командир, но он знал, что вскоре выйдет на пенсию, так и не наверстав упущенных возможностей, и зачем лишнее напряжение без пяти минут пенсионеру? Пусть этот преуспевающий человек сам разбирается в томящих его тайнах. К тому же жена наказала ему купить карачаевские чувяки, которые слушаются на маленьком базаре неподалеку от аэропорта, а он фатально забывал ее размер.

— Долетели, и ладно! — сказал он хмуро. — А этот драндулет давно пора списать... — И прибавил шагу.

— Вот уж верно, — пробормотал командир корабля, глядя ему в спину...

ЧУЖОЕ СЕРДЦЕ

Костров стоял у окна и глядел на больничный двор, вернее, на малый его уголок, образуемый желтой облупившейся стеной хирургического корпуса и ржавыми, всегда на запоре, железными воротами; еще в этой части мироздания обитало невысокое, худое дерево, голое по ранней весне. Костров не знал его имени. За деревом находилась будто сросшаяся со стеной дверь, а возле лежала на боку поверженная урна. Сверху надо всем было натянуто ровное, тугое, голубое полотно неба. Костров глядел во двор добрых полчаса, но его знание о виденном не углублялось, не становилось интимнее. Ему оставались чужды и желтая стена, и ворота, и дверь, даже печальное дерево. Пожалуй, лишь небо находило в нем какой-то слабый отклик, словно полузабытая, слышанная в юности мелодия. Он бессознательно выполнял наказ врача: все, что принадлежит болезни, вы оставьте тут, ничего не берите за порог, ни нас, ваших лекарей, ни память о больничной обстановке, ни собственных мук, сомнений, страхов. Все это пройденный этап, вам не придется больше сталкиваться с тем, что было так долго основным содержанием вашей жизни. Не обременяйте мозг ненужным хламом. Прекрасный совет! Костров так и поступал: он не впускал в себя виденного, он не отзывался ничему, кроме неба, но ведь оно ждет его за порогом такое же, как в этом больничном окне.

Да, он освободил свою память от всякой ноши, даже от благодарности тем, кто спас ему жизнь. За что он должен благодарить? Разве врачи спасли от смерти его, Кострова, един-

ственного и неповторимого? Нет, они ставили очередной, страшноватый в своей дерзости опыт. И он, Костров, оказался на диво живучей морской свинкой, на редкость счастливым кроликом. Первым из всех подопытных животных он выжил до конца, до самой своей дальней — от другой причины — смерти. Выжил и стал величайшей сенсацией века: первый человек с чужим сердцем.

Ну конечно, у него были предшественники, человеческое сердце уже не раз начинало стучать в чужой груди, но иллюзорное это бытие так и не становилось жизнью: просуществовав от нескольких часов до нескольких месяцев, дышащие полутрупы превращались в трупы. Все они были лишь искусственными носителями чужого сердца; в нем первом произошло чудо соединения вещества одного человека с веществом сердца другого человека. Да, произошло, в этом давно уже не оставалось ни малейших сомнений, и его держали здесь не ради его собственной пользы, а ради пользы научной. Впрочем, порой ему казалось, что лечащий врач словно бы не уверен в его психологической прочности и подготовленности к жизни с чужим сердцем. «Чего вы опасаетесь?» — спросил Костров напрямик. Врач как будто ждал этого вопроса и все же не был готов к нему. В его густом, басовом голосе впервые открылась трещина неуверенности. «Вы читали автобиографическую повесть Петера Фрейхена, знаменитого датского путешественника?» — «Нет, даже не слышал о таком». — «Он рассказывает о человеке, бросившем профессию врача и ставшем полярником... В клинику, где работал этот врач, привезли искалеченного аварией рабочего. Многие месяцы длилась мучительная борьба за его жизнь. На бедняге не было живого места, его собрали, сшили, склеили по кускам. И когда он выходил из дверей клиники шаткой, неуверенной походкой отвыкшего от движений и простора человека в свет, в солнце, в жизнь, все врачи, сестры и санитары со слезами провожали этого как бы вновь созданного ими человека. А новоявленный Адам стал переходить улицу и был раздавлен насмерть выскочившим из-за угла первым и единственным в Копенгагене легковым автомобилем. Молодой врач разочаровался в своей профессии, возненавидел город и навсегда уехал в Гренландию». — «Вы боитесь,

что я так же глупо потеряю возвращенную мне жизнь? — спросил Костров. — Во всяком случае, гибель под колесами автомобиля мне не грозит». «Почему?» — удивился врач. «По теории вероятности: не может одно и то же сердце дважды гибнуть в уличной катастрофе». Костров ничего не знал о своем «крестном отце», кроме того, что он был раздавлен грузовиком-самосвалом и так искалечен, что его не удалось опознать. Документов у погибшего не было, а в морге его никто не признал. Возможно, все это было больничной легендой, оперируемому не полагается знать, от кого ему досталось сердце, но почему-то Кострову казалось, что его не обманывают. «Вы слишком буквально поняли мой рассказ, — заметил врач. — Опасностью чревато не только уличное движение». — «А, вы имеете в виду меня самого, завихрения в мозгах?» — «У вас хороший ум, жаль, что вы так неначитанны и малокультурны». «Разве я мало читал?» — засмеялся Костров. «Если иметь в виду «Копи царя Соломона», то вы читали даже слишком много, но я говорю о настоящих книгах, подводящих к пониманию себя и окружающего... Ну ладно, не занимайтесь моральным самокопанием, забудьте о той мифологии, которую поколения болтунов накрутили на простой и грубый орган, именуемый сердцем. Вам сделали операцию, ничем не отличающуюся от пересадки, скажем, почки. Наука когда-нибудь добьется заменяемости всех органов, и это будет в порядке вещей. Но вы первый в своем роде, и вам придется жить среди людей — часто любопытных, навязчивых или бестактных, не дайте сбить себя с толку. И помните: сердце, так прекрасно и ритмично бьющееся в вашей груди, ваше сердце. Вы получили его по праву. И никакой мистики, никакой достоевщины. Сейчас вы должны начать новую и прекрасную жизнь. Вы никогда не знали, что значит быть совсем здоровым человеком. Постарайтесь получше использовать эту новую жизнь, вы первый человек, кому предоставляется прожить жизнь набело».

Костров так до конца и не понял, чего опасался врач. Видимо, столкновения нового здоровья с отравленной долгой болезнью психикой. «Мне не хватает образования, чтобы понять все это, — решил Костров. — Я даже не знаю слов, какими

можно об этом думать. Но я чувствую, что тревожиться есть чему, только не умею ничего назвать...»

Костров болел с самого раннего детства. В сущности, он был здоров лишь первый год своей жизни, находясь под покровительством защитных сил материнского организма. Но этот младенческий год он, конечно, не помнил. Его первая память была «ангинозной»: компрессы на горле, парная влажность нагретых жаром простынь, столик с лекарствами, скользкий градусник под мышкой, холодные пальцы врача и кружок стетоскопа, ползающего по груди и спине. Потом ему вырезали гланды, ангины прекратились, но они уже сделали свое черное дело: к десяти годам он страдал ревмокардитом непрерывно рецидивирующей формы. Начались детские санатории, началось странное, двусмысленное детство возле смерти, с постоянными отрывами от дома и семьи, с получением, то и дело прерываемым неделями и далее месяцами полного покоя, детство без футбола и велосипеда, с расчетом каждого движения и страхами всех оттенков: липкий ночной страх, щемящий — дневной, вонзавшийся в мозг посреди малой веселости, коротенького забвения. Он не знал, в какой мере его товарищи разделяли этот страх, дети никогда не говорили о болезни, но знал, что и они живут в страхе, в постоянном сознании своей ущербности, неполноценности, обособленности от других, нормальных детей. Он пристрастился к чепуховому чтению, глушил себя приключенческими романами, как наркотиками. Учился он лениво и небрежно, не веря, что школьная премудрость когда-нибудь ему пригодится. Он и в институт не пошел, окончил какие-то немудреные чертежные курсы. Внезапно здоровье его окрепло. Исчезли вечная слабость, потливость, одышка и перебои, теперь он мог не запыхавшись подняться на третий этаж, он уже не просыпался среди ночи в ужасе, что оборвалось сердце. Организм юноши, становясь организмом взрослого человека, обнаружил в себе тайные ресурсы, и он всерьез поверил, что ему выпал единственный и невероятный выигрыш, дарующий спасение. Он женился, стал готовиться к поступлению в институт, и тут на пороге двадцати трех лет наступило внезапное и резкое ухудшение, приведшее в больницу, затем асцит, застой в большом круге кровообращения, отеки, страшный приговор, читаемый

в глазах больничного персонала, и внезапное исцеление с чувством, здоровым сердцем в груди.

Удивительно здоровым сердцем, уж он-то мог об этом судить. Интересно, прежний владелец сердца ощущал его совершенство как постоянное счастье или внимания на него не обращал? Ведь не радуется он, Костров, своему носу, ушам, желудку, легким. Но он все время чувствует новое сердце, даровавшее ему спокойное, ровное, глубокое дыхание, четкий, как метроном, пульс, какое-то радостное щекотание за плечами, будто там отросли крылья. Ему казалось, стоит хорошенько разбежаться, подпрыгнуть, и он полетит, столько легкости и силы появилось в его теле. Все простые действия, прежде столь обременительные: нагнуться и зашнуровать ботинки, встать с постели после сна, поднять с пола оброненную вещь — за все это приходилось расплачиваться сердцебиением, полуобморочным мраком в глазах, противным увлажнением лба — доставляли теперь удовольствие. «Как легко, оказывается, живут люди!» Он предвидел, сколько сюрпризов ждет его по выходе из больницы: вскочить на ходу в трамвай, взбежать по лестнице в свою квартиру, пренебрегая лифтом; он может ходить в плавательный бассейн на Кропоткинской площади и купаться в мороз под охраной его теплых испарений, может заняться альпинизмом; он купит себе теннисную ракетку с тугими, звенящими струнами, так волновавшую его детское воображение, и легкий, костлявый полуночный велосипед. Может шататься бог весть сколько по московским улицам, ездить за город, собирать грибы и ягоды, ходить в туристские походы, охотиться, ловить рыбу. Он натренирует свое тело и сделает его как железо, чтобы оно было достойно нового, великолепного сердца. Он возьмет от физической жизни все, он не будет курить, но обязательно научится пить водку и вино.

Костров думал, что врач захочет еще раз повидать его перед тем, как он покинет больницу, но этого не случилось. Видимо, тот поступил так нарочно — обрезал постромки, предоставив Кострову самостоятельно вступить в новую жизнь. Наверное, врач был прав. Костров без малейшего смятения сошел по обшарпанным ступеням больничной лестницы в эту новую жизнь: в объятия и слезы матери и жены, в их беспомощно

шарящие по его лицу и плечам руки. И все же он немного жалел, что не увидел еще раз врача, — что-то осталось недосказанным...

Костров не понимал, почему эти женщины так горько плачут, так цепляются за него руками. То ли они боятся, что он исчезнет, то ли сомневаются в его подлинности. Он отвык от них, ему неприятны были их холодные слезы, намочившие ему щеки и скулы, их влажные губы, их неряшливый от рыданий вид. Они обнимали его, а он смотрел на стеклянную дверь, за ней ощущался простор, воздух и солнце, и ему безумно хотелось скорее туда. Наконец они уgomонились, жена достала пудреницу, а мать, завладев его сверточком с вещами, устремилась на улицу, где их ждало такси. После короткой борьбы — он хотел сесть с шофером, а мать настаивала, чтобы он ехал сзади, с женой, — они тронулись. Жена цепко взяла его руки в свои, ему показалась излишней эта резкая нежность. Он не испытывал тяги к прикосновениям, к демонстрации близости. Он чувствовал близость к улице, трамваям, троллейбусам, домам, толпе, продавцу воздушных шаров, мороженщицам, велосипедистам, детям, чистильщикам сапог, к голым липам и тополям, к любому живому и неодушевленному представителю внешнего мира. Но эта близость не распространялась на тех, кто сидел рядом с ним в жесткой коробочке такси. Было такое чувство, будто обе женщины: старая и молодая — наложили на него власть своей нежности по какому-то лишь им ведомому, сомнительному праву. А он вернулся слишком издалека, чтобы так просто включиться в былую жизнь.

— Что же ты не спросишь ни о чем? — слезливо завела мать. — Сидишь как чужой!..

— А о чем я должен спрашивать? — искренне удивился Костров.

— Ну, как мы жили без тебя... Как твои друзья, как дела на фабрике...

«Как вы жили без меня, легко представить, но разве у меня были друзья? Что-то не припомню. У нас бывали гости, но все они слишком много пили, ели, курили, шумели, чтобы я мог чувствовать себя на равных с ними. А дела на фабрике, честно говоря, меня и вовсе не интересуют. Мать — директор, понят-

но, что ей там все интересно и важно, но заштатному чертежнику, ей-богу, можно не обременять усталую душу подобными заботами». Неожиданно для самого себя он сказал вслух:

— На фабрику я больше не вернусь.

— Да ты что?.. — испуганно вскинулась мать.

— Буду готовиться в институт.

— Вот молодец! — И мать по-детски счастливо всхлипнула.

«Как же угнетало ее, что я не получил высшего образования! И она никогда, ни единым словом не упрекнула меня. А здорово все-таки иметь такую замечательную мамашу, что может позволить женатому сыну учиться и не работать!» Он посмотрел в затылок матери, на серый тощий пучок, лежащий на котиковом, слегка облезшем воротнике некрасивого мужского пальто, и холодно подумал, что, проработав всю жизнь на швейной фабрике, мать так и не научилась одеваться.

— Ты ведь теперь совсем-совсем здоров? — спросила мать.

— Еще бы!.. — ответил он рассеянно.

Ему вдруг стало беспокойно: машина покинула тихий больничный район и сейчас мчалась по Садовому кольцу в густом уличном потоке. Ему казалось, что шофер небрежно и лихачески ведет машину. Видимо, он отвык от сумасшедшего движения московских улиц, да и редко приходилось ему пользоваться такси, особенно в дневное время. Улица стремительно вбирала их в себя вместе с другими самосвалами, автобусами, троллейбусами, стремительными мотоциклистами, всасывала в узкие темные зевы тоннелей, и он всей кожей чувствовал, что это не кончится добром, что их зажмут, раздавят, сплющат, как консервную банку. Мать что-то говорила, наверное, делилась своими рядовыми новостями, но он не слышал ее, лишь испытывал раздражение к голосу, будто пытавшемуся заговорить ему зубы перед неизбежной катастрофой. И в какой-то миг это произошло: машина взвизгнула всеми тормозами, его толкнуло вперед, отбросило назад, он истошно закричал и на мгновение потерял сознание. Когда же пришел в себя, машина спокойно продолжала путь, а у матери и жены мертвели лица.

— Мне показалось, что мы столкнулись... — пробормотал Костров.

— Да нет, — весело отозвался шофер, — просто «пикапчик» рядность нарушил.

— Ты не был раньше таким нервным, — расстроено произнесла мать.

— Не хочется опять на тот свет! — с фальшивой ухмылкой сказал Костров. — Над новыми вещами всегда трясутся, а ведь меня как бы заново сделали.

Он знал, что говорит совсем не то, но не понимал причины своего панического испуга...

...И был «отчий дом», двухкомнатная квартира, где он с женой занимал большую комнату, а мать — маленькую. Костров без всякого сочувствия оглядел светлую финскую мебель с красной обивкой, свой чертежный столик с приколотым кнопками листом ватмана, широкую, низкую, не из гарнитура двухспальную тахту. Оказывается, у него нет привязанности к дому. Ему вдруг стало грустно. Когда он поверил, что будет жить, в нем пронзительно и нежно забрезжил образ дома, семейной любви, надежности и уюта и, не конкретизируясь в лица и предметы, цельным теплым сгустком поселился в душе. Видимо, произошла путаница будущего с прошлым. У него, человека, загнанного болезнью в какое-то эгоистическое угрюмое, вовсе не было той растворенности в домашнем счастье, той слезно-радостной любви к близким, что намечтались ему в больничном одиночестве. Верно, это придет теперь, когда он сможет полнее, щедрее, проникновеннее жить окружающим.

И опять он ощутил какую-то странную неправду в своих рассуждениях.

— Пожевать чего-нибудь не найдется? — шутивно сказал он, желая как-то развеять необъяснимый холод встречи. — Я стал прожорлив, как удав.

— Ох ты! — Мать вымученно улыбнулась. — Мы такой обед сварганили! — И вдруг она расплакалась, прямо-таки брызнула мелкими слезами из поблекших зеленоватых глаз.

— Что с тобой? — спросил Костров, скрывая за озабоченностью досаду.

— Да ничего... Ты пойми... ведь счастье-то какое!..

«Мать тоже лжет, — отметил он про себя. — Интересно, будет ли лгать жена?..»

Было лишь начало двенадцатого, когда они пошли спать. Что-то не получилось, хотя внешне все выглядело как положено. И обед удался, и были взволнованные телефонные звонки друзей матери и его друзей, и никто не задавал бестактных вопросов, все были нежны и деликатны, но его это мало трогало, он не чувствовал контакта с людьми. Они решили никого не приглашать, провести этот необыкновенный вечер своей семьей, но разошлись неожиданно рано, потому что им не о чем стало говорить. Жена, молчаливая по натуре, была как за семью замками, а мать при всей нарочитой словоохотливости не могла одна поддерживать разговор. Если б сын хоть о чем-то спросил, проявил хоть малый интерес к их жизни, но он помалкивал и лишь изредка рассеянно улыбался. И вдруг, как-то разом устав, рухнув душой, мать замолчала, потом вздохнула долго, тяжело и будто про себя пробормотала: «Все не важно, главное, что ты вернулся», — и ушла в свою комнату.

Вернулся ли — в этом Костров как раз и не был уверен. Вернуться в полном смысле слова он мог лишь в болезнь, но болезни не было, и оттого он не постигал окружающей среды как привычья, как формы своего существования.

— Мне лечь на раскладушке? — спросила жена.

— Почему? — засмеялся Костров. — Неужели ты настолько отвыкла от меня?..

Он вдруг осекся в непонятном смущении. На миг ему почудилось, что он ляпнул какую-то непристойность. Он сам настолько отвык от жены, что уже не ощущал ее «плотью единой». Краем глаза он видел, как жена расстегивала пуговицы перлоновой кофточки, освобождалась от нее движением полных плеч и вешала на спинку стула. Он одобрил мягкий рисунок ее шеи и плеч. Потом она потянула через голову твидовую юбку: плотная ткань медленно освобождала тело. Кострова охватило волнение. Голова жены застряла в ткани, зацепившейся за подбородок, шпильки и гребень. «Красивая женщина, — думал Костров, — мне повезло».

— Отвернись!.. Что ты уставился? — крикнула жена.

Костров поспешно отвел взгляд и только потом сообразил, что подобной стыдливости не было в их отношениях прежде: жена спокойно появлялась перед ним обнаженной. Значит, и жена испытывает к нему отчужденность. Его удивило,

что он думает о ней как бы со стороны. Любил ли он свою жену? Вернее всего, и тут им распорядилась болезнь. Ему не терпелось воспользоваться просветом в кромешной ночи, и он сделал женой первую же приглянувшуюся девушку. Конечно, это не было любовью. Ну, а она любила его?..

Костров скользнул под одеяло. Приятно было ощущать тугую прохладу подкрахмаленных простынь. А потом тахта прогнулась, и крупное женское тело простерлось рядом с ним. И его оглушила невероятная, неиспытанная, стыдная, животная тяга к этому телу. Он повернулся и яростно рванул женщину к себе.

Потом она плакала. Почему они все время плачут?.. Она стала вдруг разговорчивой, чего за ней раньше не водилось, особенно в постели. Ей никогда еще не было так хорошо, так полно с ним, но отчего-то не по себе, словно совершилось что-то запретное, словно она обокрала кого-то. Она касалась его лица мокрыми дрожащими кончиками пальцев, убеждая себя, что это он, единственный человек в мире, обязанный защищать ее, спасти от всех напастей. Но он уже ничем не мог ответить ей, до дна опустошенный, усталый и равнодушный. Буря, сменившая его прежнюю слабую нежность, не оставляла сил для вежливого притворства. Она осторожно прикорнула у него под подбородком. И он догадался, что вопреки слезам и смятенности она не была несчастна сейчас. И доверчивая ее поза, и жар утомленного тела, и ровное, глубокое дыхание были знаками истощенного и радостного переживания.

А он лежал с открытыми глазами, даже не пытаясь уснуть. За окном было городское ночное, озаренное небо, и звезды, едва различимые в электрических испарениях фонарей и реклам, еще дальше унеслись от земли. И Кострову казалось, что истинная жизнь его находится где-то у самых дальних звезд.

Утром он долго вглядывался в спящее лицо жены, обыкновенное и таинственное лицо, глянцевитое от сонной влаги. Оно могло бы кое-что открыть ему, хотя бы подсказать, намекнуть, но лицо было непроницаемо, как чистый лист ватмана, только что наколотый на чертежную доску.

Она почувствовала сквозь сон его слишком пристальный взгляд и тихонечко, недовольно застонала. Он снова отвернулся к окну. Там в пепельно-розоватой мути занималось утро. Как и в каждом полуфабрикате, в этой мути почти невозмож-

но было проглянуть образ того, чем она должна стать. Лишенный ассоциаций час был бесполезен Кострову. Оставаться ему в одиночестве до полного пробуждения дня...

...Костров не понимал себя и своего места в жизни, ему возвращенной. Порой он думал, что его по ошибке вернули не туда. Он не мог часа лишнего оставаться дома. И не только потому, что его новое, здоровое, великолепное сердце требовало нагрузок (оно заставляло его без конца шататься по городу, оно выводило его за окраины, в бурые апрельские поля и голые набухающие рощи), но и потому, что в доме он чувствовал себя самозванцем. Конечно, ни о какой подготовке в институт и речи не было, но его не упрекали в безделье. Мать и жена относились к нему как к чужой хрупкой драгоценности, данной им на хранение. Мать старалась не выходить из обихода бытовых необходимостей, жена, постигшая суть ночи, не пыталась разорвать магический круг неясностей.

Странно он жил. Взлеты бурной физиологической радости — от прогулок, тренировок, посещения бассейна — сменялись жалкой потерянностью. Он не находил себя ни дома среди близких, ни в гостях среди так называемых друзей. Кажется, что люди живут в огромном мире, в беспредельности, именуемой человечеством. Это обман: наша жизнь — представление с весьма ограниченным количеством действующих лиц, остальные — толпа, кордебалет, хор — что-то аморфное, почти условное, не вписывающееся в наше сознание «лица необщим выраженьем». Те люди, что сейчас окружали Кострова, были в его жизни и много лет назад, большинство возникло в дни детства и юности. Каждый нес в себе частицу прошлого, столь же безразличного Кострову, как и настоящее. Порой, особенно ночью, в предсонье или полуяви пробуждения, его пронизывала счастливая вера, что главные, необходимые люди еще появятся, что он просто забыл о них в кошмаре болезни и умирания. Но потом он спохватывался, что все спутники его жизни налицо, если не считать тех, кто давно канул в вечность: отца, умершего от болезни сердца, когда Кострову и пяти лет не было, товарищей по санаториям, умерших от того же в разное время.

Он искал. Так искали люди, а то и целые народы землю обетованную. А какова эта земля — текут ли по ней молочные

реки в кисельных берегах, или заглушили ее плевелы, как брошенное кладбище, не важно, это твоя земля, единственная, во всех других ты чужеземец.

Он брал на мушку всех встречных людей, деревья, заборы, афиши, витрины, скамейки и урны на бульварах, фонари, лошадей, воробьев, копошащихся в пахучем дыму навоза, мохнатые кули вороньих гнезд, надутых важностью голубей. Отправляясь на стадион или в бассейн, он не шел дважды одним и тем же путем: непременно прихватывал новую улицу, переулок, проходной двор, хоть сквозное парадное, пусть для этого приходилось давать крюк. Он жадно вглядывался в лица домов и дворов, прислушиваясь к себе: не отзовется ли бессознательное узнавание сжатием сердца, толчком взволнованной крови.

Он ненавидел свое старое, умершее сердце, источник всех его страданий и мук, оно представлялось ему гнилым, червивым грибом — шлептухом, но оно вмещало в себя ту нежную, тонкую память о нем самом, которую ему нужно было накопить вновь, чтобы пришло полное исцеление.

Кое о чем он уже догадывался. Так, теперь ему казалось, что и в первом своем существовании он не любил жену. Любил ли он мать? Он не находил ответа. Похоже, что человек с таким заболеванием, какое было у него, вообще не способен к настоящей любви, слишком велик вечный, не знающий передышки страх за себя. Впрочем, быть может, в иных людях страх неизбежной и близкой кончины не гасит любви к жизни чужой, но он, Костров, явно не принадлежал к числу этих избранников. Все-таки не мог же он жить только страхом и отчуждением? Наверное, и у него случались вспышки бескорыстной радости, хоть мгновения счастья и добра, когда он забывал о болезни и что-то любил вне самого себя. Вот он и искал сейчас эти мгновения, запечатленные в образах предметного мира, надеясь через них воссоздать душу живую, обрести способность к любви и слезам.

И эти ослепительные вспышки радости, даже счастья, порой случались непредвиденно, необъяснимо, врасплох. Они возникали из самых неожиданных и странных источников: раз то была припорошенная апрельской крупкой старая голубятня в маленьком дворике неподалеку от светлицы Ксении Го-

дуновой в Чертопольском переулке. Обычная голубятня — деревянный ящик, забранный частой проржавевшей сеткой. Как ни терзал он мозг, он не мог постигнуть значения голубятни в своем «предбытии». Он понимал, что испытываемая им радость есть прежде всего радость самого безотчетного узнавания, вовсе не обязательно, чтобы голубятня некогда была для него источником наслаждения. Будь он дворовым мальчишкой, символ голубятни читался бы без труда; но он, ватное дитя, никогда не гонял голубей.

Быть может, тут произошла ошибка: голубятня самозванно, по-соседски, так сказать, присвоила себе роль символа, а истинный смысл вовсе не в ней, а в тереме Ксении Годуновой? Быть может, его некогда волновал печальный и нежный образ несчастной дочери Годунова, ни в чем не повинной перед Богом и людьми, но возвращенной вблизи преступления и потому обреченной на жестокое возмездие? Нет, у него не было сколь-нибудь отчетливого отношения к дочери Годунова. А что, если сам Чертопольский переулок, поманивший его голубятней, играл какую-то роль в жизни его души? Нет, он не бывал здесь прежде...

В дальнейшем он убедился, что и прямые, и окольные пути угадывания не годятся. Он сотни раз наблюдал воробьев в полете, приземлении, в азартной ссоре из-за корма и вдруг однажды невесть с чего испытал почти болезненный укол счастья при виде воробья. Что управляло переживанием: место, время дня, освещение? Он не находил ответа.

Как-то раз после тренировки он шел длинным коридором стадиона в душевую, накинув на плечи махровый халат. Навстречу прошли четыре девушки с чемоданчиками в руках. Его взгляд рассеянно скользнул по незнакомкам и чуть задержался на круглом, веснушчатом лице одной из них, с тяжелыми серыми глазами. Она отнюдь не была самой привлекательной в стайке и выделялась лишь хмурым, каким-то «запертым» выражением.

Стайка прошумела мимо него, обдав легким смехом, щебетом голосов, чистым, нежным девичьим ароматом, а ему вдруг захотелось еще раз увидеть девушку с тяжелыми, хмурыми глазами. Но парадная дверь уже захлопнулась за ними, а он был в одном халате. Через несколько минут, стоя под душем, он опять

вспомнил о сероглазой девушке и застонал от боли. Чувство невозвратимой утраты стремительно и душно захватывало его. И, сопутствуя ему и усугубляя боль, возникали и лопались около сердца мыльные пузырьки счастья. Что ему эта сероглазая, хмурая, ничем не примечательная девушка с чемоданчиком? Какие сложные или простые связи сочетали их в прошлом? Хотя стоит ли всякий раз тревожить прошлое? А если это мгновенная вспышка влюбленности? Но отчего же влюбленность, едва возникнув, облеклась в глухую тоску и безнадежность потери? Мгновенная влюбленность — легкое чувство, тень радости и тень печали. А ему будто кол забили в душу.

Злясь на себя, он раскрутил кран с холодной водой. Будто ледяной компресс лег на темя, ооченелость поползла с шеи на плечи, спину и дальше по всему телу, но тоска сердечная не давала себя отвлечь, она была автономна по отношению к остальному его существу.

Теперь его безотчетные поиски обрели цель: нужно было найти сероглазую девушку. Она поможет ему размотать клубок. Но это оказалось делом безнадежным. Через зимний стадион проходили тысячи людей, здесь занимались десятки разных секций, а он не знал даже, была ли девушка спортсменкой. С таким же успехом она могла быть врачом, массажисткой, медсестрой, студенткой-практиканткой или просто болельщицей. Серые хмурые глаза — для него это было веской приметой, но все остальные, к кому он обращался, лишь разводили руками с недоуменно-насмешливым видом.

Чем дальше он ее искал, тем прочнее становилась уверенность, что сероглазая девушка не условный знак каких-то минувших переживаний: в неясной давности он встречался с ней, знал ее по имени, она что-то значила в его жизни...

Возникла страшноватая мысль: коль он признает за своим бывшим сердцем право памяти, то и ныне бьющееся у него в груди сердце обладает подобной же суверенной памятью. Чепуха, бред, мифология, как говорил лечащий врач. Теперь Костров начал понимать смысл его туманных опасений. Да нет же, сердце не всевластно и, «согласившись» жить в чужом организме, обязано признавать все его законы.

Существовал один способ покончить с «мифологией»: полюбить близких, ощутить доверие к друзьям — тогда погаснут

бесцельные в своем мучительстве мнимые образы былого и начнется серьезное внешнее существование, кончится проклятый душевный лунатизм.

Он стал домоседом, он окружил вниманием мать и жену, он все время напоминал себе, как они его любят, сколько заботы, терпения, такта, прощения нисходит к нему от них. И как скупко платит он им за все их добро. Он стал жить их интересами, подробно расспрашивал мать о фабричных делах, дарил им мимозы и подснежники, помогал по дому и, наконец, для полного счастья, начал готовиться в вуз. Он был потрясен, когда однажды случайно подслушал разговор матери со старой ее приятельницей. Мать почему-то решила, что его нет дома, и говорила тем громким голосом, каким пожилые и плохо слышащие люди обычно говорят по телефону.

— Его словно подменили... Я ничего не понимаю, но иногда мне кажется, будто нам вернули робота. Он знает все слова и все правила поведения, но внутри у него холодное железо. Нет, нет, мне не на что жаловаться, он никогда не был так внимателен и заботлив, как сейчас. Но за этим пустота, я не чувствую его, не узнаю своей крови...

Дальше он не слушал, он был ошеломлен не столько словами матери, открывшими ему схожесть их восприятия друг друга, сколько холодным тоном её. Она говорила о нем как о постороннем человеке, скорее раздражавшем ее, нежели печалившем. Он ничего не сказал матери, не изменил своего поведения, но ощущение бездомности стало невыносимым.

...Костров возвращался на метро из библиотеки. На станции «Площадь Свердлова» из соседнего вагона вышла пожилая женщина в круглой меховой шапочке и пальто с таким же воротником. Волосы цвета соли с перцем были собраны в пучок и аккуратно лежали на поношенном, с рыжеватым отливом котиковом воротнике. Ему вспомнилось возвращение из больницы: когда они ехали в такси, он глядел в затылок матери и видел такой же серый пучок на потертом меховом воротнике. Стоя возле дверей, Костров рассеянно скользил по лицам входящих и выходящих, но пожилая женщина снова невесть почему притянула его взгляд. Он с непонятным любопытством смотрел на ее красноватое, склеротическое заурядное лицо, уставшие глаза в морщинистых веках, родинку в уголке бледного,

печального рта. Лицо ее не было ни красивым, ни добрым, но что-то в нем поразило Кострова. Это усталое, поношенное, невеселое, жестковатое лицо, с чрезмерной откровенностью несущее бремя лет, невзгод, потерь и разочарований, выхватило Кострова из привычности, закружило и понесло куда-то, словно вихрь — перекасти-поле. И было страшное падение в бездонную глубину, в мрак и влажную тесноту предбытия, а затем нестерпимый свет, от которого не скроешься за створками век, и вкус сладкого молока на губах, и то дурманно-блаженное чувство, как на качелях или гигантских шагах, как в лучшие минуты раннего детства, когда изгнаны ночные страхи, дневные обиды и великая защищенность, великая надежность гарантированы близостью самого необходимого и всемогущего существа во Вселенной. И все это уместилось в одном коротеньком слове, произвольно и жалко сорвавшемся с губ Кострова, когда он ринулся наперерез толпе из вагона:

— Мама!..

Женщина услышала этот странный детский крик, изданный грубым мужским голосом. Голос не был ей знаком, и зов, конечно, относился не к ней, но все же она обернулась с тем привычным болезненным выражением, каким отзывалась на всякое напоминание о пропавшем без вести сыне. Она увидела молодого человека с потным, ошалелым, видимо, нетрезвым лицом, рвущегося из вагона сквозь толщу напирających людей. И хотя она ни на секунду не поддавалась обману, но то, что этот незнакомец был почти однолеток ее погибшего сына, и то, что он колобродит, исходит вульгарной силой жизни, когда тело ее мальчика истлело невесть где, наполнило ее возмущением.

— Да вы что, пьяный?.. — крикнула она с отвращением.

Кострова окружила плотная толпа. Кто-то уже звал милиционера, и тот двинулся от будки дежурного тяжелой поступью командора к пульсирующей у края платформы толпе. Костров ничего не замечал. Он видел лишь: пожилая женщина сейчас скроется с глаз — и закричал в отчаянии:

— Куда же ты?..

Женщина остановилась, словно ее ударили кулаком в грудь. Она не постигала случившегося и не пыталась постигнуть, не ведала, что ждет ее — спасение или гибель. Она узнала боль сердца своего сына и кинулась на зов.

НЕМОТА

Поначалу мне казалось, что я согласился на эту поездку бездумно. Впервые за очень многие годы я не писал несколько месяцев кряду. Пожалуй, с той самой поры, когда меня, семнадцатилетнего, постигла эта странная напасть, у меня не бывало столь долгого перерыва. Я писал, учась в школе и в медицинском институте, на войне и в госпитале после контузии, в поездках и на курортах, на охоте и на рыбалке. Хотя от вечного недовольства собой, от изнурительного сознания безнадежной отдаленности великих образцов я столько раз мечтал о том, чтоб перестать писать, не навсегда, разумеется, а на какое-то, быть может, и долгое, время. А после этого перерыва я стану писать меньше и лучше, лишь самое выношенное, отстоявшееся. Но я перестал писать не по сознательному решению, нет, это вышло само собой, без моего волевого участия. И когда мне предложили диковатую поездку в Молдавию с концертными выступлениями в Кишиневе и Тирасполе, я не колебался. Меня не смутило и то, что выступать мне придется в паре с профессиональной артисткой эстрады, исполнительницей устных рассказов собственного сочинения, и, естественно, я буду безнадежно проигрывать рядом с ней; что нам предстоит работать из вечера в вечер чуть не целую неделю, а это без привычки нелегко, и, наконец, что мне придется бубнить все время одно и то же, поскольку здесь исключена импровизация, скрашивающая обычные литературные вечера. Ничто меня не пугало и не заботило. Да и почему бы мне не заполнить пустоту внутри себя молдавскими впечатлениями? Там бывал Пушкин, там он на-

писал «Черную шаль», «К Овидию», послания Давыдову, Чадаеву; в Кишиневе, кажется, сохранился домик, в котором он жил, да хорошо полюбоваться и Днестром, попить домашнего вина в каса маре, так вроде называют красную горницу. Я и не заметил, как мое согласие обернулось посадкой в пузатый «Ан» на Внуковском аэродроме.

Столь же безмятежно состоялась в Кишиневе моя встреча с представителем филармонии.

— А где же ваша напарница? — спросил он. — Вы разве не вместе?..

— Она едет поездом.

— Почему?

— Не знаю.

— Может, она не переносит самолета?

— Право, не знаю.

Он как-то странно глянул на меня, и мы пошли к стоянке машин. Филармония прислала за мной громадный, видавший виды автобус, годный для перевозки целых концертных бригад, симфонических и духовых инструментов, включая грозные трубы-геликоны. Представитель сказал извиняющимся голосом:

— Не было другого транспорта. У нас много гастролеров.

Он что-то бубнил над моим ухом, то ли по поводу предстоящих выступлений, то ли о расстилающихся вокруг красотах, — за грохотом, звяком и лязгом старого пустого автобуса я не слышал ни слова. К тому же мне захотелось описать в уме внешность нашего водителя. Меня вдруг испугало, что я забуду его, как забываю сейчас всех встречающихся мне людей, как уже забыл самолетных спутников, как наверняка забуду представителя филармонии.

Водитель был юн, черен и смугл — настоящий молдаванин. Я пытался составить словесный портрет парня и не смог, у меня не оказалось образного материала, чтоб нарисовать излом его черных бровей, синеватые провалы щек под острыми скулами, узкий, темный язвительный рот. Я как-то сразу устал от всех этих усилий, меня даже в сон потянуло. Бог с ним, с водителем, пусть живет, как жил, не выраженный в словах!

Зачем обволакивать словами все, что попадает в круг зрения? И откуда возникла во мне эта дурацкая привычка? Я не

мог вспомнить, когда точно это началось, но хорошо помню, что еще школьником, совершая свои обычные маршруты в окрестностях Чистых прудов, все время описывал про себя дома, деревья, трубы, тротуары, решетки, тумбы, возникающие на моем пути, лошадей, телеги, автомобили, дворников, их метлы и бляхи на груди, новых и примелькавшихся прохожих, вроде одного паренька с ярко-синими глазами и ныряющей походкой, напоминающей полет трясогузки. Это описание на ходу ничуть не утомляло меня, напротив — доставляло огромную радость, тем более что все маломальские удачи, попадания в цель намертво ложились в память и порой использовались в рассказах. Но, занимаясь непрерывным воображаемым писанием, я не задавался практическими целями, а если так получалось, то произвольно.

Правда, в последние годы я нередко испытывал усталость и раздражение от безостановочного проборматывания окружающего. Собираешь ли грибы, ловишь ли рыбу, плывешь ли в челноке по весеннему водополю, таишься ли в скрадне с подсадной или топаешь по болоту за легашами, едешь ли по делам или ждешь на улице приятеля, чтобы посидеть с ним за кружкой пива, — все время лепишь слова, как пельмени, и проклинаешь чью-то ненасытность, не дающую тебе ни секунды передыху.

А тут, пожалуйста, можно совершить перелет Москва — Кишинев, перенестись из зимы в лето, стать пассажиром «отца всех автобусов», мчащегося по стройной аллее нежно изготовившихся к цветению деревьев, сидеть за спиной юного смуглого красавца и не откликнуться всему этому ни единым словом, даже малой напряженностью того внутреннего устройства, что рождает слова!

Ладно, будем считать, что я получил заслуженный отдых, и надо хорошо им воспользоваться — едва ли он окажется длительным.

Солнце из-за деревьев бросало в автобус пучки светлого жара, а тень каждого дерева пересчитывала нашу гуськом сидящую троицу, отщелкивала, словно костяшки счетов, шофера, меня, представителя филармонии. Я хотел было узнать у моих спутников, как называются эти деревья, но вовремя спохватился. Зачем обременять память очередной ненужностью?

Мир и так стал чудовищно дробным, каждая малость в нем обрела свое наименование, а деление все продолжается. И когда ты попадаешь в новую даль, на тебя обрушиваются тамошние наименования, подавляя твою и без того обремененную память, и что же будет, если не прекратится это дробление вещей, явлений, понятий, пребывающих в мире?

Вселение в гостиницу всегда представлялось мне одним из самых волнующих ритуалов человеческого обихода. И дело не только в том, что получение номера — это маленькое чудо, улыбка жизни, подарок судьбы; но с новым жильем, пусть временным, ты обретаешь новые привычки, настроения, заботы, радости и огорчения; ты вступаешь в сложные отношения с незнакомыми людьми: администраторами, коридорными, уборщицами, соседями по этажу. Ты будешь заискивать перед дежурным администратором, чтобы он не переселил тебя в номер без ванны в связи с приездом хора Мичиганского университета или футбольной команды, ты будешь упиваться столь редко дающимся тебе одиночеством, полной свободой, мечтать, словно в твоём возрасте ещё возможны сладостные неожиданности.

Но сейчас я не испытывал ни малейшего волнения. Я почему-то был уверен в получении номера и ничего не ждал от него, кроме минимума удобств. Я не собирался ни работать, ни мечтать, ни встречаться с людьми, ни даже очаровываться коридорных и горничных, чтоб номер убрали в удобное для меня время.

Пока выписывали квитанцию, я слонялся по вестибюлю, ни о чем не думая, ни к чему не приглядываясь; поворошил газеты с нерусским шрифтом на стойке у киоскера, хотел купить журнал «За рулем», но у меня не оказалось мелочи, а у киоскера сдачи...

Я поднялся на лифте, протянул квиток коридорной, получил ключ, тяжело наполнивший ладонь, погрузился в сумрак коридора, шелкнул замком и вышел в свет своего прекрасного номера.

За окном, глубоко внизу, были маленькие домики под черепицей, дворы, тронутые зеленой молодой травкой, абрикосовые, уже зацветающие деревья, мусорные ямы, глиняные шербатые заборы, женщины, дети, старики в овечьих шапках;

дальше, к горизонту, разворачивались холмистые поля, посреди них серо пылилась площадка цементного завода. Я долго глядел в эту скучную и чем-то грустную даль, затем передний план пейзажа населился старухой с мешком за спиной. Она приблизилась к глинобитной ограде и форсировала ее, словно пехотинец бруствер; сперва метнула за ограду мешок, затем пала на нее животом, вскинула ноги и перевалилась на другую сторону. Все это было сделано с ходу, без колебаний и хоть малой задержки. Мне так понравилась решительная старуха, что захотелось, вопреки обыкновению последних месяцев, «уложить» в себя все виденное из окна: простор от двориков до цементного завода со старухой в качестве фигуры, не просто оживляющей, но дарующей жизнь пейзажу. Я начал складывать слова, и сразу мозг охватила тупая усталость. Я знал, что потеряю все это, если не закапканю словами, но голова стала как оловянная. Ладно, сказал я себе, впереди еще много времени, дворы и крыши останутся, и холмы, и цементный завод пребудут на своем месте, и еще какая-нибудь старуха, или старик в овечьей шапке, или другое доброе человеческое существо явит чудо своей неповторимой жизни за этим окном. И мои силки работают...

Я прилег на кровать. Сначала я отчетливо ощущал, будто зарываюсь в сон, как в стог сена. Я головой и плечами расталкивал вещество сна, отгребал руками, чтоб залезть поглубже в самую укромность, куда не доходят никакие послания яви, даже в образе сновидений.

И удивительно, до чего же быстро вынырнул я из этих глубин. Мой сон длился минут пятнадцать — двадцать. Но я полностью восстановил силы, потраченные на попытку описать старуху на фоне окраины.

Было начало третьего. Я принял душ, вернее, ошпарился кипятком, яростно плевавшим из обоих кранов — горячего и холодного, побрился, оделся и пошел в город.

Не сделав и полсотни шагов по главной улице, прямой, нарядной, зеленеющей набухшими почками и первыми стрелками клейких листиков, я наткнулся на старого знакомого. Впрочем, этот старый знакомец весьма молод, ему и сорока нет. Я знал его еще школьником, неуклюжим прыщеватым подростком, обещавшим стать красавцем, когда отвалится шелуха не-

зрелости, окрепнет костяк, придет владение своим телом. Так оно и оказалось: помню, он мелькнул раз-другой легким, сияющим, золотоволосым ангелом, но свет быстро погас, крылья облезли, и хотя он сохранил приятность черт и стройность, казался человеком, до полушки истратившим юношеский запас, способность к свершениям. Сам он не понимал этого, был весь в поисках, в движении, менял республики и города в надежде найти себе наилучшее применение, руководствуясь не корыстью, а искренним заблуждением в оценке своих возможностей. И, глядя сейчас на странное, неуловимое лицо бывшего юноши-ангела, я вдруг испытал трепет рождающихся для определения ускользающей сущности слов. Но снова тяжелая, темно-багровая — я знал ее цвет — волна нахлынула на мозг, и мой знакомец ускользнул неназванным...

Уже не помню, как я оказался на одной из боковых улочек, перед опрятной греческой церковью, ставшей музеем молдавских вин.

— Сеанс через сорок минут, — предупредила кассирша, по-кукушечьи выглянув из окошка кассы.

Здесь проводилась дегустация вин, сопровождаемая лекцией. Только успел я купить билетик, как ввалилась группа туристов из Москвы, и винное начальство решило устроить для них внеочередной сеанс. Мне удалось проскользнуть вместе с земляками в лекционный подвал, богато отделанный деревом, с деревянными столами, лавками и налакированными декоративными бочками. На столах уже были приготовлены подносики с рюмочками, вмещавшими по двадцать пять граммов искрящейся жидкости. Нам предстояло ознакомиться с десятью марками сухих, полусухих и крепленых молдавских вин.

Лекция началась. Средних лет, с классически правильным лицом женщина, похожая на классную даму — столько в ней было достоинства, чопорности, важности на грани надменности, сознания своего превосходства над робеющей аудиторией, — звучным, хорошо поставленным голосом предостерегла нас от бездны алкоголизма. Четко противопоставив ожидающее нас исследование позору пьянства, она изложила общие законы употребления столовых вин, затем перешла к характе-

ристикe каберне, с которого начинается знакомство с молдавской лозой.

Я настолько обессловесился, что ее заученные фразы казались мне чудом образного мышления, а несложные определения — верхом художественности. Когда же она сказала о «грибном привкусе» хереса и желто-зеленоватая жидкость в самом деле оставила во рту аромат только что сорванного боровика, я чуть не заплакал от нежности к выражающему мир слову. «Вы почувствуете лесную землянику в десертной “Лидии”», — сказала лекторша, и впрямь, глоток наградил ощущением раздавленных языком о небо ягод. Но слаще хмельной влаги были мне называющие ее слова...

Я неспешно, в блаженной неге, которую вечно воспевал, но едва ли ведал Пушкин, ибо слишком рано и круто забрало его творчество, дошел до гостиницы, вознеся на свой этаж, ступил в номер и обалдел от пустой тишины. Наверное, такое вот чувство пустоты, оторванности от всего в мире, не только от близких людей, но и от всякого шума жизни, охватывает космонавта, проходящего в сурдокамере испытание на одиночество.

Я распахнул окно. Шум города, находящегося по другую сторону гостиницы, долетал сюда слабым, бесконечно затянувшимся вздохом, вплетался в большую тишину, становился ею.

Остаток вечера я провел в номере у наконец-то прибывшей партнерши. Подобно всем артисткам на гастролях, она привезла с собой чайник, заварку, сахар и сухари в тугой обертке. Еще у нее имелся зеленый сыр, сухая колбаса и какая-то другая выносливая снедь, которую никогда не встретишь на прилавках магазинов.

Мы чаевничали. Артистка после нескольких вялых и ненужных попыток усложнить свой образ всплесками романтических странностей стала тем, чем была на самом деле: стареющей, усталой женщиной, тянущей в одиночку семейный воз, но не сдавшейся и не отступившей от искусства. Она хорошо и точно рассказывала о доме, сыне, работе, бесконечных разъездах по городам и весям, дабы маленькая ставка обернулась необходимым заработком.

На другой день нас повезли в Тирасполь. Мы ехали прямо по солнцу, палившему в упор по нашему «рафику». Вокруг —

тщательно возделанные поля, виноградники, плантации хмеля, фруктовые сады. Земля под хмелем и виноградом казалась расчерченной на квадраты и прямоугольники, как листья ученической тетради. Мне захотелось выразить это впечатление сильной и емкой фразой. Но никак не удавалось связать в тугий словесный узел колья на полях хмеля, колышки на полях винограда с геометрической точностью посадки. Я выдохся раньше, чем предчувствие фразы улыбнулось мне, и оставил попытку дать образ возделанной земли. Лучше попробую назвать весь опрятный, мягкий, зеленый и бурый снизу, голубой вверху простор с населяющими его чистыми белыми деревеньками, цветущими абрикосами, простор, лишенный хаотичности, бережно организованный человеком, но и этого я не смог.

Бендеры открылись старинной крепостью, заводскими трубами, ширью Днестра, новостройками и розовой пылью. От тех низеньких сонных Бендер, что помнили Пушкина, тут ничего не осталось. Новый, современный, бурно строящийся промышленный город. Мы проехали главными улицами и свернули к Тирасполю.

С высокого моста далеко в обе стороны открывалась бронзовая под налитым солнцем вода. Ее прорезали узкие, длинные тела байдарок. Было в них что-то решительное и печальное, как чужая молодость.

Тирасполь сделал все от него зависящее, чтобы вырвать меня из плена немоты. Он встретил нас белозубой улыбкой гида-добровольца, студента-заочника театрального института. Блестящими черными вьющимися волосами, острыми бачками и благородной худобой щек юноша-гид походил на красавца матадора Домингина, если такое сравнение что-нибудь говорит читателю. Он провез нас по новому мосту, изящному, но слишком узкому — двум встречным машинам не разъехаться. На другом берегу, под сенью старых деревьев, приютилась шашлычная с очагом посреди маленького круглого зальца. Посетители сами жарили свиные шашлыки на коротких шампурах и ели с барбарисовой присыпкой, запивая легким светлым вином «Фетяска».

При выходе из шашлычной мы столкнулись с бородастым узкоплечим юношей. Он сердечно обнял нашего гида и

несколько секунд мял бороду о его лицо. Это был художник театра.

— Помогите нам! — вскричал бородач. — Помогите городскому театру! Нашему замечательному, неповторимому театру!.. Не дайте ему погибнуть!..

С ним были какие-то женщины, но он начисто забыл о них и, продолжая взывать о спасении театра, полез за нами в автобус. Он был так силен и цепок в своем отчаянии, что мне невольно подумалось: если и другие тираспольцы похожи на него, театр не погибнет. Впрочем, никто и не думал закрывать театр, недавно возродившийся силами выпускников театрального училища. Просто молодежную труппу хотели пополнить оставшимися не у дел старыми актерами. Взволнованный бородач едва не уехал с нами, лишь жалобный вопль брошенных женщин заставил его выскочить на ходу из автобуса.

Но он не вовсе покинул нас. Его брэнная плоть влеклась к шашлычной, но лучшее в нем — его высокий дух нашел представителя в лице нашего гида.

— Он чертовски талантлив и предан театру, как рыцарь Тоненбург Святой Деве! И другие ребята такие же. За театр — в огонь и в воду... Фанатики!.. Аскеты!.. Святые люди!.. Старик его развалит, им бы только до пенсии дотянуть, а у молодых в нем вся жизнь!..

Я глядел в горящие юношеские глаза и думал: «Черт возьми, я тоже теряю свой театр, но почему же не кричу, не взываю о помощи?.. Быть может, еще не поздно выйти из скорлупы и заорать: “Спасите мою душу!..”»

А потом был клуб, где нам предстояло выступать, и директор клуба, бывший актер с крашенными хной, но уже засевшими от корней длинными, слабыми волосами, тщательно выбритым розовым лицом, напудренным подбородком, с ярко-голубыми экстагическими глазами. На нем был клетчатый пиджак с косо обрзанными спереди, на манер визитки, лапми, крахмальнаа рубашка и ярко-красный, будто стеклянный, галстук. Поначалу мною владела уверенность, что человека этого на самом деле не существует. Вернее, он существует, но в ином, куда более естественном, привычном для окружающих виде. Но некие высшие, сочувствующие мне силы расцветили его специально для меня, чтобы вырвать из плена слепонемо-

ты. Но я проявил железную устойчивость к этим добрым потугам. Многоцветный человек жеманничал, строил гримасы, комически всплескивал руками, казалось, подмигивал мне: очнись, мол, для тебя же стараюсь! Но я оставался нем...

А город, славный Тирасполь, борясь за меня, наслал новое чудо. Мы топтались в тесном предбаннике в ожидании, когда проветрят зрительный зал после выступления самодеятельного оркестра, и тут, будто из сна, возникли два изящных мушкетера в коротких форменных плащах, шляпах под страусовыми перьями, ботфортах, шпагой на боку, с лицами такой нежной прелести, о которой не мечталось даже красавцу Арамису, с темными, чуть подвитыми волосами, обрамлявшими персиковую смуглоту щек. На груди у мушкетеров висело на цепочке по золотому солнцу с загадочными буквами: ЭКС. Мушкетеры грациозно скользнули в нашу тесноту, от них шел тонкий запах цветов.

— Вы поедете с нами? — сказал мне один из них, а другой добавил почти жалобно:

— Ну пожалуйста!..

И тогда я увидел, что мушкетеры — девушки, и, совсем обалдев, с глупо-озабоченным видом спросил, что значат загадочные буквы на их медалях.

— ЭКС — экспериментальный цех, — пояснили мушкетеры. — Мы встречаемся в финале городского КВН с пошивочным цехом.

Этот финал происходил в помещении театра. Экспериментальные мушкетеры выполняли выездное задание, именовавшееся «неожиданность». Они просили меня стать этой неожиданностью. У них машина, дорога туда и обратно займет пять минут. Мне только надо выйти на сцену, сказать несколько слов, и меня тут же доставят назад. Внезапно многоцветный человек поддержал просьбу девушек. Зрители немного подождут, он берет ответственность на себя.

Мушкетеры бережно, но решительно подхватили меня под руки. Мы рухнули в бархатную тьму ночи. Пока мы втискивались в «Москвич», подросла моя партнерша. Мне было как-то не по себе, что ее не сочли неожиданностью, и я хотел уже предложить ей стать неожиданностью пошивочного цеха, но

вовремя удержался от бестактности. «Москвич», словно застоявшийся конек, яростно рванул с места.

Мне было радостно и чего-то совестно, и я вдруг заметил угольные провалы в набитом звездами небе, почувствовал близость забытых слов и, возможно, соединился бы с ними, но мы домчались слишком быстро.

О том, что было дальше, хорошо сказала моя растроганная партнерша: пережить такое и — умереть, все равно ничего лучше уже не будет...

Можно ли сомневаться, что намечаемый праздник Тирасполя был мне выдан ради каких-то высших целей, а вовсе не моего тщеславия ради. Прелестные девушки, надевшие мушкетерский наряд, чтоб увезти меня из клуба, вся невероятная, незаслуженная доброта зала, дружно откликнувшегося на сомнительный сюрприз моего появления, должны были пробудить меня от спячки. Город тормошил меня Днестром, узкими, печальными телами байдарок, очарованием своих людей, жаром очага и терпкостью светлого вина. Но добился лишь одного: я решил, что не в оскудении интереса к окружающему, не в безразличии к нему причина постигшей меня немоты. Я любил Тирасполь, как ни один город в мире, мне хотелось связать свою судьбу с его театром, вступить в Тираспольский мушкетерский полк. Но утром следующего дня, схватившись за перо с давно забытым жаром, я не мог выдавить из себя ни слова о тираспольских впечатлениях.

Вернувшись в Кишинев, я попытался разобраться, только ли слов мне не хватает или дело в чем-то другом. Вероятно, что-то случилось с безотказным аппаратом моей памяти, — я не помнил ни цвета плащей, ни цвета глаз мушкетерш. Несомненно одно, мне помнится что-то темное. Золотые кресты на темном фоне плащей. Быть может, девушки, подобно д'Артаньяну, принадлежали к черным мушкетерам? Нет, плащи их казались черными лишь в полумраке клубного предбанника, а когда мы шли на сцену, я знал, что они не черные. А какие же? Не помню. Не помню или не могу назвать? Я не помню, потому что вовремя поленился назвать этот цвет про себя.

Наверно, я заметил и цвет их темных, блестящих глаз, но тоже не посвятил ему ни слова и не знаю, какие у них глаза. Моя память сохраняет не объективный образ лица, явления,

предмета, а «запись», которую я делаю в мозгу. Она запоминает слова.

Мне что-то приоткрылось в работе, которую трудолюбиво и безостановочно совершало сознание, чтобы я мог быть писателем. Оно все время создавало словесный образ виденного, вот почему, кстати, я уставал умственно и душевно от пребывания в жизни больше, нежели за столом, когда переносил эту жизнь на бумагу. Основная работа творчества происходила в соприкосновении с материалом действительности, а потом я скорее «записывал», нежели творил. Конечно, тут есть упрощение, схематизация, как и во всяком головном построении, касающемся таких тонких, неуловимых явлений, но для анализа упрощение допустимо, даже необходимо. Иначе погрязнешь в бесконечных оговорках и уточнениях.

Выходит, я целиком завишу от наблюдения? И да, и нет. Все дело в том, какой смысл вкладывается в слово «наблюдение». В обычном понимании это нечто длительное, пристальное и как действие вялое, а меня окружающее расстреливает с ходу. Я органически неспособен к длительному разглядыванию, к тому, что принято называть «изучением жизни». Для меня это означало бы утрату творческого запала. Мне нужно столкнуться с материалом и тут же обрести свободу от него. Тогда откроется простор мечте. Из столкновения с материалом жизни я выносил точные образы лиц, явлений, предметов, а мечта позволяла играть с ними как мне заблагорассудится. Я совершал много промахов из-за того, что не проникал в глубь вещей, но я выигрывал и главное для себя — возможность наделять их художественной жизнью. В тех редких случаях, когда я начинал добираться до самой сути не воображением, а изучением, я терял способность творить. Короче говоря, я фиксировал окружающее как художник и как робот, но строил произведение со свободой мечтателя. А сейчас мне не из чего было строить, механизм художника — работа — отказал.

Так что же произошло со мной? Слова, слова, где вы? Без вас все виденное и пережитое тут же умирает. Теперь я, как никогда, убежден, что вы не слова, вы суть...

В смятении и усталости я поднялся из-за стола и подошел к окну. Будто впечатанные в оконную раму, открылись двори-

ки, крыши, абрикосовые деревья, холмы, цементный завод. И тут я увидел старуху с мешком на спине. Она приблизилась к забору, перебросила мешок на ту сторону и по-давешнему форсировала преграду. Мне стало не по себе — буквальное повторение раз наблюдаемого вызвало дурноту. А затем я все понял. Город нарочно прислал эту старуху. Он, как добрый учитель, повторил по складам строчку диктанта, пропущенную нерадивым учеником. Но усилия его пропали впустую...

— Пойдемте к Пушкину! — сказала, появляясь в дверях, моя партнерша.

Боже мой, совсем из головы вон! А ведь я еще в Москве мечтал посетить маленький домик на краю Кишинева, где Пушкин прожил несколько месяцев своей бессарабской ссылки.

И мы побрели сквозь воскресный, ликующий, нарядный, солнечный город по главной улице в сторону парка. Там мы начали спрашивать, как пройти к Пушкину. С чудесной, гостеприимной улыбкой — флаг Кишинева — прохожие объясняли певуче: все вниз и вниз, а за церковью направо, а там налево и еще направо, и будет рынок, а там рукой подать...

И мы шли уторопленным, опадающим шагом под горку, сворачивали направо за церковь и тут же налево, и все ниже, приземистее становились дома, все старше деревья, асфальт сменился булыжником, вскоре меж лобастых камней зазеленела травка, зажелтели одуванчики; на плитняке и пыльных закрайках тротуаров возились босоногие дети. Каменные, покосившиеся, вросшие в землю дома со старинными медными ручками входных дверей, с воронками дождевых труб под карнизом незаметно сменились белыми сельскими мазанками с белыми глухими заборами, и по солнечно-меловой белизне повлеклись в сторону рынка легкие, бесплотные, как видения, цыганки, вовсе не яркие, не пестрые, а дымчато-голубые, что усугубляло их призрачность, и смуглые костлявые девочки-подростки подражали ведьминской повадке взрослых женщин — сторожкому шагу то ли беглянок, то ли лазутчиц, рыщущему огляду зорких глаз.

Неожиданно мы оказались у цели. Будто из милости к нам низенькая, ничем не примечательная хата согласилась принять на себя бремя исторической значимости. Сколько ни ломай голову, никак не уразумеешь, почему этот, а не любой

другой соседний дом избрал Пушкин. Может, здесь двор как-то по-особому повернут к мирозданию или звездам сподручнее заглядывать в маленькие окошечки хатки. Трудно поверить, что поступком гения может руководить простой случай или мелкий бытовой расчет.

Вход был со двора. Ступеньки крыльца вели не вверх, а вниз, так глубоко осела хатка в землю. В передней горенке висел в раме под стеклом большой и подробный текст, рассказывающий про великого насельника здешних мест. А дальше замелькали знакомые портретики молодого мечтательного Жуковского, сонного Дельвига, Кюхельбекера с грустным носом, Пушина — человека без особых примет, бесчисленные изображения Наталии Николаевны Пушкиной, неизвестно когда уполномочившей поэтов всех мастей называть себя доверительно Натали, императора Николая с базедовыми глазами и непрременных стукачей — Булгарина с Гречем, а также бесчисленные искусные подделки под рукописные тексты и рисунки Пушкина, литографии петербургских плац-парадов — для характеристики эпохи и почему-то будочников возле полосатых будок, и совсем уж ни к чему — офорты художника Василия Звонцова, изображающие виды Михайловского.

Я вышел во дворик и, присев на низенькую скамеечку, стал ждать свою партнершу, задержавшуюся возле набивших оскомину экспонатов. Впрочем, этот домик-музей был не хуже себе подобных. Он ничего не давал мне, как, впрочем, не дало бы сейчас и любимое всей кровью Михайловское. Пушкин не мог исцелить меня, я это понял, едва переступил порог. Нужно искать исцеление в настоящем, на улицах, где дети возятся в пыли, где цыганки сизым дымом струятся по меловой белизне заборов.

Да, только отсюда, из мира моих дней, должен я ждать благости. Спасательный круг может бросить вот этот рассеянный прохожий, поминутно оступающийся с тротуара на мостовую, или девочка, баюкающая тряпичную куклу, или босоногий парень верхом на соловой лошади с полосатыми от пота боками, или старуха в шляпе с вуалеткой — как только найду слова хоть для одного лица, я буду спасен.

Литература останавливает быстро текущее, позволяет людям взглянуться в изменчивый лик бытия. И раз это стало тво-

им делом, будь добр вернуть себе слова. Не думай отвертеться. Слово — твое орудие и оружие, лишь им ты участвуешь в заботе народной. Без него ты как столяр без рубанка, маляр без кисти, плотник без топора.

Я понимал, что зря подстегиваю себя. Меня переполняло чувство вины перед городом, перед детьми, деревьями. Все вокруг так напрягалось жизнью, а моя немота не давала этой жизни подняться над самой собой. Мне было стыдно и больно...

В вестибюле гостиницы нас ждали дети. Члены литературного клуба одной из школ нового микрорайона. Две девочки и мальчик с огромными шелковыми пионерскими галстуками. У девочек были косы, заложенные кренделями, и длинные, стройные ноги с развернутыми, как у балерин, ступнями. Возможно, они увлекались не только литературой, но и балетными танцами. Мальчик — староста клуба — был серьезен и собран, как перед испытанием огнем. Покраснев в тон своим галстукам, дети хором попросили нас приехать в их литературный клуб. Прямо сейчас. Ребята ждут. Вся школа ждет. У них есть машина. Новенький «Москвич».

— Ой, поедem! — тонким голосом сказала моя партнерша, изнемогая от неуголенной любви к детям.

Мне не хотелось ехать. Я боялся лишний раз убедиться в своей потере. Но я не мог отказаться. И не только из-за детей, а из-за партнерши, у нее глаза постарели, едва она догадалась о моих колебаниях. Мы втиснулись в «Москвич», староста клуба гордо сел рядом с шофером, а мы четверо уместились на заднем сиденье...

Зал был битком набит, сидели в проходах, на подоконниках, стояли в дверях. Такое вот многолюдие действует на меня, я сосредоточил внимание на передней скамейке. Чуть вкось от нас сидело дивное существо: смуглое, большеротое, золотоокое. Подростковый возраст — самая неблагоприятная для девушек пора. Но эта, золотоглавая, обрела гармонию совершенной формы, когда сверстницы еще оставались глиной. Сознавала ли она чудо постигшего ее превращения? Не знаю. Если и сознавала, то не оплачивала утратой непосредственности.

Слушая выступление моей партнерши, она покатывалась со смеху, в изнеможении хваталась за свою прекрасную голову и убирала слезы с уголков золотых глаз кончиками пальцев. Она заметила, что ее наблюдают со сцены, и улыбкой просила извинить за слишком ребячливое поведение. «Да, правда, я уже большая, и мне надо быть сдержаннее, серьезнее, строже, но я ничего не могу поделать с собой. Наверное, я немножко не дотягиваю до такой, какой кажусь с виду, но не стану притворяться, будто я совсем, совсем взрослая».

Непонятно было, почему моя наблюдательная и чуткая партнерша никак не отзывается на близкое чудо. И странная мысль пронзила мозг: действительно ли существует эта девочка, или видение послано мне для воскрешения из мертвых? И когда мы покидали школу, я спросил партнершу: видела ли она девочку с золотыми глазами? Она ответила с какой-то далекой улыбкой:

— А мне казалось, я ее придумала...

Мы едва успели привести себя в порядок, как прибыл автобус, чтобы доставить нас на первое выступление в Кишиневской филармонии. Взамен старой, дребезжащей колымаги, везшей меня с аэродрома, и элегантного маленького «рафика», на котором мы ездили в Тирасполь, нам прислали роскошный зиловский экспресс для междугородных рейсов. Удобные кресла с откидными, как в самолете, спинками, вентиляционное устройство, сетки для чемоданов, плавный, мощный ход — и как же досадно было расставаться со всем этим прочным комфортом через каких-нибудь пять-шесть минут.

Когда мы после выступления вышли из филармонии, город был залит огнями, а небо оставалось светлым, с лиловатым отливом, и там, где дома позволяли проглянуть закат, лежала чистая, ровная, ярко-алая полоса.

Девушка с темными, робкими и упрямыми глазами увязалась за моей партнершей. Ей нужно было выяснить, стоит ли бросать педагогический институт ради театрального училища. Она играет в самодеятельности и мечтает стать профессиональной актрисой. Их режиссер верит, что из нее получится толк.

— А на каком ты сейчас курсе?

— На третьем.

— Боже мой, окончи сперва институт, а там видно будет. Сколько тебе лет?

— Скоро двадцать.

— Есть о чем говорить! Ты все успеешь. Учитель — такая прекрасная профессия! Быть с детьми, наставлять маленькие души, что может быть лучше?.. Конечно, все девушки, особенно милые, — быстрый, косой взгляд на собеседницу, — мечтают о театре. Или о кино...

— Нет, я кино не люблю!

— И правильно делаешь... Но дай мне договорить. Предположим, ты кончила театральный и попала на сцену. Это ровным счетом ничего не значит. Я четверть века играла снежинку, а Электру, Джульетту и Бесприданницу — знаменитые старухи. Ты думаешь, так легко превзойти своих учителей? Успех, слава!.. Поди добейся просто творческой удовлетворенности.

— Вот вы же добились.

— Господи, а чего мне это стоило! И все-таки по-настоящему счастливой я чувствую себя в классе. Шефствую над одной московской школой, читаю ребятам классиков, а потом мы говорим о всяких замечательных вещах.

— Я думала, что обращаюсь к актрисе, а попала к несостоявшемуся педагогу!

— Ну, вот спросите его. — Артистка кивнула на меня. — Как бы вы поступили на месте этой милой девушки?

Я и сам потом удивился своему нищему здравому смыслу.

— Тут нет двух мнений, — гугнил я. — Надо кончить институт, получить образование и надежную профессию, а там видно будет...

— Да зачем же тогда жить?! — вскричала она раненым голосом.

Но я продолжал с тусклым подъемом пережевывать те убогие аргументы, какими принято удерживать молодых людей от решительных, поворотных поступков во славу бытовому смирению, душевному мещанству. Наверное, девушка не раз слышала подобную чушь, но окрашенную личным за нее страхом и потому еще менее убедительную. Она искала у нас помощи, чтобы спасти свою душу, гибнущую без любимого, единственного дела, а мы ни черта не поняли в ней. Да пусть она идет,

куда велит ей сердце, пусть даже расшибется в кровь, — все лучше, чем начинать жизнь с трусливого отступления. И чего я фальшивлю столь проникновенно? Неужели из-за того, что выронил оружие из рук?..

Девушка оставила нас внезапно. Я еще нес свою галиматью, а ее уже не было рядом. Потом из тишины'поздней улицы донеслось:

— Дураки!.. Старые дураки!..

А город упрямо не отступался от меня. Он прибегнул к самому сильному средству: пригласил меня на рыбалку. Я уверен, что незнакомый человек — Сергей Иванович, отыскавший меня в гостинице, чтобы позвать на озеро, действовал, сам того не ведая, по поручению высших мистических сил. Потом оказалось, что он совмещает в себе газетчика с тонким лирическим поэтом. Он был настолько истинным поэтом, что не стал проверять холодным рассудком правомочность возникшего в нем веления — позвать на ловлю карасей человека, которого в глаза не видел, и позвонил мне в шесть утра.

— Здравствуйте, это Сергей Иваныч говорит. Я вас не разбудил?

— Конечно, разбудили.

— Вот и хорошо. Надо ехать, карасей ловить.

— Да, да, — ответил я поспешно. — Я и сам так думаю.

— Вам часа хватит на сборы? Буду у вас в семь ноль-ноль.

Теперь я знал, что разбудивший меня человек служил в армии. Басовитый, застуженный голос выдавал моего сверстника. Значит, я поеду на рыбалку с участником Отечественной войны, скорее всего бывшим офицером. О газете и поэзии я узнал, разумеется, позже.

Ровно в семь ноль-ноль я был в пустынном, прохладном вестибюле. Сонная дежурная за стеклянной загородкой, в очках с толстыми стеклами, выпукло увеличивающими глаза, напоминала рыбу-телескоп, тычащую тупым носом в стенку аквариума.

Нет, не была она похожа на рыбу-телескоп. Это я сочинил, сделав вид, будто опять могу «мыслить образами». Ладно, все еще вернется к тебе, поднимется с зеркала затихшей воды,

или слетит с прибрежных кустов, или выюркнет из травяной чащи, или тихо спустится с облака...

Похоже, я стал заниматься самовнушением. Мой тихий смех спугнул дремоту администраторши, она посунулась к стеклянной загородке и, честное слово, стала точь-в-точь рыба-телескоп.

Прибыл Сергей Иванович. На редакционной «Волге». С редакционным шофером за рулем. Мы обменялись рукопожатием и помчались по главной магистрали, сквозь радужные брызги поливальных машин. Свежо и крепко пахло мокрым асфальтом, газоном, почками, первой листвой. Мне почудилось, будто я узнаю запах утреннего солнышка. Правда, если отнять все отчетливо различимые запахи, наполнявшие город в этот ранний час, то не возникнет запаховой пустоты, останется слабый, теплый аромат солнечного луча. И опять меня кольнула догадка о натужности, искусственности моих усилий откликнуться миру. Как это не похоже на прежнюю обременительную, неотвязную и счастливую заботу!..

Машина и молчаливый шофер меж тем делали свое дело: город остался позади, мелькнула на бугре громадная бочка — пригородная харчевня, плод игривого вдохновения местных зодчих, раз-другой сверкнула из-за деревьев и складок местности большая вода и внезапно открылась вся, населив своим прочным блеском простор. Искусственное озеро, сообщил Сергей Иванович, но еще не то озеро, где нас ждут не дождутся крупные, полукилограммовые серебряные караси.

Чтоб попасть туда, надо было миновать еще одну харчевню, оседлавшую бугор обочь шоссе, затем большое село, спуститься к изножию крутояра, обнаружить за кустарником узенькую полоску воды и вскоре обрести овальный разлив — искусственное озерцо в пологих песчаных берегах.

Мы подъехали к самому месту лова, где в озеро вонзалась узкая песчаная коса. На другом берегу, отступая от воды, земля круто холмилась, по склонам раскинулись виноградники, а вершины поросли смешанным леском. В нижнем ярусе ближнего холма ползал трактор, просверливая тишину однообразным, упорным рокотом.

Наша снасть состояла из полдесятка удочек и двух донок, причем одна на современный лад была оборудована резинкой.

Когда выбираешь леску, чтобы снять пойманную рыбу, резинка растягивается, а грузило остается на дне, затем осторожно отпускаешь леску, и резинка сама утягивает ее на дно. Эту современную снасть ловко забросил молчаливый шофер, а у колокольчика, защитив его от ветра полами ватника, пристроился Сергей Иванович. Шофер же забросил вторую донку, а мне протянул бамбуковое удилище.

Солнце поднялось высоко и начало припекать. У острия косы заплескались крупные карпы, порой выбрасывая из воды свои литые тела. И каждый взлет карпа на воздух вызывал дружный ответный подскок сутулых ворон, озабоченно вышагивающих по косе. Время карпа еще не пришло, он начнет брать недели через две, а вот караси уже берут — набитые икрой, налитые молоками, — только не у меня и не у шофера, а у одного лишь Сергея Ивановича. То и дело тоненько звякал колокольчик, Сергей Иванович подсекал и спокойно, размеренно выматывал лесу, на крючке тяжело и неподвижно висел крупный карась. Наживка у нас была общая — толстые дождевые черви, но караси отдавали предпочтение современной снасти.

Раздразнив меня, Сергей Иванович уступил мне свою донку. Обмениваясь с ним удочками, я вдруг открыл его земной, а не символический образ. Сергей Иванович был коренаст, плечист, смугловат, на его рябоватом терпеливом лице сияли беззащитные глаза мечтателя.

Настал и мой час. Я отыгрался за все неудачи. Случалось, и по два карася сразу таскал, да еще довеском извивался на крючке какой-нибудь пескаришко или ершик.

Для меня очень многое связано с рыбалкой. И дивные плещеевские зори, и сумасшедший азарт великой ловли на проводку в излучинах Усолки, и мистическое лучение, когда я еще не знал вредности этого красивого лова, костры, ночевки в стогах сена, встречи с неожиданными прекрасными людьми. Пустые часы у воды не дарят меня воспоминаниями, все значительное, важное и волнующее, что у меня связано с рыбалкой, происходило в пору щедрого лова. И сейчас, когда тренькал колокольчик и мои пальцы, машинально произведя подсечку, ощущали тяжесть карася где-то там, в глубине воды, и я начинал выбирать леску, утрачивая

эту тяжесть, потому что карась всплывал, я перестал обманывать себя: как ни крути, как ни уходи от истины, не слова покинули меня, а то, что их порождает. Напряжение жизни ослабло во мне, вот в чем правда.

Да, я испытывал сейчас азарт, радость, упоение, но все это было лишь тенью бывшего азарта, радости, упоения. Да, я ликовал, охватывая пятерней холодное, гладкое, плотное тело рыбы, но то было блеклое, бессильное ликование усталости. Да, во мне пробуждалось бывшее, но тускло, на спокойном дыхании. Я был вроде бы прежний, но все во мне оставалось в уменьшенном масштабе. Я обманывался, принимая свои нынешние чувства за былой накал.

Это состояние мне известно. Я уже пережил его однажды, после того как меня откопали в маленьком русском городке, на базарной площади с донцем стакана из-под ряженки, зажатым в руке. Госпитальных врачей интересовали мои лицевые и дыхательные ткани, моя бессонница, фобии, навязчивые представления, потеря ориентации в темноте, а меня самого мучила лишь внутренняя отчужденность. Я почему-то знал, что все остальное или вовсе пройдет, или ослабнет настолько, что не будет мешать мне жить, а вот омертвелости внутри себя страшился хуже самой смерти. И я понял, что скудный набор шаманских средств, какими врачи пытаются вернуть человеку утраченную душу, смешон, жалок, я должен сам себя лечить, и бежал из госпиталя. Меня уже зачислили в инвалиды, но я решил лечить себя от войны войной. И сумел-таки вернуться на фронт. Пусть не в часть, пусть без погон, но все-таки я до конца войны оставался с войной, а не там, куда меня прочили врачи. И все это время я заставлял себя писать, я продирался к словам сквозь немоту, как заблудившийся в дремучем лесу сквозь чащу.

С тех пор прошло много лет. Я прожил жизнь здорового человека, не боясь ни работы, ни драки, ни путешествий. И я не просил о снисхождении. Но случилось то, чего я давно уже перестал опасаться: вон когда аукнулось, и вот когда откликнулось...

Мы ели уху, сваренную молчаливым шофером по всем рыбацким правилам: с картошечкой, лучком, солью, перцем, лавровым листом и, взамен пшена, карасевой икрой. Уха получи-

лась наваристая, вкусная, с дымком, да разве бывает что невкусным, коли сварено на костерике?

По-прежнему на том берегу рокотал трактор. Его шум казался родственным другим скромным голосам простора: шороху камыша, крикам дергача, свисту синичек, мычанию коров, пасущихся через дорогу по первой траве. Когда-то лишь далекий паровозный гудок вписался в музыку природы, все остальные звуки, порожденные техникой, были ей чужеродны. А теперь и в тарахтенье трактора звучала лирическая нота.

Я слушал трактор, синиц, дергача, коров, смотрел на красноватые холмы и думал, что отсюда, от этого озера, с этого часа начинается новый отсчет моего внутреннего времени. Видно, нелегко было дать истинное имя тому, что творилось со мной, но я сделал это и, как двадцать восемь лет назад, готов к бою.

Я еще не вернулся к себе, не обрел слов. Но с каждым днем все отчетливее слышу их отдаленный шум.

В случаях, подобных моему, надо лечить не болезнь, а больного. И делать это должен ты сам. И если сумел начать борьбу, переломив в себе что-то слабое, застойное, пытающееся укрыться в болезнь, в ее безответственность, тухлый уют, тогда тебе многие начнут помогать.

Например, одуванчики. Мы скосили их в саду, чтоб не дать пойти в семя, а утром вместо золотистых головок сад был устлан легкими сероватыми шарами, и в воздухе реял пух — мертвые одуванчики осуществили главное назначение каждой жизни — продлить себя в потомстве...

Или чибис, постоянный обитатель болотца за клеверищем. Он переваливается в своем неровном полете, показывая то белую грудку, то черную спинку и крылья, и кажется, будто с ловкостью фокусника то скидывает, то надевает фрак...

Ты идешь лесной просекой, и у твоего глаза, почти касаясь зрачка, назойливо вьется крошечная темная мушка. Но попробуй взглядеться в нее, она тут же соскользнет к виску. И опять возникает, ее нельзя прогнать, эту смуглую мушку склероза. Даже недуг старости может доставить внезапную радость открытия.

А речка, возле которой ты прожил десятки лет и не знал ее вовсе? Попробуй проследить ее течение, ну, если не до самого

истока, то хотя бы до того места, где она сужается в ручеек. Она одарит таким богатством разных разностей, что тебе и не снилось. Ты увидишь берега, обтопанные диким зверьем, колхозные движки и мельнички, заводи, где под корягами темнеют поленьями шуки, веселую игру голавлей, пытающихся ухватить серебряной губой солнечный луч, кобальтовых стрекоз, повисших над водой, птичьи гнезда на обрыве высокого берега, купальщиц, поверивших в свою уединенность, рыбаков, странников, а коли повезет, так и русалку...

И очень хорошо пойти к солдатам близлежащей воинской части и поговорить о литературе, неспешно, спокойно, без громких фраз. Эти ребята со школьным, специальным и даже вузовским образованием — им такой разговор дороже увольнительной. И они провожают тебя в своих тяжелых кирзовых сапогах и застенчиво, словно девушке, дарят букет полевых цветов. И не знают, что они дали тебе больше, нежели ты им...

Лечиться надо верой в то, что не только тебе нужен мир, но и ты сам для чего-то ему нужен. И в какой-то миг возгорится огонь опаляющий, и он будет словом.

ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ

Он подымался в просторном, грохочущем грузовом лифте, способном принять и носилки с больными, и тележку с пищевыми котлами, на третий этаж, где находилось женское терапевтическое отделение. Лифтом управляла грозная старуха с мясистым бородавчатым лицом и необъятной грудью, расправшей и даже рвавшей в проймах больничный халат. Лифт всякий раз промахивал остановку, и старуха, дернув за мелкий штырь, осаживала его назад. «У, дьявол!» — ругала она лифт, словно норовистую лошадь.

Потупив голову, будто давая понять, что не видит ни лежащих в палатах за стеклянными дверьми, ни слоняющихся по коридору в коротких, не застегивающихся на груди халатах поверх нательных рубах больных, Кравцов быстро проскальзывал к палате матери. Однако каким-то образом все подробности больничной обстановки проникали ему в мозг. Он и в самом деле добросовестно старался выключить зрение. Но видел и койки, покрытые серыми одеяльцами, и ночные столики с питьем, лекарственными баночками, остатками еды, книжками, журналами, и ночные посудины, пустые и полные, и всегда не задвинутые толком под койку, видел больных женщин разного возраста, чаще старух, реже — средних лет и совсем редко — молодых, с землистыми лицами, тусклым взглядом измученных глаз — отделение было тяжелым, — женщин, так глубоко погруженных в свои муки, страхи, надежды, сомнения, что их оставила всякая стыдливость — им наплевать было, в каком виде застают их посетители. Рядом с палатой, где лежала его мать, вот уже несколько дней томилась между жизнью и смер-

тью крупная, лет под пятьдесят, женщина с откинутой на подушку маленькой седой головой. Потемневшая на лице кожа жестко обтянула скулы и приоткрытый, будто не дышащий рот. Одеяло сползло, сбилось к ногам, рубашка смялась в ком. От орехово-темной жилистой шеи тело ее странно молодело и казалось мраморным в своей белизне, налитости, величавой застылости. Было что-то грешное, дурное в том, что он замечал скульптурную красоту этого измученного тела. Кравцов торопился скорее пройти мимо.

Мать всякий раз до испуга изумлялась его появлению. Сероголубые обесцветившиеся глаза округлялись, уголки губ опускались, левой рукой она судорожно сжимала ворот рубашки. Кравцов понимал условность этого испуга: мать хотела показать, что его приход — полная неожиданность для нее, что ему вовсе незачем было приходиться.

— Нет, нет, все в порядке!.. — говорил он, поддерживая игру. — Просто выдался свободный час.

Такой «свободный час» выдавался каждый день, но Кравцов неизменно делал вид, будто это чистая случайность, поскольку знал, что мать в равной мере не хочет нарушать его привычного, рассчитанного по минутам распорядка и вместе боится, что сын не придет. Но ведь она же знает, что он не может не прийти. Да, знает и все равно боится, что вот сегодня не придет, и тоскует, и мучается...

Кравцов уселся на шаткий, крашенный белой масляной краской стул, обхватил колена худыми руками и, чуть покачиваясь, обратил к матери узкое, сдавленное в висках лицо и слабо, неуверенно улыбнулся. И мать улыбнулась в ответ с каким-то заговорщицким лукавством. Они не состояли в заговоре против посторонней жизни, как то бывает порой между слишком любящими друг друга людьми, но то, что принадлежало им, не могло быть поделено ни с кем.

— Когда меня переведут в обычную палату? — спросила мать.

— Там нет мест.

— Никогда не поверю. Люди здесь приходят и уходят.

— Считай, что ты наказана. Надо было вести себя спокойно, а не подменять ночную сестру.

— Она же готовилась к экзаменам. Зубрила физику, бедняжка. Она уже два раза проваливалась.

— Разве можно вставать со свежими швами? Теперь расплачивайся одиночкой.

— Я вовсе не скучаю без компании. Но мне неловко. Я ведь не так больна.

Кравцов сильнее сжал пальцами колено. Из материнского тела вырезали кусок величиной с яблоко, а теперь ее бедную плоть расстреливают из рентгеновской пушки. А там еще неизвестно, что покажет будущее. Быть может, снова на операционный стол. А матери семьдесят восемь, и у нее изношенное, перенесшее инфаркт сердце.

— Но ведь ты не просил, чтобы меня перевели в отдельную палату? — настойчиво сказала мать. — Правда, не просил?

— Нет.

Неужели мать не понимает, насколько крепко вошел в него ее жизненный устав? Никогда ничего не просить, получать то, что положено всем, не пользоваться никакими преимуществами, выстаивать все очереди, получать билеты лишь в общей кассе, любить свое дело ради него самого, а не ради выгод, которые оно может принести. Благодаря этому он в пятьдесят с лишком лет оставался и. о. директора исследовательского института, поскольку наотрез отказался от получения докторского звания по совокупности трудов. И все-таки Кравцов подзревал, что мать перевели в отдельную палату неспроста, а потому, что для тех, кто слышал об узкой и нешумной области науки, в которой он работал, его имя что-то значило. Но тут уже он был невластен, ибо всегда останавливался у той черты, за которой скромность уподобляется лицемерию. Но его мать, внучка народовольца, не признавала никаких соглашательств, хотя бы порожденных тактом, снисхождением к слабой человеческой сути или просто усталостью.

Оба замолчали. Мать, словно забыв о присутствии сына, стала есть принесенный им в кулечке виноград. Она обрывала с кисти ягоду, клала в рот, давила языком о нёбо и медленно, сосредоточенно, почти угрюмо жевала. Затем звучно проглатывала. Он подумал, что болезнь как бы фиксировала одряхление матери. Беда не в морщинах и темных пятнах на

щеках и лбу, не в наросте на верхнем веке, напоминающем кофейное зерно, и не в гречке, густо усеявшей худые, тонкие руки, не в седине истончившихся, поредевших волос, а в одряхлении духа. Прежде она не позволила бы себе так самозабвенно и жадно есть. Она и вообще-то ела мало, не ела даже, а пробовала, когда готовила на кухне. Он не мог вспомнить мать смакующей еду, даже просто жующей. Ей нужно было совсем немного топлива, чтобы гореть. Невысокая, худенькая, до старости сохранившая резкую четкость жестов, быстроту и легкость движений, походки, она не позволила жизненным невзгодам увести себя из царства Ариэля. А сейчас, забыв обо всем на свете, даже о сыне, жадно, по-старушечьи, наслаждалась «вкусеньким».

Он знал, откуда его раздражение, почти злость. Страшила всякая перемена в матери, малейшее отклонение от привычного образа. В ее возрасте благодатна лишь стабильность, за каждой переменной — старение или болезнь. Мать видела рост и созревание сына, превращение личинки в человека. Ему же мать была дана в законченном виде, раз и навсегда. Конечно, и в ней шла своя внутренняя жизнь, свершались какие-то перемены, но он их не видел, не ощущал, как, впрочем, до недавнего времени не замечал и разрушения внешней оболочки. Последнее объяснялось еще и тем, что мать входила в старость почти без потерь, легкой поступью, с высоко поднятой головой. Да он и сам постарел, и все вокруг постарело — близкий мир весь стал старше, зрелее и замер в этом, отнюдь не лишенном достоинства качестве. Дистанция между ним и матерью оставалась все той же, и это гарантировало неизменность ее образа. А потом мать словно заторопилась в настоящую, бесповоротную старость, а он не замечал этого, не замечал ее одряхления, пока не увидел на больничной койке.

Мать все с тем же алчным напором объедала — ягода за ягодой — увесистую, полную, как будто инеем подернутую кисть. А что, если ей это нужно?.. Нужно для работы выздоровления?.. Она равнодушна к винограду, но заставляет себя поглощать его, давить языком и добросовестно жевать, чтобы благо, заключенное в соке, стало благом ее крови. Тогда вся эта исступленность насыщения читается по-иному: старому, больному человеку нелегко дается даже такое вот малое уси-

лие. Кравцов почувствовал благодарность к матери за то, что она трудится для себя.

В самые тяжелые дни ее болезни Кравцова страшило, что мать, привыкшая всю жизнь без устали тратить на него, на его здоровье, силу, мужество, на его судьбу, успех в занятиях, на устройство семьи, не оставила для себя никаких запасов. Мать казалась ему безоружной перед собственной слабостью, перед угрозой конца. Но она с редким самообладанием перенесла и самое открытие в ней болезни, и все противоречивые советы врачей, почти ни в чем не совпадавшие друг с другом, и операцию, и те мучительные, поистине инквизиторские минуты на операционном столе, когда делали анализ вырезанной опухоли, дабы определить, надо ли резать дальше и глубже или можно зашивать, и внезапное — после двухнедельной радости — известие, что посев дал положительный результат (в медицине все положительное плохо) и нужна новая, обширная операция под общим наркозом, и последний поворот событий, определивший, что данные посева прочтены неправильно и операция заменяется курсом облучения.

Впрочем, его удивляло и делало счастливым не мужество матери, она и всю-то свою жизнь прожила стиснув зубы, без жалобы и стона, как бы тяжело ни приходилось, а наличие в ней каких-то скрытых сил. Несомненно, она помогала и усилиям врачей, и относительной реальности хирургического вмешательства. В медицине многое делается по наитию, наугад или на зыбкой основе анализов, которые разные врачи читают по-разному, равно как и кардиограммы и рентгеновские снимки. Последнее — вроде абстрактных полотен, каждый видит их по-своему и находит то, что соответствует его воспринимающему аппарату и настроению. Лечит себя в значительной мере сам больной, его воля, ум, привязанность к жизни, умение сосредоточиться. Всем этим обладала мать. У нее было и еще одно: она не могла оставить на произвол судьбы своего пятидесятилетнего сына. Она знала, что ни жена, спокойно и верно любимая, ни дочь, платящая отцу за нежность чуть небрежной симпатией, ни те несколько человек, которых он уважал и называл друзьями — по отсутствию настоящих друзей, не вернувшихся с войны, — не заменят ему старухи матери. Так сложилась их жизнь, и можно было лишь гадать, счастье это или

беда. До болезни матери он не считал это ни тем, ни другим. Счастье ли — воздух? Наверное, так, но ведь никому из живущих не приходит в голову умиляться: «Какое счастье, что есть воздух!» Таково условие существования. Правда, человек, вырывающийся из душного подвала, или подземелья, или из-под обломков рухнувшего здания, вдруг постигает ни с чем не сравнимое счастье — дышать воздухом. Так и он постиг переплетенность своей сути с сутью матери как великое счастье и великую беду, когда она оказалась между жизнью и смертью.

«Трудись, мать, трудись!..» — шептал Кравцов про себя, глядя, как она расправляется с виноградной кистью...

...Рослый вяз за окном качнул ветвью, будто хотел кинуть в палату охапку желтеющих, но еще плотных, крепких листьев, прочно сидящих на черенках. Ни один лист не оторвался, и вяз сердито затряс ветвью, желая настоять на своем. Наконец один-единственный листик, желтый, с зелеными прожилками и припухлым крапом кожной болезни, отделился от ветки и, чуть покачиваясь, влетел в палату и лег на ночной столик. Вяз разом успокоился, стих.

Кравцову вспомнилось, что поначалу он принял это дерево за липу, затем обозвал «ясенем» и лишь недавно вспомнил старого знакомца. В их замоскворецком дворе росли громадные вязы, возносившиеся верхушками выше глав Пятницкой церкви. За последние дни он вспомнил имена и всех других деревьев, кустов и трав больничного некультивированного парка. Вспомнил и липу, и ясень, и ракиту, и жимолость, и барбарис, и боярышник, и пижму, и таволгу — вдруг узнал их всех после долгой, долгой разлуки, посреди безнадежно городской жизни, без всякой подсказки со стороны.

Все деревья, кусты, цветы, травы, злаки, всех зверей, птиц, рыб, пресмыкающихся, насекомых назвала ему мать. Она рано позаботилась, чтоб он жил в поименованном мире, а не в окружении таинственных незнакомцев. «Кружевница перелетела с кукушечьей слезки на мятлик и вспугнула львинку!» — радостно сообщал он матери... Всю последующую жизнь он бессознательно освобождался от подробного знания мира, возвращаясь к младенческому, обобщенно-упорядоченному образу. «Букашка перелетела с травинки на травинку и вспугнула муху» — вот с чем он остался.

Но все-таки почему он вдруг опять все и всех вспомнил, узнал? Как и отчего пробудилось воспоминание? Ведь это произошло в пору, когда механическая память почти умерла в нем, он забывал номер своего домашнего телефона, путал имена знакомых и сотрудников, принимал среду за пятницу. Но если исключить чисто бытовые огорчения и неловкости, проистекавшие от такой забывчивости, то вообще Кравцов не слишком горевал об утрате памяти низшего сорта, ибо образная память стала в нем едва ли не еще крепче. Он догадывался, что возвращение имен насельников мира никак не связано с механической памятью, а с чем-то куда более важным и глубоким, быть может, с самым важным и глубоким в его существе...

— А ты помнишь каток? — послышался голос матери. — Парнишка совсем не умел кататься, шлепал снегурками по льду, как утка лапами, а потом уплетал огромный тульский пряник!

Кравцов улыбнулся:

— Еще бы!.. Пряник был печатный, темный, с медовым привкусом, немножко залежалый.

— По-моему, для него́ главная радость катка была в этом прянике! — весело сказала мать. — Как хорошо, что мы знали этих людей, вспомнишь — на сердце тепло!

Ее впалые щеки порозовели, в глазах появился блеск, она приподнялась на подушках, выпрямилась столбиком, стала прежней, давней.

Они заговорили о своих знакомцах, мелькнувших в их жизни, когда Кравцов еще не ходил в школу. Тот мальчик был одних лет с ним, но уже школьник. И относился к Кравцову как старший, сильный и мудрый друг, отвечающий за его целостность и сохранность. Так же рыцарски-покровительственно относился он и к своей матери, молодой, красивой, похожей скорее на его старшую сестру, нежели на мать. Они были на одно лицо — мать и сын: темноволосые и кареглазые, с горячей, смугло-румяной кожей.

Да, он словно видит их перед собой, ощущает их дыхание, чистое, свежее... И все же... Была ли в яви эта пора или придумана, вернее, собрана, наподобие мозаики, из клочков реальностей и мнимостей? Попробуй уследи, как творятся домаш-

ние легенды, обволакивающие жизнь каждой семьи туманом мифологии.

О них заговорила мать в день, когда ей сделали операцию. «А ты помнишь их?» — спросила она с какой-то молящей интонацией. И Кравцов тут же, с удивившей его самого радостью, вспомнил очаровательную пару, очаровательную всем — наружностью и тем, как они держались друг с другом: свободно, нежно, почтительно, и тем, как легко всему радовались — новым людям, прогулке, сугробам, лошадям. Они явились, вспыхнули праздником и погасли, как праздник, — слишком быстро и рано, не дав утolenия.

Сдержанная в болезни, как и в обычной здоровой жизни, мать необычайно оживлялась, когда речь заходила об этой паре. Кстати, это она придумала называть мать с сыном «парой» — так вроде бы не принято? И у Кравцова влажно горячела душа, когда они вспоминали разные маленькие подробности их краткого сближения. Все это житейское, милое ничего не могло сказать чужим душам, но для них было исполнено важности и глубины. Мать помнила гораздо больше сына, больше даже, чем могла помнить, но Кравцова почему-то не удивляла странная ее осведомленность.

И все-таки откуда взялась милая пара и куда скрылась?.. И почему не оставила никакого зримого следа своего появления? Ни телефона в старой записной книжке, ни почтовой открытки, ни какой-либо безделицы, случайного знака внимания? И почему, так приблизившись, вдруг исчезла, и навсегда? Ведь не было ни ссоры, ни обиды, никакой тени не пробежало между ними. Быть может, они просто уехали из Москвы? Скорее всего так, но почему не было последней встречи, прощания, хотя бы телефонного звонка? Внезапный отъезд, когда нет времени ни на прощание, ни на сборы, — вот единственное объяснение, хотя и сомнительное. Казалось бы, чего проще — спросить об этом мать, помнившую так много. Но Кравцов знал, что не станет спрашивать, а сегодня ему впервые приоткрылось и то, почему он не станет спрашивать.

Мать выращивала его на холоду. Он не видел своего отца, погибшего в гражданскую войну. Мать не любила разговора об отце. При этом она всегда готова была ответить на любые вопросы сына. И отвечала четко, кратко, как в анкете. Но ему

не нужны были анкетные сведения, ему нужно было совсем иное, и, убедившись, что этого иного от матери не дождешься, он перестал спрашивать об отце. Мать взяла на себя всю полноту ответственности за сына и не нуждалась в моральной поддержке ушедшего. Кравцов так и не мог постигнуть, какое место занимал его отец в сердце матери. Порой ему казалось, что мать засушила себя от горя, которого так и не смогла преодолеть, порой же — что мать вовсе не любила его отца, но хотела иметь ребенка и, еще не ведая судьбы, шла на то, чтобы растить сына в одиночку. Отца звали Кирилл Алексеевич Осокин. Кравцов носил материнскую фамилию. «Отчество» — заведомо отцова корня, но будь это возможно, мать наделила бы его своим отчеством.

Все же мать опасалась, что на характере сына скажется отсутствие мужской близости. Кравцов прошел спартанскую выучку. С тех пор как он себя помнил, ему было заказано плакать и жаловаться. Он приучился жить с сухими глазами. Он и сам никогда не видел мать плачущей. Даже когда уходил на фронт, мать не дрогнула. «Ну, счастливо, сынок. Пиши», — и до двери не проводила, в окошко не выглянула. Мать никогда не целовала его, даже маленького, даже поздравляя с днем рождения. Она крепко пожимала ему руку и вручала подарок. Сто лет молчания — это о них, об их жизни, такой тесной жизни в крошечной комнате старого замоскворецкого дома. То было не молчание сухости, равнодушия, а молчание слишком сильной, пронзительно сильной любви, боящейся погубить родного человека слабостью, жалостью, слезным распадом. Если б рядом был отец, мать, возможно, была бы другой. Но не существовало противовеса женскому, нежному, и она стала как железо.

Кравцов вовсе не чувствовал себя обделенным. Конечно, он видел, что у его товарищей другие отношения с родителями, но не завидовал им, а с легкой брезгливостью наблюдал их телячьи нежности. Ему было безмерно интересно с матерью. Она неумоимо открывала ему мир — в природе, книгах, искусстве, окружающих и ушедших людях, в истории, географии, археологии, воспитывая в нем чувство мирового бытия, а не бытового существования. Его всегда удивляло, откуда мать,

недоучившаяся гимназистка, техническая переводчица, так много знала.

О чем бы они ни говорили с матерью — пережитом или прочитанном, над чем бы ни трудились сообща, будь то предмайская уборка комнаты, возделывание огородной грядки, засолка груздей и рыжиков или сборы его в армию, — между ними творился неслышный обмен, возводивший обыденность в ранг высшей жизни. И все же сто лет молчания были их уделом. Сколько нежности они подавили в себе, сколько жалких, глупых, ненужных и необходимых слов замолчали, сколько заморозили слез, сколько оборвали душевных движений!

Быть может, никогда не ощущали они так отчетливо своей обделенности, как при появлении гимназической подруги матери с сыном чуть постарше Кравцова. Да, конечно, они были в яви — темноволосые, кареглазые, с горячими лицами — мать и сын, очаровавшие их своей веселой добротой и полной душевной раскованностью. Они провели вместе целый день, куда-то ходили, кажется, на «Трех мушкетеров» с Дугласом Фербенксом, потом пили чай с земляничным вареньем, листали иллюстрированного «Барона Мюнхгаузена». А потом Кравцов с матерью стояли на площадке лестницы, глядя, как гости погружаются в темный колодец глубокой лестничной клетки. И больше ничего не было, потому что мать и сын уехали к себе домой, на Дальний Восток...

Они возникли вновь, в этой палате, после самых страшных часов в жизни Кравцова, прошедшего войну рядовым пехоты и, следовательно, не нуждавшегося в сошествии в ад, дабы узнать, что такое «страшно».

Мать первая заговорила о них. Кравцов подхватил, и они увлеченно, вперебой стали создавать портрет милой пары, вспоминать их словечки и шутки, их звонкий, легкий смех, и как они любили друг друга, и как хороши, приветливы, открыты были с другими людьми. И чем дальше, тем больше вспоминалось им, и то были самые счастливые минуты в их жизни, потому что они говорили вовсе не о каких-то там далеких людях, а о самих себе, и о том, что действительно было, и о том, чего не было. Все, что скопилось за век молчания, выговаривали они теперь, стыдливо перекладывая на других свое невыска-

занное, нежное, жалкое, подавленное и все равно живое под спудом лет...

Уже несколько раз заглядывала палатная сестра, и, хотя она ничего не говорила, Кравцов понял, что пора уходить. При всей своей деликатности, стремлении не обременять собой окружающих, он всякий раз засиживался так, что приходилось чуть ли не силой выдворять его из палаты. Но на этот раз больничные служащие были на редкость терпеливы.

Когда он уже поднялся, мать сказала с тем же радостным оживлением:

— Завтра мы, наверное, не увидимся. Мне опять на операционный стол.

— Как это?.. — Кравцов не почувствовал ни малейшего испуга, обманутый ее веселым тоном.

— У меня кровотечение. Ничего страшного. Просто завысили дозу стимулирующего лекарства. Это даже не операция, ты не думай...

И вот он опять в коридоре. Миновал полуобнаженное мраморное тело с будто приставленной глиняной головой и оказался в сыроватой прохладе лестничной клетки. Бегом спустился вниз по обшарпанным ступенькам, и вечеряющий парк принял его в свою осень. Но, лишь очутившись за воротами, на краю обширного пустыря, еще не ставшего площадью, он понял, что и парк, кленовый, вязовый, липовый, пропитан стойким больничным духом.

«Какая жалость, — подумал Кравцов, глядя в ситцевую голубень неба над площадью-пустырем, — что Бога все-таки нет! Мне куда легче было бы поверить, что он повторил для моей матери чудо библейской Сарры, чем привычному оптимизму врачей. А что, если это второй удар все того же недуга? Недуг! Какое мягкое, дряблое слово! Кошмар человечества, знак, под которым мы все родились... Значит, опять по знакомой тропинке вниз, в бездну, в ад?..»

Почему он не кричит? Почему его рот не сведен судорогой отчаянного вопля? Почему сухи глаза? Мимо проходит множество людей, никто не задерживается на нем взглядом, значит, лицо его совершенно спокойно. Но ведь и все прохожие люди так же спокойны. Они идут из больницы и в больницу, а рядом железная дорога, где расстаются на долгий или краткий

срок, за ней кладбище, где расстаются навсегда. Но, глядя на прохожих, не скажешь, что в мире есть страдание. И тут ему почудилось, будто привычный и нетревожный, как тишина, шумовой фон городской окраины пронизывается странными, высокими звуками, похожими на стон, на всхлипы и взрыды. Скрытые голоса человеческой боли, и среди них он услышал собственный голос, задушенный крик из плотно сжатого рта...

«Почему все мы так постыдно не готовы к смерти — и к собственной, и к смерти близких людей? Ведь смерть не может и не должна быть трагедией в силу своей естественности и непреложности. Загвоздка, видимо, в том, что мы не проживаем даже половины положенного срока. Мы все уходим слишком рано, не изжив своего земного образа, не осуществив себя до конца в деле, творчестве, любви, даже не осознав толком своего бытия. Наша смерть — это смерть детей, подростков, юношей, редко — взрослых людей, никогда — стариков, кроме редчайших исключений. Я не могу примириться с уходом моей молодой семидесятивосьмилетней матери, мы не успели наговориться, наглядеться друг на друга, надышаться друг другом. Мы едва лишь познакомились и уже врозь — это чудовищно несправедливо!..

А ведь человек еще только начинается, — думал Кравцов. — Мы находимся в самом начале нашего осуществления — и в физическом, и в моральном, и в умственном смысле. Мы поражаемся успеху тяжелоатлетов, поднимающих в троеборье шестьсот пятьдесят килограммов, а ведь человек должен поднимать такой вес за один раз, если научится извлекать всю заложенную в него силу. Я видел, как худенький, слабогрудый шизофреник разогнал свадьбу в доме пожарного. Приступ безумия раскрепостил в шуплом пареньке всю залежь истинной человеческой силы, и он расшвыривал здоровяков-топорников как котят...»

Кравцов вышел к мосту через железную дорогу. Тут находилась какая-то товарная станция: пыхтели маневренные паровозики, двигая сцепы пустых и груженных товарных вагонов, предваряя каждое движение вперед-назад тонкими, хватающими за сердце гудками. И от этих гудков, дымно-гарного запаха и тепла, исходящего железнодорожным полотном, нахлынуло детство. То не было воспоминанием, то было самим

детством, вступившим ему в худые лопатки, в задохнувшуюся грудь, в чуть онемевшие кончики пальцев. Он чувствовал свое детское тело и детскую тоску по матери — запах мазута и шлака всегда был предвестником разлуки.

Болезнь матери вернула ему природу, имена, какими назван цветущий и дышащий мир, детство и первозданность износившихся чувств. Он плохо и скупо прожил последние десятилетия своей жизни. Он не дал себе труда быть гениальным, лишь топтался в преддверии истины, не приближаясь к ней ни на шаг. Узкая профессионализация — конец настоящей науки. Понадобился могучий удар, выбивший с привычной орбиты, вернувший его к себе маленькому, к себе трепещущему, к себе обмирающему при виде мокрых путей или старого вяза, чтоб он исполнил свое жизненное назначение. Он сделал то главное открытие, какое многим первоклассным умам казалось невозможным, — открыл первопричину бытия, начало начал, нашел ответ на вопрос, мучающий и малого ребенка, и седого мудреца: откуда взялось все? И ответ пришел не в отвлеченности математических формул, а в самых простых, доступных любому смертному словах. Он был потрясен не столько самим открытием, сколько незамысловатостью и самоочевидностью того, что казалось тайной тайн. Ответ был у всех под рукой, и можно было лишь удивляться косности человеческого мышления, не способного отбросить привычные стереотипы.

Но разве мы понимаем, что древние египтяне жили в двухмерном мире, а древние греки не ведали понятия времени? Когда он обнаружит свое открытие, человечество будет ошеломлено сильнее, чем атомным взрывом. Но уже люди следующего поколения будут иронически недоумевать, как это их предшественники умудрялись жить без понимания коренной сути бытия.

И если б не болезнь матери, не было бы никакого открытия. В страдании заключена и могучая творческая сила. Мать, заболев, пробудила в нем эту творческую силу. Она словно давно угадала пронизательностью своей любви, что он никуда не движется, лишь симулирует — не преднамеренно — работу мысли. Воспитание на холоду при спорных преимуществах закалки несет в себе серьезную опасность вымерзания родни-

ков вдохновения и прозрения. Вот тогда мать совершила великое усилие любви во спасение сына.

И теперь, когда он был спасен для труда, творчества и мышления, она хотела жить. Неужели он не способен отплатить матери таким же великим усилием? Нельзя предоставлять ее собственным надорванным силам.

«Настал мой черед, — думал Кравцов, — вдвоем мы одолеем смерть. Надо лишь усилиться всей любовью, всей верой, всей необходимостью друг для друга и невозможностью друг без друга, всей памятью о прошлом, всем смыслом настоящего и, главное, будущего».

— Ты будешь жить, мама, — вслух, будто мать могла услышать, сказал он в волглый сумрак, скрывший рельсы, водокачки, составы.

Перейдя железнодорожный мост, Кравцов оглянулся. На малом всхолмье, над старыми вязами обрисовалась темная крыша больницы, и он повторил, как заклятие, как мольбу и как приказ:

— Ты будешь жить, мама...

Жена Кравцова проснулась среди ночи, охваченная странной тревогой. Мужа не было рядом. Она не стала зажигать света, сразу обнаружив у окна высокую худую фигуру. Последнее время его мучила бессонница, но снотворного он не признавал. Он был в своем стареньком байковом халате и неотрывно смотрел в темное окно. Ей почудилось, видимо со сна, что его голова источает слабое зеленоватое свечение. А воздух был озонирован, как после сильной грозы, хотя какая гроза могла быть посреди гнилой осени? Она вздохнула и закрыла глаза.

А Кравцов продолжал стоять у окна, усиливаясь против смерти...

ВОРОБЕЙ

Друзья повезли нас в Нормандию, в старинный город Онфлер. Для русских ушей более привычны названия соседних курортных городков: Трувиль и Довиль — там нередко оказываются персонажи переводных французских романов. Я, правда, не могу назвать ни одного романа, но мешанина из неизлечимых недугов, расстроенных нервов, случайных и роковых встреч, разбитых сердец, букетов весенних роз и осенних хризантем — символов свиданий и разлук заполняет мою ослабевшую с годами память, как только я слышу: «Трувиль», «Довиль». Мы же отправились в Онфлер, о котором я ничего не слышал, в гости к поэту и прозаику Грегуару Бренену, о котором я услышал тогда впервые. Мне сказали, что в Нормандии он знаменитость, его имя знакомо всем детям и всем взрослым: каждое утро он читает по радио новую придуманную им сказку, раз в месяц выступает с собственной программой по телевидению; кроме того, он является основателем, организатором и непременным участником Нормандского фестиваля литературы, а также организатором, но не участником Нормандского фестиваля джазовой музыки. Эта его вполне бескорыстная деятельность получила признание в столице Франции, и Грегуар удостоился официального титула председателя фестиваля литературы Нормандии. Никаких материальных преимуществ, равно и шумной славы, энтузиасту нормандской культуры это не приносит. А вообще во Франции, которая вовсе не столь уж велика и необъятна, в порядке вещей такая вот локальная, губернская слава, не выходящая или почти не выхо-

дящая за пределы края. Я не хочу сказать, что Грегуара Бренена не читали жители, скажем, Иль-де-Франса, Бретани или Лангедока, им наверняка попадались его стихи, и поэмы, и автобиографический роман «Воробей», но знаменит талантливый поэт и прозаик лишь у себя в Нормандии, что не так уж мало: от Гранвиля, лежащего на берегу залива Сан-Мало, до Дьёпа и Ле-Трепора, портов в восточной стороне Ла-Манша, гремит его имя, его знают и любят в столице провинции Кане и в Руане, где сперва сожгли, а затем посмертно реабилитировали Жанну д'Арк, его знают в Шербуре, нерасторжимо связанном для нас с зонтиками и Катрин Денёв, в Аржантоне и Лизье, и в крупнейшем порту Франции Гавре, восстановленном из развалин. В Бетюне, Шоне, Эвре, Алансоне слава его резко убывает, поскольку здесь глохнет нормандское радио и меркнет нормандское телевидение. И я вовсе не уверен, что в Гренобле, Авиньоне или Тулузе имя Грегуара Бренена что-нибудь говорит людям, во всяком случае, в Ментоне и Антибе я тщетно пытался отыскать его читателей, его знали здесь не больше, чем в Шилове или Выксе. Читают во Франции чрезвычайно мало, только самых признанных, разрекламированных, увенчанных академическими лаврами, выдающимися премиями или на худой конец сумевших вызвать громкий скандал. Я имею в виду литературу, а не бульварщину, которую листают жадно.

Воробей, так прозвали Бренена в Нормандии, не академик, не лауреат, не скандалист, он культуртрегер — самое благодарное занятие (точнее, призвание) во Франции, как и вообще в Западной Европе. Но это дает ему возможность не умереть с семьей от голода, что непременно случилось бы, будь он только поэтом.

Мы выехали утром из Парижа и, сделав крюк в честь Жанны д'Арк, полюбовались прекрасным Руанским собором, а на Рыночной площади — лобном месте спасительницы Франции — обнаружили непроглядные строительные леса. Потратив на это столь редкий нынешней весной солнечный просвет в безнадежной хмари и зноби, мы за полдень прикатили в Онфлер, едва различимый в белесой дождевой пыли. То не было дождем, а именно водяной пылью растерзанных ветром небесных струй.

И все равно город сразу пленил нас. Седая дождевая пыль, забившая его узкие улицы, обволакивающая стены дряхлых зданий, погружала его в глубь Средневековья.

Потом, когда выглянет солнце, мы увидим город сильно омоложенным, но в этой влажной хмари он казался целиком принадлежащим той таинственной и влекущей воображение поро европейской жизни, которую долго считали предрассветной, а ныне готовы поставить выше Ренессанса по цельности и одухотворенности созидательных усилий, воплощавших идею нового христианского мира.

В Онфлере есть и современные здания, и большие магазины, и новая гостиница, но лицо города создают старые дома под темной черепицей, разбухшие от обильных нормандских дождей, поливающих их из века в век, дома, словно разрисованные по меловой побелке черными полосами, на самом деле то крашенный деревянный каркас, в который набивали камни и глину. В стены вбиты железные скрепы, без них дома рухнут в узенькие улочки, закупорив город. А еще лицо города создают старинные церкви, одна из них — Святой Екатерины Онфлерской — деревянная с деревянной же колокольней, и другой подобной нет во Франции. Но мысль о Кижях, о деревянных церквях нашего Севера, Вологодчины, Ярославщины не приходит в голову — совсем разные идеи заложены в русском церковном деревянном зодчестве и Онфлерском храме. Наши церкви будто взлететь хотят, так напряженно устремлены ввысь, к небу. Церковь Св. Екатерины прочно прикована к земле своим длинным смуглым телом. И даже довольно высокая колокольня не возносит ее выспрь, а точным расчетом пропорций еще крепче привязывает к земле.

Но Онфлерский храм прекрасен и без того воспарения, каким дарит душу русская деревянная архитектура, его строители сознательно «заземлили» Божий дом, ибо на земле надлежало блюсти Божье дело. То не было вызовом небесам, а призывом к косматому сердцу недавних варваров.

Улыбка Онфлера — чудесный маленький заливчик, вторгшийся в самый центр города и забитый рыбацкими и прогулочными лодками с разноцветными парусами. Рыбацкие суденышки — строгих деловых цветов, а прогулочные и спортивные состязаются в яркости; нет просто зеленого — изумрудный,

просто желтого — канареечный, а если синь — так небесная лазурь, если красное — как заря. Радость этой живописи открылась нам не сразу, когда мы подъезжали, заливчик со всем онфлерским флотом был блекл, пасмурен, как-то влажно-задымлен, словно его создала грустная кисть Марке, но тут, пробужденный солнцем, за него взялся Дерен и вмиг переписал в праздник.

Грегуар Бренен жил в доме четырнадцатого века, выпучившемся вторым этажом на улицу, такую узкую, что проехавший по ней «фольксваген» размазал нас по сырým стенам.

Старинные водосточные трубы истекали из львиных зевов последней торопливой влагой, входная дверь, обитая железом, была высока и торжественна, как в соборе, окна — заподлицо со стенами — благородно высоки и узки, и хорошо отяжелела ладонь бронзовая ручка колокольчика, гулко сообщившего хозяевам о прибытии гостей.

И вот мы уже в холле вполне современного жилья. Настроенный на встречу с низкими прокопченными потолка́ми, давящей тишиной замшелых стен, склепёй, пронизывающей студию, деревянной тяжелой мебелью, оловянной утварию на присадистом темном дубовом столе, сырými дровами у прокопченного очага, я был сбит с толку электрическим светом, высотой потолков, светлой окраской стен, вешалкой красного дерева и всем современным комфортом открывающихся в перспективе комнат. А затем возникло ощущение, будто в прихожую влетела стайка щебечущих хлопотливых воробьев. Этот быстрый, сухой шум производил небольшой, худощавый и моложавый (обманчиво моложавый) человек, весь какой-то взъерошенный и трепещущий, будто воробей над кормом. Да он и был Воробьем — так называет вся читающая Нормандия Грегуара Бренена по кличке главного героя его автобиографического романа. Иначе и не назовешь: он воробей по облику, по малости плоти, подвижности, безбидности и жизнестойкости; он не подчиняется земному притяжению, может враз вспорхнуть и перелететь на другое место, да и клюет он по зернышку.

Как-то сразу всплыло, что дом не принадлежит Брене́нам, их пустил сюда приятель за вполне условную мзду, и мебель тоже им не принадлежит, равно как и все прочее

материальное наполнение средневекового жилья, что настоящий их дом — на колесах, старый рыдван, на котором они всей семьей разъезжают по Франции и соседствующим землям в поисках корма.

У Грегуара не было имущества — да и зачем оно Воробью? — но у него было кое-что получше: черная дворняжка с лисьей мордочкой и говорящая сорока в большой клетке.

Нас представили жене Воробья, оказавшейся вовсе не Воробыхой, а довольно крупной, неторопливой женщиной, погруженной в какую-то внутреннюю тягостную заботу, с гостем — сангвиническим мосье, рослым, жизнерадостным и на редкость любознательным, с огромной, рыхлой, отечной старухой из дома престарелых; мы приняли ее сперва за деревенскую бабушку, приехавшую потетешкать внука (внук тоже был очаровательный!), затем за кормилицу сына Брененов, оставшуюся в доме по иссушению молочного источника. Все было проще и печальней — одинокая, очень старая женщина, пережившая всех родных и близких и нашедшая тепло и привет в чужой семье. Она приходит сюда каждое утро, пьет чай (по-нашему, «сладит»), потом усаживается в глубокое кресло в столовой и сквозь дрему внимает кипящей вокруг жизни, поздно вечером возвращается в свое старушечье убежище. И еще нас представили пожилой артистического облика даме с подчеркнуто прямой спиной, высокой грудью, хорошо уложенными седыми волосами и выражением какого-то больного достоинства на розовом, тщательно «сделанном» лице. Дама оказалась бывшей артисткой, тоже из дома для престарелых, лишь более высокого ранга, нежели обиталище сельской бабушки, но сюда приходила за тем же самым — за человеческим теплом.

Для тех, кто хорошо знает французов с их эгоизмом и расчетливостью, сразу скажу: Воробей не выродок своего народа, в нем слиты три крови: французская, бельгийская и русская. Его отец из балетной семьи, и сам балетчик ребенком был вывезен из России с бродячей танцевальной труппой и после долгих странствий прижился во Франции, обзаведясь по пути женой — бельгийской танцовкой, чьи предки были выходцами из Франции.

Воробей довольно сносно говорит по-русски, хуже понимает — отсутствие разговорной практики. Куда сильнее, как вскоре выяснилось, он в языке птиц.

— Кто они?.. Кто они?.. — взволнованно спрашивала со-рока, дергая коротким, будто оборванным хвостом.

— Спокойно, Коко, спокойно, малыш, — успокаивал Гре-гуар. — Добрые люди.

— Что они, Грегуар?.. Что они, Грегуар? — беспокоился Коко, прыгая и громко стуча тонкими жесткими лапами по фанерному полу клетки.

— Из Москвы, Коко. Они из Москвы.

— Из Мос-квы?.. — повторил совершенно потрясенный Коко.

И тут я спохватился, что тоже понимаю язык птиц. Это была моя детская мечта. Боже, как завидовал я сказочным пер-сонажам, понимающим язык птиц и зверей, особенно Нильсу, другу гусиной стаи! И вот на склоне лет меня постиг желан-ный дар. Но Воробей, с которым я поделился своей радостью, разочаровал меня: они говорили по-французски. Я много раз бывал во Франции, и неудивительно, что накопил сорочий запас слов. И тут только постиг я суть другого чуда: Коко вла-деет человеческой речью.

— Да, он недурно говорит, — снисходительно кивнул Гре-гуар. — Но страшный болтун и несет всякую чепуху. Вы толь-ко не подумайте, что мы не любим Коко. Он наш самый близ-кий друг. Я вам расскажу одну историю. Однажды он пропал. Это случилось в поездке. Раньше мы много ездили всей семь-ей. Теперь жена занята внуком, у сына керамическое дело, много работы, мало денег... А тогда чуть весна — и мы в путь. Я читал стихи, сын собирал деньги в шляпу — бродячие коме-дианты, да и только. На стоянках Коко выпускали из клетки, он прыгал по веткам деревьев, немного летал — крылья у него слабые. И вот раз Коко исчез. Уже в путь пора, а его нет. Зовем, сигналим — чуть аккумулятор не посадили, — обшари-ли все заросли: как в воду канул. Ничего не поделаешь, надо ехать. Километров полтора отмахали, дождь зарядил. И мы представили себе Коко — маленького, мокрого, беззащитно-го. Я развернулся и рванул назад. Подъехали уже в темноте, я заглушил мотор. И вдруг слышим сквозь шорох дождя: «Коко!..

Коко!.. Бедный Коко!» — он сидел на ветке дикой груши и так отчаялся, что не узнал машины. Сами понимаете, что тут было...

— А куда он девался? — спросил я.

Грегуар посмотрел на меня с повышенным интересом.

— Коко бывает порой на редкость скрытен.

Наша мирная беседа была прервана мягким прыжком, железным осклизом когтей по прутьям клетки, шумным скачком Коко, другим прыжком, лязгом зубов и стремительным вознесением на шкаф серой в яблоках кошки, пришедшей в гости вместе с бывшей актрисой. Черная дворняжка Грегуара старательно вычихивала кошачий пух, забивший ей нос. И вновь тишина, покой, будто ничего и не бывало. Мне понравилось, что Грегуар никак не отозвался на происшествие, он знал, что звери сами разберутся, и умная бдительная Лисичка не даст в обиду Коко. Он был настолько близок естественному миру, что все свершающееся там ощущал изнутри.

С каждым годом я лучше и лучше узнаю беды и преимущества старости. Все тяжелее двигаться, все тяжелее что-то начинать, все тяжелее жить, но и все интереснее. Утихают страсти, отпадают, как струпья засохших ран, пороки, в стерильной чистоте освободившегося от земных тяжестей духа открывается широкий и незамутненный простор для наблюдения, растет бескорыстный интерес к шуму и движению жизни, больше видишь и слышишь и порой обнаруживаешь в привычке такое, о чем раньше не подозревал. К тому же старость — великий придумщик, игрун: она впрягает нити полудремы в туманец усталого, но бодрствующего сознания и создает новую действительность, радостно и тревожно отличающуюся от той бедной и однозначной, в которой проходила предыдущая жизнь.

Что были для меня раньше два бокала красного столового, чуть тяжеловатого вина, выпитые за поздним завтраком? Я забыл бы о них прежде, чем поднялся из-за стола. А сейчас они повергли меня в то полупризрачное состояние, когда без всякого усилия оказываешься за очевидной сутью вещей. Молодым, здоровым и плоским, как блин, я никогда бы не увидел прекрасного спектакля, разыгранного после завтрака в гостиной, где мне предложили отдохнуть в глубоком дряхлом кресле перед прогулкой по городу.

Воробей сидел на буфете, величественном, как готический собор, и был одновременно уличной серенькой, с коричневыми крыльями птичкой и нашим гостеприимным хозяином, достигая этого не увеличением и очеловечивающим изменением своего состава, а выражением маленького птичьего лица. Фокус его превращения был в круглых с золотым обводом глазах: чуть прищурится, скосится, напустит в черно-млечную капельку зрочка иронической нежности и какой-то жалкой безунывности — и готов наш милый поэт Грегуар, сморгнет все разом, оставит пустой черный кружок — суетливый глупый воробей. Зато высвободившийся из клетки Коко стал ростом чуть не с человека; самоуверенно до нахальства он напяливал на себя одежду хозяина, приготовленную на выход: белую рубашку с галстуком-бабочкой, синестальной вельветовый пиджак с платочком в кармане, голубые фланелевые брюки.

— Коко, — проникновенно звучал голос Грегуара с вершины готического буфета. — Может быть, не надо?

— Но ты же знаешь, Грегуар! — надменно отзывался Коко, намекая на какие-то им двоим известные обстоятельства.

— Не будь таким упрямым, Коко!

Вместо ответа Коко всунул тонкие ноги в замшевые туфли Грегуара и подтянул брюки.

— Коко! — молил Грегуар. — Коко, не уходи так далеко!

— Ни слова, Грегуар! — с тем же противным высокомерием оборвал Коко.

Откуда взялся его покровительственный — свысока — тон, и почему он присвоил себе право на выходную одежду Грегуара? Быть может, тут сказалось превосходство сороки над воробьем? К тому же Грегуар был сейчас совсем крошечным воробьем, а Коко — сорокой-гигантом.

Я обнаружил еще одну интересную пару. Развалившись на диване, Лисичка и Кошка-гостья распивали рубиновый «Шатонеф дю пап» из хрустальных бокалов. Недавней ссоры как не бывало — лучшие друзья, усы испачканы вином, в глазах шальной блеск, но в чужие дела не вмешиваются, заняты только друг другом. Мне нравилось все это не знаю как, только жаль, что меня не взяли в игру. Я все-таки из Москвы и тоже мог бы чего-нибудь отчудить.

— Ну, я пошел! — послышался мягкий и звучный голос Грегуара.

Он стоял передо мной в сине-стальном, сильно приталенном пиджаке, ноги в голубых наглаженных брюках нетерпеливо переминались, а Коко, умалившись до положенной сорочке скромной величины, прыгал в клетке, подергивая куцым хвостом, на диване нежилась серая кошечка, а собака несла у двери свою вахту.

— Куда вы? — спросил я с неприятным чувством, что мне это должно быть известно.

Грегуар улыбнулся своим большим ртом, полным крепких желтоватых зубов, его улыбка прощала мою невнимательность.

— Торговать поэзией. Близится священный час французского обеда. Мое место в ресторане.

— Я думал, вы ходите только вечером, — попытался вывернуться я.

— Да, в будние дни. А по субботам и воскресеньям — два выхода: в обед и в ужин. — Грегуар почему-то всегда посмеивался, когда говорил о своих делах. — Пищеварение располагает к лирике и развязывает кошельки. Видите, я беру с собой десять экземпляров поэмы и шесть — романа. Если продам хотя бы половину — я на коне. Вечером, как правило, урожай богаче.

Любовная поэма Грегуара Бренена издана в Париже по макету автора: искусно набрана, великолепно иллюстрирована; книга не сброшюрована, это отдельные, большого формата листы толстой гладкой матовой бумаги, вложенные в обложку из очень тонкого мягкого белого картона. Конечно, это дорогое издание, книги и вообще недешевы на Западе. Распродать тираж обычным путем — при том пониженном интересе к поэзии, какой переживает сейчас Франция, — дело безнадежное. Современный француз — рационалист до мозга костей, воплощение душевной трезвости и плоского материализма, ему ненавистно все, что несет смуту, тревогу, сомнение в раз и навсегда установленных ценностях. А он давно знает цену всему: вещам, идеям, развлечениям, чувствам, даже точно рассчитанным заблуждениям. Поэтому во Франции равнодушны к стихам, поэтому там плохой спорт, ведь для победы в сегодняшнем спорте надо быть немного безумцем, а уж фана-

тиком — наверняка. Но всякая чрезмерность, по мнению французов, — дурной тон.

На вооружении Грегуара не только поэзия, но и проза — роман «Воробей», который легче продать, но и стоит он куда дешевле. А ведь в двух этих книгах — все, что мы ели и пили за завтраком: омлет, кролик, салат-латук, масло, хрустящие круассаны, яблочный сидр и тяжеловатое красное вино, все, что будут есть и пить сегодня и все последующие дни в доме, где за столом всегда гости, в этих книгах — молоко и каша для внука, его ползунки, соски, игрушки, в них — помощь родителям малыша, изнемогающим в своем почти бездоходном ремесле, равно и конопляное семя для Коко и косточки для Лисички.

— До встречи! — сказал Воробей.

Вспорхнул и улетел.

А мы отправились в город, и пока бродили по его узеньким, извилистым, то тянущим навздым, то под гору улочкам, раз-другой мелькнул Грегуар с папкой под мышкой, перебегающий из ресторана в ресторан. Мне казалось, что ноша его не уменьшается, но после он хвастался, что почти выполнил план. Погода неважная, мало приезжих, но закат розов, чист, завтра будет отличная погода, и он «сорвет банк». Впрочем, есть надежды и на сегодняшней вечер: люди весь день отсиживались по домам — онфлерцы в отличие от шербурцев не любят гулять с зонтиками, — их наверняка потянет в кафе. Рассуждая, Грегуар быстро поклевал свой обед, ему подавали вне очереди, чтобы, отдохнув, он мог пораньше отправиться на вечерний промысел. Он ел быстро и невнимательно, как человек, вовсе не замечающий, что у него на тарелке, — совсем не французская черта; француз — гурман, лакомка, он смакует еду, священнодействует за столом, ничуть не тревожа себя мыслью, что чревоугодие — один из смертных грехов. Грегуар слишком духовен и скуп плотью, чтобы придавать значение пище телесной, и он единственный из встретившихся мне во Франции людей, который не пьет вина — ни капли. Оказывается, он дал зарок не пить вина — последней отрады в его аскетической жизни, когда тяжело заболела жена. У врачей опустились руки, и тут Грегуар крикнул в пасмурное небо Нормандии: «Если любимая останется жить, не притронусь больше к

вину!» Кому-то там, наверху, захотелось испытать на прочность слабого человека: жена выздоровела, и Грегуар забыл вкус французской лозы. Из добросовестности он не пьет даже славного нормандского яблочного сидра, от которого чуть пошумливает в голове...

...Обед был в самом разгаре, а Грегуар уже отправился на промысел.

До чего же милым стал мне этот честный дом, но стоило хозяину скрыться, и будто отлетела душа от жилища, повеяло бытовой отяжеленностью. Я уже знал, как называется забота, туманящая чело Грегуаровой жены: единственный, горячо любимый сын, славный, прилежный, одаренный молодой человек. Он рано увлекся керамикой, его изделия отличались выдумкой, изяществом и вкусом, отец помог ему завести дело. Сейчас у Бренена-младшего небольшой керамический магазин на одной из центральных улиц Онфлера, при магазине мастерская. Мы заходили туда днем во время прогулки. Чуть не вся улица состоит из таких вот маленьких магазинов-мастерских. Лучшая часть французской молодежи, разочаровавшись во всех видах умственных спекуляций, в науке, работающей в конечном счете на войну, в технике, служащей тому же или усугубляющей физическое падение человека, не говоря о политике и культурном ширпотребе, устремляется в ремесла; наиболее чтимы профессии гранильщика, керамиста, ювелира, чеканщика, лепщика, краснодеревщика, раскрасчика тканей, реставратора картин, икон, старинной мебели, антикварных изделий и — как назвать умельца, внедряющего живой цветок в стеклышко, становящееся брошкой или настенным украшением? К сожалению, в Онфлере все эти одаренные и увлеченные молодые люди довольно плохо зарабатывают. А ведь у многих семьи, и не за каждым есть папа-Воробей, который хочешь не хочешь, а наклюет для любимого сына, невестки и внука. И неудивительно, что тревожная тучка залегла в прихмуренных бровях жены поэта.

— Где Грегуар? — послышался отчаянный вопль из кухни. — Где Грегуар? — Коко тосковал о своем друге.

Ужасно, с лунным подвывом зевнула Лисичка, и зашипела ответно Кошка-гостья. Крестьянская женщина из богадельни похрапывала, задремав в кресле, с тарелкой из-под сладкого в

большой натруженной руке, клевали носом и другие дамы, вздыхала и хмурилась хозяйка, бубнил малыш в своем деревянном закуте, послеобеденная одурь распростерла над домом совиные крылья, и только любознательный сангвиник, раскрасневшийся от пищи и вина, жадно расспрашивал мою жену о Москве, словно собирался рвануть туда по шпалам. Предложение погулять, сделанное нашим парижским другом, было как спасательный круг.

На этот раз мы пошли в сторону недалекой окраины, откуда открывался вид на бухту, кипящую не сенской, а морской водой, и на лежащий по другую сторону Гавр, уже зажегший вечерние огни. Цепочка фонарей отмечала долгую линию гавани, а перед гаванью исходило мощным сиянием громадное вместилище электрического света. Это был океанский пассажирский лайнер «Франция», проданный за ненадобностью нефтяному магнату одной из тех стран Аравийского полуострова, что в пору моего детства отмечались на картах пунктиром, словно географы не были уверены в их реальном существовании и, уж во всяком случае, не знали точных границ. С некоторых пор полупризрачные страны не только точно обрисовались в географических атласах, но стали играть ведущую роль в мировой кутерьме. Наружная пустынность и голизна аравийских монархий и эмиратов с избытком искупается тем, что содержится в недрах: черная, густая, вонючая жидкость, в которую изгнала древнейшая флора земли, сделала их господами в мире, обожествившем двигатель внутреннего сгорания. Истекающие золотым потом, плюющие, рыгающие золотом нефтяные набобы скупают все, что плохо лежит, а сейчас все плохо лежит в обезумевшем мире: оружие, корабли, самолеты, замки, картины, скульптуры, идеи, позитивы порнофильмов, публичные дома со всем личным составом, футбольные команды, прицениваются к городам, Венере Милосской, Джоконде, Сикстинской капелле, Эскуриалу, Вестминстеру, Реймскому и Кельнскому соборам. И несомненно, получают все это, если и дальше так пойдет. Покупка нефтяным человеком «Франции» поистине символична. Он намерен превратить корабль, некогда гордо рассекавший океанские волны, в ресторан с барами, дансингом, секс-шоу и кабинетами для утех...

С Воробьем мы встретились за ужином. Он был вымотан, но держался молодцом: порхал, прыгал, щебетал, делал вид, что жизнь прекрасна, и, похоже, сам верил этому.

Он привел в сильнейшее возбуждение друга Коко, пришлось накрыть клетку темным платком. Получив свою маленькую ночь, Коко сразу уgomонился, спрятал клюв под крыло и погрузился в сон. Увела домой дремлющую хозяйку серая кошечка, отбыли, расцеловавшись с Брененами, и другие гости. Сморился и слинял мосье сангвиник.

— А Маяковский тоже выступал в кафе, — вспомнил Греггар. — В желтой кофте.

Мои родители, задолго до того как стали моими родителями, дружили с молодым Маяковским. Мать рассказывала, что Маяковский заходил за ней в дом издателей Соедовых, ее дальних родственников, у которых она жила в Москве, и говорил своим великолепным голосом: «Ксёна (так он переиначивал мамино имя Ксения), пошли буржуев дразнить». И они шли в какое-нибудь кафе с французским, как правило, названием, там Маяковский читал стихи и крыл в хвост и в гриву сидящую за столиками богатенькую публику, которой его ругань доставляла противоестественное наслаждение. Книги поэта шли нарасхват.

Греггар от души радовался и восхищался отважной манерой Маяковского, но в конце не удержал глубокого вздоха.

— С французскими буржуа такой номер не пройдет. Они полны величайшего самоуважения, коренящегося в твердой уверенности, что в целом мире одни лишь французы умеют жить и получать удовольствие от жизни. Конечно, французы, у которых есть деньги. Наша буржуазия чувствует себя пупом земли, она отдает должное богатству американцев, но их образ жизни презирает. Богатые позволяют себе чуть посмеиваться над своими очаровательными слабостями, но от окружающих требуют почтения. Маяковский достоин зависти, но попробуй я эпатировать аудиторию, меня просто выгонят, как испортившего воздух лакея.

...Мы ночевали в гостинице на центральной площади города, возле церкви Св. Екатерины. Было чудесно просыпаться среди ночи, и видеть пучки звезд в прорывах туч над колокольней, и ошеломленно сознавать, что ты в Онфлере, куда

так милостиво занесла тебя судьба, что в нескольких кварталах отсюда спит Грегуар, прижавшись к своей большой, теплой, грустной жене, откупленной у вечности его мужественной клятвой; спят неугомонный Коко и верная Лисичка, спят одинокие женщины, забыв о своем одиночестве, спят молодые ремесленники, поймав во сне удачу, спит в умерщвленном им корабле энергичный пришелец из далекой аравийской земли, овянной сухими горячими ветрами, и видит «Францию» плывучим борделем...

Утро выдалось не по нынешней весне. Тяжелое серое нормандское небо поднялось, высветлилось, голубизна просачивалась сквозь тонкую наволочь, порой разрывала ее, и солнце успевало бросить луч на курящуюся туманом землю. И было тепло, хотя поверху тянул сильный ветер, ломавший полет голубиных стай. Мы решили дать семье Бренен немного отдохнуть от нас и, попив кофе в гостинице, пошли бродить по городу, быстро наполнявшемуся туристами, преимущественно из Парижа. Снова навестили полюбившиеся нам места, от залива с парусниками — сегодня здесь потрудились Клод Моне: в сиренево-розовой дымке истаивали корпуса лодок и яхт, и вдруг вычерчивалась в воздухе мачта с реей, словно крест в незримой руке, — до тесной улочки молодых ремесленников, уже распахнувших двери своих пустынных магазинов.

А потом нас соблазнили блюда с дарами моря на столиках летнего ресторана, отхватившего чуть не половину городской площади с фонтаном посредине. Бьющая из отверстого рта бронзовой рыбы тонкая, высокая, прямая, как стебель ночной фиалки, струя упруго и стойко выдерживала напор зюйд-веста, лишь сверху с султана срывались пригоршни капель и звонко кропили плитняк мостовой.

Мы успели занять последний свободный столик. Ветер здесь совсем не чувствовался, он проходил на уровне зонтов, заставляя мягко погуживать их упругие шелковые купола. Было солнечно, тепло, пахло морем от залива и блюд с устрицами, крабами, раками, мидиями, уложенными на мелко колотом льду. И мы заказали себе такое вот, невероятных размеров блюдо, которое незамедлительно подал стройный мальчик-официант. К устрицам полагались нарезанные дольками лимоны,

белый хлеб — «багет» с золотистой корочкой, масло со слезой и, разумеется, бутылка холодного белого вина.

И наступило то мгновение, когда каждый погружается в свою отдельную тишину; и нет мира вокруг тебя с его болями и радостями, все твое существование сосредоточивается на устричной створке, куда ты выжимаешь лимон, заставляющий съежиться живой опаловый студенистый комочек; ты подковырываешь его вилкой с короткими зубчиками, отделяя от раковины, и отправляешь в рот кислую, холодную восхитительную малость и запиваешь глотком терпкого вина. И тут становится понятно, почему обжорство является смертным грехом — бурное выделение желудочного сока убивает Бога, твоим Богом становится устрица.

Вдруг шумно зацвиркали воробьи. Я еще раньше заметил маленькую стайку, то и дело налетавшую с площади на освобождающиеся столики с остатками еды.

Быстро поклевав что попало, они по взмаху салфетки разгневанного официанта враз снимались и улетали. На миг мне подумалось, что Он отделился от их стайки, но я сразу отбросил эту мысль — стайка сохраняла свое четкое построение, в ней не возникло пустоты. Наш Воробей прилетел откуда-то со стороны. В этом царстве плоти, среди раскормленных, холерных людей он казался таким непрочным, невесомым, что сжималось сердце. В висок стучало:

В обе стороны он в оба смотрит — в обе —
Не посмотрит — улетел!

Но он никуда не улетел, да и как можно улететь, когда к лапке привязано чугунное ядро семьи? С помощью скупого онфлерского солнца, зазолотившего его русые длинные волосы, капнувшего золотом в зрачки усталых глаз, омолодившего и засмуглившего худое изношенное лицо, он с удивительной ловкостью и быстротой обрел поэтический и даже юный облик. В который раз поэт выходил на ристалище, чтобы победить равнодушие и косность. Удастся расшевелить этих едоков, пожирателей устриц и крабов, этих винососов, тающих в животном блаженстве, — заскрипит дальше семейная колымага, не удастся — завалится на обочину.

Грегуар увидел нас, обрадовался, подбежал, упрекнул, что не пришли к завтраку, строго наказал быть к обеду, отверг угощение: «Мне работать!» — и, объяв мгновенным птичьим взглядом всю округность, выбрал соседний столик.

Там обедала парижская семья, я видел номер их «ситрое-на», когда глава семьи, моложавый, крепенький, как ранет, высаживал возле ресторана унылую жену; очень похожую на нее, но яркую, соблазнительную девицу, самой природой предназначенную на роль французской свояченицы; взрослую дочь, ее жениха или друга — бархатного ангелочка, и сынишку лет десяти, толстощекого бутуза. Ловко подав задом машину, Мосье со снайперской точностью вогнал ее в единственную щель на стоянке, присоединился к семье, мгновенно нашел свободный столик, дал заказ и сейчас вовсю наслаждался громадным, вдвое больше нашего, блюдом даров моря. От него веяло достатком, удачей, крепкой жизненной силой. Он не мешал своим близким вести себя, как им хочется: жене вздыхать и брезговать пищей, свояченице неотрывно смотреть на него красивыми сочными глазами, не забывая при этом тщательно освободить раковину эскарго от начинки, дочери перешептываться с молодым человеком, сынишке кочевряжиться, жадничать, разводить панцирно-ракушечью грязь вокруг тарелки. Сам он целиком предался насыщению. Чуть поддернув рукава клетчатого пиджака, он маленькими смуглыми руками ловко брал устрицы, мидии, ракушки, морских колючих раков, быстро, опрятно, даже изящно справлялся с ними, отпивал глоток вина, смаковал и вновь обращал твердый взор к блюду.

Этот человек умел сполна отдаваться делу, которому в данный момент служил. Подобная волевая сосредоточенность не уступает страсти, наверное, он был хорошим любовником.

Когда Грегуар подошел, семья уже насытила свой скромный аппетит, за исключением самого Мосье, он по-прежнему тянулся к блюду и брал то устрицу, то мидию, то клешню ома-ра, сопровождая движение легким вздохом удовлетворения. Он был настоящий едок и глубокий стратег, знающий, что не надо ничего оставлять врагу. Мне подумалось, что выбор Грегуара не слишком удачен, да ведь он лучше знает эту публику; на всякий случай я дал зарок не притрагиваться к вину три дня,

если ему повезет. В играх с французским провидением вино хорошая ставка.

Грегуар раскланялся, представился, семья сдержанно ответила на его поклоны, Мосье так и вовсе заменил кивок вскидом и медленным опусканием век. Грегуар положил на свободный стул связку книг и, видимо, почуяв исходящий от семьи спертый дух прозаизма, предложил им свой роман. Решительный пресекающий жест главы семьи напомнил об уличном регулировщике, останавливающем поток машин на Елисейских полях. Грегуар засмеялся, отложил роман и взял папку с поэмой. Непривычный вид печатного произведения, большой формат, благородная матовость обложки с красивым рисунком пробудили интерес семьи. Дочь перестала копаться в ракушке, вытерла салфеткой рот и переключилась на иной жизненный регистр, бархатный молодой человек автоматически последовал ее примеру. Мадам захлопала рачьиими глазами — ей вообще было место на блюде, а не за столом — и опять провалилась в свою грустную пустоту, свояченица раздумянулась, что было ей очень к лицу, бутуз смущенно и недовольно притих, и лишь глава дома сохранил полное хладнокровие. Все так же сдержанно отдуваясь, он потянул с блюда очередное лакомство и отправил в рот. Он не желал ничем поступиться обстоятельствам, возникшим не по его вине или желанию.

Еще раз поклонившись и попросив извинения, что вторгается в трапезу и отдых семьи, Грегуар начал читать вступление к поэме. Французская манера чтения стихов совсем не похожа на нашу. У нас стихи будто вколачивают в мозг и душу оторопелых слушателей или вгоняют под компрессию волчьего завывания. Французы читают тихо, почти без эмоциональной окраски, не навязывая ни чувств, ни мыслей, ни отношения; они делают сообщение, распорядитесь им как хотите. Не слишком ли много доверия к обремененным собственной судьбой слушателям? Маяковский не так читал и не так вел себя с жующими рябчиков буржуями. У него каждое слово — удар в челюсть, плевок в глаза. Обвал в горах, а не воробьиный щебет.

Грегуар выглядел удивительно мило и артистично, и его чтение было чуть живее, теплее обычной французской мане-

ры, сказывалась славянская кровь. Мне даже показалось на миг, что он расшевелит слушателей.

— Почему так нежны трава и листья? — спрашивал Грегуар.

«Крак!» — страшными никелированными щипцами Мосье перекусил крабью клешню и стал выедать нежное мясо.

— Почему деревья тянут ко мне свои ветви?..

«Р-р-р!» — включили бормашину — глава семьи ввинчивал буравчик в жерлице витой раковины улитки.

— Почему улыбаются цветы?..

«Хлюп!» — опустошил мощным всосом устричную раковину от кисло-соленой влаги неугомонный Мосье.

Горек твой хлеб, поэт! Где пресловутая французская вежливость? Где воспитанность, которой так гордится этот народ? Можно не любить стихов, можно не уважать поэтов (только за что?), но имейте же совесть — к вам подошел приличный человек, не мазурик, не клошар, попросил разрешения почитать стихи, так примите с благодарностью маленький поэтический спектакль, за который можно и не платить.

Поведение Мосье было не просто невежливым, а откровенно хамским. Его раздражало, что бедный поэт все-таки завладел вниманием его семьи, где должен безраздельно царить лишь он один.

Первой почувствовала его настроение жена и постаралась придать своей отключенности вид сознательного пренебрежения. Свояченица могла позволить себе бóльшую самостоятельность, на грани неподчинения: она мечтательно откинулась в кресле и устремила взор к голубому небу, вдруг вскипевшему быстрыми прозрачными тучками.

И внезапно из этих, просквоженных солнцем тучек пролился неуместный по ранней весне грибной дождь. Зонт защитил семью, но не защитил Грегуара, оказавшегося как раз за сухим кругом. Он рассмеялся, прервал чтение и сказал что-то задорное и, очевидно, остроумное — все сидящие за столом засмеялись, а дочь хлопнула раз-другой в ладоши, и даже глава семьи допустил улыбку на плотоядные уста.

Но остри не остри, а, промокнув до нитки, ты уже не имеешь вида. Длинные волосы как-то жалко облепили костлявый череп поэта, дождевые капли слезами скатывались по ложби-

нам худого лица, свернула крылышки бабочка-галстук, некрасиво потемнел и обвис пиджак. Он не сдавался, наш мужественный Воробей, и опять кидал слушателям золотые пригоршни солнечных слов, но в ответ получал лишь недоброжелательную настороженность, и даже самая отзывчивая — дочь, то ли боясь показаться наивной, глупой, то ли привыкнув подчиняться вкусу отца, смотрела на Грегуара хоть и сочувственно, но слишком издали. Бархатный молодой человек томился скукой. Что касается свояченицы, то ее послеобеденные грезы давно оторвались от породившей их поэзии и сейчас отяжеляли красивое лицо сонливым практицизмом. Мосье тщательно дочищал блюдо.

Горек твой хлеб, поэт!..

Грегуар кончил читать и с поклоном преподнес поэму дочери. Та неуверенно повертела ее в руках, но, похоже, у нее не было собственных денег, и поэма перешла к бархатному молодому человеку, который без промедления отдал ее мадам. Та взяла папку с таким видом, словно опасалась взрыва, зачем-то взвесила на руках и хотела отдать Мосье, но тот протестующе замычал — рот забит, — и творение Грегуара досталось свояченице. Тут у меня опять шевельнулась надежда — свояченица принялась листать поэму, задерживаясь проснувшимся взглядом на иллюстрациях в античном духе. Но какой-то рисунок задел ее стыдливость, она усмехнулась, стукнула поэмой по темечку бутуза: не запускай глазнапы! — и вернула Грегуару.

На мгновение, буквально на мгновение улыбка сбежала с губ поэта. Он потратил столько усилий и времени, вымок, продрог, и все впустую. Но он был слишком поэтом и достаточно французом, чтобы не найти изящного выхода из положения, выхода для этих — нищих духом, а не для себя. Он спросил дочь, как ее зовут. Колеблясь, надменничая и ломаясь, она все же назвала свое имя. У Грегуара оказался оттиск с отдельной главой поэмы на той же прекрасной бумаге. Он сделал посвящение и преподнес оттиск молодой особе. Дар был принят с той благосклонностью, с какой богатые неизменно принимают подарки бедняков. Листок пошел по рукам. Во мне все дрожало от обиды и ярости. Последним листок взял глава семьи, но поскольку он еще возился с остатками жратвы, рука его была занята вилкой, листок выскользнул и лег на устрич-

но-мидиево кладбище, и рыхловатая бумага мгновенно адсорбировала морскую влагу, пойдя пятнами.

«К оружию, граждане! — вспыхнуло во мне. — За стихи и прозу, за Грегуара, за всех обиженных на земле!..»

Я не успел подняться. Грегуар подошел и положил мне руки на плечи. Как он догадался?.. Да и что мог я сделать — гость чужой страны, только навредить Грегуару?

Еще одно неотмщенное надругательство над человеческой душой отяжелило мировую совесть.

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

Писатель Бурцев приехал в дом отдыха санаторного типа «Воробьево» работать и подлечиться. Первое намерение было серьезным: он давно задумал маленькую повесть, до которой в московской суете и обремененности никак не доходили руки; второе — более смутным, поскольку недужил он всем понемножку. Бурцев опасался, что назойливая заботливость врачей разрушит покой, за которым он кинулся сюда из Москвы, но этого не случилось: ему сделали электрокардиограмму, и на том с лечением было покончено, что его вполне устраивало.

Дом отдыха располагался в новом громадном здании, которое людям передовых взглядов казалось образцом мировых строительных стандартов, а приверженцам отечественного ампира конца сороковых — начала пятидесятых годов — чертогом сатаны. На самом деле то был архитектурный курьез, воочию показывающий, что внешняя современность форм может сочетаться с такой перегруженностью, перед которой меркнут пресловутые излишества древнего архитектурного благочестия.

В подмосковном «Воробьево», расположенном на равнине, в окружении прекрасных смешанных лесов, отдыхающие проходили тяжелую акклиматизацию, словно в горах Кавказа или в душно-влажно-смоговой щели Карловых Вар: повышалось давление, сбивалось сердце, вяжущая слабость охватывала тело. Причина тому не в природных условиях, а в интерьере. Обилие полиэтиленовой пленки, которой оклеены стены номеров, равно и синтетических паласов, затянувших все полы, кроме мраморных, болезненно отражалось на естестве человека, рассчитанном на органическую, а не на химическую жизнь.

Бурцев был склонен объяснять странную раздражительность, овладевшую им в первые дни, влиянием «химического микроклимата». Уезжая, он дал себе слово забыть о московских делах, выкинуть из головы все заботы и тревоги, но ничего из этого не получалось. Его первая забота называлась Отаром Хачипури. Недавно умерший Хачипури принадлежал к тому отряду литераторов, которых до войны называли «малоформистами». Потом этот термин как оскорбительный был упразднен стараниями прежде всего самого Хачипури, не только автора одноактных пьес, но и теоретика, глашатая, трубадура, трибуна и рыцаря малых форм драматургии. На пасынков большой драматургии распространилось гордое слово «драматург». Недаром со всех трибун возвещал старик Хачипури: «И в малом можно сказать о большом», «Нет маленьких и больших пьес, есть талантливые и бездарные». Он возглавлял подкомиссию одноактной пьесы и сектор драматургии для самостоятельности, был неременным участником всех собраний, совещаний и пленумов, отстаивая достоинство своего жанра в тундре, тайге, пустыне и горах с тем же бесстрашием, что и под каменным небом писательского клуба. Отар Хачипури был обаятельнейшим человеком, незаменимым тамадой на всех литературных банкетах. И у каждого писательского гроба мужественно нес прощальную вахту неутомимый в делах общественной пользы старик. И вот Хачипури не стало. Казалось, что он бессмертен, что до скончания века будут мелькать на всех литературных сходках его голый смуглый череп в обводе снежно-белых слабых волос, мясистый добрый нос, коричневые патетические глаза за толстыми стеклами очков, звучать хрипловатый, но отчетливый, богато модулированный голос. Но сгорел в одночасье. Как полагается, была создана комиссия по литературному наследству, председателем которой назначили Бурцева. Сгоряча размахнулись издать всего Хачипури, но чей-то трезвый, остужающий голос предложил начать с однотомика. Держава малой драматургии плохо изведена, и трудно предугадать, какое впечатление произведет собранная воедино одноактная несметь. Но случилось непредвиденное: творческого наследства у покойного не оказалось. Нашелся тощий сборничек, изданный в начале тридцатых годов, но и там Хачипури был сам-третий. Кто-то непочтительно пошу-

тил: «Объявим всесоюзный розыск творчества Хачипури». Тон был задан. Какой-то остроумец предложил издать сборник застольных тостов драматурга. Огорченный и оскорбленный за ушедшего друга, пораженный тем, как хрупка человеческая репутация, если люди позволяют себе шутить над свежей могилой, Бурцев на очередном заседании комиссии предложил издать две обнаруженные пьесы и все теоретические работы покойного, не прекращая поисков творческого наследства. К сожалению, и статей Хачипури обнаружить не удалось. Свои мысли он щедро рассыпал в устных выступлениях, доверяя больше живому звучащему слову, обращенному к горячему сердцу аудитории, нежели холодной типографской краске. Бурцев не пал духом, он был уверен, что творения Хачипури найдутся, и сейчас волновался, что это произойдет в его отсутствие.

Другая забота была связана с собственным творчеством. У него шел отрывок из повести в журнале, а гранки прислали лишь в день отъезда. Редактор убеждал его подписать гранки не глядя — все в порядке, ошибок нет. Уже в доме отдыха Бурцев обнаружил отвратительную ошибку: верный муж Бавкиды Филемон был переименован в Филимона. Это корректорши постарались, видать, вспомнили знакомого дворника или водопроводчика. Конечно, этой ошибки никто не заметит, но Бурцев места себе не находил. Он пытался дозвониться жене, чтобы она поехала в редакцию и собственной рукой внесла поправку, а заодно разведала бы, как обстоит с литературным наследством Хачипури, но ему это никак не удавалось. Прежде всего из-за огромной очереди, каждый вечер выстраивавшейся возле двух телефонных будок. Бурцева поражало, почему люди, попавшие в такое прекрасное место, как «Воробьево», с бассейном, сауной, спортзалом, крытым теннисным кортом, цветными телевизорами на каждом этаже, с чудесными маршрутами прогулок, ведущими к барским ампирным домам, старинным церквям в стиле нарышкинского барокко, к сквозным по осени лесам, где горластые сойки охраняли опушки и промелькивала среди деревьев темная громада лося, почему эти усталые люди так упорно стремятся накинуть на себя захлестку оставленных в Москве забот. Но ведь и он сам не лучше других. Ну, у него особое положение, он

поехал сюда в разгар дел, а служащие люди заранее планируют отдых.

Оказалось, Москва так просто не отпускает: одни звонили на работу, беспокоясь о каких-то сметах, планах, простоях, другие волновались за оставленных дома близких. Но было немало и таких, которые звонили от пустоты, городской привычки к телефонному трепу, отчасти из хвастовства: не каждому удастся получить путевку в «Воробьево», эти висели особенно долго, поскольку у них не было предмета для разговора, и Бурцев люто их ненавидел.

Ему все никак не удавалось дозвониться: то не сработал автомат, то жены не оказалось дома, то занято, то просто не хватило терпения дождаться очереди, то начинался фильм или интересная передача по телевизору. Ко всему в одной кабине аппарат стал работать только «на прием»: из Москвы все слышно, в Москве отсюда — ничего. И движение очереди еще замедлилось.

Но на этот раз Бурцев решил, что ему сказочно повезло. Большая часть отдыхающих уехала на экскурсию в Поленово, и в очереди томилось всего пятеро: рослый азербайджанец со сросшимися бровями — он говорил всегда оглушительно громко, срывая голос, как на плацу, и не оставляя собеседнику цели для ответа, и выходил с мокрым лбом, довольный и осипший: «Отстрелялся!»; седой изможденный человек с тонким, прозрачным, каким-то тающим лицом, у него неизменно в последний миг сдавали нервы, и он вдруг исчезал — истаивал, когда подходила его очередь; две подружки, живущие в одном номере и никогда не расстающиеся — ни на прогулке, ни в кино, ни в бассейне, ни в столовой, все думали, что они сослуживицы, решившие вместе провести отпуск, оказалось, одна из Харькова, другая из Магадана и видятся впервые, в Москву они звонили каким-то непонятным, случайным людям, никогда их не узнававшим, что удивляло, огорчало подруг, но не обескураживало. Был еще юный теннисист, каждый вечер общавший тренеру о своих успехах.

— Кто последний? — осведомился Бурцев. Правила хорошего тона предписывали спрашивать: «Кто крайний?», и Бурцев знал, что уже заслужил репутацию человека невежливого, но язык отказывался произнести неграмотную галантерейщину.

Последним был юный теннисист. Бурцев оглянул кабины. В той, где телефон работал лишь в одну сторону, к трубке припала девушка с милым восточным лицом: узкие припухлые глаза, полный, нежный рот, ореховая смуглота чистой кожи. Напряженный, бесконечный и односторонний разговор шел, как и всегда, с каким-то Боренькой, разговор настолько важный, что девушка весь отпуск проводила в телефонной кабине. Бурцев помнил, как это началось: девушка не послушалась предупреждения, что телефон испорчен, впорхнула в кабину: «Боренька, это я! Ты меня не слышишь, а я тебя слышу. Говори, говори, Боренька! Говори один...» Боренька внял призыву, и теперь девушке достаточно было набрать его номер, чтобы он, услышав молчание трубки, сразу начал говорить. Бореньке было что сказать — Бурцев ни разу не дождался выхода девушки из кабины. Вот если бы телефон работал сходным образом, но в обратном направлении: Бурцев давал бы указания, а жена принимала бы к исполнению. В диалоге никакой нужды не было.

Он еще раз мельком глянул на стеклянную дверцу: девушка двумя руками прижимала трубку к маленькому уху, ее полноватые темные губы шевелились, повторяя Боренькины слова, и узкоглазое прелестное лицо изнемогало, погибало в нестерпимом, растроганном и страшном для посторонних счастье.

— А там кто? — спросил Бурцев о другой кабине, смотревшей в неосвещенный угол вестибюля.

— Новенькая, — ответила одна из подруг.

— Давно зашла?

— Только что. У нее занято было.

Похоже, что и сейчас было занято, и тут новенькая совершила незаконное: снова набрала номер. Щелкнула провалившаяся монетка — ей ответили.

— Коленька? — послышался звонкий голос, принадлежащий, как сразу угадал Бурцев, сильно немолодой женщине. — Это ты, Коленька? Ах, Вадик! Не узнала — богатым быть. Надо же!.. У тебя голос совсем как у отца!..

«Мы погибли, — решил Бурцев, — это самый худший вариант: беспредметная болтовня только что приехавшего человека, которому нечего сказать, и потому разговор бесконечен». Так и оказалось. Женщина еще с минуту восхищалась возму-

жавшим голосом Вадика — совсем взрослый стал! — и Бурцев злорадно догадался, что Вадик так и не понял, кто звонит, и думает, что его разыгрывают.

— Да это я — мамочка!.. — В голосе прозвучала обида: — Вон уже забыли... Экой же ты бестолковый!.. Да из дома отдыха, откуда же еще? Понял наконец? Нет, в бассейн еще не ходила. Не так все просто. Надо сперва врачу показаться. А он сегодня не принимает. Завтра пойду. Потом еще шапочка нужна, чтобы волосьями не сорить, а у меня нету. Я из полиэтиленового мешочка сделаю... Чепуха! Многие так делают, я ходила, смотрела. Бассейн? Замечательный! Только сторожиха очень строгая. Сразу накинулась: нагишом из душевой не выходить, в мячик не играть и кувыркаться в воде категорически запрещается. Я говорю: «Посмотри на меня, нешто могу я кувыркаться?» — «Знаем, видели, постарше бывали, а так еще кувыркались!»

«Ну зачем она все это несет? — возмутился Бурцев. — Кому это интересно? Как не бережем мы время — свое и чужое. Оставила бы рассказ о дуре нянечке на возвращение».

— А я на физкультуру записалась. Каждое утро. Приеду такой физкультурницей — не узнаете. Нет, гулять еще не ходила. Тут красиво, сосны, ели, два пруда больших. Рыбачков не видела, не знаю... Кормят очень замечательно, четыре раза в день, и еще вечером кефир полагается. Бар?.. Буфет, что ли? Есть. Музыка играет. Я там еще не была...

«Вот когда будешь, тогда и говори! — бесился Бурцев. — Не была, не видела, не знаю!.. А трещит, как будто все видела и знает. Боже, на что тратится наша коротенькая жизнь!..»

— Вадик, а как с зачетом? Ты же обещал. Ладно, сын, я тебе верю... А-а, давай-ка его, давай. Зайчик, ты почему не спишь? Рано еще? А и верно, рано, я время спутала. День тут какой-то длинный. Как ты, Зайчонок? Хорошо, маленький, хорошо. Нет, мама еще не плавала. Буду, буду, так еще наплаваюсь! Да нет, глупенький, у нас не лето, а так же, как у вас, — почти зима. Бассейн в закрытом помещении, там тепло... Ну, давай Люду. Как ты, доча? Нет, еще не купалась. Бассейн огромный, а вода голубая. Не послушалась я тебя насчет шапочки, думала, это только молодым для красоты... На физкультуру? Правда буду ходить, Вадька не врет. А я колготки приспособлю. Подума-

ешь!.. Места чудные! Нет, еще не гуляла. У меня под окнами лошадь пасется. По-моему, ничейная. Хорошая! Грива густая, челка мохнатая и хвост богатый. Только у нее, бедной, бельмо. Нет, другой глаз очень даже видит. Да кто ее обидит, что ты? Неужто я позволю? И собак тут много, и кошек... Слушай, доча, только не думай меня обмануть, я по голосу все узнаю. Плюнь ты на него, сколько тебе говорить? Не стоит он тебя. Пустышка, пирожок ни с чем... И Сашка так считает? Умница сын! Постой, а почему он у вас? Этого еще не хватало! Дай-ка его сюда! Мало ли что заперся. Мать требует!..

Не выдержал тающий старичок и, что-то бормоча бескровными губами, зашаркал ночными туфлями по мраморному полу вестибюля.

— Саша, ты? У меня-то хорошо, а вот у тебя? Буду в бассейн ходить, ты мне зубы не заговаривай! Молчи! И не смей Верку обижать, слышишь? Она лучше тебя, эгоист несчастный! Немедленно ступай домой, понял? Не то я брошу все к черту и приеду. Ты меня знаешь. Да пропади она пропадом, путевка эта! Или ты сегодня же попросишь у Верки прощения, или я завтра буду... Как-как?.. Слово? Спасибо, сынок, что даешь матери отдохнуть... Папа трубку рвет? Ну, будь здоров...

Подруги враз поднялись и, хорошо напрягая крепкие икры, пошли в сторону бара. За ними, чуть помешкав, устремился азербайджанец. Остались лишь Бурцев и юный теннисист, обладавший поистине чемпионской выдержкой.

— Коленька!.. — сказала женщина голосом такой пропащей нежности, что сердце Бурцева дрогнуло какой-то странной печалью. — Как ты там, родимый мой? Ну хочешь, я все брошу... ладно, ладно, не ругайся! Знаешь что, приезжай в воскресенье! Бери Зайчонка в охапку и на рейсовом — от Беляева. Можно, можно, в санаторной книжке написано. В номер не полагается, а так — сколько угодно. В холле посидим. Он весь мраморный, а с потолка люстра свешивается, сама чугунная, в медных цветах, миллион пудов весит!.. Что?.. А зачем мне под ней стоять? Да не бойся, которые есть отдыхающие уже по третьему разу — и ничего. Коленька, ты бы видел бассейн — бирюзовый, вода прозрачная, теплая! Нет, еще не купалась...

«О Боже! — взныло в Бурцеве. — За что, за какие грехи? Да как ей самой не осточертеет?.. Небось и внуки есть, им тоже любопытно про бассейн послушать. И престарелые родители, и какая-нибудь тетя Даша...»

— Как ты там без меня? Не кашляешь? Безрукавку теплую поддеваешь? У тебя грудь слабая — шутить нельзя. И застегивайся хорошенько. Пусть Людка тебя проверяет, дай-ка, я ей сама скажу!

Пошло по второму кругу! Косо глянув на Бурцева и отчего-то покраснев, юный теннисист рывком поднялся с кресла и почти бегом устремился прочь. Бурцев оказался первым претендентом на кабину. Возможно, это настроило его на более снисходительный лад. А не такая уж она сорока, подумал о женщине. Между делом вернула сына к жене, защитила дочь, дала указания слабогрудому, как себя соблюдать. Все по-человечески. А что бассейн для них чудо, так он и для всех нас чудо, только мы делаем вид, будто сызмальства привыкли в голубой воде плескаться...

...«К умеющему ждать все приходит вовремя» — гласит северная пословица. Дождался своего часа и Бурцев. Женщина вышла из кабины — низкорослая, квадратная, с прической-башней. Бурцева всегда поражало, откуда взялась эта мода, не имеющая никакого подобия в мире, равно и первоисточника в русском национальном стиле. Русские женщины традиционно гладко причесаны: и знать, и купчихи, и крестьянки, и мещанки. Букли городских модниц прошлого века — совсем другое, на темени все равно гладко. Уж до чего изошрялась западная мода, а вавилонских башен на головах не строит. Это ужасное сооружение больного парикмахерского гения вовсе не прибавляет роста маленьким женщинам, напротив, подчеркивает приземистость, а высоких превращает в каланчу. И совсем нелепо, когда на эту прическу водружается меховая шапка вроде боярской. Конечно, и тут не обошлось без меховой копны. На женщине топорщилась только что, видать, сшитая нейлоновая кофточка, коротковатая юбка колоколом едва достигала толстых икр, обжатых голенищами кожаных сапог. Ее очень обыденное, немолодое, одряблевшее лицо с носом картошкой спасалось живым и заинтересованным выражением. Она вся была еще там, во власти домашних тревог, огорчений,

умиления, нежности, а взгляд небольших зеленоватых глаз с живейшим любопытством вбирал впечатления окружающего: и серого, хмурого человека, заждавшегося телефона, и мраморные колонны вестибюля, и кадки с экзотическими растениями, и синичку, поселившуюся в искусственной роще. И еще Бурцев заметил трогательные следы неумелых косметических ухищрений на усталом лице: мазки помады, комочки туши на ресницах. А затем он увидел ее руки: жилистые, огрубелые, с синеватыми пальцами, на которых так неуместен был яркий маникюр; руки, помороженные в военных очередях, когда одеревеневшим пальцам не ухватить было хлебного талона, в промозглых траншеях оборонительных сооружений, когда лом отрывался с кровью от ладоней, в ледяных овощехранилищах с опаленной морозом капустой и гнилой картошкой, исколотые иглой, обожженные растопкой печурок-временок, взрывающимися примусами, кастрюлями, сковородками и утюгами, изъеденные щелочью стирок, привычные к лопате, тяпке и заводскому инструменту, к жару больного тельца ребенка и холоду сердечного компресса, бедные, святые руки русской женщины — величайшей страстотерпицы на этой измученной земле. Сильное чувство узнавания своего, родного охватило Бурцева, ведь под тонким слоем жира не сановного, но малость отвыкшего от очередей человека продолжался молодой испуганный солдатик, после злой, опытный офицер Отечественной войны, полуголодный, продрогший студентик и неутомимый грузчик Москвы-Товарной, маленький разъездной корреспондент, очумевший от бесконечных российских дорог, начинающий автор, уже обремененный семьей и не брезгающий никакой черной работой, лишь бы оставалось время на писание. «Мы с ней однополчане, — решил Бурцев, — и с завтрашнего дня я буду приглашать ее на танцы».

Он вошел в кабину, закрыл за собой дверь, пристроил пятиалтынный в щели, боясь, что монета провалится раньше времени, набрал растянутый двумя восьмерками номер.

— Слушаю, — из-за края света отозвался голос его жены.

Странное чувство овладело Бурцевым — он знал, что это его жена, но видел на другом конце провода только что миновавшую женщину. В этом не было ничего обидного для его жены, сухошавой, довольно стройной для своих лет, но с та-

кими же натруженными руками. Она тоже из их полка, а в строю люди часто кажутся на одно лицо.

Он уловил в ее голосе испуг, и это его покорило: подумаешь, не дозвонилась в комиссию, экая беда!

— Как ты там? — закричал он, напрягая горло. — Я — в порядке. Знаешь, тут бассейн замечательный! И сауна! Нет, еще не ходил. Обязательно пойду!.. Кто звонил?.. Не важно... Как ты? Как ты себя чувствуешь?

— Ноги что-то побаливают... — Она никогда не говорила о своих недомоганиях, да он и не спрашивал: болеть было его привилегией, и эта непривычная забота о ее здоровье окрасила старушечьи слова девичьей интонацией — застенчивой и доверчивой, как признание.

Он сказал осевшим голосом:

— Хватит бегать, больше отдыхай. Вернусь — мы тебя наладим. Береги себя. Ты у меня одна. Слышишь?

— Слышу, милый! — упало ему в душу.

«Господи, — думал Бурцев, закрывая за собой дверь кабины, — на какую чепуху растрчивал я душу и время! И как хорошо, что не заикнулся об этих дурацких гранках: что мне выдуманный Филемон, когда есть живая Бавкида. И чего мы цепляемся к тени Хачипури? Да, не оставил он никакой писанины, и слава Богу! Молодчага, не унижил себя ни халтурой, ни бездарным сочинительством. Зато сколько добрых слов сказал он людям. Сколько искренних пожеланий здоровья и счастья — живым и мира — усопшим. Спи и ты спокойно, дорогой друг, да не потревожит тебя мирская суета!..»

НЕТ ПРОБЛЕМ?

—Ты ничего не забыла сделать?

Каждый день после нашего довольно позднего завтрака, хотя жизнь в доме начинается рано — надо выпустить во двор двух чудных английских сеттеров, едва дотерпливающих до утра, — звучит этот нежно-укоризненный вопрос, с каким хозяин дома, тридцатишестилетний инженер Жак Дармон, обращается к своей жене Жанне. Вообще-то завтрак продолжается, мы еще долго будем сидеть за столом, подливая в чашки остывающий кофе и делясь впечатлениями о романских соборах, ради которых прикатили из Парижа на берег Бискайского залива, но Жанна покончила с домашними хлопотами и может бежать по своим делам. Она много успела: приготовила завтрак, убрала комнаты, накормила собак, проверила уроки детей и собрала их в школу, поставила суп на плиту, накрасилась, надушилась, приделась и сейчас, свежая, благоухающая, готова на выход. Не на службу, как думал я вначале, — Жанна, работающая чертежницей в строительной конторе, взяла отпуск на время приезда гостей.

Гостями были их старые друзья и верные партнеры по летнему отдыху Воллары — парижская семья: муж — журналист, жена — фотограф и молодая черноглазая хохотушка, которую язык не поворачивается назвать тещей. Мы с женой гостили у Волларов, пригласивших нас во Францию и устроивших эту поездку. Предполагалось, что Воллары останутся у Дармонов, а нам снимут номер в маленькой приморской гостинице. Но Жак, с которым мы виделись однажды у Волла-

ров, запомнил, как я уплетал привезенные им из Олерона великолепные устрицы, запивая терпким белым вином, и, будучи большим гастрономом, настоял, чтобы мы тоже остановились в его не слишком поместительном доме. Нам выделили комнату на первом этаже, в гаражной пристройке, удобную своей полной изолированностью, хотя и несколько холодноватую по нынешней дождливой, знобкой весне.

Жак перевернул наше представление о французском гостеприимстве, весьма сердечном по форме, но крайне скудном по содержанию. Чем богаче француз, тем прижимистей, у бедняков обнаруживается порой и широта, и даже щедрость. Но в зажиточных домах неизменно поражает несоответствие сервировки: хрусталь, серебро, старинный фарфор — мизерности угощения.

Широта Жака обескураживала. И главное — тут не было никакого насилия над собой, болезненного преодоления собственной сути. Жак, несомненно, был выродком в своем племени. Я часто вглядывался в его четкое смуглое лицо, обрамленное небольшой ухоженной черной бородкой, пытаюсь угадать примесь чужой крови, делающей понятной совсем не галльскую, а какую-то славянскую, итальянскую или закавказскую тороватость. Нет, он был истинный француз и внешностью, и манерами, и душой, типичный француз, лишь с одним отклонением — щедростью. В духе своей доброты Жак воспитал и детей: десятилетнюю Флоранс и одиннадцатилетнего Жоржа, и жену, тут уместнее сказать «перевоспитал», ибо у радушной Жанны все же кривилось лицо, когда Жак безрассудно ставил на стол третью опутанную паутиной бутылку коллекционного вина, но атавистический спазм бережливости, унаследованный от крестьянских предков, быстро проходил, и Жанна опять сравнивалась в учтивости с мужем.

Дети Дармонов — серьезный, грустный, худенький Жорж и на редкость статное для десяти лет, крепенькое существо Флоранс, чемпионка города по дзюдо в своем возрасте, озабочены тем, чтобы дать выход томящей их доброте. Они то и дело одаривают окружающих собственными рисунками, изделиями из бумаги, картона и щепочек — у них замечательно умелые руки, — игрушками, книжками, фруктами, разной чепухой, возведенной в ранг значительности детским сознани-

ем: шишками, пуговицами с военной формы, камешками, зацветшими ветками; обрядно, каждый день гладят и целуют собак, шелковых, ушастых, трогательно-костлявых сеттеров, воспевают родителей в стихах. Жорж выражает свои чувства в сонетах и четверостишиях, любовь богатырши Флоранс эпична, как и ее большая душа, она корпит над поэмами. Уходя спать, дети всех подряд целуют, даже нас — приживал из гаражной пристройки. В них нет ни слюнтяйства, ни сентиментальности, ничего от расслабленности домашних баловней — серьезные, задумчивые, тихие и деятельные дети. Они живут не просто потому, что родились, а словно бы догадываясь о необходимости своего пребывания в мире.

Душою дома был Жак, а не его миловидная, всегда приветливая жена. Ее словно бы чуть-чуть не хватало на ту жизнь, какую они вели, жизнь очень разнообразную, насыщенную и почти всегда осложненную гостями. Жак был жаден к жизни, людям, знаниям, на редкость отзывчив на мировую кутерьму. Он не терпел покоя и заверчивал каруселью окружающий его мирок. Ему хотелось все знать. Ни в одном доме не видел я такого количества отменной справочной литературы. Стоило возникнуть какому-либо спорному вопросу, Жак тут же доставал с полок нужный справочник. Его интересовали — не знаю, одновременно или в разные годы жизни — цветы, деревья, птицы, бабочки и звери Франции, марки и монеты, марксизм и философия экзистенциализма, французская литература от древности до наших дней и русская классика, мировая история, новейшие течения в музыке, кино, охотничьи собаки и охотничьи ружья, спиннинговая рыбалка, романская архитектура, виноградарство и виноделие, рыбы рек и морей, коневодство, учение йогов и, конечно, бетон во всех видах, ибо он был специалистом по бетону.

Разумеется, Жак не ограничивался справочниками, у него была неплохая библиотека исторических и философских сочинений, полные серии большого и малого Скира, много мемуаров и старых редких книг о приготовлении пищи, о винах, о лекарственных растениях, о ведьмах и оккультных науках. И главное, Жак все это читал и помнил, обладая феноменально цепкой памятью. Он умел, никогда не торопясь и не суетясь, удивительно много успевать за день. Он, как и жена, устроил

себе маленький отпуск, но кое-какую не терпящую отлагательств работу взял на дом. Утром он выгуливал собак, ездил на базар и до завтрака работал. Потом просматривал газеты, иронизируя и возмущаясь, иногда делал вырезки и вклеивал в альбомы, после чего вез нас на очередную экскурсию — мы находились в центре романской архитектуры, которую Жак ставил выше готики и Ренессанса, не говоря уже о последующих стилях. За обедом — о, благодать долгого застолья! — он объяснял нам достоинства той или иной марки вина, доставая холодные, запотелые, а то и опутанные паутиной бутылки из своего погреба. Оказывается, вино дегустируют языком, нёбом и горлом, это три совершенно разных ощущения, но только так можно вполне оценить букет и плотность. Мы научились различать бургонское урожая разных лет, стали тонкими ценителями бордо и славного анжуйского винца, которым Миледи хотела отравить д'Артаньяна и его друзей. И лишь отсутствие свободного времени не позволило нам вступить в «клуб божеле». Жак открыл нам душу вина, как и душу романской архитектуры. Мы изъездили всю Нижнюю Шаронту, и нам открылось, что грузноватая, хотя и догадывающаяся о высоте неба средневековая архитектура значительна и прекрасна не тем, что в ней проглядывает устремленная ввысь готика, а совершенным выражением очнувшейся в свет варварской души. Слезило уголки глаз дивное уродство церковных горельефов и скульптур — простодушный и трезвый реализм, призванный воплотить духовную экзальтацию. Каким неискусным вдруг стал человек, желающий выразить себя в пластических образах, куда кануло изысканное мастерство греков и римлян! Конечно, то был совсем другой человек, и в своих грубых созданиях он воплощал идею времени и собственную душу с не меньшей полнотой, чем божественный Пракситель в своих. Каждая эпоха начинает все сначала, и опыт предшественников не служит постаментом новому искусству.

И все же прав Паскаль: человеку по-настоящему интересен только человек. И меня куда больше романских соборов, колоколен и часовен привлекал Жак. Должен признаться, что поначалу он показался мне современным вариантом флюберовских бедолаг Бювара и Пекюше, недалеких буржуа, решивших овладеть всеми знаниями и наслаждениями века, но в резуль-

тате лишь набивших шишки на тугодумные лбы и заболевших дурной болезнью.

Я ошибся. Жак был умен, остер и необыкновенно способен к физическим и умственным упражнениям, — меткий стрелок и сильный спорщик, блестяще владеющий оружием диалектики, он добивался успеха во всем, чем только ни занимался. Собаки Жака — золотые медалисты выставок, его дом набит охотничьими трофеями — чучелами зверей и птиц, он чемпион провинции по стендовой стрельбе, его статьи о памятниках старины печатаются не только в местных, но и в парижских газетах; член общества по охране природы, Жак считается грозой браконьеров и устричных пиратов. При этом он никогда не упускал из внимания своей нежности ни жены, ни детей, ни друзей, ни соседей. А вот Жанна, занятая меньше мужа, забывала поцеловать его, когда уходила после завтрака. Настигнутая уже в дверях его вопросом: «Ты ничего не забыла сделать?» — она вспыхивала своим круглым лицом, высокой открытой шеей и грудью в глубоком вырезе корсажа; неловким девичьим движением, трогательным в ее налитой, зрелой женственности, непременно запнувшись о ковер, она кидалась к Жаку и целовала в висок. Жак задерживал ее сильной волосатой рукой и целовал в губы. Смущенная, красная, она выскакивала за дверь.

Но Жак оказался сложнее, чем я думал, уже отбросив образы Бювара и Пекюше. Я видел примерного семьянина, обаятельного и даровитого дилетанта, возмещающего многосторонней деятельностью скромные успехи в основной профессии. Жак не был светилом в своей бетонной специальности, занимал среднюю должность, дающую средне-приличный заработок. Я его недооценивал...

Черноглазая теща Воллара, одинокая и незанятая, претворяла в наблюдательность богатые возможности своей живой, не остуженной годами натуры. Она заметила мою заинтересованность Жаком и на редкость проницательно угадала, что я на ложном пути. Однажды, когда мы возвращались к машине после осмотра очередной романской церкви, она заговорила со мной будто из глубины давно начавшегося диалога, хотя за все время нам не пришлось обменяться и десятком фраз.

— Жак вовсе не такой благодушный пресняк, как вам кажется.

— А он вовсе не кажется мне таким, — сказал я удивленно. — С чего вы взяли?.. Меня поражает его многогранность, наполненность, энергия.

— Да, он за все хватается. Увлекающаяся натура. Но собирать марки, стрелять по тарелочкам и рыться в справочниках — это все чепуха. Жак способен на куда большее. Он настоящий мужчина.

— Что вы имеете в виду?

— Жак может покончить с собой из-за любимой женщины, — с той важностью, с какой даже самая циничная парижанка говорит о любви, произнесла черноглазая теща. — Дармоны и Воллары всегда отдыхают вместе. Несколько лет назад они поехали на машине в Болгарию, на берег Черного моря. И там Жак влюбился в гречанку. Она была с мужем, много ее старше, но не лишенным обаяния. А гречанка — прелесть: черные волосы, синие глаза, я ее потом видела, она приезжала во Францию. То ли она любила мужа, то ли у них не приняты случайные связи — Жак получил решительный отказ. Он стал как помешанный. Бродил целыми днями невесть где, ничего не ел, только лил в себя литрами красное вино, худой, черный, с запавшими глазами. Дочь и зять ужасно за него переживали, пробовали говорить с гречанкой, но та и слушать не стала. Одна Жанна ни о чем не догадывалась, она была на редкость инфантильна, чему теперь довольно трудно поверить. Она застала Жака, когда он писал прощальную записку. Девочка мгновенно превратилась в женщину и ринулась на защиту мужа и семьи. Никто не знает, что она там сказала гречанке, но уже на другой день Жак был самым счастливым человеком на свете. Он вообще заводной, но таким его еще не видели. Фейерверк!.. Они провели замечательный месяц.

— Вряд ли это можно сказать о муже гречанки.

— Почему? Он быстро утешился. — Черноглазая пожилая дама издала какой-то нутряной мурлыкающий звук. — Он стал ухаживать за моей дочерью.

— А как это понравилось вашему зятю?

— Он ужасно тщеславный. Любит, чтобы жена имела успех. Его злило, что Жак безумствует из-за другой женщины, а не из-за Люси. Теперь все были довольны.

— И Жанна?

— Конечно! Она спасла мужа. И сразу выросла в глазах окружающих... и в своих собственных глазах. Жак молился на нее.

— Значит, нет проблем?

— Проблема была снята мужеством малышки Жанны. Ах, это так хорошо, когда нет проблем!.. Вы только не выдавайте меня, — сказала она быстро, увидев, что моя жена остановилась и поджидает нас. — Рано или поздно Жак сам все расскажет, он так гордится мужеством Жанны.

Очаровательно улыбнувшись моей жене, словоохотливая дама прибавила шаг и ушла вперед.

— Какие у нее черные глаза! — удивленно сказала жена. — И какие блестящие!.. Наверное, вы здорово посплетничали!..

О да! Плоскостной пейзаж семейной жизни Дармонов обрел стереоскопичность, в нем открылись глубины и размытая, лунная, как у Леонардо, перспектива. Я думал, что дальнейшее пребывание в доме приведет к новым открытиям, но неожиданно мы заторопились в отъезд. Жака срочно командировали в Париж. Он предложил ехать вместе, чтобы показать нам по дороге дивные замки Луары.

На прощание Жак решил угостить нас дарами моря. Ни свет ни зря мы отправились с ним на рыбный базар.

Огромный, под стеклянным куполом павильон стоял у самой воды, и рыбацьи катера доставляли улов к его воротам. Рыба была еще живой, в корзинах бились тунцы, камбалы, скаты, мурены, горбыли, душно пахли короба с устрицами, креветками, мулиями. Но их сильный йодистый запах не шел в сравнение с той острейшей, свежайшей, великолепной и невыносимой вонью, какой пропитался воздух базара. Меня слегка мутило, а Жак наслаждался, его волосатые ноздри плотно сужались и раздувались, вбирая и выпуская крепчайший настой воздуха. Он погружал руки в цинковые ванны, где истомлялись последней жизнью красные морские окуни; иные еще плавали, сонно шевеля плавниками, другие медленно наискось всплывали светлым брюхом кверху, но, ощутив прикосновение Жака, ударяли хвостом и погружались на дно. Жак

восторженно копался в скоплении тугих гладких тел, оставлявших серебристые блески на его пальцах. Он жадно нюхал свои руки.

— Люблю! — сказал он, подметив мой взгляд. — И не передать, как люблю все это. И вонь, и скользоту под ногами, и всю эту холодную рыбу плоть, которой будет насыщаться другая плоть — горячая, человеческая. Есть тут что-то первозданное, как в романской архитектуре, — готика уже от лукавца разума, — как в виноградном вине, как в любви... Только не надо мудрствовать! — воскликнул он, предупреждая возражения. — Права рыба, которая хочет остаться в своей сумрачной глубине, но прав и человек, который хочет ее к себе на стол.

Меня раздражали его раблезианские восторги прежде всего своей искренностью; я тоже буду жрать эту рыбу, но предварительно оболую серебрящиеся полумертвые тела незримой и тухлой слезой раскаяния. Я ведь, гад этакий, у каждой устрицы прошу прощения, прежде чем отправить ее, живую, пищащую от едкого лимонного сока, в пасть. Жак был целен, прям и честен в своем отношении к подчиненному миру. Мне это не дано...

И потому я покорно и молча помог Жаку выбирать рыб, langoust и розовых колючих морских раков...

— ...Ужасно трудно признать, что есть не только твоя правда, но и чужая правда, столь же справедливая, — заметил Жак, когда мы ехали назад в душно воняющей рыбой машине.

Я думал, он возвращается к прерванному разговору, но мысль Жака унеслась далеко от исходной точки.

— Вы слышали о нашей болгарской истории? — спросил он.

Из деликатности следовало бы соврать, но не хотелось утруждать его понапрасну, и я подтвердил, что слышал.

— Жанна вела себя благородно?

— В высшей степени!

— Я сумел ей не уступить, хотя мне это куда труднее. Жанна при двух детях оставалась девочкой, женская суть еще не очнулась в ней тогда. Но я-то не мальчик... — Он искоса внимательно посмотрел на меня. — А-а, вы ничего не знаете!.. — И просто, деловито: — Жанна изменяет мне. Она каждое утро ездит к своему любовнику.

Я поймал себя на том, что не могу представить себе Жанну, рядом с которой провожу столько времени. Ее облик все время менялся: то молодая, но уже усталая женщина с ли-

цом, оплывающим, как воск на жару, то крепенькая безмятежная кобылка, звонко цокающая копытцами крепких ножек, то растерянная крестьяночка, так и не приспособившаяся к городской жизни, то красавица спортсменка, тугая, как тетива, вся в устремлении к далекому ристалищу. Зыбкость ее облика, видимо, как-то связана с переменчивостью внутренней жизни.

Признание Жака застало меня врасплох, я пробормотал какую-то чушь: мол, ему только кажется...

Он поглядел насмешливо:

— Жанна ничего не скрывает. Зачем ей делать из меня дурака? Я этого не заслужил. Мы всегда были честны друг с другом.

— Честнее было бы расстаться, — услышал я с удивлением голос старого моралиста, вдруг вселившегося в меня.

— И швырнуть кошке под хвост четырнадцать лет жизни? И любовь, и семью, и благополучие детей? Мы пережили столько трудного: нужду, болезнь Жоржа, мои сумасшедшие влюбленности, со всем справились, а сейчас разжать руки? Ну нет... Я делаю все, чтобы сохранить Жанну, не дать ей забыть меня, отвыкнуть...

— А тот человек?

— Я его не знаю. Он старый холостяк и вроде бы не собирается терять свободу. Много старше меня, совсем седой, но Жанне хорошо с ним, и это главное.

— Главное — для кого?

— Для Жанны, разумеется. Бедная девочка, за тринадцать лет не поцеловать ни одного мужчины. Вы понимаете, я сделал ее женщиной, но пробудилась она только сейчас. Я рад за нее. В этом есть вечная правда жизни!..

Мне хотелось понять, что в рассуждении Жака идет от живого чувства, а что от «лукавца разума», но нам не удалось договорить — нас окликнула Жанна. Она тоже решила внести лепту в прощальный обед и вышла за корзиночкой клубники. Сейчас она пребывала в образе школьницы: никакой косметики, чистое свежее лицо, волосы расчесаны напрямую, вылинявшие джинсы и майка-безрукавка. Это было что-то новое и, наверное, наиболее годилось под отъезд Жаку...

А разговор наш мы продолжили на другой день по пути в Париж, куда продвигались со многими остановками не только

у старинных замков, но и у всех винных подвальчиков. Жак был возбужден и счастлив. Жанна хорошо попросилась с ним, поцеловала без напоминания, Флоранс вручила завершенную наконец-то поэму, прославляющую отца, а Жорж, чуть захлебываясь, прочел патетическое четверостишие.

Жак настырно крутил ручку радиоприемника, попадая то на венские вальсы, то на старинную лютневую музыку, то на скрипку Вивальди, но его возбуждение требовало иных звуков, и, оставив какой-то гавот, он добавил к нему ядреный рок-н-ролл Элвиса Пресли. В оглушительном шуме мы мчались от замка к замку, от погребка к погребку и, наливаясь местным, домодельным, терпким и легким вином, исполнялись все большей веры в будущее.

— Мне здорово не хотелось ехать, — признался Жак. — А сейчас я даже рад. Надо дать малышке Жанне немного свободы.

Мне казалось, что Жанна никак не может пожаловаться на недостаток свободы, но Жак был иного мнения.

— Ведь я давяю на нее просто своим присутствием. Она будет благодарна мне за короткое самоустранение.

— И вам все это по душе?

— Так вопрос не стоит. Это случилось, это данность, факт нашего существования. И положила руку на сердце нельзя сказать, что факт нежелательный. Рано или поздно Жанна должна была стать настоящей женщиной. И стала. Она расцвела, похорошела и безумно мне нравится. Наш брак выйдет из этого испытания окрепшим, а любовь — освеженной.

— Но ведь вы ревнуете?

— Конечно, ревную! — Жак повернулся ко мне и утишил музыку. — Откуда вы знаете? Кажется, я ничем себя не выдал.

— Я просто спросил.

— Ревность тоже естественное и по-своему прекрасное человеческое чувство. Оно делает жизнь горячей и богаче. Вспомните, без него не было бы «Отелло».

Он произнес это таким искренним и глубоким голосом, его концепция жизни была так крепка, цельна, округла, будто тронутое морозцем антоновское яблоко, что я ощутил другое естественное человеческое чувство, которое все же не решаюсь назвать «прекрасным», хотя именно оно, жгучее, ядовитое чув-

ство Яго, в основе шекспировской трагедии, а ревность — вторична, — я ощутил зависть.

Быть настолько защищенным от жизни, от ее самых болезненных ударов, от самых невыносимых терзаний несложными построениями, обретающимися в душе, выдрессированной снисходительной и удобной этикой многих поколений соглашателей, непреложную и освобождающую силу закона, — этому остается только завидовать. Впрочем, чему тут удивляться? Разве не описал все это в костюмах и декорациях иной эпохи Ф.М. Достоевский в своих гомерически смешных парижских очерках «Зимние заметки о летних впечатлениях»? Его великолепно приладившиеся друг к другу Мабиш, Брибри и Гюстав — чем не сегодняшний треугольник? У Достоевского глубокий аморализм буржуазной семьи изображен беспощадной кистью сатирика, в чем никто не мог соперничать с самым трагическим писателем мировой литературы, в жизни все выглядит мягче, человечней, но суть-то одна.

Как удобно, однако, устроились на клочке земного пространства, именуемого Францией! Понятно, откуда даже у самого заухудалого француза чувство насмешливого превосходства над остальными жителями земли, не сумевшими так ловко договориться с Богом, роком и собственной душой. И брала досада, что я не могу искренне восхищаться этой великолепной защищенностью, — несчастный и безумный Рогожин мне ближе, понятнее...

Изложив свой символ веры, Жак совсем развеселился и стал подсвистывать Элвису Пресли. Под его искусный свист я задремал и проснулся в электрической ночи Парижа, на углу Елисейских полей, где мне надо было сходить. Вторая машина отстала, и я решил дождаться жену в маленьком кафе при драгсторе.

— До свидания, Жак. Спасибо за все. Желаю удачи.

Зеленый неон вывески драгстора, растворяясь в вечернем тумане, погружал эту часть улицы словно на дно аквариума.

— Все будет о'кей! Желаю хорошо провести время.

Мы обменялись рукопожатием. Я ждал, когда он сядет в машину, чтобы помахать ему на прощание, но Жак чего-то медлил. Из черной рамы бороды смотрело бледное, в прозелень, будто неживое лицо.

— Мне одно непонятно, — донеслось словно издали. — Там, в Болгарии, я действительно помешался... Хотел умереть... Но с холодным дневным сознанием... как она может?..

МОСКОВСКОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Рассказ

Что-то случилось, а я проглядел, упустил и выпал из положенной мне ячейки времени. Но и с пространством у меня тоже неблагополучно — похоже, я и здесь лишился своего места. А может, с окружающим миром ничего не произошло, просто я по какой-то непонятной причине, приезжая с дачи в Москву, стал проваливаться в зазеркалье.

Когда я впервые ощутил неблагополучие? Не так давно, но когда, затрудняюсь сказать. Старость по-разному влияет на людей, меня она лишила четкого ощущения времени. Мы, старики, постепенно впадаем в детство, я же впал не в свое собственное детство, а в детство человечества: теперь я соотношусь со временем, как древние греки, — они тоже не могли сказать, когда что было. Для них событие двухлетней давности и Троянская война находились в одном временном пласте: не сегодня, не вчера, даже не позавчера, еще раньше. Геракл стоял к людям, скажем, века Перикла куда ближе, чем к нам — Керенский. Этот присяжный поверенный для нас, сегодняшних, почти мифология, а для греков мифологический Геракл был свой в доску — сильный и добрый богатырь, хотевший помочь другу-неудачнику Тезею похитить Елену Прекрасную, благоухание туники которой еще ощущалось в воздухе.

В общем, не сегодня, не вчера, не даже позавчера, раньше, но совсем недавно я отправился в «Литературную газету». Затрудняюсь назвать время года: это могло быть и осенью, и

зимой, и весной, у нас ведь сбились все времена года, только лето сохраняет стойкие приметы зелени и непрерывных грозовых дождей. Остальные времена года на один лад: слякоть, лужи, снег, грязь и копать, свинцовый цвет неба, воздуха, лиц и смертельная печаль. Короче говоря, Москва была в своем самом типичном образе.

Перед выездом жена сказала мне:

— Имей в виду, с Садовой ты не заедешь, там все перерыто. Надо ехать по Сретенке, ближе к Колхозной свернуть направо и — до самого Костянского переулка.

— Понял, — сказал я.

К сожалению, склероз внес роковую поправку в это понимание, и, когда мы оказались на Сретенке, а впереди открылась Колхозная площадь, я сказал своему не знающему Москвы водителю, чтобы он повернул налево.

У меня не было сомнений в своей правоте, тем более что переулки по правую сторону были изрыты и перегорожены, а по левую руку мы нашли переулок если не сквозной, то ловко притворившийся сквозным. И ошиблись-то мы всего ничего: вместо Малого Головина свернули в Большой. Машина весело катилась под крутой уклон, но метров через полтора ста пришлось затормозить — какие-то строительные работы велись и тут. Посреди мостовой, занимая всю проезжую часть, высилась рыжая горка крупнозернистого песка, к ней притулился брошенный на произвол судьбы бульдозер.

— Прорвемся штыками! — бодро сказал шофер, великий ерник.

Он въехал на тротуар и почти впритык к обшарпанной стене дома объехал препятствие, не повредив машину, но повредив бампером водосточную трубу. Теперь на этой флейте уже не сыграешь ноктюрн.

Мы оказались на Новинской улице и взяли вправо. Разыгрывая из себя этакого дядю Гиляя, старожилу и знатока столичных достопримечательностей, я сказал шоферу, что это место некогда приютило крупнейшие и дешевлешие в Москве публичные дома. Шофер с чувством глубокого удовлетворения принял мое известие, но скис, узнав, что это было до революции.

— А сейчас тут небось агитпункт? — сказал он со злостью.

Клаустрофобия всегда заявляет о себе заспинным холодом. Ты вроде еще не догадываешься об опасности и уверен, что мир распахнут во все концы, а ледяной палец уже пересчитал позвонки. Трудно поверить предупреждению, когда ты не в помещении, а на воле, пусть и под низким серым небом, да ведь не под потолком, готовым тебя раздавить; когда позади Бульварное кольцо, а впереди — широченное Садовое, слева Цветной бульвар с рынком, цирком и службами «Литгазеты» — все такое родное, привычное... ан нет, к Садовому не пробиться — там чудовищный затор: грузовики, краны, густотища людей, а толпа для меня страшнее запертого помещения. Так и нечего нам делать на Садовой, надо вернуться на Сретенку тем же переулком, которым мы сюда спустились со сретенского взлобка, я уже понял, что перепутал маршрут, и теперь знаю, как нам следовало ехать. Но из этого ничего не выйдет: за нашей спиной висит «кирпич», тут одностороннее движение, значит, и на Бульварное кольцо нам путь заказан. Черт с ним, вернемся на Сретенку по другому переулку. Ишь чего захотел: они все перерыты, больше подходит — взорваны, и над безднами кренятся ржавые механизмы, мертвые стрелы кранов, все это железо охраняют пушечные жерла штабелями наваленных труб. Без паники, выедем на Цветной бульвар и начнем сначала.

Но ближний переулок, ведущий к Цветному, тоже перерыт. А следующий — не поймешь, то ли перерыт, то ли закупорен сгрудившимися, вернее, спекшимися в гигантский клуб машинами и подводами. Тут сшиблись два МАЗовских гиганта, бились друг о дружку груженные ящиками платформы, запряженные ошалелыми огнедышащими битюгами; над ними опасно нависал подъемный кран на гусеничном ходу, а непременный бездействующий бульдозер предлагал всем расшибиться о его чугунные ребра. И было много мужиков в крысиных шапках, они жестикулировали, орали, матерщинили, но ничего не делали, жадно, в провал щек, затягиваясь куревом. Что их пригнало сюда? Почему столько людей и машин скопилось в этом малом, безнадежно искореженном пространстве? Кажалось, они нарочно притащились сюда, чтобы застрять и тем усугубить мировое отчаяние.

Мы подались немного вперед, до следующего переулка, чудом разминувшись с «Волгой», ринувшейся от безнадёги против движения. Переулок был разворочен словно бомбовыми ударами в обе стороны, пути нет ни вправо, ни влево, ни взад, ни вперед. Мы закупорены.

Я вылез из машины. Надо было найти нерв происходящего, возможно, это подскажет выход. Поражал контраст между кладбищенским покоем великой стройки или великого ремонта во весь сретенский регион и невероятной активностью людской массы, запрудившей развороченное пространство. За границей такое столпотворение бывает на кладбище в день поминовения мертвых. Но неужели все эти люди пришли помянуть испустившую дух могучую технику? Нет, они варили тут какой-то свой суп. Преобладали мужчины в куртках из плащовки и крысиных шапках, женщины в ватниках и резиновых сапогах, с лилово покрашенными губами. Но не у них была поварешка, которой помешивают закипающий суп. Водовороты страстей заверчивались вокруг зашельцев иного обличья: юноши со смуглым профилем испанского жиголо, в черной коже и темных очках, седого джентльмена в элегантном плаще на подстежке, жизнерадостного гривастого старика, похожего на профессора музыки, но не профессора музыки. Что за коммерция возможна на мерзости запустения? Что тут продают и покупают? Материалы и механизмы чудовищной мертвой стройки: песок, щебень, кирпичи, листовое железо, пиломатериалы, трубы, лопаты, носилки, тачки, бульдозеры, краны, грейдерные машины? Или мертвые и полумертвые здания, или целые улицы и переулки? А может, все это и что-то еще, что должно явиться и вдохнуть жизнь в угрюмое место, но уже никогда не явится, на корню скупленное и перепроданное испанским жиголо, джентльменом в плаще на подстежке, гривастым профессором музыки?..

И хотя все это никак меня не касалось, ужасная тоска легла на душу. Я подумал: если бы сюда привели Моцарта, он сразу бы умер. Но я не Моцарт, я должен выжить и не поддаться клаустрофобии. Все машины: частные, государственные и левые, грузовые и легковые не будут тут зимовать, а разъедутся по своим базам. Значит, выход есть, только мы не знаем, где его искать.

А что, если бросить машину и уйти отсюда пешком? Но шофер не выберется. Он навсегда останется здесь. Он не знает города, и у него нет доверенности. Если он останется здесь, машину продадут — вместе с ним. Или разберут на части, оставив ему сиденье, чтобы было на чем сидеть, и руль, чтоб было за что держаться.

И тут на меня накинудись какие-то бородатые люди. Они что-то кричали, похлопывали меня по плечам и спине, как цыган лошадь на ярмарке. Может, они меня тоже кому-то продавали? Не меня как такового, а мою одежду, часы, браслет от гипертонии, нательный крест, но, может, и меня самого: на мыло или шашлыки или в рабство?

И дернул же меня нечистый выйти налегке! Со мной не было ни газового баллончика, ни ножа с фиксатором, ни кастета. Я не собирался сегодня ни в Дом литераторов, ни в Союз писателей РСФСР и все оставил дома. В «бардачке», правда, лежала хорошо заточенная стамеска, но я отрезан от машины. А молодцы прыгали вокруг меня, скакали, и, если б не безулыбчивая серьезность глаз, я, наверное, поверил бы в их добрые намерения. Вернее, в отсутствие всяких намерений.

— Да мы же с телевидения! — сказал главный — при черной клочкастой бороде у него были крошечные дремлюще-пристальные медвежьи глазки.

— Да что я, не знаю? — шумно и фальшиво обрадовался я. — Неужто своих не узнал? А я заплутался. «Литературку» потерял. Как туда проехать?

— На Цветной? — подозрительно спросил медвежьеглазый.

— Да она сто лет как оттуда съехала!.. Она в этом... как его?.. Вот черт, никак не могу запомнить название!..

— Понятия не имею, — сказал он холодно, отчужденно, и опасные медвежьи глазки сузились в булавочную головку.

А товарищи его вдруг перестали прыгать и скакать, повернулись ко мне спиной, как будто им не было до меня никакого дела. И чтобы овладеть положением, озадачить их, явить свою неустранимость, я заорал на ломаном китайском:

— Так какого ю-хеня вы тут болтаетесь, если ни черта не знаете? И где ваша камера, коробки с кассетами и магнитофон? Что вы собираетесь снимать, когда тут ни ю-хеня нету?

Я зря надрылся: они исчезли, растворились в воздухе, как воробы. А может, их и не было? Дух места, дух зла, которому едино быть об одной или многих головах, обернулся тремя телеобормотами, чтобы прощупать чужака, проникшего в запретную зону, и, коли надо, уничтожить. Я вдруг понял, что вся здешняя путаница распутается, разберется, единственная помеха во мне, застрявшем тут, как рыба кость в горле.

Я вскочил в машину:

— Гони!

— Куда гнать-то?.. — спросил шофер, и я понял, что он тоже испуган. — Вперед не поедешь.

— И не надо!

Он тронул, и мы чудом разминулись с огромным старым «мерседесом».

— Налево! — вскричал я и сам крутанул баранку, потому что у моего водителя замедленные движения, как под водой.

Мы пронизали низкую темную подворотню и оказались в обширном захламленном дворе. Впереди на свалке играли дети. Под старым мертвым вязом мощно мочился старый человек в меховой шапке с ушами до колен; такие шапки носили первые полярные летчики. Желтый бурливый поток уносился из-под его ног к подворотне, стремясь, как все реки, к морю. Было много ржави кругом, картонных коробок, разохшихся бочек, облупившихся стен, выбитых стекол, много печали забывшей о себе жизни.

Теперь водитель крутил баранку, не ожидая моих панических команд, подчиняясь структуре двора. Он направлял машину туда, где был просвет, и я с ужасом ждал, что впереди вырастет стена, забор, сарай или помойка и придется задом ползти назад, туда, где прочно обосновался дух клаустрофобии. Но нет, мы всякий раз находили просвет и мчались дальше, пока нас не всосала другая подворотня и не выбросила в освобождающий простор Новинского бульвара.

Мы выехали на Садовую и без приключений добрались до Костянского переуллка, отделенного от улицы глубоким рвом. Через ров были перекинuty мостки. На этих склизких мостках я и разбился...

Так кончилась моя поездка в «Литературную газету», но это все присказка, сказка впереди.

Прошло сколько-то времени, и настало лето, нами не за- служенное. Давно залечив ушибы и вновь почувствовав вкус к авантюрам, я решил совершить бросок в столицу, и опять с литературной целью: передать статью в только что созданный журнал со странным названием «Их». Статья была заказана мне по телефону, причем основной упор делался не на статью, а на условия величайшего благоприятствования свободному выражению своих взглядов, который обеспечивает авторам журнал «Их». Вы можете писать о чем хотите: о политике, культуре, собственной душе, о прошлом, настоящем, будущем (только не о светлом), об отношении к женщине и смертной казни, природе и детям, гомосексуализму и религии, музыке, о росте преступности, о живописи, СПИДе, литературе, сексе, театре, археологии, приватизации, интеграции и рыночных отношениях. Но можно ни о чем этом не писать и вообще не писать, важно, чтобы вы испытывали то полное раскрепощение, которое отличает истинную свободу слова от сомнительной гласности. Журнал недаром называется «Их». Он не выражает своего мнения, ибо просто не имеет его, как не имеет вкусов, пристрастий, точки зрения, выстраданных и невыстраданных идей, короче говоря, ничего, за что можно было бы отвечать. Все — их. Эпиграфом журнала являются пушкинские строчки: «Сколько их! Куда их гонят?» За статью до десяти страниц платят 1000 рублей (одну тысячу руб.).

Мне очень хотелось получить тысячу рублей за десять откровенных страниц, и я с энтузиазмом согласился. Мне назначили срок сдачи и попросили приехать лично подписать договор. «Какой еще договор?» — «Мы на каждую статью подписываем договор».

Через неделю я отправился по указанному адресу. Я никогда не слышал о такой улице, не знал даже, что она есть в Москве, к тому же находится в самом что ни на есть центре. За мою долгую жизнь я, наверное, сотни раз бывал возле этой улицы, ни разу не ступив в нее и не заметив дощечки с названием на угловых домах. В адресе настойчиво подчеркивалось, что мне надо будет найти «5-е строение», не корпус, что привычно, а именно строение. Это меня обеспокоило: всякая новь у нас чревата подвохом. Мой водитель, который со времен сретенских странствий не доверял Москве, разволновался до

подскока давления. Поездка едва не сорвалась. Но с помощью сильных югославских лекарств давление удалось сбить, и мы отправились в путь.

Пробирались мы туда с Бульварного кольца по маленькому переулочку, тесному, как склерозированный сосуд, от трехрядной очереди за котлеткой в «Макдоналдс». Эта очередь тугими кольцами анаконды обвиняет зеленый пустырь на месте чудесного «дома Фамусова», одной из самых милых достопримечательностей столицы, принесенной в жертву злому гению Москвы.

Дальше мы покрутились в переулочном лабиринте, напомнимшем сретенский капкан, натываясь то на горы песка, то на дощатые шлагбаумы у края бездны, то на уснувшие вечным сном дорожные машины, и вдруг оказались на углу искомого переулка, у того самого углового дома, который был нам нужен.

Тут царила странная пустыннось, исключившая коротенький переулок из суматошного московского центра. Пешеходы и машины исчезли, старый кирпичный, почерневший от времени дом с заветным номером и названием улицы казался необитаемым.

Я вылез из машины и вошел в подъезд, с усилием оттолкнув глухую дверь на ржавой тугой пружине. Подъезд не был освещен, но откуда-то сверху сочился тощий, бледный, нездоровый свет. Когда глаза привыкли, я обнаружил лестницу, металлические перила и пошел вверх по обшарпанным ступеням, опирая руку о ледящий холод перил. Второй пролет подвел меня к темному коридору. И опять таинственная световая сочь позволила углядеть двери: высокие — деревянные, низенькие — обитые жостью. Последние были без ручек и, похоже, никуда не вели. Сердце молчало, не тревожимое предчувствием тайны. Первая же деревянная дверь со старинной медной ручкой легко поддавалась нажиму и впустила меня в холодную смрадную щель со стеллажами, заставленными папками. Несло плесенью и сопревшей бумагой. Мне вспомнилась шутка Лескова: у польского сомнительного дворянина герольд непременно сгорел, а у русского — сопрел. Здесь сопрело герольдов без счета, их хватило бы на весь мушкетерский полк, который развеселая императрица Елизавета в сильном подпи-

тии произвела всем скопом в дворяне. Неприятный живой шорох наполнял спертый воздух хранилища. Я настраивал себя на крепкий бодрый испуг, но ко мне подкрадывался какой-то гадливый ужасик. Я высочил в коридор.

Я толкнулся в двери еще двух-трех пустующих смрадных помещений и вдруг попал в населенность и свет. Я вздрогнул не только от неожиданности. Мне показалось, будто я вселился в аллегорическое полотно Вермеера Дельфтского «Наука». Скажу честно, я не уверен, есть ли у Вермеера такое полотно, или это плод моей фантазии, хотя он писал аллегии, которые я люблю гораздо меньше его жанровых картин, да какой это жанр — нет более таинственной живописи. Конечно, можно отыскать монографию, посвященную Вермееру, и установить название картины, но в наших условиях даже такой малый поиск станет кошмаром и отымет часть жизни, которой и без того осталось кошке на лизок. Да и не в этом дело, замечательно, что странный человек дельфтского тайнописца предстал передо мной в яви и в том самом окружении, как на картине. Дубовые столы, заставленные микроскопами, колбами, ретортами, горелками с трепещущим сиреневым спиртовым пламенем, сектанты, угломеры, кронциркули, светлый, как улыбка, глобус и непрменный череп — символ мудрости. Был и стеклянный кубок на медной треноге, в котором Нострадамус вычитывал свои предсказания. И повсюду мерцали, сверкали, сияли, маслянисто тускнели всевозможные минералы — крупными уломками, мелкой россыпью на ватной подстилке палисандровых ящичков. В густоте вещей казалась бесплотной тощая, сутулая фигура молодого ученого, рыжекудрого и лупоглазого, с вздернутым готическим носом. Он был то ли в ученом халате, то ли в рясе, остроконечная шапка на рыжих кудрях напоминала клубок. Он повернул ко мне свое аскетическое лицо с выражением приниженного высокомерия и заинтересованной отчужденности.

— Простите за беспокойство, — сказал я, — вы не знаете, где находится пятое строение?

— Пятое строение... пятое строение... пятое строение... — забормотал он, словно приучая себя к непривычному словосочетанию. — А что такое «пятое строение»?

— Я и сам не знаю. Мне дали адрес. Там указано: пятое строение.

— Пятое строение... пятое строение... пятое строение... — забормотал он, словно подманивая кого-то незримого на подмогу, но, судя по всему, тщетно.

— А что там находится? — спросил он бытовым голосом.

— Редакция журнала «Их».

— «Их»? Разве есть такой журнал? Разве он может быть?

Я пожал плечами.

— Есть журнал «Онъ» через «ять». Его издают монархисты. Есть журналы «Я», «Ты», «Мы», «Вы», а «Их» нет. Есть «Алеша» — советский «Плейбой», — после указа президента — без секса.

Этот отшельник, алхимик, звездочет был осведомлен о молодой советской прессе куда лучше, чем я.

— «Их» еще только создается. Я принес материал для первого номера.

Его взгляд приклеился к моему лицу.

— Для «Их»?

— Для «Их».

— Пойдемте! — сказал он решительно и запахнул халат.

Мы спустились по лестнице и через черный ход вышли во двор. На пустыре торчали пятиэтажные кирпичные коробки, похожие на административные корпуса дореволюционных фабрик.

— Раз, два, три, четыре... пять, — пересчитал он корпуса. — Это должно быть пятым строением.

— Но там нет жизни.

— А где она есть? Но если «Их» существует, хотя бы силится стать, то лишь в этом доме. Видите, наверху хотели вымыть окно, это знак человеческого обитания. Все остальное мертво. — И, сказав эти зловещие слова, человек, которого я вынул из старой голландской картины, исчез во тьме дверного проема, как в черном рембрандтовском лаке.

Водитель, которого я известил, что пятое строение найдено, не пожелал заехать во двор. Он запер машину и пошел со мной. То ли он хотел меня охранять, то ли боялся остаться один. После Сретения он потерял доверие к городу.

Огромный двор походил на кладбище ушедшей цивилизации. Его заполняло чудовищное месиво из битого кирпича,

искореженной арматуры, деревянных стропил, ящиков, останков всевозможных механизмов и домашней утвари, стеклотары, консервных банок и всякой невообразимой дряни. Я убежден, японцы охотно взяли бы эту восхитительную помойку взамен Курильских островов, без которых нам не обойтись. Впрочем, у советских своя гордость, и я не уверен, что, зайдя разговор о продаже японцам помойки за двадцать пять миллиардов долларов, наши люди пошли бы на такую сделку с совестью. Нет, мы не отдадим за чечевичную похлебку то, что создано свинством многих поколений.

Мусор кишел крысами. Непонятно, какое пропитание они находили там. Быть может, вывелась особая порода, способная пожирать бумагу, картон, железный лом? И еще было много ворон, усеявших сухие сучья мертвых вязов. Другие расхаживали с развальцем по земле, заложив руки за спину. По-моему, их волновали крысы, но не было ни одной попытки нападения, и крысы на них плевать хотели.

Людей в этом девственном мире не водилось, а дом, где, по мнению естествоиспытателя, должен был находиться «Их», с приближением к нему обретал все более нежилой вид, дыша из подвала ледяной остудью и тленом.

Мы обошли его кругом, обнаружив за другим торцом странную спящую жизнь. Здесь находился квадрат зеленой травы в обрамлении пыльных кустов давно отцветшей ржавой сирени и две скамейки. На них дремали, свесив головы в соломенных шляпах, очень старые люди в чесучовых пиджаках, сбежавшие со страниц журнала «Смехач» исхода нэпа. Так выглядела на карикатурах предприимчивая нечисть, на самом же деле люди, сумевшие в баснословно короткий срок поднять рухнувшую экономику. Неужели возвращается этот, казалось бы, навсегда исчезнувший тип сметливого, умелого, чуть наивного, не прибегающего к мимикрии дельца?

Мы идем к рынку неохотно, спотыкаясь, как Подколесин к невесте, с тайной надеждой в последний момент выпрыгнуть в окно. Но подслепые глаза старых «оптиков», как шуточно-почтительно называли их в пору рыночной примаверы, видят дальше и зорче, и чесучовая боевая форма извлекается из нафталина, и полосатая шелковая ленточка нашивается на прохудившуюся соломку канотье.

На зеленой траве то ли дремали, то ли замерли выжидательно дети, погасив в себе всякое движение жизни.

А что, если дети совсем не случайно расположились у подножия последних могикан частного предпринимательства? Дремлющие, такие непрочные с виду старички сильнее танков и БТР, сильнее «Калашниковых», «черемухи» и хорошо заточенных лопаток в руках пустоглазых кровопусков. И молодая жизнь тянется к ним, ведь так хочется хлеба и зрелищ, движения, песен и хорошей большой любви. Фигуры ископаемых поникли, склонились, как плакучие ивы над рекой, их сон подобен смерти, но это обманчиво, они проснутся в должный час для решающего броска в светлое будущее...

Мы вернулись к дому.

— Надо подняться наверх, — сказал водитель, углядевший живой глаз тронутого мокрой тряпкой окна.

— А лифт тут есть?

Он засмеялся:

— Ишь чего захотели! Хорошо, коли лестница цела.

— Мне ее не осилить.

— Ладно. Я сам подымусь и пригоню их вниз.

— Весь «Их»?

— Всех их, — поправил водитель и с отвагой японского искателя жемчуга нырнул в подъезд.

Я не успел соскучиться. Из темной страшноватой дыры подъезда с дверью, висевшей на одной петле, появилось шестивое. Впереди не шло — даже самая легкая поступь груба, отдает мускульным усилием, — а туманно перетекало удлиненное существо, все из лунного серебра; невесомые Боттичеллиевы волосы долгими прядями обрамляли узкое лицо, ниспадая до осиной талии. Она словно по проволоке двигалась, ставя ноги в одну линию, — это создавало ощущение непрочного равновесия, казалось, она может сорваться с той узкой полоски, которую так скромно выгадала себе во Вселенной, как цирковая канатоходка, сделавшая неверный шаг в подкупольной выси, и рухнуть в околосемную бездну. «Господи, коли это случится, пошли ей два белых крыла!»

Ко мне вернулась давно утраченная острота зрения. Я издали разглядел ее всю: от носков туфель до раздвоя пепельно-золотистых волос над выпуклой смуглотой лба, от нежных ко-

лен до ресниц, отягощенных тенями, которые они то опускали на высокие скулы, то взвевали выспись; поблуждав взглядом по благодатному ее облику, я сосредоточился на серых в синь глазах, готовых излиться слезами, как у Сепфоры, но не от томной слабости, а от безмерного сострадания к убожеству окружающего.

За ней шел пятнадцатилетний мальчик, невысокий, стройный и гибкий, с милым петушком на макушке. Все выглядело на редкость ладненько на его грациозной фигурке: и серый клетчатый пиджачок, и легкие бежевые брюки, и синяя в полоску рубашка, позволяющая видеть в распахе ворота тонкую незащищенную шею.

«Какой славный у нее сынок!» — полыхнуло из глубины склероза, но я сразу перехватил дурацкую мысль, не дав ей развиться в дурацкий поступок: отечески потрепать подростка по затылку. Как может он быть ее сыном, когда ей самой лет двадцать пять? Даже при тех ранних браках, которые практикуются в нашей школе, у нее не могло быть такого большого сына. Наверное, младший братишка, зашедший проведать сестру, а может, принесший ей завтрак в узелке, словно кусочек дня, и захотевший взглянуть на еле живого писателя.

— Я — Оля, — сказала девушка. — Вы говорили со мной по телефону. А это наш главный редактор.

Глупо улыбаясь, я протянул пацанку руку, он ответил мне крепким мужским пожатием.

— А рукопись? — как-то славно всполошилась Оля.

«Милая, — хотелось мне сказать, — ну какая еще рукопись? Разве есть тебе дело до наших жалких игр, до всей пустой суеты, которой земная персть подменяет жизнь? Ведь это не Богово, да и человеческое — едва ли. А ты от Бога, ты последний Его привет миру, который Он так вдохновенно создавал, а создав, одобрил и доверчиво подарил человеку. И во что тот превратил Божий подарок! Зачем ты здесь, среди этих темных кирпичных коробок, ржави, каменной слизи, крыс, чесучовых старцев и оцепенелых надежд на лавочное чудо? Ты же из другой Вселенной, там хрустальный воздух и серебряная вода».

Она ждала, улыбаясь и перебирая руками то правую, то левую прядь, чтобы не застили свет. Но истинный смысл же-

ста был в другом — в отвлечении собеседника, в ней шла какая-то душевная работа, никак не связанная с бедной очевидностью происходящего: то ли ускользающая мысль, то ли навязчивое воспоминание, то ли какая иная тревога туманила ей взор, но она не хотела, чтобы неполнота ее присутствия среди нас стала заметна. И жестом, имеющим якобы практический смысл, она подчеркивала свою озабоченность интересами «Их».

Я протянул ей свернутую в трубку рукопись. Она сделала что-то похожее на книксен, но не обычный грубый подсед, а некое смиренное опадающее движение, будто осколкз на лунном луче, и бумажная трубочка перешла в ее руку. Плавный поворот, и вот уже рукопись у милого отрока, с ломоносовской упрямкой притворяющегося главным редактором.

— Вы подпишете договор? — В руке ее оказались какие-то листки.

О, если бы я мог подписать договор Фауста с Мефистофелем: душу за молодость!

— На чем?..

— На капоте моей машины, — баском произнес главный редактор, листая рукопись.

Оля положила договор на капот «Жигулей». Теперь я поверил, что он взрослый человек, а коли так, то ничто не мешает ему быть главным редактором «Их». Нельзя владеть машиной, равно и получить шоферские права до совершеннолетия.

Я расписался на трех экземплярах договора. Главный редактор, не переставая листать рукопись, взял не глядя шариковую ручку и отметился ловким завитком.

— У него кассеточное устройство глаза, — шепнула Оля. — Он видит, как оса: во все стороны. — И она вручила мне третий экземпляр.

— То!.. — сказал главный редактор, скручивая рукопись в трубочку. — Вполне то. Спасибо. — Он строго взглянул на Олю.

Та подняла руки над головой и несколько раз сомкнула ладони, словно начиная восточный танец. Наверху, там, где мы предполагали местонахождение «Их», распахнулось окно и выглянуло женское лицо.

— Сейчас с вами расплатятся, — сказала Оля и добавила в ответ на мой удивленный взгляд: — Главный редактор принял статью.

— Как принял?..

— Прочел и принял. У него фотографическое зрение. Он не читает по словам и строчкам, а вбирает сразу целую страницу. Сейчас прибудет главный бухгалтер.

— Леокадия Нестеровна неисправима, — сказал с легкой досадой главный редактор.

Я проследил за его взглядом: Леокадия Нестеровна, журнальный бухгалтер, летела с пятого этажа, держа в одной руке круглый столик, в другой ведомость, чернильницу и перо. Ветер колоколом вздувал ее юбку, были видны красивые штаны сочного цвета лиловой сирени.

Она приземлилась. Перепуганные крысы кинулись врассыпную, вороны подпрыгнули раз-другой, хлопнули крыльями, но не взлетели, у них были крепче нервы.

— Вы зря взяли столик, — укорил летунью главный редактор. — Проще воспользоваться капотом моей машины.

— Да ведь стараешься как лучше, — покраснела Леокадия Нестеровна, одергивая юбку.

Чувствовалось, что редактор сердится не всерьез, ему импонировала ретивость его служащей. Послышался долгий, жалобный, с перебоем вздох, похожий на стон птицы в ночном лесу. Оля опустила пепельно-золотистый занавес на лицо. Вон что! Как это пели узники Консьержери в дни Французской революции?

А между этих черных стен
Любовь царит без перемен,
Любовь царит, любовь царит
Без перемен!..

До чего же полной, взволнованной, раскованной жизнью живет держава «Их» над крысино-вороньей свалкой!.. Может быть, это тоже начало чего-то нового, незнакомого или забытого нами и ничуть не менее важного, чем псевдорыночные страсти по Михаилу?

Леокадия Нестеровна разложила ведомости на круглой, обтянутой голубым атласом столешнице изящного французского столика в стиле рококо, поставила старинную бронзовую чернильницу, напоминающую пороховницу, в которой еще есть порох, и протянула мне гусиное перо.

Я спохватился, что не взял с собой свидетельство участника войны — очарованный странник вспомнил о налоге.

— У «Их» это не требуется, — не без гордости сообщила летучая бухгалтерша.

Я боялся, что не сумею расписаться гусиным пером, но получилось замечательно: где надо — с жирным нажимом, где надо — с волосяной тониной, и я в который раз пожалел о том, чего мы лишились с появлением шариковых ручек. Умер почерк — один из признаков личности, выражающий характер и душевное состояние пишущего. К тому же исчезло дивное искусство — каллиграфия, и ради чего? Чтобы выиграть время, которого и так некуда девать. Теперь я понял: журнал «Их» борется против нивелировки человеческой сути, за индивидуальность. Он поощряет свободу самовыявления и в своих сотрудниках: они летают, скользят по лучу, видят задом..

Но вот и все. Мы попрощались. Лунная Оля припала долу в глубоком реверансе, пустив по земле пепельно-золотистый поток, молодчага редактор сделал мужественный жест — что-то среднее между «рот-фронт» и «хайль», Леокадия по-старинному поклонилась верхней частью туловища. Я думал, она вернется в редакцию кратчайшим путем — по воздуху, и я опять увижу ее красивые штаны спелого цвета лиловой сирени, но она чинно отправилась пешком следом за другими, неся в одной руке французский столик, в другой — чернильницу и перо, а ведомость зажав под мышкой.

Наверное, стоило немного задержаться во дворе и получить сверху авторские экземпляры журнала, но я почувствовал, что шоферу все это надоело. Он и вообще вечно спешил, хотя с личным временем ему так же нечего было делать, как человечеству — с тем суммарным прибытком, который накопили ему шариковые ручки.

Возникшие было пустота и тишина заполнились вернувшимися крысами. Мы только повернули назад, как перед нами выросла длинная, гнутая фигура в рясе-халате и клобуке-кол-

паке — вермееровский естествоиспытатель. В усталом порыве желом солнце ржавь его волос стала красной с вкраплениями оттенков бордового.

— Вам! — сказал он, мучительно стесняясь, и капли пота со лба смешивались со слезами на впалых щеках отшельника. — Возьмите! Прошу вас! Горный хрусталь!..

Он протянул мне сероватый полупрозрачный брус и, едва я взял его в руку, исчез, как исчезает мандельштамовский щегол:

В обе стороны он в оба смотрит — в обе —
Не посмотрит — улетел!

Иногда мне кажется, что ничего этого не было, все-то мне приснилось, и тогда я достаю из ящика письменного стола, всякий раз опасаясь, что там ничего не окажется, прекрасно изданный в Финляндии — разумеется, отсюда и яркий многоцветный глянец обложки, и стройный шрифт, и атлас бумаги, и великолепные фотографии — первый номер журнала «Их» с моей статьей или достаю из шкафа тусклый гладкий уломок горного хрусталя. Эти вещественные доказательства неопровержимы.

...Лежат и пылятся в иностранной комиссии СП приглашения во Францию и Италию. Как заманчиво звучат имена этих стран! Но мне туда не надо. Куда притягательнее и таинственнее московское зазеркалье. Жаль, что у моего водителя слегка поехала крыша от переживаний и все труднее становится заставить его покинуть берег Десны подмосковной. А сам я давно уже не вожу...

ЛЮБИМЫЙ УЧЕНИК

Рассказ

Как полагается, в преданиях все это обрело притчевый лад, стало наглядным уроком смирения. Иначе и быть не могло. Каждый его жест, каждое слово были перетолкованы в поучение, что не лишено основания. Он не мог растрачиваться на свободную игру чувств, слишком мало времени было ему отпущено, — пойди вырасти урожай новой веры на каменистой, сухой, неплодной почве дремучих душ. Но сейчас было другое, ему хотелось прикоснуться к человеческой плоти, в близости страшного исхода ему вспало, как мало телесного было в его жизни.

Сильно и нежно помнились ему ласковые крепкие руки и круглые колени Матери. Смутно, то ли истинным детским воспоминанием, то ли мнимой, навязанной ему окружающими памятью виделся единственный товарищ его ранних лет, брат в каком-то колене Иоанн, серьезный, красивый и печальный, немного старше его. Неужели он провидел свою судьбу, что голова его с закатившимися глазами будет подана на золотом блюде блудной Иродиаде? Наверное, так подробно он этого не знал, но знал, что будет страшное, и потому никогда не улыбался, тихий, сосредоточенный в себе, приветливый мальчик. Но ведь и ты никогда не улыбался, потому что тоже знал, что в конце будет страшное. Блаженны неведающие... Как скромны и тихи были их редкие игры. Они не возились, не боролись, не барахтались, как все мальчишки. Иоанн что-то искал в траве, потом приносил цветочек, и вы молча внима-

тельно его рассматривали. И ты в свой черед находил камушек или мертвую бабочку и нес находку другу. И снова шло безмолвное, задумчивое лицезрение. Вы не знали названий этих цветов, травинок, насекомых, но почему-то не спрашивали своих матерей — Марию и Елизавету — об именах малых мира сего. Лишь раз попался цветок, напоминающий формой крест, ты видел такой в руках у Матери, когда еще не умел ни ходить, ни говорить и жил у нее на коленях. Слово «крест» вошло в название, но ты не вспомнил.

Мать поздно спустила его с рук на землю, словно боялась, что он уйдет и потеряется. Он и ушел в свой час, без сожаления и печали, как уходил от всех ради ждущих впереди. Лишь тем двенадцати, которым он сегодня вымоет ноги, позволено было следовать за ним. Одних он сам позвал, другие запросились в спутники, третьи были ему вверены.

А с Иоанном они встретились через много лет, когда тот стал рослым, стройным мужчиной с прекрасной лохматой головой; его крупное тело было закутано в плащ из грубой верблюжьей шерсти, дыхание отдавало диким медом и травами, он проповедовал людям о скором приходе Мессии и крестил их в Иордане. Иисус пришел к нему из Галилеи принять святое крещение. Что-то отстраняюще щепетильное было в смирении, склоненности Иоанна перед ним, и это пресекло возможность доверительного тона старой дружбы. Пришлось удовольствоваться негреющим жаром встречи Мессии и его пророка.

Мысль соскользнула с Иоанна, Иисус вспомнил сестер Марфу и Марию, в чьем доме он находил приют. Они омывали его усталые ноги, мазали миром голову. Особенно приятны были прикосновения легких, внимательных, никуда не спешащих рук Марии. А Марфа, всегда не успевавшая по домашности, вечная хлопотунья, омывала ноги, будто миску споласкивала после еды.

Другая женщина, тоже именем Мария, омывала ему ноги слезами и вытирала своими пышными мягкими рыжими волосами. Она была блудницей среди людей, но что ему до этого? Раз на дороге она припала к его ногам, он наклонился и тронул ее за плечо и в этот миг забыл себя и свое предназначение. Хотелось зарыться в ее рыжие, с бронзовым отливом волосы и остаться там навсегда.

Сам он редко касался человеческой плоти, разве что исцеляя прокаженных, изъязвленных, параличных, бесноватых или оживляя трупы, но физической радости эти прикосновения не доставляли.

Телесность жизни — вот чем он был обойден. Одинокие странствия по каменистой пустыне и пыльным дорогам, удаление от мира, мучительные искусы, проповеди и поучения, бездомность — лисицы имеют норы, птицы небесные — гнезда, а Сыну человеческому негде преклонить голову, — все это уводило от густого человеческого тепла в стылую пустоту бестелесности. Он трогал жизнь не перстами, а словом. И как прекрасно было, когда вдруг, устав от бессилия взываний, он схватил плеть и отхлестал торгашей, раскинувшихся в храме со своими товарами, выгнав их вон. Хорошо погуляла треххвостка по жирным спинам и плечам.

И чудесно вспомнить, как на белой ослице он спускался с иерихонской кручи после сорокадневного искуса, легкий, словно бы хмельной от голода, ободравшего его плоть до тонины осеннего листа, и чувствовал худыми лядвиями крепкие шелковистые бока ослицы, а седалищем — твердый круп. Он сидел, сильно откинувшись назад, иначе ослица повалилась бы с отвесной пади, по которой извивалась узенькая тропка. Она так наклонилась, что он видел лишь холку и кончики ушей, но не видел головы; порой казалось, что он пребывает в свободном падении — парении, и это оборачивалось предчувствием будущей невесомости, а ему хотелось совсем иного — тяжести плоти. И он обрадовался, когда в изножии склон стал менее крут, а там и вовсе — пологим, тропка расширилась и в правую ногу ему заколотился лопаткой сынок ослицы, трусивший на круче сзади. Иногда он тыкался в него мягким носом, и радостно было слияние с плотью жизни.

Он уже знал, что в небесном чертоге Отца ему будет скучно без грубой, плотной, пахучей, пестрой земной круговерти с кучей ненужных забот и дел, порочной, низкой, отвращающей персть земную от милостиво простертых Божьих рук — да ведь после сладимой родниковой воды хочется иной раз ожечь гортань глотком пряного хмельного вина. И сейчас он жалел, что так мало пил из этой чаши.

До чего же, наверное, страшно, душно и захватывающе постоянно пребывать в объёме этой жизни, сквозь которую он проходил, как солнечный луч сквозь воздух.

«Я ведь так мало знаю о той обычной жизни, которой живут простые люди, а не пророки, — думал Иисус. — Я не знаю названий многих деревьев, цветов, трав, камней, мелких животных, снующих в траве и песке, я даже не знаю, как называются иные предметы, служащие для домашней пользы, ремесла, забав. Я затрудняюсь порой на обычных словах, и обо мне пустили слух, что я косноязычен. Я слишком рано задумался над тем, что непричастно дневной заботе, и тут у меня достаточно слов, а если вдруг не хватало, я создавал нужные слова сам, и люди, слушавшие меня, понимали их, будто всегда знали, лишь не желавшие слышать делали вид, что не понимают. И я слишком рано прозрел участь, мне уготованную, и ужаснулся. Нет, я сам уготовил ее себе, пожалев людей и дав этой жалости превзойти любовь к себе единственному, на чем стоит мир людей. Господь, создав меня своим хотением, предоставил мне право выбора. Я мог остаться одним из пророков, еще одним предтечей, но я принял на себя ношу и стал сыном Предвечного. Я не был обречен на свой путь, Вифлеемская звезда сияла не мне, я даже не видел ее из вертепа своими мутными опрокинутыми глазами. Она была звездой надежды. Все делается произволением Божиим, но мне дана была свобода. Я выбрал крест, не обманув Небесного Отца. Но пока еще я Сын человеческий и чувства во мне человеческие, иначе я не смог бы исполнить того, к чему призван. И страдания мне предстоят человеческие, и они страшат меня, и опаматование в славе и бестелесности не довлеет моей душе».

...Иисус взял в руки стопу Иоанна, «которого Он любил», — с трогательной и наивной настойчивостью будет повторять Евангелист, вспоминая свои дни с Христом. А потомки перетолкуют в «любимейшего». Верно ли это? Он правда очень любил Иоанна и дал ему место возле себя, как и брату его Иакову Заведееву. О том просила Иисуса их мать, доверяя ему своих сыновей. Он отчитал тщеславную женщину мгновенно родившейся притчей, но по какой-то слабости выполнил ее просьбу. А ведь одесную от него надлежало бы сидеть Петру — камню, на котором он создаст свою

церковь, Петру — будущему первосвященнику, хранителю райских врат.

Иоанн был одним из самых любимых, он старался всех любить одинаково, но даже ему это не удавалось. Иоанн был ласков, как женщина. Он все стремился склонить голову на плечо, на грудь Учителя, приятно щекотали шею его волнистые мягкие волосы той же бронзовой рыжины, что у Марии Магдалины. Остальные ученики не решались прикасаться к Учителю, даже горячий, порывистый, не умеющий сдерживать своих движений Петр. Ласковость, любовь, нежность были сущностью Иоанновой души, и невероятно, что этой женственной натуре суждено исторгнуть из себя самые ужасные, неистовые, опаляющие ум слова, какие только слетали когда-либо с человеческого языка, слова его Откровения. Величайшим словослагателем и бесстрашным провидцем окажется этот кроткий человек с легким пушком на округлых девических ланитах. Ему выпадет самая счастливая и долгая жизнь из всех апостолов, если может быть счастлив человек, увидевший внутренним взором коня бледного и семь ангелов с семью язвами, в коих изойдет ярость Божия. Он узнает бичевание, но его минует мученическая смерть. Его преклонные дни закатятся среди свято почитающих его единоверцев, которым он, совсем уже дряхлый, будет настойчиво повторять: «Дети, любите друг друга». Они спросят его, зачем он постоянно твердит одно и то же. И он ответит: «Это заповедь Господа, и если соблюдете ее, то и довольны».

Нога Иоанна была под стать всему его телесному составу: стройная, с узкой стопой и длинными пальцами, какая-то незахоженная, будто не прошел он вместе с Учителем столько каменистых дорог. Иисус с удовольствием обмыл ему ноги и вытер полотенцем из сурового полотна. «Спасибо, равви», — с красным от смущения лицом проговорил Иоанн и отошел, так бережно ставя ноги, будто опасался за свои отныне драгоценные конечности.

Он вымыл ноги Иакову. Тот слышал проповеди Иоанна Крестителя и без колебаний пошел за Иисусом, когда тот его позвал. Это было в характере Иакова: он пойдет как угодно далеко, если его подтолкнуть, и остановится, лишь когда его удержат. Приверженность таких людей особенно ценна, она

словно гарантия истинности своего дела. Иаков — глубоко чувствующий человек, но не чувствительный, как его брат. Его чувства поверяются разумом. Он был бы достойным наследником своего отца — зажиточного рыбака, владельца самых больших коптилен в поселке, но слова Предтечи разбудили в нем другое сердце. И все же он не стал искать того, о ком тот вешал, он ловил рыбу — на редкость удачливо. Он был из тех счастливых рыбаков, что имеют легкую руку на рыбу. А в должный час мать взяла его за руку и вместе с младшим сыном вручила Иисусу. Общее семейное сердце Заведеевых уже открылось той новой вере, которую предрекал Креститель.

Иисус омыл ему ноги, хорошие, надежные, ухоженные ноги человека, знающего себе цену и внимательного к своему телу. Не вяжется с основательным, прочным, осмотрительным Иаковом ожидающая его насильственная смерть от руки Ирода Агриппы.

С тазом воды подошел Андрей, славный, милый Андрей. Он принял крещение от Иоанна и раньше брата своего Петра пошел за Иисусом, потому и прозвище ему будет Первозванный. Он понесет слово Божье в самые темные и страшные пределы земли: к скифам и севернее, к угрюмым племенам, обитающим в дремучих лесах, на берегах широких холодных рек. Редко раскиданные по лесной и полевой бескрайней пустынности и оттого подозрительные, пугливые и жестокие, они не убьют Андрея, как предсказывали свирепые, но все же более человеческие скифы. Терпеливо и недоверчиво будут слушать наставления апостола, иные с кривой усмешкой примут от него святое крещение и отпустят с миром. А мученическую смерть на косом кресте примет Андрей на греческом острове Патрахе по воле проконсула Энея. Хуже северных варваров окажутся просвещенные римляне для несущего слово Божье. Что стоит просвещение, если сердце глухо к Главному Слову?

Андрей станет покровителем той страны, что возникнет на месте обитания навещенных им диких племен. И флаг, и высшая награда страны станут андреевскими — ни один из тех, кто пошел за Сыном человеческим, не удостоился подобной мирской почести. Но не уберет кривой андреевский крест этот народ, оставшийся в глубине своей таким же темным, диким, кровожадным, как во дни прихода Первозванного. И построят

они на своих просторах царство тьмы, второй ад, не скрытый в земном провале, а раскинувшийся бесстыдно, как блудница на ложе, меж двух океанов. Появятся там поддельные пророки, чудотворцы волею сатаны. Христос накормил двумя рыбами и пятью хлебами пять тысяч человек, эти будут кормить тем же количеством пищи, не преумножающейся тайно, трехсотмиллионный народ, порождая глад и мор. А один лжечудотворец превратит все вино в воду, иссушит, изломает, изведет лозу, кою воспитывали бесчисленные поколения виноградарей, дабы обратила она вложенный в нее заботливый нежный труд в благодатный сок. И подведет он смятенный народ, утративший свое исконное веселие, возносившее его дух горе, под власть Змея — Полоза, подручного сатаны, по чьему хотению соблазнил он прародительницу Еву и лишил человека рая...

Иисус долго поливал водой молодые ноги Варфоломея; под тонкой кожей расходились голубые жилки, и так страшно было представить себе, что эту кожу сдерет с живого человека разъяренная чернь у стен Иерусалима. Первой жертвой христианства будет этот оставшийся неизвестным миру юноша; благодарное, но несведущее потомство подарит ему великие духовные подвиги в Индии, а неблагодарное — откажет в существовании, заменив его Нафанаилом, о котором Иисус обмолвился раз добрым словом.

Иисус не знал прежде, что человеческие ноги столь же разнообразны и выразительны, как лицо и руки, что в них тоже отражается характер. Когда босые ноги купаются в дорожной пыли, кажется, что все они одинаковы, а они разные, совсем разные, — как щедр Господь в зиждительстве своем, никогда не повторяющем уже бывшее, в его мире нет копий, все сотворено наново.

Сейчас он вытирал ноги Иакову Алфееву, подобные врытым в землю столбам, — так же прочен, прям, неуклонен был суровый характер апостола, двоюродного его брата, ставшего первым епископом Иерусалимским. А у младшего Алфеева — Фаддея, скромного, стремящегося затениться, ноги были тонки и сухи, как у оленя. А вот «разношенные», неухоженные ноги Матфея, бывшего мытаря, немало измытарившегося по земле; небольшие беспокойные ступни Фомы — любопытно-го, недоверчивого — вот и сейчас посмотрел, чисто ли моет.

«Ты и в раны мои персты вложишь, Фома Неверующий», — укорил Иисус. Трудно поверить, что этот пронырливый человек, которому надо все своими руками потрогать, станет одним из самых твердых и бесстрашных проводников его Слова, которое он понесет в огнедышащие аравийские пустыни.

Дошла очередь и до култышек — иначе не скажешь — Петра: коротких, гнутых, без щиколоток. Можно подумать, что Петр ходил другими дорогами, нежели его товарищи. У тех ноги странников, у него — стратотерпца: сбитые, порезанные, в мозолях и синяках. Всегда в горении — нетерпелив, страстен, как собака, преданный и, как собака, поджимающий хвост в миг опасности, равно способный к мгновенному героизму и позорному испугу, настолько богатый чувствами, что хватило бы на всех апостолов и еще осталось, — вот уж воистину: ничто человеческое не чуждо. Потому и решил основать на нем свою церковь Иисус. Она будет, как он, самоотверженна, как он, нестойка, как он, цельна, как он, сумбурна, как он, способна на мученичество: распятый головой вниз, он явит то великое мужество, какого ему не хватало в менее грозных скрутах судьбы, — слезливая и неуклонная, как он, любящая и яростная и способная к радости. Если б камню и впрямь быть плотью церкви, то ставить ее надобно на Иакове Алфееве — это кремень. Но он ставил человеческую церковь, и этот горячий, кипящий, наивный делатель годился больше всех, чтобы церковь была для человека, слабого, грешного, исполненного стольких противоречивых задатков, но тянущегося ввысь — к раскаянию и правде.

И вот перед ним смуглые, опрятные, будто не пристаёт к ним дорожная пыль, ноги Иуды. Он чем-то взволнован, Иисус уже научился угадывать чувства учеников по ногам, не заглядывая в лица. Небось опять взял деньги из общей казны, хранителем которой поставили бывшего мытаря. Взял, чтобы отдать какому-нибудь попрошайке. Апостольский казначей знал счет денежке, но был жалостлив и доверчив: не мог отказать в подаении, особенно тем ловкачам, что так хорошо прикидываются несчастнейшими из несчастных. Они выглядят куда убедительнее истинно неимущих, потому что лишены стыдливой гордости бедняков. С какой охотой обнажают они искусно наведенные язвы! А много ли надо такому доброму, мягче воска

человеку, как Иуда, у которого не глаза, а сердце на мокром месте. Собственных денег у Иуды почти не водилось, и он запускал руку в общую скудную казну. Все это знали, но молчали, уважая его безоружную доброту.

Но сильнее стыда, тревоги, страха разоблачения была изливающаяся на Иисуса любовь. Иуда любил его сильнее, чем Петр, Андрей, Иаков, даже сильнее, чем Иоанн. Иисус ладонями чувял то замирающее наслаждение, какое доставляли Иуде прикосновения Учителя, его забота и ласка. Он даже перестал мучиться из-за похищенных грошей, не для своей же сласти он их взял. Как-нибудь заработает и вернет в кассу или у тамошних друзей попросит. Но Учитель моет ему ноги, и делает это так старательно и серьезно, что внутри его заходили волны умиления, душа стала влажной, Иуда боялся расплакаться. Иисус услышал взволнованное сердце Иуды через жилку на подъеме ступни, и, похоже, в этот миг уже созревшее решение стало окончательным. «Он сможет», — сказалось в нем. И еще он подумал: вот судьба тех, кто слишком сильно любит.

Как всегда, последним подошел к нему Симон Кананит, был он почтенных лет, но еще скромнее Фаддея, хотя никому не уступал спокойным умом, глубокой, преданной душой; его неподдельное смирение благотворно действовало на климат маленькой общины, умеряя любую заносчивость.

Опорожнив таз и вымыв руки, Иисус дал знак, чтобы готовили пасху, а сам отозвал Иуду в покойчик близ трапезной. Они собрались для вечера в поместительном доме юного прозелита Марка. Сам хозяин не принадлежал к избранным ученикам и потому отсутствовал. За высоким окошком дотлевала вечерняя апрельская заря. Они встали в ее печальный изнемогающий свет. Иисус сказал:

— Завтра свершится предсказанное пророком: один из вас предаст меня.

Иуда вскинул кудлатую голову, похожую на голову большого доброго пса. Иисус понял то, что перелилось в его зрачках: казначей ждал разговора о взятых в кассе деньгах, а Учитель позвал совсем для другого, чего он не мог сразу ухватить.

Христос повторил сказанное. Он не раз заговаривал с учениками о ждущем его конце, правда, темными для простого разума словами пророков.

— Начальники жизни убьют меня. Я умру на кресте, искупив грехи человеческие. Да сбудется воля Божья.

— Но... так скоро?.. — донеслось из-за края света.

Он понял.

— В назначенный срок я воскресну и вознесусь к престолу Всевышнего. Так будет. Готов ты стать орудием воли Божьей?

— Я люблю тебя, — снова дуновением.

— Поэтому ты избран.

— Но сам ты любишь Иоанна.

«Он ревнует», — подумал Иисус.

— Я люблю вас всех. Иоанн ласков и нежен, брат его Иаков скуп в чувстве, но я люблю его не меньше. Петр резок, порывист, порой груб, но дорог мне и за его слабости, и за его достоинства. А могу ли не любить я брата моего Иакова-меньшого, или Первозванного, или доброго ворчуна Матфея, или тишайшего Симона? И так я могу сказать о каждом. Но ты станешь наособь, ближе всех ко мне, ибо возлюбишь меня сильнее жизни, чести и души спасения.

— Значит, и душа моя погибнет?

Иисус наклонил голову. Он мог бы дать ему утешение: до Страшного суда. «Когда все грешники, равно ханжи и лицемеры, что пакостили лишь в помыслах, боясь живого греха, будут низринуты в огненную печь, Я возьму тебя за руки и отведу к Престолу Отца моего. Но сейчас Я не дам тебе даже такой надежды. Коли откроются смертным помыслы Божьи, вера станет сделкой. Должно всему свершиться по воле Отца моего, но свободным хотением, ибо свободным зрит он человека, движимого верой, а не расчетом на милость и страхом перед карой. Обреки себя на свой страшный подвиг, Иуда, обреки без надежды, и ты станешь выше меня, ибо я знаю, что, пройдя сквозь муки, позор и смерть, восстану в славе и силе, знаю — и трепещу. Меня ждет место одесную Отца моего, а я маюсь, дрожу, мокну холодным потом, мой рассудок мутится от страха, — каково же будет тебе, обреченному на муки вечные и вечный позор в памяти людей? Но ты решишься, и я пойму, почему Господь не отказывается от человека при всей его мерзости и для чего моя смерть на кресте».

— Я сделаю, как ты говоришь, Господи.

Он не сказал «Учитель», он сказал «Господи» — ему открылось, он сделает.

Иисус почувствовал, что ему стыдно смотреть в глаза Иуде. Но он пересилил себя и взглянул. Никогда, никогда не видел он такого бледного, такого бледного лица. Он едва не дрогнул: «Успокойся, брат, я хотел испытать тебя. Ты выдержал испытание. Спокойно ложись к пасхальному столу. Все будет, как предсказано пророками. Без тебя. И знай, Иуда, ты всегда в моем сердце».

Но он ничего не сказал. Его кроткий и беспощадный взгляд спокойно отторг последнюю — молчаливую — мольбу Иуды.

— Боже, — дрожащим голосом проговорил Иуда, — подари мне одно: дай целованием уст предать тебя врагам.

— Будь по сему, — сказал Иисус. — Но это последняя твоя просьба.

И совершил он пасху с учениками своими. Пили сладкое пасхальное вино, ели легкую пасхальную пищу. И он сказал ученикам, что один из них предаст его. Они опечалились и, не переставая жевать, стали наперебой спрашивать:

— Не я ли, равви?

Он сказал:

— Опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается. Лучше было бы ему не родиться.

Он опустил руку в блюдо с вареным, крупно нарезанным карпом и стал нашаривать кусок. Иуда не протянул своей руки. Иисус уставил взор на его полуопущенные веки. Палец его укололся об острую кость. Иуда долго крепился, не подымая век, но не выдержал и полыхнул на Учителя смятенно-синим взглядом.

— Не я ли, равви? — запинаясь спросил Иуда.

— Ты сказал, — ответил Иисус и поднес ко рту кусок разваренной рыбы, розовый от крови из его пальца.

Он так и не понял, почему ученики никак не отозвались на сказанное. Когда он только произнес слово о предательстве, Петр схватился за нож. Иисус следил, чтобы перехватить его руку, если он обратит оружие против предателя. Но Петр спокойно переложил нож в руке и отрезал себе козьего сыра.

Они и раньше не всегда его понимали, поскольку он говорил притчами, обиняками — лишь такие речи осиливают время и остаются в памяти потомков, но для их простых умов даже прямое слово не всегда было доходчиво. Нередко они принимали за околичность напрямую выраженную суть. Возможно, и сейчас они полагали какой-то второй смысл за его словами, который был недоступен их усталому и затуманенному вином рассудку. Придет для них пора, когда все туманности и замутненности опрозрачат и сольются в единую завершенную картину. Иисус не стал им ничего пояснять. Так лучше, пусть Иуда на равных проведет со всеми эту последнюю вечерю.

Он взял опреснок, благословив, переломил и роздал ученикам. Никто не удивился, что Иуда получил свой кусок.

— Ядите, — сказал Иисус, — сие тело мое.

Они послушно принялись жевать хлеб.

Он взял чашу с вином и протянул ученикам:

— Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.

Они отпивали поочередно, Иуда тоже сделал глоток, следующий в череду не побрезговал чашей после него.

— Сказываю вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца моего.

И снова ему показалось, что лишь один Иуда понял истинный смысл его слов и почернел лицом, ибо знал, что не пить ему новое вино в Царстве Предвечного. Остальные, похоже, думали, что Иисус собирается выпить с ними в доме покойного плотника Иосифа, мужа его матери Марии. Никогда еще не видел так ясно Иисус, что пошли за ним люди прекрасные, но несмысленные и медлительные сердцем. Что с того, их час еще не пробил, но он уже близок. Потрясенные его исходом, они очнутся другими людьми, с обновленным разумом и душой: огненноустые проповедники, бесстрашные подвижники, провидцы, мученики за веру, а одного осенит дивный поэтический дар...

После вечера они поднялись на гору Елеонскую, и он напомнил спутникам слова пророка Захарии: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада».

— Сие сказано о вашем Учителе. Ибо вы соблазнитесь обо мне в эту ночь.

И они, то ли снова не поняв, то ли догадываясь о своей слабости, промолчали. Лишь горячка-Петр вскричал порывисто:

— Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь!

И сказал ему Иисус:

— В эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня.

Всполох поднялся, как в курятнике, куда забралась лисица. Вопили, бедные, что никогда не соблазнятся, скорее дадут себя на куски изрезать, и только Иуда молчал.

Потом пошли в Гефсиманский сад, а Иуда отстал.

Иисус взял с собой на ночлег только троих: Иоанна, Иакова и Петра — и с ними удалился под сень старых олив. Он просил спутников не спать, бодрствовать с ним в его последнюю ночь, но, отяжелевшие от пасхального стола и неспособные управлять собой, они сразу начали клевать носом, а там и задышали мерным, с присвистом дыханием сна. Он отошел от них и присел на камень.

Ночь была лунная и звездная, он видел кровли Иерусалима и задумался о людях, мирно спящих в своих домах, храпящих, чешущихся, вертящихся с боку на бок, ласкающих женское тело и не ведающих, какой грядет день. День, когда люди убьют Бога. А если б ведали? Все равно спали бы, и храпели, и чесались, и вертелись, и творили любовь, — ведь спят же его ученики, сведомые о расправе над Учителем. Неужели люди так толстокожи и лишены воображения? Или в них еще не проснулась настоящая душа — отзывчивая, жалостливая, влажная? Может, для того и будет завтрашний день: обратить полужверьевую душу, какой до сих пор обходились, в человеческую? Люди станут другими, когда он повиснет на кресте с разъехавшимися позвонками, не все, не сразу, но станут. Возраст нового человечества пойдет от Голгофы.

И вдруг что-то сломалось в нем, будто хрястнул хребет души, он увидел завтрашний день без осеняющего смысла, без света искупительной жертвы, а житейски: потная толпа, источающая чесночный смрад, сухая, горячая пыль, забивающаяся в волосы, в складки одежды, хрустящая на зубах, грубый шум

любопытства, нетерпения, злая ругань из-за лучшего места — и себя, нагого, западающего от стыда в собственный живот перед этим тысячеглазьем. Какой срам! Ему, никогда не обнажавшемуся не только перед женщиной, но даже при мужчинах, висеть голым на виду огромной толпы! И там будет Мария Магдалина, и жены-мироносицы, и его Мать, и незнакомые девы и женщины Иерусалима. С содроганием думая о казни, он как-то забывал об этой казни стыдом. И, не совладав с собой, он закричал в высеребренное небо:

— Отче мой! Если можешь, да минует меня чаша сия!

Небо не отозвалось.

Он упал на лицо, раздираемый протестующим ужасом и бессилием перед Богом.

Он лежал долго, пока низкое бессилие не обернулось достоинством смирения.

— Будет, как Ты хочешь, а не так, как я хочу, — прошептал Иисус.

Он встал, подошел к ученикам и стал их расталкивать. Они мычали, вертели головами, протирали красные, слезящиеся глаза. Какие жалкие люди! И в них он думал найти поддержку.

— Я же просил вас не спать, — устало сказал Иисус. — Неужели вы не могли один час бодрствовать со мной?

— Прости, равви, — покаянно сказал Петр и зевнул так, что чуть не свихнул себе челюсть. — Мы старались не спать. Как будто кто песку в глаза насыпал.

Иисусу расхотелось укорять их, — видно, еще не властны они ни над духом, ни над плотью своей. Он оставил неспавшихся, зевающих, кашляющих, постанывающих людей и вернулся к своему камню. Иуда не заснул бы, в нем уже пробудилась та грядущая душа, которая постигнет и этих сонь, и тех, кого он не взял с собой. А каково сейчас Иуде? Ему некому пожаловаться, как жаловался он Отцу своему, он даже имени Господа не смеет произнести. Иуде во сто крат страшнее, безысходнее. Его тело не вознесется со смертного одра в небесный чертог, а будет расклевано хищными птицами, душа уйдет в преисподнюю, а память навеки проклята. Вот чья последняя ночь воистину ужасна. Мысли об Иуде устыдили, он сказал:

— Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, да будет воля Твоя.

Он помолился светлой молитвой и оглянул ночь с тихими деревьями, тенями и бликами, с высоко поднявшимся небом. Исчезло серебряное струение, ограненные кристаллы звезд обособленно раскинулись по темной глухой глади. Удаляющееся небо дышало холодом. С телесным ознобом вернулась леденящая душу тоска.

Иисус пошел к ученикам и вновь застал их спящими. Они не проснулись на громкую, надтреснутую укоризну. Иисус оставил их в покое, хотя так нуждался сейчас в сочувственном слове. Но что поделать: люди спят, небо молчит и дышит холодом. «Иуда, лишь мы с тобой обречены бодрствовать в этот страшный канун, Иуда, брат мой и жертва, прости меня!..»

Уже под утро, вновь истомленный тоской, он в третий раз толкнулся к тем, от кого ждал помощи в свою последнюю ночь, но они беспросыпно спали, открыв-глупые рты.

— Вы все еще спите-почиваете? А ведь приблизился час, и Сын человеческий предастся в руки грешников!

Он сказал это звучным, глубоким, проникновенным голосом, способным разбудить и мертвого, но рыбаки-проповедники не проснулись.

— Встаньте! — тщетно взывал к ним Иисус. — Приближается предающий меня!

Но они проснулись лишь от топота ног, стука, звяка, бряка вооруженных мечами, копьями, кольями людей, которых привел Иуда. Проснулись, хлопая глазами и словно не понимая, где они находятся и что происходит вокруг. Так, не поняв, а может, все поняв, пустились наутек и не слышали слов Иуды, обращенных к вожакам своры, которую он привел:

— Кого я поцелую, тот и есть Царь Иудейский. Берите его.

Он повернулся к Иисусу и сделал широкий шаг навстречу ему.

— Радуйся, равви! — И потянулся к устам Иисуса.

Тот взял в руки его кудлатую голову, их губы сомкнулись. Иисус почувствовал благодный запах скошенных трав, когда к ним попадает мята и душица. Воистину, уста праведников благоухают, а уста грешников источают смрад. Странные слова Иуды были понятны Иисусу: он тверд и сделает все до кон-

ца. Нежно и горестно смотрел Спаситель в лицо предавшего его. Как истаяла его плоть, а глаза провалились в череп — вот чем он оплатил эту ночь.

Отсюда, а не с дома Понтия Пилата начинается крестный путь Христа, ибо здесь испытал он первую жестокую потерю.

Дальше будет много всякого — и пустого, и трогательного, и глупо-жестокоего, и безобразного, и страдальческого: искаженное лицо Матери, так и не понявшей, что произошло от Благовещения до креста на холме Голгофы; прелестное и в дыме слез, ненужное лицо Марии Магдалины, и последняя доброта человека: воин протянул ему на кончике пики губку, смоченную в питье римского легионера на марше: смесь вина, уксуса и воды, так освежающую спаленную жаждой гортань; отчаянный взыв к Отцу: «Почто меня покинул?» — и душераздирающий, вполне человеческий вопль, когда разъехался позвоночный столб. Затем тьма, дальше началось Богово...

С Иудой все было куда проще. Вечером того же дня он выбрал в окрестностях Иерусалима молодую крепкую оливу. Крепка была и веревка, захваченная из дома. Он взобрался по стволу до толстого, надежного сука, привязал к нему веревку, накинул петлю на шею, затянул до отказа и, прошептав возлюбленное имя, кинулся вниз.

Христос не ошибся в нем. Возмездие должно было следовать прямо за преступлением, иначе не сбылось бы начертанное: Христос будет предан, но горе тому, кто его предаст. В этом коренится многое: и духовные, и даже правовые начала. Первый кнут доносчику — отсюда. В предательство должна быть заложена расплата. Предать Христа мог любой из апостолов, но лишь один Иуда мог после этого повеситься. Пример Петра лучшее тому доказательство: троекратное отречение он оплатил слезами, а не петлей.

НЕДОДЕЛААННЫЙ

Рассказ

Мы встретились в парке старого бывшего подмосковного санатория. Почему бывшего? Потому что прежде между Москвою и помещичьей усадьбой, где расположился вскоре после революции санаторий, находились три большие деревни. А потом, неуклонно расширяясь, Москва впитала в себя эти деревни, продвинулась еще дальше в глубь пейзажа и превратила огромную территорию княжеского поместья с парком, каскадом прудов, домом-дворцом и многочисленными флигелями, конюшнями, церковью барочно-малороссийского стиля исхода семнадцатого века в часть города, далекую от его нынешних границ.

Здесь отдыхают, пестуют свои недуги заслуженные ученые, среди них бывают такие, что не решаются в морозы выйти на улицу и создают себе иллюзию зимней прогулки: надевают длинную шубу на лисе или хорях, ушанку, теплое кашне, валенки, перчатки на меху и, прочно упакованные, прогуливаются по длинному, устланному красной ковровой дорожкой коридору с окнами в узорчатой наледи.

Меня, семидесятилетнего, считают тут мальчишкой-шалопаем и чужаком. Последнее — справедливо: ученый я никакой. Но я мирюсь с малым моральным дискомфортом ради духа старинного барского дома, пропитывающего чуть тленный воздух, картин французских художников восемнадцатого века, обрамленных золотым багетом, в гостиной, бильярдной с высокими диванами, живописью Кустодиева, Рябушкина,

Остроумовой-Лебедевой на стенах и легенды, что в этой бильярдной, бывшей хозяйским кабинетом, умер в одночасье, схватившись за сердце, философ Владимир Соловьев, хотя все знают, что он умер не так эффектно — от уремии.

Когда темнеет, небо на западе, в стороне большой московской магистрали, становится исчерна-красным, и я до сих пор не разгадал этого явления. Может, скрытый лесом закат шлет свой отсвет в электрическое небо города? Щемяще-тревожен предночной час старого парка.

В этом парке с угольно-черными в воспаленном небе липами и случилась наша нежданная встреча. Он жил рядом, сюда ходил гулять. Мы не виделись пятьдесят лет, но я сразу узнал его, едва он обратился ко мне. В том, что он узнал меня, не было ничего удивительного, мое старение он наблюдал по телевизору. Он же изменился за полвека в пределах почти мгновенного узнавания. Сколько нужно, чтобы отпрянуть, округлить глаза и шумно выдохнуть:

— Блешка?!

Он засмеялся, совсем так, как смеялся полвека назад: взалел, во весь белый рот, заходясь до беззащитности, ибо отдавался смеху без остатка. Все такой же маленький, — нет, он, конечно, подрос с тех четырнадцати своих лет, но для взрослого мужчины остался маленьким, — ладный, плотно сбитый, круглолицый, черноглазый; исчерна-коричневые радужки — черные глаза бывают только в романсах — сохранили удивительный блеск, которому он и обязан своим прозвищем. Это прозвище дал ему я — нечаянно, ослышавшись. Товарищи называли его без затей Олежка, что в скороговорке звучало Лешка. Но блеск его глаз, сверк белых зубов навязали мне это «б». Я думал, что повторяю утвердившееся за ним прозвище, оказывается, стал его крестным отцом.

— Знаешь, я так и остался Блешкой для всех знакомых, — сказал он со смехом. — Твоя коктейльская оговорка разнеслась со сказочной быстротой. Только у нас во дворе кличка не прижилась. У нас право на прозвище имел лишь один парень, ты его знаешь — Тимка Б-в. Его звали Цыпа, а мелюзга, не имевшая права на такую фамильярность, величала почтительно «Цеппелин».

Есть люди, хорошие и содержательные люди, за плечами которых нет ни пейзажа, ни обстава — какая-то экзистенциальная пустота. А Блешка сразу распахнул мне два щемящих душу пространства: довоенный Коктебель с каменным торчком Серрюккая, с тамарисками и сухими колючими акациями, горьковатым черствым воздухом, блеском разноцветных камешков на песчаной дуге бухты после прибоя, с волошинским профилем, утопившим бороду в море, доверчивым бесстыдством коричневых обнаженных тел на диком пляже, с египетской тайной дремотных глаз и эбеновым загаром моей первой любви, с красивыми строгими мальчиками из пионерлагеря, ставшими жатвой близящейся войны, и московский двор знаменитого дома Герцена, что на Тверском бульваре, с приветливым садом, рыжим теннисным кортом за металлической сеткой, где неумоимо мелькали женственные веснушчатые плечи мужественного поэта Уткина и чугунные бицепсы зверобоя Пермитина; здесь, в низеньких флигелях, образующих каре, обитали писатели, в одном нашел недолгий приют Мандельштам, в другом терпел свою немилосердную жизнь Андрей Платонов и завивала горе веревочкой пулеметчица гражданской войны Дубенская, отпулеметившая на стареньком «ундервуде» повесть своих пламенных лет; отсюда черный воронок унес в гибель Константина Большакова, Ивана Жигу, Артема Веселого...

Но если Коктебель я знал в его тайне, то этот двор у стен Камерного театра был мне знаком лишь сражениями на корте и двумя не очень близкими приятелями, сделавшими для меня доступным местный теннис. Они не открыли мне глубинной жизни своего двора, не приоткрыли крышки Кошьева ларца, который хранился тогда в каждом старом московском доме. Такая редкость — сад во дворе, но мои приятели и вся дворовая вольница были к нему совершенно равнодушны, туда же, где они осуществляли свое земное назначение, мне не дано было заглянуть.

Оказывается, их главная, самая ценная жизнь творилась на чердаках и под землей. Подвал длинного одноэтажного флигеля, расположенного справа от главного корпуса, если смотреть от Тверского бульвара, являл собой громадное подземное озеро, не замерзавшее и в зимнее время. Сколотив плот, ребя-

та выплывали на середину подземного озера, чтобы распить бутылочку сладкой запеканки «Спотыкач» и под хмельной звон в башке грохнуть волжскую ватажную удалую песню. Озерко кишело крупными жирными крысами, водная жизнь превратила их в ондатр с перепончатыми лапами.

С чердака двухэтажного флигеля — во дворе налево — можно было по пожарной лестнице попасть в туалет Камерного театра, расположенный вопреки театральной традиции не в подземелье, а в небесах. А из уборной, обманув сонную бдительность ленивых билетерш, проникнуть в антракте на галерку. Ребята с десятков раз пересмотрели весь дивный таировский репертуар, но без первого действия.

Среди тех, кто плавал по крысиному озеру и пробивался к феерии «Жирофле-Жирофля» сквозь карболовую вонь уборной, у меня было два приятеля: Тимка и Юра. Олежка-Блешка был слишком юн для общения, это сейчас нас подравняла старость. Юра — сын пулеметчицы-романистки и легендарного комполка гражданской войны — являл внешнему миру отполированную до блеска гладь доброго малого, и ничего больше. На самом же деле добрый малый составлял лишь частицу куда более сложного комплекса глубокой и затаенной личности, приоткрывавшейся лишь изредка — в теннисе. Обычно он играл красиво и чисто, но без воли к победе, без азарта и напряжения. Его привлекала эстетическая сторона игры. Но порой что-то с ним случалось — всегда в игре против более сильного и слишком уверенного в себе теннисиста. Лицо его будто запыралось на замок, глаза суживались в темные щелки, губы сжимались, скулы рдяно костенели, и он беспощадно ломал противника. Юра благополучно прошел войну и после смерти матери уехал к отцу на Украину, где и канул — для нас.

Моим постоянным теннисным партнером был его друг Тимка, которого в нашей летней компании — а мы отдыхали однажды вместе, в «Долгой Поляне» под Тетюшами, в глубине невероятного барского фруктового сада — прозвали заглазно «Недоделанный».

Это был странный парень: очень молчаливый, хотя с таким видом, будто вот-вот заговорит — он часто и бессмысленно открывал рот, как дети, страдающие аденоидами, но не издавал ни звука. Быть может, он готов был что-то сказать, но

как-то пропускал момент. А может, ждал полной тишины, чтобы уронить свое царское слово, но такой тишины никогда не наступало в болтливой, шумной компании, где все перебивали друг дружку. Перебивать он не умел, как и смеяться, лишь слабое подобие улыбки изредка трогало его узкий рот. Безынициативный, он всегда делал то же, что и другие, но с опозданием на полтемпа, и непонятно, поступает он так по собственному желанию или из равнодушного подражания. Его участие в наших «утехах и днях» не окрашивалось ни радостью, ни азартом. В охотку ему был лишь теннис, он мог играть с утра до вечера без передышки, но опять-таки ждал, когда его пригласят. Хоть бы раз услышать от него горячее: «Сыграем?!» Играл же очень хорошо, даже лучше Юры, но еще менее заинтересованно в результате. У Юры, как говорилось, случались моменты игрового ожесточения, желания наказать самонадеянного соперника, Тимка, с кем бы ни играл, как бы ни складывалась игра, оставался вареным судаком. У него была от природы поставленная техника игры, как бывает от природы поставленный голос у певца: никто не учил его пушечной подаче, изящнейшим сметам, мощным и точным драйвам. Но он никогда не тянулся за трудным мячом, не покидал задней линии, хотя в парных играх, где это неизбежно, виртуозно действовал у сетки. Ему нравился звук удара, чувство мяча на ракетке, старенькие белые брюки, всегда тщательно отутюженные, аккуратно заштопанная тенниска, тугость золотых струн, свободная красота игры и выключенность из обыденности. А выиграть-проиграть — какая разница?..

Хорошего роста, длинноногий и узкобедрый, с точными скупыми движениями, он вне игры казался неловким. Слишком прямил позвоночник, слишком тянул длинную шею, слишком широко разводил носки туфель при ходьбе, казалось, у него плоскостопие. Комически надменно горбился его большой слабый нос, неизменно разбиваемый в самом начале драки. Он не был драчлив, но первым кидался на защиту любого обиженного. Получив кровавое увечье в самом начале схватки, он недоуменно, словно такое с ним случилось впервые, покидал поле боя и начинал старательно заниматься своим кровообильным носом, высмаркивая его, охлаждая водой и разными металлическими предметами. Ничего не помогало,

нос продолжал сочиться, затем круто пунцовел и распухал в пол-лица.

Однажды в «Долгой Поляне» мы распили — впервые в жизни — бутылку перцовой водки. Тимка тоже выпил — не больше других, но окосел в дугу. Он шатался, падал, орал, потом обблевался. Взрослые тут же решили, что он тайный пьяница, хотя напрашивалось прямо противоположное: его организм не принимает алкоголя.

Никогда не высовываясь, он выпадал из компании и тем невольно привлекал недоброжелательный интерес: всякая особость, даже ущербная, раздражает окружающих. Его душевная жизнь оставалась скрытой. При всей тихости, пассивности, серости он производил впечатление человека, знающего себе цену. Мы же этой цены не знали, да и знать не желали. Он был очень беден даже на фоне всеобщего тогдашнего безызытка, ветошно одет, белые резиновые тапочки воняли потом, но он принадлежал к высокой державе герценовского двора, и гордость перла из него... нет, не перла, совсем не перла, лишь угадывалась тончайшим аппаратом нашего подросткового демократизма. Плевать мы хотели на его знаменитый двор и его фанаберию. Строит из себя невесть что, а сам просто недоделанный. И, решив так без всякого сговора, мы успокоились в пренебрежительном расположении к нелепому, но в общем-то не вредному, компанейскому парню, которому Бог малость недодал.

Это удобное и легковесное представление о Тимке перестало меня удовлетворять, когда я сделался завсегдатаем теннисной площадки и увидел его в родной стихии. Двор лучше знает своих героев, чем случайная летняя компания. И вскоре я почувствовал, что Тимка здесь — фигура.

В чреде долгих лет эти подробности подзабылись, но в уголке памяти теплился образ незадачливого, нелепого, но чем-то симпатичного парня по кличке Недоделанный. Почему-то я числил Тимку среди не вернувшихся из боя. Он казался нежизнеспособным и для мирных дней со своим символически слабым носом, готовым истечь субстанцией жизни от малейшего ушиба, с птичьей поступью, длинной и незащищенной шеей и тупостью точных, но беспобедных отмахов у белой черты корта.

Разговаривая с Олегом, я вспомнил в числе других и о Тимке.

— А что, Недоделанный тоже не пришел с войны?

Он пристально посмотрел на меня.

— Ты о ком?

— О Тимке Б-ве.

— А где его так называли?

— В нашей компании, в «Долгой Поляне».

— Любопытно... У нас его так не звали. Вообще-то наш двор обходился без кличек, но у Тимки была — Цыпа.

— Ты так говоришь, будто его звали Принц или Викинг.

— Цыпа — это от Цапы, а Цапа — сокращенное Цапля.

Помнишь, как он ходил, вернее, выступал: ноги прямые, носки врозь, шея вытянута, нос торчит. Вылитая цапля — самая гонористая птица.

— По-моему, журавль гонористее.

— Жаль, мы с тобой не посоветовались. Мы, видать, плохо журавлей знали. И прозвали — Цапля. А малыши Цеппелином величали.

— А какая у него судьба?

— Знаешь, у него действительно была судьба. А ведь она не у каждого бывает. У меня была жизнь, а была ли судьба — не уверен.

— А что такое — судьба?

— Понятия не имею! — Он засмеялся. — Слышал такой перл казенного велеречия: судьбоносный? Его очень любят высокопарные и низкопробные чиновники от искусства и литературы. Но это не по делу. Судьба в моем представлении — жизнь с поворотами, смелыми решениями, с неожиданностями, провалами и подъемами, с приходом к чему-то, не заложенному заранее в ячейку твоего времени. У меня был единственный поворот в жизни, когда из радиожурналистики меня волей Ленинского комсомола перебросили в разведку. Это было в стороне от моих планов и надежд, но отказаться я не мог. И отрубил там, кстати, весьма неромантично, до пенсии. Я вышел в отставку на другой день после своего шестидесятилетия еще перспективным полковником, но генеральские лакры меня не манили. И теперь наслаждаюсь свободой ни-

чего неделания. Можно ли применить ко мне слово «судьба»? По-моему, нет.

— А у Цыпы?

— У Недоделанного?

Мы обменялись Тимкиными прозвищами. Я понял, что Олега оскорбило слово «недоделанный», которым я оговорился, и он нарочно стал его применять — с ироническим подтекстом в адрес мой и других недоумков, превративших гордого Цыпу-Цеппелина в дурачка. Теперь я тщетно пытаюсь исправить свою ошибку.

— У него была жизнь с такими крутыми поворотами, с такими безднами и вершинами, что хватило бы на троих... в подъезде.

— Он что окончил?

— Ничего. Ушел из восьмого класса на завод.

— Почему?

— Он считал, что вуз ему не светит. Ты же знаешь, его дядю посадили в тридцать восьмом и тогда же расстреляли.

— А я был уверен, что писатель Б-ков его отец.

— Нет, брат отца. А родного отца он не помнил. Был отчим, но где-то потерялся к тому времени. Может, тоже посадили. Они все жили у Тимкиного дяди: Тимка, его мать и кровная сестра.

— А дядя был женат?

— Нет. Он считал их своей семьей. А донжуанствовал на стороне. Весьма энергично. Но в доме бабы не появлялись. Тут он был строг.

— Превосходный прозаик! Стихи были куда хуже.

— Ты будешь смеяться, я его не читал.

— Как это может быть?

— У нас в доме жили Платонов и Мандельштам, так я их тоже до войны не читал. Когда же начал читать всерьез, книжек Тимкиного дяди было не достать. Его хоть переиздали в безумии нынешних свобод?

— Кажется, что-то переиздали. Не уверен. У меня есть его старые издания.

— Вспомнил! Тимка пошел на завод, чтобы помогать матери. Она работала врачом в районной поликлинике. Сам понимаешь, какие там заработки.

— И где он работал?

— На «Серпе и молоте». Очень скоро получил первую рабочую квалификацию — формовщика. У него были хорошие руки да и головешка варила, хотя он казался недоделанным. А потом он попал на Финскую войну, прошел ее благополучно, даже не обморозился. Вернулся на завод, ну, а вскоре — Отечественная. Его призвали буквально в первый день, но не на фронт, послали в школу радистов-разведчиков. Видать, не разобрали, что недоделанный.

— Может, хватит?

Олег сделал постное лицо.

— В этой школе Тимку постигла первая любовь. Будущий разведчик полюбил будущую разведчицу, а она полюбила его. Все время обучения в школе они были неразлучны. У Тимки впервые появились свободные деньги, которые он размашисто прокучивал с Нюсей в «Арагви», «Москве», «Коктейль-холле» — эти кабаки работали на всю железку в прифронтовом городе, каким Москва оставалась почти до самого конца сорок первого. И похоже, опять стала сейчас. Во всяком случае, она производит куда более разрушенное и губительное впечатление, чем в пору немецких бомбежек и военных очередей. А потом, как поется в песне: «Дан приказ: ему на запад, ей в другую сторону». Ну, не совсем в другую, тоже на запад, но на другой участок фронта. Их пути во время войны больше не пересеклись. Остались добрые воспоминания, остался вздох. Ни тому, ни другой не вспало на ум, что это вовсе не конец, а начало, вступление к тем отношениям, которые растянутся на всю жизнь.

Ни о чем таком не думали молодые разведчики, а занимались своей боевой работой, требующей большой собранности, сосредоточенности и самоотдачи. Ты помнишь Тимку. Вот уж кто не был Паганелем. Его самоуглубленность, таинственность, у меня почему-то всегда на языке это слово, когда о нем идет речь, не приводили к отрешенности, рассеянности. Делая что-либо, он целиком концентрировался на своем занятии, допуская в поле зрения лишь нужное для дела. В цеху он видел глину, форму и стержни. Играя в шахматы — доску и соперника, в теннисе — площадку, противника и судью. Когда менялись марками, видел марки, того, с кем шла мена, и окружающих, ибо

по ним можно понять: надувают тебя или нет. Когда гоняли голубей, Тимка охватывал небо, мечущиеся стаи, ловушку с откидной дверцей и гулюкающую возле нее голубку-заманщицу. Надо полагать, умение видеть необходимое сослужило ему добрую службу на фронте. Он не давал себя отвлекать ложной тревогой, мнимыми опасностями, сомнительными преимуществами и прочим мусором беспокойного, разбросанного сознания. Считалось, что он удачлив. Нет, спокоен, остроглаз, расчетливо нетороплив.

— А ты не можешь рассказать о каком-нибудь боевом эпизоде?

Олег долго метал в меня из темноты, павшей на осенний парк, быстрые взлески глаз.

— Ты это серьезно?

— Да... Что тебя удивляет?

— Ничего. Поздно вечером радист-разведчик Тимофей Б-ков в очередной раз пересек линию фронта. Он устроился в полуразвалившемся сарае на краю спаленной немецко-фашистскими захватчиками деревни К. Когда-то тут находился цветущий колхоз «Имени XVII партсъезда», а ныне лишь остовы сожженных изб чернели под хмурым небом. Отсюда отлично просматривался вражеский передний край. Опытный разведчик быстро разобрался в огневых точках противника, которые надо было подавить нашей артиллерии перед штурмом стратегической высоты. «Ну погодите, фрицы проклятые, — прошептал молодой лейтенант, отличник боевой и политической подготовки, — ужо спросится с вас за наши порушенные села и города...»

— Хватит! Я все понял.

— Тимка говорил, что это нудная и тяготная служба. Я, впрочем, думаю, что резидентом быть еще тоскливее. Единственно интересное — это переход линии фронта или заброс самолетом в тыл. Тут чувствуешь напряжение, все остальное — рутина. Нравилось ему, когда его отправляли к партизанам, у них всегда было свиное сало. При этом он любил свою работу, она отвечала его характеру, несуматошному, обстоятельному, не любящему быстрой смены впечатлений. Разведка, как и служение муз, не терпит суеты. Помогало и то, что он лишен был воображения при крайней добросовестности и честности. Он никогда не передавал липы или приблизительных сведений, в

штабах знали, что этому разведчику можно верить. За два с половиной года он схватил четыре ордена, медаль «За отвагу» и дослужился до капитана.

Неожиданно его отозвали в Москву для подготовки к новой, весьма ответственной работе. Ему пришлось пройти курс обучения, включавший легкое знакомство с «аргентинским» языком, как он потом говорил то ли в шутку, то ли всерьез. Впрочем, так можно сказать: аргентинский вариант испанского наверняка чем-то отличается от коренного языка, хотя бы произношением. Недаром Оскар Уайльд острил, что у англичан и американцев все общее, кроме языка. Тимкина бабушка по матери была обрусевшей немкой, он из дому знал немецкий, во всяком случае, нахально писал в анкетах, что знает язык. Возможно, это и навело на мысль переквалифицировать армейского разведчика. Юный полиглот обладал сильной механической памятью и без труда запомнил несколько «аргентинских» фраз.

У него была сложная и, на мой взгляд, малоубедительная легенда: бывший советский гражданин с оккупированных территорий после долгих странствий оказался в Аргентине, где ему повезло: вошел в бизнес по экспорту свежемороженого мяса. Прибыл в Бухарест для заключения сделок. Сейчас это звучит бредом, но в то взбаламученное время и не такое сходило. Исчез, видать, засыпался и попал за решетку наш резидент в Бухаресте, а с ним рухнули налаженные еще до войны связи. Тимка должен был все разведать и восстановить агентуру. Задание — будь здоров, особенно для зеленого новичка. Что это — безграничное доверие, которое Тимка сумел внушить к себе, нехватка профессиональных кадров или просто бардак? Или, что более вероятно, сочетание всех трех факторов? Тимка не задавался лишними вопросами, у него было дело поважнее: сшить себе настоящую двубортную офицерскую шинель. Ты, наверное, помнишь: к этому времени весь средний комсостав, кроме немногих уцелевших кадровиков, носил солдатские шинели на крючках, кирзовые сапоги и зеленые ремни из какого-то эрзаца. А Тимке хотелось офицерского шика.

В Москве имелись старые портные, насобачившиеся шить шинели и кители. Тимка не постоял перед расходами и со сказочной быстротой стал обладателем великолепной офицерской формы: приталенная шинель с золотыми пуговицами, ки-

тель по фигуре из грубого габардина, к этому фуражка с лакированным козырьком, хромовые сапоги и скрипучие ремни. Коровым колокольчиком звякали ордена. Было отчего закружиться голове. К сожалению, ему не пришлось покрасоваться в этом армейском великолепии. Его одели во все штатское — с иголки — от узконосых туфель до фетровой шляпы. Тимка уверял, что и костюм, и рубашка, и пальто, и шляпа были с аргентинскими наклейками. После этого новоявленному джентльмену и мясоторговцу-оптовику предложили жениться.

Тимка было заупрямился, он не чувствовал себя готовым к семейным обязанностям, но, увидев невесту, сразу заткнулся. Ведь известно, что «там, в далекой Аргентине, все женщины как на картине». Трудно было поверить, что это изысканное, томное, трепетное существо, рожденное для танго и кофе глясе, наша разведчица, к тому же со стажем. Выглядела она на восемнадцать, хотя была на три года старше Тимки. Бракосочетания не было, оно состоялось раньше, в далекой Аргентине, как явствовало из паспортов. К большому Тимкиному удовольствию, фиктивность брака не распространялась на супружеские отношения. Они не только не возбранялись, напротив, предписывались, иначе липовую пару в два счета разоблачат. Словом, в шпионской работе оказалось много приятного. Тем более что для вживания в роль им предстояло провести десять дней в гостинице, в одном номере с общей постелью. Сладкая жизнь обеспечивалась толстой пачкой денег. Пришел Тимкин звездный час.

Завтрак им подавали в постель, обедали и ужинали они в ресторане. Там к шашлыку полагалось «Кинзмараули», а к осетрине-фри — «Цинандали». Тимка на всю жизнь приобрел вкус к хорошим винам. Он научился танцевать, особенно преуспел в аргентинском танго.

В общем, молодожены не теряли даром времени, отпущенного им на адаптацию. И так вошли в роль, что Тимка готов был до конца дней притворяться мужем Люды, и та, похоже, не возражала против такого варианта.

В положенный срок их благополучно переправили в Бухарест. Не спрашивай как, я этого не помню, если вообще знал. У Тимки была своеобразная черта: неторопливо-обстоятельный в рассказе, он не выносил вопросов, сразу замыкался с

надменным видом и становился цаплей в кубе. То ли за вопросами ему мерещилось недоверие, то ли еще что-то обидное для его чести.

Они поселились в гостинице, и Тимка принялся завязывать деловые знакомства по мясному экспорту, на деле же прощупывать оборванные связи. Хотя до хлопковых эшелонов Рашидова было далеко, очковтирательство уже набирало силу, и Тимке стало казаться, что мощная агентурная сеть существовала лишь в пылком воображении исчезнувшего резидента, который, поднакопив московских деньжат, попросту смылся.

Аргентинский мясопромышленник недолго занимался своим бизнесом. Не прошло и недели, как его взяли, прямо на улице. И сделано это было идилично просто: подошли двое, зажали с боков, втокнули в машину — приземистый «хорхе» — и повезли по оживленным улицам Бухареста, не заметившего, что одним прохожим стало меньше.

Ехали молча, только раз один из сопровождающих — оба были в штатском — обратился к Тимке на каком-то непонятном языке. Поразмыслив, Тимка решил, что это аргентинский, и с обиженным видом преподнес ему по-немецки свою легенду, снабдив для убедительности описанием красот приютившей изгнанника латиноамериканской страны, почерпнутым из знаменитого танго. Тот выслушал небрежно, усмехнулся и одобрил Тимкино произношение. После чего на чистом русском попросил его не строить из себя полиглота, обходиться родным языком.

Тимка замолчал и остальной путь мучительно думал о Люде, утешая себя сомнительной надеждой, что опытная разведчица сумела избежать расставленных сетей.

Наверное, ты мысленно готовишься к описанию допросов, избиений, пыток и нечеловеческого мужества Цыпы, который, проливая потоки крови из своего слабого носа, не проговорился ни единым словом. Читай шпионскую литературу, там ты все это найдешь, здесь же было иначе: никто его пальцем не тронул, вежливо и терпеливо просили рассказать все как есть, и Цыпа так же терпеливо, тупо, не теряя самообладания — у кого совесть чиста, тому нечего бояться, — «лепил горбатого» про горькую судьбу беженца, Аргентину и мороженое мясо.

Ведущий допрос офицер — штатский костюм не скрывал военной выправки — тоже отличался завидной выдержкой. Он

душевно просил Цыпу не тратить времени на пустое вранье: им отлично известно, кто он и с какой целью прибыл в Бухарест, так что допрос носит чисто формальный характер, а настоящие дела ждут их, когда кончится докучная, но необходимая официальная часть. Если он не настроен на серьезный разговор, то может ограничиться простым «да», подтверждающим сведения, которыми они располагают. А сведения их отличались абсолютной точностью: ФИО, воинское звание, боевые награды, фронты и части, в которых проходил службу, специальные учебные заведения, цель засылки в Бухарест — ни одной ошибки не было в этом формуляре. Тимку покорило, что его семейное положение было определено как фиктивный брак с Крошиной Людмилой Петровной, капитаном, шпионкой, кавалером двух орденов Красной Звезды. Было ясно, что их заложили еще до приезда сюда; хватит ли у Людмилы сил, если ее возьмут, все отрицать? Думать об этом было страшно...

Я удивительно хорошо представляю себе Цыпу в эти далеко не лучшие минуты его жизни. Задумчиво-недоуменное лицо, приоткрытый рот, шея, ставшая длиннее на три позвонка, обиженный нос — что-что, а придуряться он умел. Впрочем, я не уверен, что это умение, иногда мне кажется, что дурак, особый русский дурак, который поумнее и похитрее иного умника, всегда сидел в Цыпе. Наверное, потому он и казался тебе недоделанным. Но офицера его вид не мог ввести в заблуждение, поскольку он знал всю Тимкину подноготную. И похоже, не без удовольствия наблюдал театр одного актера. Во всяком случае, не раздражался, не орал, не стучал кулаком, ибо знал, что этому лицедею деваться некуда.

Цыпа гнул свою линию. Он даже позволил себе горький упрек: «Я думал, что кончились наши страдания, и ехал сюда с открытой душой накормить свежемороженым мясом союзников Германии».

— Напрасно вы думали, что ваши страдания кончились, — мягко сказал офицер. — Они только начинаются. Если, конечно, вы не перестанете валять дурака. Я думал, вы разумнее. В конце концов, от вас не требуется ничего фантастического, это неизбежный путь каждого провалившегося шпиона. Вы сохраните свою легенду и будете делать то, что вам поручили в Москве. Информацией мы вас обеспечим. Это не только со-

хранит жизнь вам и вашей очаровательной подруге, но поможет вашему устройству в том миропорядке, который мы установим после победы.

— Меня вполне устраивает торговля свежемороженым мясом, — нудно сказал Тимка. — А передавать какую-то информацию я не буду, просто не умею, да и почему большевики должны меня слушать? Кто я такой? Они сразу поймут, что это фальшак.

— Не приbedняйтесь, — сказал офицер, — они знают ваш почерк. И хватит притворяться. Мы все равно вас заставим.

«Будут бить!» — понял Тимка и настолько превратился в цаплю, что чуть не взлетел.

Но бить его не стали, а угостили сигаретой и куда-то повезли в том же низко сидящем, расслабляющем «хорхе».

Они подъехали к воротам в кирпичной стене, поверх которой тянулась колючая проволока. Тюрьма. Его долго вели по длинному сводчатому коридору, мимо камер с зарешеченными окошками. Время от времени сопровождающий их надзиратель отпирал одну из камер, и офицер, кивнув на вытянувшегося в струнку узника, бросал небрежно: осведомитель вашего резидента номер такой-то. Тимка вполне равнодушно смотрел на худых, небритых, казавшихся на одно лицо узников, он не знал их, да и не был уверен, что они действительно те, за кого их выдает гестаповец.

Наконец они подошли к камере, которую открыли не то чтобы торжественно, но со значением. С койки поднялся тощий седо- и вислоусый старик, похожий на гоголевского сечевика.

— Вот тот, кого вы искали, — Илие Бучану, в миру Тарас Петрович Саенко. Прошу любить и жаловать. — Офицер осклабился, вернув этот русский оборот. Он явно гордился своим чистым, чуть подмороженным, как мясо аргентинского negociанта, русским языком.

Тимка и сечевик глядели друг на дружку без особого интереса. Сечевик скорей всего не понял, кто перед ним, Тимка же вел свою роль.

— Налюбовались? — спросил офицер. — Саенко оказался куда сговорчивей вас. Мы думали, что вы можете поработать в паре.

— Мне не нужен компаньон, — пробормотал Тимка. Теперь он понял, что влип безнадежно.

Кто его заложил? Неужели они взяли Люду и она раскололась? Не похоже на опытную разведчицу. Но почему они ее взяли? Легенда дурацкая, ему с самого начала казалось, что шефы перемудрили. Русский беженец из Аргентины, торговец мясом его лет — отдает бредцем. Но ведь жизнь полна бреда, неестественных ситуаций, чудовищных закрутов, диких совпадений; подозрительно по-настоящему, когда слишком гладко и правдоподобно, когда все швы сходятся. Так не бывает в нынешнем взбаламученном мире. Могло, могло занести русского парня в Аргентину, и мог он пристроиться к торговому делу. А зачем он себе-то морочит голову? — спохватился Тимка. Растерялся, пустил сок? Это уж последнее дело. Пустить сок можно, когда тебе выбьют зубы, но лучше до этого не доводить, а выкручиваться. Почему же Люда не выкрутилась? Неизвестно, что с ней делали, есть мера человеческому терпению. Она все-таки женщина. А почему он так уверен, что Люду взяли?..

В общем, Тимка заметался, хотя на челе его высоком не отразилось ничего. Неожиданно быстро офицер прервал лишнюю теплую встречу двух провалившихся шпионов.

Они долго шли по внутренним переходам, поднимались на лифте, спускались на лестничный пролет, опять подымались, шли дальше, и Тимка понял, что они покинули тюрьму и теперь двигались другим помещением, похожим на обычный офис. Вдоль коридора были расстелены синтетические ковровые дорожки, глушившие шаги, по правую руку широкие незашторенные окна позволяли видеть небо и городские крыши, по левую руку мелькали безликие двери кабинетов. Им попадались военные в черной форме и фуражках с низким козырьком и штатские, все как один в темных роговых очках. Что это — сигуранца или гестапо?.. Тимка любил звучные, щекочущие небо слова: сигуранца, коза-ностра, абитуриент, гверильясы, аркебуза, Трокадеро...

Офицер толкнул дверь и сделал знак, чтобы он входил. В кабинете было три одинаковых письменных столика, три одинаковых шкафа с папками, на столах — зачехленные пишущие машинки «Рейнметалл». За дальним столиком работала, низко склонившись над бумагами и уронив волну светлых, чуть завитых волос, молодая женщина в черном кителе. Тимку пронзило какой-то больной нежностью — у Люды была такая же

пепельно-золотистая копна. Женщина подняла голову, резким движением откинула волосы.

— Ну вот, явился не запылится. Чего рот-то открыл?..

...— Тут откроешь! — сказал я. — Она была раньше завербована?

— Ну да! Засыпалась еще в начале войны. И работала на немцев.

— А он что?

— Ничего. Хоронил мысленно женщину, которую успел полюбить и которой верил, как самому себе. Зато она проявила большую активность. Предлагала сохранить все как есть, только поменять службу. Уверяла, что очень привязалась к нему, не хотела бы его терять. Понимаешь, эту страницу своей биографии Тимка всегда пробегал скороговоркой. По-моему, тут у него так и не зарубцевалось. В общем, разговора у них не получилось. Тимку снова куда-то увезли. Едва отъехали, началась бомбежка. Машину опрокинуло, хрястнуло, Тимку выбросило наружу. Он был весь в крови, но ран глубоких не оказалось, посекло лицо, шею осколками стекла. Его спутники не подавали признаков жизни. Тимку перебинтовали прямо на улице, от госпиталя он отказался и, как библейский пророк, побрел неведомо куда. Уже на окраине он потерял сознание, а очнулся в постели, в доме каких-то пожилых людей. Он упал возле их крыльца, они подобрали его.

Хозяин, фельдшер на покое, заверил Тимку, что с ним все в порядке, просто он потерял много крови. Говорили хозяева на ломаном русском, и Тимку удивило, как догадались они о его национальности. Ты же помнишь, в нем не было ничего характерно русского: продолговатый череп, длинное узкое лицо, большой горбатый нос, бурые увядшие волосы, глаза цвета расплавленного олова. Он счел нужным сообщить этим милосердным людям, что он прямиком из Аргентины, торгует свежемороженым мясом. Старики попросили его не волноваться: если бежавшему из плена русскому хочется считаться аргентинским торговцем, пусть так и будет.

Поступок этих старых людей остался для Тимки какой-то шемящей тайной. Они выхаживали как родного солдата вражеской армии, зная, что рискуют жизнью. А ведь они скрывали не солдата — шпиона, и эта мысль была так невыносима, что,

едва окрепнув, Тимка поспешил оставить гостеприимный дом. Он ушел ночью, когда хозяева спали, и поплелся к фронту, избегая больших дорог и обходя населенные пункты. Все эти предосторожности не помогли, он нарвался на немецкий патруль. Его приняли опять же за беглого пленного, в чем он «честно» признался, избили и отправили в лагерь.

Через три недели он бежал, добрался до прифронтовой полосы и был снова схвачен. Немцы погнали колонну беглецов в тыл. За спиной слышался гул нашей артиллерии, и Тимкой овладела такая тоска, так захотелось к своим, что он принял невероятное по смелости и беспощадности к себе решение. Надо действительно быть недоделанным, чтобы додуматься до такого. Он заметил, что конвойные пристреливают упавших, если те подают хоть слабые признаки жизни, в противном случае лишь пристукивают — для верности — прикладом по голове. Берегут пули, видать, с боеприпасами у них неважно.

На марше Тимка хватил кулаком по своему большому, хрящеватому, слабому носу, размазал кровь по лицу, шее и груди и грохнулся навзничь на дорогу, закатив глаза. Через несколько минут на взлобье обрушился страшный удар, и черепушка разлетелась на куски.

Очнулся он в темноте. Чтобы открыть глаза, ему пришлось выгрести липкую массу загустевшей крови из глазниц. Голова трещала и гудела, но кости были целы. Он отполз с дороги, смыл кровь вонючей водой из лужи и попытался встать. Это ему не удалось. Он заполз в кустарник, свернулся калачиком и заснул. Когда проснулся, то оказалось, что он лежит в десятке метров от шоссе в засохшем, насквозь просматриваемом шиповнике. Почему его не обнаружили — непонятно. Пешеходы на шоссе были редки, но воинские грузовики и легковушки проезжали то и дело. Ему так долго не везло, что должно же было наконец повезти.

Вскоре он убедился, что действительно попал в полосу удач. Пока он пробирался к фронту, его с десятков раз могли схватить. Раз он устроился на сеновале заброшенного сарая, куда завернул на ночлег немецкий отряд. Солдаты варили на костре кулеш, жрали, пили, горланили песни, играли в скат, потом спали впокат с храпом и свистом, под утро ушли. Остатки кулеша они вывалили на пол. Тимка выбрал куски баранины

и съел их. Уходя из фельдшерского дома, он взял лишь две кукурузные лепешки да грудочку мамалыги, у них самих было не густо. Его мучил голод, но зайти в деревню и попросить еды он не решался.

Другой раз он чуть не напоролся... Слушай, ты помнишь у Шкловского, кажется, в «Zoo»: небо было такое же, как в рассказе А.П. Чехова «Степь». Я неточно цитирую, возможно, он привел другой рассказ, но ты понимаешь, что я имею в виду. Тимка выходил из плена, как бесчисленное число героев нашей художественной литературы об Отечественной войне. Поэтому не будем тратить на это время, которого у нас с тобой осталось так мало.

Стоит сказать вот о чем: вблизи фронта в полумертвом от потери крови, усталости и голода бедолаге проснулся разведчик. Он стал фиксировать мнемоническим способом все, что могло представить интерес для нашего командования: долговременные огневые точки противника, заправочные, склады, скопления техники. Тимка шел к фронту, а фронт накатывался на него. Встреча состоялась без цветов и поцелуев: на последнем рывке его обстреляли и чужие, и свои.

Цветов не было и потом. Он, видимо, исчерпал куцый лимит удачи. Первое, что он услышал, оказавшись среди своих и слегка отдышавшись, был радостный возглас молоденького бойца:

- Шпиена поймали, товарищ старший лейтенант!
- Отправьте меня в особый отдел, — попросил Тимка.
- А ты думал, тебя куда отправят? — с непонятной злобой отозвался старший лейтенант. — На концерт самодеятельности?

Особист выслушал Тимкино донесение, велел изложить все в письменной форме, после чего подверг его придиричвому допросу. Тимка сказал твердо, что остальное он доложит в Москве. Больше всего Тимку удивило, что ему даже кружки чая не предложили. Это оказалось не самым большим его разочарованием. Вскоре он убедился, что свои перестали считать его своим. Подобные превращения удивляли людей куда менее прямолинейных и бесхитростных, нежели Тимка. Представляешь, каково было ему с его простотой и недоделанностью убедиться, что объективной реальности не существует?

Тимку отправили в Москву, а оттуда после нескольких вялых допросов в проверочный лагерь. Тех людей, которые засылали его в Бухарест, он не увидел, хотя просил свести его с ними. Что тут произошло — сказать трудно. Операция провалилась, проглядели девку, завербованную немцами. Естественно, Тимка тут ни при чем — он не выбирал себе напарницу. Может, его наказали за связь с врагом народа? Я, конечно, шучу, но случались шалости и похлеще. Если же всерьез: кому-то было выгодно избавиться от Тимки и поставить крест на провалившейся операции. Не исключено и другое, в том числе обычный бардак. Лень было разбираться в сложной, неординарной ситуации, куда проще стряхнуть неудачника в проверочный лагерь и забыть о его ненужном существовании.

Тимка никак не мог взять в толк, что ему не верят. Неужели он не заслужил доверия за все годы своей безупречной службы? Но я думаю, еще страшнее было бы для него узнать, что никто его ни в чем не подозревал и уж давно не считал врагом. А будь на нем хоть малая вина, его давно бы расстреляли. Именно потому, что у него все чисто, он пользовался преимуществами проверочного лагеря, включая легкую, непыльную работу: клеивать пакетики с презервативами.

Он клеил их чуть больше года, а в лето победы был отпущен на волю. Звание с него сняли, отобрали все награды, но Москвы не лишили. «Вернулся он домой без славы и без золота», в засаленном ватнике и тяжелых котках. Конечно, не так рисовалось ему возвращение воина-победителя, но ведь могло быть еще хуже.

Первое, что он сделал: забодал на Тишинском рынке свою роскошную шинель с золотыми пуговицами, китель и ремни. Сапоги оставил, самому пригодятся. Я ходил с ним на рынок и злился, что он, не торгуясь, отдал превосходные вещи в первые попавшиеся руки. Деньги сразу же потратил, купив матери шерстяную кофту, теплый вязаный платок, а сестре платье и босоножки. «Солдат не может приходить с войны без трофеев», — сказал он, дернув губой, и тем подвел итог своей войны.

Жизнь продолжалась, надо было помогать матери тянуть дом. Сестра кончала школу, хотелось дать ей высшее образование. Тимка прикинул разные возможности, и получилось:

самое выгодное — работать истопником в котельной по месту жительства. Должность была вакантной, и, несмотря на множество претендентов, у Тимки имелись преимущественные шансы, поскольку за него был Степаныч, наш легендарный дворник, саженого роста, с раздвоенной, как у Александра III, бородой. Истопник — это мизерное жалованье и большой навар. Все очень нахолодались за войну, и, чтоб держался добрый жар, разве постоит кто за поощрением: денежным, продуктовым, водочным — хозяина домового тепла? Кроме того, в те давние времена в старых домах истопник был и сантехником, и слесарем.

У Тимки было одно замечательное свойство, возможно, коренящееся в его недоделанности, которую ты тонко подметил: он сразу и полностью обретал ту форму, которую предлагали ему жизненные обстоятельства. В детстве он был олицетворением нашей дворовой вольницы, в юности стал образцовым пролетарием: пропил с бригадой первую получку, стал что-то выносить с завода и обмазывать солью край пивной кружки; в армии заделался военной косточкой, офицером не советского даже, а старого образца, как в фильмах о гражданской войне: оттягивал мизинец, беря стопку, и — локоть, поднося ее ко рту; представляясь дамам, щелкал каблуками, держал выправку, словом, форсил офицершиной; здесь он быстро стал классическим истопником: грязным, нетрезвым, ленивым и необязательным. Он без стеснения брал трешки, пятерки и десятки, опрокидывал стопку на кухне, заедавая корочкой в будни, блинцом на Масленицу, куличом на Пасху, не брезговал старым пиджаком или штанами, весь двор звал его душевно Никонычем.

Тимка имел столько от своих невдохновенных трудов, что его часто прихварывающая мать могла бы спокойно отказаться от грошовой зарплаты участкового врача, но она была из породы вечных тружениц. Семья жила в достатке, Тимкина сестра поступила в университет; и старая, и молодая женщины были очень прилично одеты, ходили в театры и на концерты, но, конечно, мать Тимки, человек старых правил и воспитания, не была счастлива, видя, как опускается ее сын. Все эти рюмочки и кружечки, подношения от жильцов, грязная и тупая работа, отчуждение от прежних товарищей — с ним стало скучно — не могли не расшатать нравственный ствол его

личности. Он был гордым по природе своей человеком, но сейчас отрухлявилась сердцевина.

Всякая профессия заслуживает уважения, только не в нашей стране. Где-нибудь в Германии истопник — это фигура. В спецовке, рукавицах, в кожаной фуражке, он опрятен, энергично-деятелен, свято соблюдает часы завтрака и обеда, окружающие испытывают к нему почтение и считают за честь распить с ним бутылочку рейнского в соседнем кабаке после рабочего дня. А у нас истопник, водопроводчик, домашний слесарь — персонажи полукомические при всей их роковой важности в нашей непрочной жизни. Недаром их так любят эстрадные юмористы.

Тимка имел дело с каменным углем, поэтому был черен, как Вельзевул; его ватник, с которым он не расставался ни зимой, ни летом, пропитался угольной пылью и какими-то смрадными техническими маслами, этот аромат хорошо сочетался с сивушно-сеledочно-луковым выхлопом уст, «пьяных, как дикий хмель». Он никогда не отличался красноречием, но был прекрасным собеседником, потому что умел слушать: он жил общими интересами, волновался за друзей, а сейчас ему все стало до лампочки. Я давно переехал из этого дома, но часто навещался сюда, сохранив дружбу с ребятами. Хоть бы раз Тимка спросил, как я живу, что делаю, а на мои расспросы отвечал односложно: «Все нормально». Иногда мне казалось, что это и не Тимка вовсе, а какой-то самозванец, забравшийся в его шкуру. Как-то раз я видел, как он обслуживал пивом Шолохова.

Михаил Александрович время от времени появлялся в нашем дворе, он навещал умирающего от туберкулеза Андрея Платонова, которого нежно любил. Когда-то он помог Тошке*, активированному по болезни, остаться в Москве, то был поступок не только милосердный, но и отважный по тем временам. Шолохов приезжал на сессии Верховного Совета или по другим государственным делам, но вместо заседаний шел к Платонову. Они выпивали, пока Платонов еще мог пить, в дальнейшем Шолохов или выпивал заранее, или под видом перекура — во дворе, чтобы не раздражать больного друга. Иногда он «давил малыша», но чаще пробавлялся пивом, за

* Сын Андрея Платонова, арестованный в 1938 г.

которым посылал Тимку, а сам беседовал с дворником Степанычем, отъявленным вралем, производившим впечатление правдивого, как сама земля, народного человека. Шолохов — это неожиданная черта в нем — обожал сплетни. Впрочем, не исключено, что он любил сплетни только о писателях и писательских женах, а все другие на дух не выносил. Степаныч по роду своих занятий был кладезем всевозможных слухов, которые сам же придумывал. Попыхивая сигаретой, Шолохов жадно спрашивал:

— Ну а она что?.. Дальше-то что было?..

— Что дальше?.. — лениво тянул Степаныч, старательно заплывывая искуренный до фильтра чинарик, — он уже забыл, о чем врал. — Она ведь об этом не думала. Нешто могла она знать, что такой оборот выйдет?.. — Надсадный кашель сотряс богатырскую грудь. — Плесни-ка пивка, что-то в горле першит.

Но пиво кончилось. Шолохов достал из кармана мятую десятку и протянул маячившей рядом долговязой фигуре.

— Давай, родной, одна нога здесь, другая там.

Степаныч меж тем собрался с мыслями и, пока Тимка бежал за пивом, благополучно довел историю до конца.

Тимка невероятно ловко срывал зубами пивные закрывалки. стакан имелся только для сказителя, Шолохов и Тимка тянули из горла.

— Ну, а Орест как? Неужто затих? — интересовался Шолохов, промокая руками усы.

Орест М. — половой гигант дома. Каждую неделю в его однокомнатной квартире происходили бурные сцены с криками, визгами, мордобитием, серной кислотой. За этим следовали доносы в партком СП. Редкое партийное собрание проходило без обсуждения половой жизни Ореста М.

— Орик-то?.. — соображал Степаныч. — Нешто такой затихнет? Намедни с четырьмя взаимодействовал.

— Брось, Степаныч, как можно с четырьмя? — ужасался и восхищался Шолохов.

— Варфоломеевская ночь!.. Да что такому кобелю четыре сюжета? У него эта штука с городошную битую.

— Не лепи горбатого, Степаныч, так не бывает.

— Цыпа не даст соврать. Цыпа, будет у Орика с городошную битую?

Никоныч для всего двора в глазах Степаныча, холившего его детство, оставался Цыпой.

— Ага, — подтвердил Тимка, думая о чем-то своем.

Вот что странно. Шолохов великолепно изображал человеческие характеры, значит, присматривался к людям. А ведь Тимка не был рядовым истопником: слишком утонченная внешность, да и молод он был для своей должности, достающейся бойцовым людям, умудренным годами и борьбой за существование. Это сейчас в привычку, когда на месте лифтерши сидит бледнолицый бородатый философ с томиком Бердяева в нервной руке, а уборную чинит кандидат или доктор наук, нацелившийся покинуть свою неисторическую родину. В ту пору прочен был социальный тип: истопник, как и дворник, — это судьба, а не просто род занятий. Тимка так вызывающе не подходил к своему месту, что должен был бы заинтересовать ловца человек. Но Шолохов не сосредоточил на нем внимательного взгляда, да и вспоминал о его существовании, лишь когда кончалось пиво.

Мне долгое время казалось, что Тимка настолько привык к своей работе, образу жизни, вернее сказать, опущенности, что ничуть не страдает в образе котельного Вельзевула, мол, все путем. Но однажды я крепко усомнился в этом.

Я уже говорил, что мы с матерью перебрались на новые квартиры. Прелесть новизны и несколько лучших жилищных условий вскоре минула, я свирепо затосковал по своему старому двору и ринулся туда со всех ног. Сентиментальное путешествие оказалось малоудачным. Из сверстников я не застал никого: «одних уж нет, а те далече», во дворе копошилась незнакомая мелюзга. Я облазил чердаки, даже в уборную бывшего Камерного театра проник, потолковал с дворником Степанычем, охотно рассказавшим мне обо всем, чего не было в пору моего отсутствия, затем пошел глянуть на подземное озеро.

Озерко было на месте, освещенное, как и прежде, таинственным, неведь откуда проникающим светом; посреди застыл наш разошедшийся плот, на нем сидел Тимка, погруженный в думу, он даже не заметил моего появления, а с края плота примостилась большая крыса, спокойно, мудро и благожелательно глядевшая на него. Было в этом что-то такое грустное и безысходное, что я не окликнул Тимку и тихо ушел.

Да и что я мог сказать ему? Что-нибудь из «Мойдодыра»: «Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам стыд и срам, стыд и срам». Если не можешь помочь делом, лучше помолчать.

Но нашелся человек, умевший делать, а не трепать языком, — Нюся — бывшая радистка-разведчица, первая Тимкина любовь. Она прекрасно отслужила войну, получила много боевых наград, в том числе высший польский орден, демобилизовалась, кончила театральный техникум и сейчас заведовала гардеробом в одном из главных московских театров. Она случайно услышала о Тимке, и в ней взыграло былое чувство. Так, во всяком случае, я думал, плохо зная Нюсю. Когда же узнал лучше, то мотивы ее поведения несколько усложнились, но об этом в своем месте.

Нюся — незаурядная женщина. Увидев вместо молодого, справного лейтенантика старого спившегося истопника (Тимка выглядел лет на десять старше своих лет), Нюся не только не отступила, а прямо-таки возгорелась спасительным пламенем. Может, у них ничего бы и не вышло, но в Тимкиной душе зазвучали давно умолкшие струны, и он не колеблясь пошел за своей избавительницей.

У Нюси не было жилплощади, не заслужила смелая разведчица и кавалер многих орденов хотя бы щели в общей квартире. Она то скиталась по общежитиям, то ютилась у подруг, то «гноила» угол у старушек. Сейчас одна ее приятельница уехала в длительную командировку, и «молодожены» поселились у нее. Прежде всего Нюся отмыла Тимку, постригла, одела во все чистое, затем свела в загс и наконец забрала из котельной, устроив его на весьма выгодную работу в бюробин. Помогли театральные знакомства и Тимкины остатки немецкого языка. Кажется, он вписал в анкету знание испанского и румынского. За полиглота ухватились.

С этого времени Тимка перестал пить водку. Только сухие вина, иногда настоящее «Порто» — бокал после обеда.

Он подошел ко второму, главному пику своей жизни. Первый подъемный момент, очень кратковременный, был отмечен пошивом офицерской шинели, которую он даже не успел надеть, второй растянулся на много-много лет. Он вобрал в себя и тот долгожданный час, когда ему было возвращено воинское

звание и все награды с добавлением двух медалей: «За победу над Германией» и «За взятие Бухареста», хотя не Тимка брал Бухарест, а его там взяли. И тут Тимка вторично справил себе шинель — уже из генеральского сукна, китель и брюки из серого габардина, купил на толкучке офицерскую фуражку, ремни и кобуру от «ТТ». Не только в День Победы, но и по обычным воскресеньям он надевал форму и в таком блистательном виде прогуливался по улицам. То была полная компенсация за все муки. Я часто виделся с Тимкой и всегда испытывал радость при виде по-настоящему счастливого человека. До чего хорош он был, когда, угостив меня прекрасным обедом, приглашал к маленькому круглому столику попить кофе по-турецки из крошечных фарфоровых чашечек. Мне полагались коньяки, ликер, Тимка обходился стаканом «Порто».

Для него не было большего удовольствия, чем хорошо угостить друга. И опять он с удивительной пластичностью применился к новым обстоятельствам. Теперь это был отставной офицер какого-то привилегированного полка и крупный хозяйственник в тонком деле обслуживания иностранцев. Изящные, отточенные гвардейские движения, благоуханные кольца «Кента», нанизываемые на стержень — я так и не освоил этого искусства, — многозначительное молчание с узкой неразвернутой улыбкой доброты и убогостворенности. И удивительный взгляд любви, благодарности и доверия, который он время от времени обращал к Нюсе. Неужели это тот самый человек, который сидел с потухшим взором на плоту посреди подземного озера в компании мокрой крысы?

Желая воздать Тимке сполна за незаслуженные беды и несправедливости, жизнь подносила ему все новые подарки: у него родился великолепный сын, и возросшая семья переехала в двухкомнатную квартиру на Сретенском бульваре.

Он едва не вступил в партию. Но на собрании, когда его принимали, он взял обязательство воровать вдвое меньше и призвал к тому же всех коммунистов бюробина. Сам понимаешь!.. Он едва не вылетел с работы с волчьим билетом. Что с него взять — недоделанный...

— Стоп! Я уже покаялся. Это мы недоделанные по сравнению с Тимкой.

— Только не надо его преувеличивать. Он был вполне бытовым человеком без каких-либо высших запросов. При своей

физической храбрости, хладнокровии, исполнительности он мог сделать военную карьеру. Скажем, дослужиться до полковника. Дальше его не пустили бы. Для преуспевания в мирной жизни его боевые качества были ни к чему. Другими он не располагал. Но и не стремился выделиться. Лишенный честолюбия и каких-либо творческих тревог, он хотел лишь одного: чтобы его близкие жили спокойно и достойно. На это его способностей хватало. К тому же он опять начал играть в теннис и стал желанным партнером для клиентов бюробина. Он ведь играл не только хорошо, но строго по-джентльменски, без оголтелого желания непременно выиграть. И это еще больше укрепило его положение на службе. Но видно, в горних сферах решили, что он не испил своей чаши до дна, да и вообще умиротворенное блаженство смертных раздражает богов.

Удар пришел с той стороны, где он считал себя наиболее защищенным. Нюся бросила его, ушла к другому. Этот другой был старинный Тимкин приятель, да и мой тоже, бывший сосед по Тверскому бульвару, огненно-рыжий парень Гошка, любитель современной музыки и сам немного музыкант — играл на тромбоне в каких-то второсортных джазах. Они с Нюсей были знакомы лет сто и вдруг обнаружили, что жить друг без друга не могут.

— Мне бы хотелось знать об этом подробнее. И ради Бога, не отсылай меня к «Мадам Бовари»...

— Я как раз хотел это сделать. Ну, скажи на милость, что я могу знать о таком интимном деле? Что нам вообще известно друг о друге, кроме грубых очевидностей? Я обалдел, когда услышал об этом. А Тимка обалдел давно. У него надолго стал такой вид, будто его поместили под Царь-колокол, а потом дали по гулкой меди из Царь-пушки. От чар любви никто не застрахован. Но Нюся любила Тимку, как только можно любить творение своих рук. Она же в самом деле собрала его нацельно из мелких осколков. А он ее не просто любил — молился на нее, на редкость благодарная душа. У них был чудесный сын, дом — полная чаша, прочный, но не отяжеленный быт, о чем еще мечтать? И ведь она столько лет знала Рыжего и разве что терпимо относилась к его веснушчатой роже, плоской веселости, постоянной озвученности легкой музыкой и неопрятной безыгнотности. Но может, как раз этим он ее и достал. Нюся — жертвен-

ная натура. Ей надо кого-нибудь спасти, иначе нет напряжения жизни, и любить надо только несчастенького. Таким был Тимка в пору, когда она вытащила его из котельной дома Герцена, но таким он давно перестал быть: довольный жизнью обыватель с запасливыми бурундучными щечками от пересытости. Конечно, она была привязана к нему, спокойным сердцем любила сына и дом, но все это не давало утоления жаждущей подвига самоотверженной душе. Другое дело — Рыжий, заброшенный, одинокий, неухоженный, некормленный, печальный тромбон. Надо сказать, что он всегда так жил, с тех пор как умерли вскоре после войны его родители, и ничуть не тяготился своим холостяцким разором. Вечно народ, вечно пьянка, музыка, треп, менялись девчонки, но не менялись простыни и наволочки, со стола сроду не убиралось, полы не мылись, а солнечный свет едва проникал сквозь заросшие пыльной шубой стекла. Все это его вполне устраивало, пока играла молодость, но на пятом десятке он захандрил: испарились надежды на славу и деньги, побаливала печень, в глазах появилась собачья грусть. Словом, он вполне созрел для спасения. Нюся приняла свой порыв к обездоленному за любовь и сожгла мосты. Она была искренна и всерьез верила, что силой своего чувства вернет любимому веру в свой талант и будущее.

Прошло немало времени, пока она поняла, что спасти-то некого. Ее страстный порыв был порывом в пустоту. У Рыжего действительно была увеличена печень, как у всех пьяниц, у него легко портилось настроение — обычная черта неудачников, считающих себя гениями, но в целом он был доволен своим безалаберным, пустым, не обремененным никакой заботой существованием. Все участники этой семейной драмы готовили на сливочном масле, кроме Рыжего — он жарил на маргарине, к тому же испорченном. Роман с Нюсей был нужен ему для самоутверждения, да и приятно сделать гадость заевшемуся приятелю. Тревожный рыжий пламень его волос над собачьей грустью нездоровых глаз долго морочил Нюсе голову, но в конце концов ей открылась правда и полное банкротство спасительной миссии.

Тимке было очень трудно без Нюси. Помог ему уцелеть сын, которому он себя целиком посвятил. Когда спасаешь другого человека, то и сам спасаешься им.

Посвятив себя целиком сыну, Тимка подорвал свое служебное положение. Слишком велика там конкуренция, слишком много желающих попасть на твое место, чтобы работать с прохладцей. Надо не только выкладываться до конца, но и быть осмотрительным, как слеза на реснице. Иначе скатишься. А Тимка и теннис забросил, чем нанес непоправимый ущерб своей репутации в дипломатических кругах.

Все свободное время он проводил с сыном. Помимо всего прочего, ему не хотелось, чтобы образ матери померк в его глазах, что вполне могло случиться, если б Тимка не стоял на страже. Повадившаяся в дом бабушка Бориса была тяжело оскорблена поступком Нюси и при всей своей сдержанности и тонком дореволюционном воспитании слишком красноречиво поджимала губы, когда речь заходила о грешной экс-невестке. Тимка бдительно следил, чтобы ее негодование не переступало этой черты.

Если ты когда-нибудь познакомишься с Борисом, то поймешь, что ничто еще не пропало, раз есть на свете такие молодые люди. Доброта, благородство, бескорыстие, сознательное нежелание признавать, что жизнь — не подарок, при ясном, спокойном уме, видящем низкую правду, но отвергающем ее ради правды высшей, — как это создалось и как сохранилось в нашей кромешной действительности? Воспитал его Тимка. А самого великого воспитателя вырастил двор и подвал с крысами, — ни у дяди, ни у матери не было на него времени. Откуда бы взяться воспитательской мудрости? А она была. Но может, это не мудрость вовсе, а естественная жизнь хорошей души, невольной, без искусственных усилий помогающей росту другой — юной и здоровой души? Словом, экзамен на отца он выдержал на пятерку.

На ту же отметку он сдаст экзамен на сына, когда тяжело, смертельно заболит его мать. Побокую пойдет вся остальная жизнь, он станет сиделкой, нянькой до самого последнего вздоха, отстранив сестру от всяких хлопот. Но это случится много позже, а пока ему пришлось решать другую задачу.

Он узнал, что Нюся с Рыжим расстались. Финал оказался куда более жестоким, чем заслуживала слабая драматургия — из-за ничтожности одного из главных действующих лиц — этой житейской истории: Нюся попала в больницу с опасным забо-

лением, требовавшим срочной и тяжелой операции. Когда я его спросил, что с Нюсей, он ответил коротко: «Нижний этаж».

Нюся на операцию не решалась. Фиаско с Рыжим лишило ее обычной воли и уверенности в себе. Она лежала в палате, никто ее не навещал, и ей казалось, что она слышит, как вытекает из нее жизнь. И, презирая себя за слабость, беспрерывно сочилась из узких глаз, как скала. Однажды сквозь слезный дым она обнаружила возле изголовья полу короткого белого халата, выше — китель с орденскими планками и ленточкой «за ранение», а еще выше — знакомый профиль с гордым носом и редко моргающие глаза цвета расплавленного олова.

Ты знаешь, Тимка был не речист, он не знал, как уговорить Нюсю на операцию, и надел военную форму и знаки регалий, чтобы напомнить бывшей разведчице о ее боевой молодости и бесстрашии. И эта наивная выдумка сработала. Нюся взяла себя в руки, согласилась на операцию, которая прошла успешно. Через три недели Тимка привез ее домой. Здесь ее ждало много цветов и возмужавший сын. Никаких объяснений по поводу случившегося не было, ни полслова, ни намека. Жизнь продолжалась, как в разбуженном поцелуем принца царстве Спящей красавицы — с того движения, на котором когда-то оборвалась.

Старые связи помогли Тимке устроиться проводником на поезда, ходившие заграничными маршрутами. Это позволило ему продолжать изящную жизнь в промежутках между рейсами. И хорошие вина, и виски, и заграничные сигареты были по-прежнему к услугам его друзей. В домашних условиях ему не пришлось отказываться от тех аристократических замашек, которым научил его бюробин. Конечно, в рейсах, подметая веником вагонный коридор, прибирая в санузлах и разнося пассажирам чай в тяжелых подстаканниках, он вел более демократический образ жизни. Вновь неплохо наладившийся быт едва не рухнул, когда заболела мать и Тимка уселся к ее изголовью.

Но видимо, он успел завоевать авторитет на железной дороге, его не только приняли назад, но и стали усиленно продвигать, совсем как Ивана Полозкова, с той разницей, что Тимкино возвышение никому не принесло вреда. Года через три он уже стал начальником поезда. Тимка не задрал нос, остался столь же доступен для старых друзей. Я, конечно, шутю, как говорил толстовский Ерощка, а вот нешуточное: на заре ту-

манной старости у Тимки появилась любовница, проводница международного вагона — по-неученому, спального вагона прямого назначения — по железнодорожной науке. Комсомолочка, тогда еще был комсомол, на тридцать лет моложе Тимки.

Эта связь тянулась много лет и в конце концов стала известна Нюсе. Случайно, потому что ничего в поведении Тимки не давало повода для догадки. Супружеских отношений между ними не было, но вел он себя как безукоризненный муж: никогда не опаздывал, никуда не исчезал, отпуск проводил дома, не являлся подшофе со следами помады и запахом чужих духов. Она спросила, действительно ли у него есть женщина. Тимка это спокойно подтвердил. «А как же я?» — спросила Нюся. «Ты сама сделала наш брак свободным».

— Мне что — уйти?

— Тебе решать.

— Кому я нужна?

— Сыну... семье.

— Ждать, когда ты меня бросишь?

— Я тебя не брошу.

— А ту женщину это устраивает?

Он пожал плечами.

Ту женщину это устраивало до самой Тимкиной смерти...

Как это ни дико, но только сейчас дошло до меня, что я слушаю историю человека, которого уже нет.

— Так Тимка умер?

— Полтора года назад. Его похоронили на Введенском кладбище. Две женщины носят цветы на его могилу.

— Вот не думал, что ты рассказываешь мне историю покойника.

— Я рассказываю тебе историю не покойника, а живого человека, по-своему полно прожившего жизнь. А не сказал я, что Тимка умер, потому что до сих пор думаю о нем как о живом.

— Признаться, финал твоей истории меня озадачил. Пропала цельность образа. Запоздалое галантное похождение что-то разрушило.

— Галантное похождение не может длиться пятнадцать лет. Связь пожилого человека, потом просто старика с женщиной из другого пласта времени заслуживает уважения. Тимка не про-

стил Нюсе ее измену, душой не простил. Тут он был максималистом: за свою верность требовал такой же верности. Не заболел она, он никогда бы не вернулся к ней. Но сострадание, а главное, благодарность осилили нравственную догму, которая, конечно же, была и сильным, живым чувством. Он был человеком правил, но не моральным истуканом. Я уже говорил о его готовности подчиняться велениям жизни. Когда его бросили в грязь, он слился с этой грязью, любящая женщина привела его в чистый мир, он стал достоин ее усилий, она растоптала его скромное мужское достоинство, и он, расплатившись с ней за добро, счел себя внутренне свободным. Но он был нужен ей и сыну и не стал рушить семью. Пластичный человек, но не безвольный, не тряпка. А сыну своему он вскоре очень понадобился, жизнь еще раз решила проверить Тимку на прочность.

Боря окончил педагогический институт и пошел работать в интернат для брошенных детей. Вскоре он обнаружил среди них четырнадцатилетнюю девочку с таким милым и незащищенным личиком, что при виде ее у него обрывалось сердце. Она не была несчастнее других — такой же брошенный ребенок, не знавший ни матери, ни отца, с первым проблеском сознания обнаруживший свое полное одиночество в мире. Одиночество среди людей — ни единой родной, близкой души, одиночество среди вещей — ни об одной нельзя сказать «моя». Вообще-то она заслуживала сострадания не больше, а скорее меньше многих своих подруг: некрасивых, угрюмых, неуклюжих, обобранных той привлекательностью, которая дарила ей симпатии окружающих. Эта девочка с узким личиком, огромными глазами и улыбкой чистой благожелательности к людям растапливала даже замороженные сердца низкооплачиваемого задубевшего персонала.

Нехорошо было выделять большеглазую девочку среди других, Боря мужественно носил маску полной беспристрастности, а наедине с собой мечтал: если б она была его дочерью!

Вскоре он обнаружил среди воспитательниц родственную душу — молодую женщину примерно его лет. Они часто разговаривали на профессиональные темы, и однажды речь зашла об избирательной симпатии, на которую воспитатель не имеет права. Надя, так звали воспитательницу, призналась, что к одной из девочек старшей группы испытывает материнское

чувство. И невозможность реализовать это чувство причиняет ей настоящую муку. И тут их осенила смелая мысль: соединить судьбы и удочерить девочек, которых они полюбили. Процедура удочерения чрезвычайно громоздка и длительна, словно кому-то нарочно хотелось усложнить это благое дело, куда проще взять на воспитание. Так и решили сделать: пожениться, взять к себе девочек и подать на удочерение.

Никаких препятствий задуманному не оказалось: девочки дали согласие. Боря с Надей расписались, путем сложных обменов превратили Надину однокомнатную квартиру в двухкомнатную, девочек полностью экипировали, к чему была привлечена легкая промышленность Бельгии — мобильный дед совершал в это время рейсы Москва — Брюссель и обратно.

Конечно, были разные опасения: сдружатся ли девочки, которые в интернате принадлежали к разным возрастным группам и не общались друг с дружкой, получится ли семья, или будут четыре человека, искусственно сведенные под одну крышу. Но девочки удивительно легко нашли общий язык, Борька привязался к Надиной дочке, а Надя — к Борькиной, и если что-то смущало, так это настороженное отношение девочек к родителям. Жизнь не могла научить их чрезмерной доверчивости, и Борька с Надей понимали, что им предстоит завоевать их души.

Нюся с самого начала была против этой смелой затеи и полностью устранилась от забот новой семьи. Она считала, что нельзя ставить телегу перед лошадей: сперва создать семью, потом вработываться в любовь друг к другу. Зато Тимка оказался на высоте в качестве двойного деда. Его умение соответствовать обстоятельствам помогло и сейчас. К тому же его трогало слово «дедушка», срывавшееся с двух детских уст. Он сразу стал обслуживать внушек и, возвращаясь из очередного рейса с подарками, сразу спешил к ним. Они любили подношения, особенно старшая — модница и сластена. Младшая была как-то отвлеченней. Она всегда полуотсутствовала, погруженная в свои грезы. В ней шел непрерывный внутренний диалог: она улыбалась застенчиво-жеманно, изгибая длинную шейку, надувая губы, словно сердилась, вдруг становилась хмуро-обиженной, и непонятно было, как эта сложная эмоциональная жизнь связана с окружающим. Она перестала

быть тихой и печальной мышкой. Борька считал, что в ней пробуждается личность, устанавливается контакт с собственным, прежде задавленным «я», это важный и благой знак созревания человеческого существа.

Однажды дедушка явился к ним прямо из Брюсселя, нагруженный дарами, как Санта-Клаус (если б дары были отечественные, я сказал бы: как Дед Мороз). Входная дверь оказалась незапертой. Смущенный этим обстоятельством, Санта-Клаус раскрыл нож с фиксатором и осторожно проник в квартиру. Из комнаты девочек слышались голоса, какая-то возня... Ты как-то говорил, что знаешь наизусть куски прозы Марселя Пруста. Помнишь сцену, где Рассказчик подглядывает в окна мадемуазель Вентейль?

— Помню, — сказал я, — только не наизусть... Боже мой!..

...Когда мы расстались с Олежкой, я пошел в библиотеку и взял первый том прустовской эпопеи «В сторону Свана». Вот эта сцена:

«М-ль Вентейль вдруг почувствовала в вырезе своей красивой новой блузки укол поцелуя подруги; она слегка вскрикнула, вырвалась, и обе девушки стали гоняться друг за дружкой, вскакивая на стулья, размахивая широкими рукавами, как крыльями, кудахта и издавая крики, словно влюбленные птицы. Беготня эта кончилась тем, что м-ль Вентейль в изнеможении упала на диван, где ее заслонила подруга...»

— Тимка тоже вспомнил Боженьку и опрометью кинулся из квартиры под издевательский хохот девчонок. Они слышали, как он вошел. Более того, они нарочно не закрыли дверь, чтобы их застали. Позже Тимка говорил, что удар автоматом по черепушке был детской шалостью по сравнению с этим потрясением. Ко всему еще он не знал, как поступить. Но ему не пришлось делать выбор. Через несколько дней сын вернулся домой. Оказывается, и он, и Надя уже давно все знали, но рассчитывали на свой великий воспитательский опыт. А девчонки, смекнув, что их не выгонят, разнуздались окончательно. Возникла мысль расстаться со старшей, хоть маленькую спасти, но именно она оказалась закоперщицей. Ее в десятилетнем возрасте растлила методистка детдома. Пришлось дев-

чонок отправить назад, и тут обнаружилось, что Борю с Надей ничего не связывает, кроме общего семейного эксперимента.

Борис ушел с работы. Месяца два он просидел дома в тяжелой депрессии. Тимка тоже бросил работу и, как в давние времена, стал сторожем сыну своему — звучит по-библейски, ты не находишь? Было пущено в ход все его красноречивое молчание, шахматы и пожухшие альбомы с марками. Он затащил Борьку назад в детство и как бы сказал: начнем сначала. И Борька начал: очнулся и опять пошел работать воспитателем, только в другой детский дом. Тимка потерял свое выдающееся место, но особо не тужил, устроившись бригадиром поездных электротехников на тех же рейсах.

Он исчерпал лимит горестей и закончил жизнь почти по Некрасову: «Безмятежной аркадской идиллии // Закатятся преклонные дни // Под пленительным небом Сицилии // В благовонной древесной тиши», конечно, на советский лад. Сицилии не было, благовоний тоже, но покоя и радости он достиг. Борька женился на красивой, доброй девушке, родил отменного парня — Тимка стал дедушкой без дураков; сын не делал карьеры, скромно и деятельно служил своему единственному призванию, и милая умница жена не грызла его, что он не Кобзон. Тимка вышел на пенсию и наслаждался ролью патриарха, в которой был трогательно серьезен. Потом его разбил левосторонний паралич без потери зрения и речи. Сыну он сказал: «Не беда, битая посуда два века живет». Жене сказал: «Это конец. Никого ко мне не пускай. Не хочу, чтобы меня видели перекошенным». И замолчал. И через месяц его не стало, ушел во сне.

Но вот что выяснилось: не случайно он казался близко его знавшим человеком таинственным. У него была тайна. Помнишь, после изгнания Врангеля в Крыму было расстреляно три тысячи белых офицеров?

— Как я могу это помнить? Я под стол пешком ходил.

— Я оговорился. Знаешь ли ты об этом? Нет? Так знай. Среди расстрелянных был Тимкин отец. Эту тайну он хранил даже тогда, когда все стали орать о своих белогвардейских предках. Из странной гордости. Это была его память, его боль, его любовь к придуманному им прекрасному человеку: воину, храбренцу, аристократу, герою, сложившему голову за Русь святую.

Он вжился в образ отца и как бы продолжал его судьбу. Отсюда его значительность, молчаливость, тяга к светскости, хорошему вину, изящному застолью, отсюда его бесстрашие, твердость, мужество. Он даже опустил в свой час по-офицерски — гордо ушел на дно, чтобы потом воскреснуть. Он — из этой замечательной и дурацкой песни: «Поручик Голицын, набейте патроны, корнет Оболенский, налейте вина», где в одной части смешались корнеты и поручики, кавалеристы и пехотинцы и где офицер набивает патроны, как нижний чин, — такой разор, такой предгибельный перепуг, такое великолепное и хладнокровное отчаяние и готовность погибнуть за Веру, Царя и Отечество...

ПАША-ЛЕВ

Рассказ

Этот бледный рыжеволосый худенький мальчик с зелеными глазами и навощенной горбинкой носа, нервный, хрупкий грозной хрупкостью Мандельштама, грассирующий, словно в горле у него вибрирует горошина, удачно существует в собственном мире, где и проводит большую часть времени, и крайне неудачно в мире внешнем, упорно отторгающем его. Во дворе и в школе его дразнят «жиденком», даже тихие интеллигентные дети, чуждые каких-либо расовых предрассудков, присоединяются к хору дразнил, ибо в его пародийной внешности и раскатистом «р», переходящем в «г», есть что-то вызывающее и бесстыдное. Но сильнее всего заводит мальчишек его неизменная яростная вспышка в ответ на прозвище, вспышка, которую он не может удержать, сколько бы врагов его ни окружало. Более проникательные мальчишки догадываются, что он и не хочет сдерживать себя, хотя отлично знает, чем это кончится. У Паши, так зовут рыжего картавого мальчика, ответ на оскорбление не задерживается: он тут же бьет в рыло. Правда, если обидчик младше его, Паша заменяет удар каким-нибудь унижительным наказанием: зажимает его голову между ног и дает шлепка или делает «вселенскую смазь» — большим пальцем через все темечко. Но одноклассники и старших по возрасту бьет в рыло, не в скулу, не в челюсть, не в лоб, не в глаз, а именно в рыло. В ответ Пашу бьют куда ни попало, а он лишь беспомощно отбивается. Паша вовсе не слабак, он

так старательно и безжалостно тренирует свое хилое тело, что накопил какие-то мускулишки, к тому же он ловок, стоек и на редкость терпелив к боли. Но он всегда имеет дело с превосходящими силами. Бить Пашу скопом считается в порядке вещей, иначе с ним не справиться. Ведь он Паша-лев. Прозвище это он дал сам себе, никто больше его так не называет, но львиную сущность Паши сознают и принимают меры к укрошению.

Представляясь, он так и называет себя: Паша-лев, а потом начинает смеяться. Он как-то странно смеется, не поймешь, над самим собой или по-мандельштамовски — над изначальной нелепостью бытия. Любопытно, что мне снова попадается на перо Мандельштам, в этом имени — незащищенность и вечность, первое, несомненно, применимо к Паше, неужели в нем проглядывает и второе?.. Кстати, Мандельштам его любимейший поэт. Когда два года назад ему прочли воронежские стихи, он наморщил лоб и сказал: «А я знал, что такой поэт должен быть». Почти то же самое он сказал, познакомившись с творчеством Клее: «Я так и знал! Уверен был, что кто-нибудь так уже рисует».

— Что ты имеешь в виду, Паша?

— Он рисует, как хотел рисовать я. Но он опередил меня, — без всякой рисовки ответил Паша. — Пока я тут валандаюсь, меня все обгоняют. О моих рисунках в... (тут он назвал журнал, страдающий природе, где несколько раз помещали его графику) говорят, что это вылитый Макс Эрнст. Ну, вылитый — едва ли, я никогда не видел его работ, но, наверное, похоже. Если б не было Макса Эрнста, им стал бы я. А так еще неизвестно, смогу ли я стать кем-нибудь другим.

Как страшно: люди все-таки заменимы. Ученик мог бы стать учителем, если бы первого не было, последователь — предтечей.

— Постой, Паша! Выходит, нечего благодарить Творца, что он создал Пикассо, Кандинского, Врубеля, Шагала? Не будь их, то же сделали бы другие?

— А откуда вы знаете, сколько других Пикассо, Врубелей, Татлиных, Шагалов умерло в детстве, погибло на войне, в лагерях? А иные просто не догадались о себе и сгинули, ничего не создав, или отчаялись пробиться. Мы очень жалеем о них?

Пикассо уже был, поэтому другой Пикассо стал Браком, а мог бы стать тем первым. Тогда Браком стал Пунин или Зигмунд Кочевряжский.

— Кто такой Кочевряжский?

— Никто. Хотите — Блез Шанталь, Аллен Занфан.

— Не ломайся. Это ужасная теория. Отдает фашизмом.

Казалось, веснушки осыпаются с побледневшей кожи.

— Я ненавижу фашизм!.. Но почему?..

— Если уж о Пикассо и Шагале нечего жалеть, то что говорить о простых смертных? Убивай, режь, жги — появятся другие, ничуть не хуже, а и хуже — не беда. Это фашизм.

— Но ведь мы так и живем! — Маленькое лицо совсем перекошилось. — Никому никого не жалко, даже самих себя. Неужели нельзя людям объяснить, что быть фашистом гадко?

— А можно объяснить тигру-людоеду, что жрать людей гадко? Он так не считает. И ему не в пример, что все остальные тигры воздерживаются от человечины. Кроваядца остановишь только пулей.

— Правильно, — убежденно сказал Паша, — так и надо.

— Это не для тебя, Паша. Не твое.

— Я — лев.

— Ты очень слабенький лев, а связываешься с очень сильными шакалами.

— Я сейчас сильнее, чем был, и стану еще сильнее, когда вырасту.

— Если вырастешь.

Он засмеялся своим беззащитным, немного сумасшедшим смехом.

— Вы думаете, меня убьют раньше?

— Если не образумишься.

— Когда я был маленький, мама рассказывала, что Ахиллеса спросили: хочет он жить долго, но бесславно, или коротко, но со славой? Он сразу ответил: коротко. Он был совсем молодым, когда погиб от стрелы Париса.

— Погибнуть от стрелы Париса — куда ни шло, но погибнуть от хорошо заточенного напильника какого-нибудь подонка — противно.

— А Парис тоже был подонком, — задумчиво сказал Паша. — Увел жену у бедняги Менелая. Тот голый бежал за

ними до пристани, а прохожие улюлюкали. На войне Парис не кидался на врага, а стрелял издали из лука. Не то что его старший брат Гектор. Вот герой из героев!

— Как, не Ахиллес?

Паша энергично замотал головой:

— Он был неуязвим, кроме пятки, — хорош героизм!

— А Гомер славит его как величайшего героя Троянской войны. Гектор от него бежал.

— Гомер был грек и врал, как грек, в пользу греков.

— А Марина Цветаева? «Ахеи лучший муж...»

— Так — Ахеи! Конечно, лучший. Троя не Ахея.

— Ты трудный спорщик. Умеешь цепляться к словам. А почему она хотела соединить Елену с Ахиллесом, а не с Гектором?

— Как почему? Гектор был женат и любил Андромуху.

— Но Цветаева и сама была влюблена в Ахиллеса.

— В порядке вещей. И так по-женски, — сказал тринадцатилетний мудрец. — А Гектор — это то, что женщины больше всего ненавидят: верный муж, влюбленный в собственную жену. Он даже Елену не заметил, когда Парис ее привез. Троиц — младший брат — сразу влюбился, а Гектору взгляд коровьих глаз Андромахи был куда милее всех прелестей «сладостнейшей Спарты».

У Паши была своя мифология, да, похоже, и все было у него свое. Он не дрожал перед авторитетами. И сколько апломба! Мне вдруг захотелось дать ему подзатыльник. Как же он должен раздражать своих сверстников, если у старого, усталого, покладистого человека зачесались руки! Маленький самоуверенный всезнайка и наглец — вот в чем его проблема. Но что-то мешало примириться с этим выводом. Он не задавался и не форсил. Он не сознавал, что для своих лет, а тем более для лица, в котором безмятежно расцветает, он знает слишком много, и отнюдь не гордился этим. У немцев есть презрительное определение: «бюхервурм». Но он не книжный червь, ибо многое знает со слуха, по разговорам окружающих, по материнским рассказам, а не из книжных страниц. Он все время слышит мир, видит мир и находится с ним в постоянном обмене. Конечно, он много читает, но дело не в количестве прочитанного, а в том, что оно становится для него живым, как природа, прорастает в его вещество. Его рисунки —

это не обычный радостный детский отзыв окружающему, а размышление над ним. Бюхервурм отгорожен от действительности, Паша-лев в острейших с ней отношениях.

«Он живой и светится» — придумал мой покойный друг о светлячке. До чего же подходят эти слова к мальчику с зелеными глазами, светящимися то из багровых, то из лиловых и, наконец, из желто-синих фингалов!

Я задумался о его родителях. Каково им? Что ни день сын возвращается домой избитый. В том повальном и возрастающем озлоблении, которое охватило нашу среду обитания, все может кончиться трагически. А они и в ус себе не дуют. Живут, работают, ходят в гости, в театры, сами принимают друзей, куда-то ездят. Что за этим — не мне судить, я их совсем не знаю. Говорят, что они обожают своего сына. Но видимо, не считают возможным в чем-либо ограничивать его свободу, право выбора.

И в клетке можно родиться свободным. Так случилось с Пашей. Родители берегут его тонкую душу и чувство собственного достоинства, с ними ему не нужно бороться, а внешнему миру Паша дает в рыло. Так что же Паша — подопытный кролик природы, желающей узнать, что будет с такой особью в условиях крайнего неблагоприятствования всему, что составляет его суть: чувству чести и гордости, благородству, бесстрашию, самостоятельности мнений и выражения себя в словах, поведении, поступках, в творчестве? Да, я не боюсь сказать столь высокое слово. Пашины рисунки — это творчество. Я и заинтересовался им по его рисункам. И тогда меня удивило, что на всех автопортретах юного художника, у которого жадный пушкинский интерес к собственному облику, то под левым, то под правым глазом — черное пятнышко. Когда я увидел Пашу-льва, то понял, что он отнюдь не преувеличивает на рисунках своих увечий, фингалы расплываются в половину худенького лица, но Паша не хочет провоцировать жалость к себе и вместе с тем остается верен правде: подбитый глаз — его фирменный знак и потому обязан быть на автопортрете.

А потом я познакомился с самим Пашей, и состоялся тот разговор, который приводится в начале, и другие разговоры, и во мне все нарастало чувство тревоги за мальчика, такого смелого и такого незащищенного. И невольно я стал выискивать в разговоре с ним что-то такое, что дало бы ему если уж не

защиту, то хотя бы опоры в превратной судьбе. При всей своей ребячливости он сильно опережал свой возраст и мог бы иметь друзей куда старше себя, способных взять над ним опеку. Но Паша не оставил мне тут никаких надежд. У него было всего два друга — Давлик двенадцати лет и десятилетний Гундик. Паша их очень любит.

— За что ты их так любишь?

— Они не дразнятся.

Ах вот что!.. Да, эти мальчики не станут дразниться.

— Какие странные у них имена. Давлик — наверное, Давид, а Гундик?.. Или это клички?

— Не знаю. Я их сам выдумал.

— А они откликаются?

— Попробуй не откликнуться!.. Вы меня не поняли, — вдруг спохватился он. — Я не имена придумал, а их самих.

— Зачем?

— С ними интересно. Я их защищаю, как лев. И знаете, гораздо удачнее, чем самого себя. Они любят то, что и я люблю: читать, рисовать, танцевать ламбаду и Мандельштама. А я люблю, что они любят.

— А что они любят?

— Мороженое и орехи. Гундик еще любит черный изюм, а Давлик — песню Сольвейг.

— А какие они из себя?

— У Давлика ужасно большой, длинный нос, он ходит всегда с подставкой для носа, иначе тот перевесит. А у Гундика огромные уши. Когда он ими хлопает, звенит люстра. Я их вам покажу.

Он положил передо мной два рисунка. Все так и было: чудовищный нос Давлика покоился на треноге, а у Гундика были слоновьи уши. Это подсказало угадку: Паша скроил их из смешного индийского божка Ганеши — мальчика с головой слоненка. И я подумал: в каком страшном одиночестве возникли эти маленькие чудовища — друзья Паши-льва!

И опять мысль скользнула к родителям Паши. Почему они безучастны к губительным играм сына? А что тут сделаешь? На чужой роток не навесишь замок. Пришить его к материнской юбке — стыдно. Попытаться сломать характер, сделать из него тихоню, раба, из льва — трусливую шавку? Они, видать, тоже гордые люди. Иначе и Паша не стал бы львом. Есть один выход — увезти.

Оказывается, путь, открытый Давлику и Гундику, заказан Паше. Он обречен этой земле. Это выяснилось, когда при новой встрече я спросил его:

— Все ратоборствуешь за малые народы?

— Какие малые народы? — не понял Паша и наморщил лоб. — Ах вот вы о чем! Я ратоборствую за большой народ. Я вообще ужасный националист. По-моему, лучше России нет на свете. И дураки, которые орут, дразнятся, унижают ее. А за Россию — в рыло! Что поделаешь, — вздохнул он, — кровь предков.

Паша принадлежит к стариннейшему княжескому роду, идущему от легендарного Гедимины и прочно вписавшему свое громкое имя в историю России. Он Гедиминович по отцу. А по матери — вовсе Рюрикович. Наверное, древности своего рода обязан он сходством с расхожим типом древнейшего на земле народа. Это не вырождение, а утонченность, полное очищение генотипа от того, что заложил в него наш косматый предок.

УТРАЧЕННАЯ МУЗЫКА

Рассказ в духе триллера

1

Ник сидел в раскладном кресле с парусиновыми спинкой и сиденьем в саду, возле осыпавшего цвет куста жасмина и смотрел на пожелтевшие, сморщенные лепестки в его изножи. Лепестки умерли, но еще издавали густое, чуть тошное от припаха тлена благоухание. Он по-прежнему остро обонял мир и подробно видел его, чутко слышал все бытовые шумы: голоса людей, шорох ветра, звяк посуды на кухне, шаги прислуги, каждое живое существо и каждый предмет сохранили свой слышимый звук, исчезла лишь музыка. Ее он перестал слышать и когда трогал клавиши рояля, и когда включал музыкальную программу телевизора, и когда ставил пластинку на проигрыватель. Он различал глухой стук клавишей, царапанье иглы, видел деятельные и смешные из-за немоты усилия оркестра, пианиста или скрипача на экране, но музыки не было. Он полагал, что это последствие нервного шока, но объяснить суть явления не мог. Кто изымал из звучащего мира музыкальные ноты и гасил их? Его собственный мозг? Но человеческий организм работает на самозащиту, а не на самоликвидацию. Может, это наказание, насланное подсознанием? За что? Его вины нет, он был бессилен защитить Катю. Но когда Иов накинудся на Господа Бога, требуя пустить вспять реку бытия, вернуть ему все отнятое, воскресить умерших, что

показалось окружающим конформистам страшным богохульством, способным лишь усугубить бедственное положение несчастного, Всевышний увидел в его ярости глубину веры: для Бога нет невозможного — и совершил чудо повторения, Иову было возвращено все. Неистовство веры в справедливость и всемогущество Творца спасло Иова. Почему же он, Ник, обратил против насильников лишь свои слабые мышцы, квелую плоть кабинетного человека, а не мольбу к небу, мольбу неистовую, бесстрашную в своем протесте, может быть, Катя осталась бы жива? Но его вера, за которую он держался лишь по семейной традиции, была так немощна, что он даже не вспомнил о Боге в те гибельные минуты. А может, Господь, о котором он забыл, оказал ему милость, лишив музыки и заставив думать о второй потере, не только о Кате? Если б ему пришлось выбирать между Катей и музыкой, он, конечно же, выбрал бы Катю, но и музыка была важна. Он сочинял музыку с отроческих лет, и пусть не стал великим композитором, в мировом оркестре звучит его нота. Может, он потому и не стал великим, что слишком любил Катю. Человек, воистину поглощенный своим призванием, жертвует ему всем на свете. В юности ему казалось, что он обречен музыке, но появилась Катя, и он понял, что обречен ей, тут был его главный талант, и музыка покорно потеснилась. Любовь не пересоздала его сложную и несколько рассудочную музыку (распространенное мнение критики, которого он не понимал), но добавила новые краски. Выбрав Катю, он без мук и терзаний признал ограниченность своего дара. Великий музыкант, как великий поэт или великий художник, предпочтет свое искусство любимой. Поэтому он не верил, что Жорж Занд погубила Альфреда де Мюссе и Фредерика Шопена. Наверное, их страдания поразили современников контрастом с полным присутствием духа, явленным третьим знаменитым возлюбленным мужеподобной дамы. Александр Дюма-отец бровью не повел, получив отставку. Мюссе и Шопен были больными людьми — и физически, и душевно, они не умели держать удар. Но поэзия для одного и музыка для другого стоили все же больше объятий плодовиной и на редкость нудной романистки.

А если б музыка осталась с ним, мог бы он искать в ней прибежище? Мог бы, хотя и впустую, ему не спеть гимна, достойного Кати. Так почему не кончить все разом?.. Слишком

простой выход. Сартр считал землю адом какого-то иного мироздания. Мы знали иное бытие и расплачиваемся за содеянное там. Что же такого натворили они с Катей, если расплата оказалась столь непомерна? И какой смысл в расплате, раз наказуемому неведома вина? Ад — это навечно, куда же девалась душа Кати? Сартр — скоморох. И ад, и рай — все здесь, на земле. Опрichь — ничего. Расплачиваются не за грехи, они ненаказуемы, а за любовь и счастье. Блаженство смертных ненавистно Богу-Абсурду, единственному хозяину земного бытия. А утроенный в христианстве Бог иудеев — зарационализированный поэтический вымысел.

Его боль была груба и жестка, чтобы стать чем-то, кроме себя самой, будь он хоть Моцартом, из такого материала не создашь прекрасного. Но есть ли смысл думать об этом, если в мировом шуме замолкла музыка сфер?

Сколько раз прокручивал он свои бессильные мысли с усердием белки в колесе, но, как и рыжий неутомимый зверек, не продвинулся ни на шаг.

Оцепенение нашло на него, когда он похоронил Катю. Он наотрез отверг попытки полиции, чиновников всех мастей и доброхотов найти преступников и покарать по строгости закона. «Я ничего не знаю. Ничего не видел. Сразу отключился. А когда пришел в себя, никого не было». Он лгал, ибо хорошо знал главаря шайки, но ведь не было ни свидетелей, ни косвенных улик, а лишь это важно для суда. Да и есть ли кара за такое?.. Рядовые участники насилия его не интересовали. Это не люди даже, так, пузыри земли, нежить, тупые механизмы зла. Другое дело их главарь, вернее, наниматель: тут не было партнерства, сообщничества — игра одного, остальные — наемники.

А главаря он знал с отроческих лет, они вместе учились в колледже. Но Ник не признал старого знакомца, когда тот появился из садового вечернего сумрака через распахнутое окно в холле, где он играл на рояле, а Катя слушала, подперев голову рукой. Катина сосредоточенность не могла обмануть Ника, она не любила его музыки. Это не ранило, потому что она не любила никакой музыки, за исключением нескольких немудреных песенок, которые ей пела в детстве покойная мать.

Катя была равнодушна не только к музыке, но и к литературе, ко всем видам искусства, к серьезному размышлению.

При этом она вовсе не была лишена художественного чувства, могла безукоризненно выстроить интерьер и составляла замечательно красивые букеты. Ей не раз предлагали участвовать в конкурсах цветоводов, в телевизионных цветочных шоу, она неизменно отказывалась. Лишь раз позволила сфотографировать для «Вога» свои букеты, но сама наотрез отказалась сняться. Она почти не читала, ей было скучно, но однажды он навязал ей Пруста, с тех пор она каждый год пропускала через себя всю эпопею. О своих впечатлениях помалкивала, но как-то раз обмолвилась, что это не продукт памяти, а творчество. Мол, Пруст, как и многие другие романисты, использует материал собственной жизни не для воспроизведения реального прошлого, а для создания параллельного мира, лишь относительно похожего на истинно бывший. Он был несказанно удивлен, когда в двухтомном исследовании английского литературоведа, посвятившего всю жизнь Прусту, нашел подтверждение Катиной угадки. Ни один персонаж не имел за собой прямого прообраза, даже такая цельная фигура, как барон Шарлюс, оказалась сработанной из двух обитателей Сен-Жерменского предместья. А блистательному, будто слаженному из одного куска Роберу де Сен Лу уделили свои черты шесть юных баловней салонов. И ни один эпизод романа не был сколком с действительности. Ему хотелось узнать, как Катя догадалась об этом, но она не могла или не хотела объяснить. Она не любила напрягать ум.

Каким-то образом Катя набрела на «Беллу» Жана Жироду, и этот изящный роман вошел в круг ее постоянного чтения. В ограниченном литературном пространстве она чувствовала себя вполне уютно. А когда, расхрабрившись, он предложил ей Достоевского, Катя задумчиво сказала: «Надо хоть что-то оставить на старость». Но старости у нее не будет.

При такой умственной лени Катя ошеломляла проницательностью и глубиной оценок людей и обстоятельств, но оценки эти рождались как бы сами собой, без ее участия. Интересовали ее — не суетливо и не жадно — люди: близкие и далекие, случайные зашельцы, служанки, продавцы магазинов, шоферы, почтальоны, трубочисты, рассыльные. Вообще-то молчаливая, она могла говорить о них долго и подробно, с живым блеском в спокойных серых глазах. «Ты следуешь Паскалю, — сказал Ник. — Тот утверждал, что человеку по-насто-

ящему интересен только человек». Она осталась равнодушна к свидетельству Паскаля, но ответила серьезно: «Люди правда очень интересны. В них интересно все: как они ходят, едят, пьют, спорят, обижаются, радуются, печалются, злятся, завидуют, и почти каждый что-то скрывает, и все без исключения врут». «И ты врешь?» — спросил Ник. «Случалось. До встречи с тобой. Потом моя жизнь стала состоять из правды, то есть из того, что я люблю: ты, собака, кошка, дом, сад, цветы. Вранье идет от недостатка любви: или ты сам недостаточно любишь, или тебя недостаточно любят. А мне врать не надо». Не могло быть для Ника более дорогого признания. С того разговора круг ее любви сократился. Кота Тима, маленького, ласкового и невероятно блудливого, задрали одичавшие коты с заброшенных ферм, пес, коккер-спаниель, старина Джерри, исчез, ушел из дома, чтобы умереть в укромном месте. Его так и не нашли. Хорошие породистые собаки стараются не огорчить хозяев зрелищем своей смерти. Все это произошло незадолго до Катиной гибели. Можно подумать, что животные предчувствовали случившееся и предпочли не жить. А вот он ничего не предчувствовал, и Катя не предчувствовала. Правда, она то и дело принималась плакать то над Джерри, то над Тимом, но за туманом слез был свет, который погас, когда остановилось ее слабое сердце.

«Если б я мог заплакать, — подумал Ник. — Мне стало бы легче».

Но заплакать он не мог. С ним случилось нечто странное: он словно обезводился. Глаза его оставались сухи не только в образном, но и в прямом смысле: исчезла та неприметная влага, которая омывает глазное яблоко, сухие глаза болели и чесались. Он то и дело смачивал их водой или слюнями, если воды не было под рукой. И так же сохли ротовая полость и гортань. Особенно невыносимой эта сухота становилась ночью, он все время пил и тут же отдавал мгновенно превращающуюся в урину жидкость.

«Для чего я все-таки живу? — в который раз спрашивал себя Ник. — Чтобы мучиться?.. Нет, думать о Кате. Если я умру, некому будет думать о ней, сотрется последняя память о ее пребывании на земле. У нее нет ни родных, ни близких друзей, как и у меня самого, мы оба на редкость одинокие люди. Но мы не знали одиночества, наше сильное ощущение друг друга напол-

няло счастливой тяжестью каждую минуту, каждую подробность жизни. Частью нашей общности был и дом, носивший в любой малости отпечаток ее вкуса, и милые животные, а у меня была еще музыка. Большого мне не вместить. А Кате не нужна была даже музыка, отнимающая много физического и душевного времени. На что тратила она свои дни? На любовь ко мне, к дому, собаке, кошке, саду, цветам. А любовь требует так много заботы, беспокойства, внимания, осознания себя самой, и Катя не отвлекалась ни на что постороннее».

Появилась служанка — большая, краснолицая, в хрустящем крахмалом фартуке, — позвала его обедать. Он поблагодарил и отказался. Кусок не шел в пересохший рот. Он терял вес с каждым днем. Легкость обхудавшего тела ощущалась как ослабление связи с землей и была неприятна. Иногда ему казалось, что голодание без голодных мук — хитрый способ дезертирства, замена короткого волевого жеста трусливо-щадящим истаиванием, растворением в пространстве. Думать об этом не хотелось. Он стал думать о служанке.

Когда Катя погибла, он рассчитал всю службу: горничную, кухарку, шофера, садовника, все они болезненно напоминали о Кате. Но он не остался один, пришла эта женщина и стала хозяйничать: убирать, готовить, подавать на стол, каждый вечер она вручала ему счет на произведенные расходы. У нее была одна странность: она тщательно убирала дом, вкусно, судя по запахам, готовила, пунктуально звала к столу властным голосом, но не повторяла приглашения, а выждав с полчаса, убирала со стола до следующего, столь же тщетного зова. Наконец Ник поинтересовался, откуда она взялась. Ее наняла Катя. Давно. На случай своей смерти. Значит, Катя не очень-то доверяла своему слабому сердцу, хотя даже в горячечном бреду не могла помыслить о такой кончине. Но откуда она могла знать, что он уволит всю прислугу и останется один? Безошибочность любящего сердца... И тут Нику показалось, что наконец-то прорвет запруды и настанет облегчение, которого он ждал, как пересохшее поле дождя, но глаза остались сухи, лишь в горле что-то больно, режуще дернулось. «Ты будешь жрать, сволочь!» — сказалось в нем, будто в ответ еще не прозвучавшему велению.

Он тяжело поднялся с кресла, прошаркал в столовую и успел снять с блюда, уже уносимого в кухню, листик салата-

латука. Он разжевал его, попытался проглотить, каша застряла в горле. Ника вырвало...

Домосед, кабинетный человек, давно потерявший форму, только руки, сухие, жилистые руки пианиста, сохраняли силу, Ник не был природным слабаком. В колледже, где плохо учили, спорт был поставлен высоко, все ребята во что-то играли: в футбол, бейсбол, баскетбол, теннис, сквош. Плавание, легкая атлетика, велосипед были обязательны, как и гольф. Еще будучи юниором, Ник входил запасным в сборную команду колледжа по американскому футболу, неплохо держался на ринге. Но когда случилось нападение, он повел себя как мокрая курица. Конечно, ему не справиться с четырьмя громилами, но ведь было чем ударить и вывести из строя одного-двоих. А это могло либо умерить пыл остальных, либо переориентировать внимание на Ника. А разделавшись с ним, они не стали бы задерживаться. У таких мерзавцев развит инстинкт самосохранения. Но он повел себя, как бесстрашный конторский служащий из комедийного фильма — пустил в ход свои жалкие кулаки. Его быстро уgomонили ударом под живот, швырнули в кресло и привязали к спинке ремнями. Преступление творилось на его глазах, которые он не закрывал и не отводил. Он считал, что обязан все видеть, отвернуться — значило бы предать Катю. Теперь он понял, почему отцы, присутствующие на казни сыновей, не разрешают затыкать себе уши ватными тампонами, предохраняющими барабанные перепонки и психику от оглушительного электрического разряда. Ты дал жизнь несчастному, так оставайся с ним до самого конца, прими с громовым ударом его последнее содрогание. И он должен быть с Катей на всех путях, радостных и мучительных, счастливых и гибельных, чистых и грязных. Никакая грязь житейских дорог не может ее замарать, лишь бы она выдержала. Он кричал:

— Катя, я здесь!.. Катя, я с тобой!.. Только не умирай!.. Все пройдет!.. Только не умирай, любимая!..

Они мерзко издевались над беспомощным женским телом, кусали, царапали, щипали, ломали.

— Катя, не умирай! — просил человек, привязанный к креслу.

Особенно гнусен и безжалостен был вожак-садист с мрачным лицом киногероя сороковых. После Ник с изумлением

обнаружил у себя на теле синяки, царапины, даже кровоточащие раны. На нем воспроизвелись Катины увечья. Он вспомнил о стигмах, кровавящих лбы, ладони и ступни фанатиков Христовой веры. Можно так войти в муки того, кого любишь, что кровь выступит из твоего неповрежденного тела.

Когда все было кончено, его развязали. Откуда-то взялись силы, он легко поднял Катю с пола и отнес в спальню. Он положил ее на кровать и хотел принести... а что — он и сам не знал, но Катя не позволила, удержав его своей слабой рукой.

— Не уходи... Не надо... Ничего не надо...

Он примостился на краешке кровати и стал целовать ее лицо. Легкие милые руки легли ему на шею, он угадал попытку теснее сблизиться и, уже не боясь причинить добавочную боль, обнял ее крепко и стал целовать в шею, возле ушей, где щекотно, она всегда ежилась и смеялась, когда он так делал, но сейчас не ежилась и не смеялась. И снова он ощутил какое-то немощное усилие, она хотела целоваться в губы. Он помог ей, она вобрала в рот его губы, как это было в молодые годы, когда ими правила страсть. Он уже забыл, когда она так целовалась. Что это — очищение?.. Прощание?..

Он продолжал сжимать ее в руках и целовать, когда рот ее утратил влажный жар, а тело — упругость. Затем осторожно высвободился из кольца мертвых рук, прикрыл тело одеялом и вышел из спальни.

Он не знал, зачем вернулся в холл. Он смутно сознавал, что должен что-то делать, куда-то звонить, кого-то вызывать, смерть всегда связана с суетой живых, но ему хотелось побыть с Катей до утра, а уж потом отдать ее в руки служителей смерти.

В холле было прибрано, ни следа разора, а в кресле сидел человек, в котором Ник узнал главаря банды. Он видел узкое лицо, скульптурной лепки голову, гордо сидящую на широких, чуть покатых плечах, худой, сильный торс и длинные сплетенные ноги. Каким-то посторонним взглядом Ник оценивал его красоту, статью, строгую элегантность. Откуда-то ему знакомы эти темные удлинённые глаза, высокие, как у Марлен Дитрих, скулы и горький рот. Он знал этого монстра, знал, когда тот еще был человеком. Сидящий в кресле не стал дожидаться, когда в Нике проснется память.

— Неужели я так изменился? — спросил он глубоким, звучным голосом. — Колледж Эдвардса. Рой Вест. Чемпион в первом среднем. Правый защитник.

Ник молча смотрел на убийцу, бывшего однокашника и одноклубника, чье перетруженное дыхание он столько раз слышал рядом с собой на футбольном поле. Они не дружили в колледже, кроме футбола, у них не было точек соприкосновения. Рой, выходец из очень богатой семьи, подчеркнуто интересовался только спортом и по праву считался спортивной гордостью колледжа. Его поведение было утверждением мужественности. Чемпион по всем статьям. Он не пил, не курил, не баловался травкой, но о его романах, драках, рискованных приключениях ходили легенды. Учился он с завидной легкостью, на отметки плевал, к профессорам относился с иронией на грани презрения. Его нарочитый антиинтеллектуализм был позой, в глубоком и цепком взгляде чувствовался насмешливый, недобрый ум. По окончании колледжа они не встречались. Изредка до Ника доходили отголоски каких-то скандалов, связанных с Роем, порой в газетах мелькали сообщения о его альпинистских рекордах и каких-то морских подвигах. Роскошная мужская жизнь продолжалась.

— Что тебе надо? — спросил Ник. — Здесь уже нечего взять. Ты убил ее... и меня.

— Мне хотелось кое-что узнать. — Голос Роя звучал почти печально. — Вы лизались до последней минуты. Неужели тебе не было противно? От нее несло мужским потом, сивухой, секретией, табаком, чужой грязью. Ты что — лишен брезгливости?

— Ты сумасшедший, — сказал Ник без всякого выражения, просто удостоверяя факт.

Рой злобно рассмеялся:

— Хороший способ оправдать собственное бессилие! Тебе не надо было жениться. Ты не мужчина. Неужели с моей женщиной было бы возможно такое?

— У тебя есть женщина? — удивился Ник. — Я думал, ты гомик. К тому же пассивный. Искусственные волосы на груди всегда подозрительны.

— Ну, ну, мели языком, баба. Я сумасшедший, к тому же перевертень. Разве можно мстить такому?

— Мстить? — повторил Ник. — А зачем?

— Нет ничего прекраснее на свете, — серьезно и доверительно сказал Рой. — «Граф Монте-Кристо» — самая читаемая книга после Библии. Это поэма мести.

— «В поисках за утраченным временем» и «Улисс» произвели на меня большее впечатление. — Собственный голос Ник слышал словно со стороны и удивился спокойной разумности тона. — «Человек без свойств» и почти весь Достоевский — тоже.

— Ты жалкий сноб и в жизни, и в музыке, и в чтении. Во мне другая кровь. Тебя не интересует, почему все произошло?

— Нет. Это не ново. Была команда Мейсона, были хладнокровные убийцы, размазавшие по стенам целую семью, о них писал Капоте. А ваша акция — неиспользованный дубль из «Механического апельсина». Ты мне неинтересен. Ну, убью я тебя, разве Катя вернется?

— А вдруг вернется? — За усмешкой чувствовалась серьезность. — Или вернется что-то другое, столь же важное. Или возникнет нечто совсем новое. Так, как сейчас, во всяком случае, не будет. Книга Дюма куда умнее, чем кажется. Она глядит в самую глубь. Нет ничего сильнее жажды мести и нет ничего лучше утоленной мести. Ты помнишь финал кубка колледжей двадцать лет назад?

— Нет, — равнодушно сказал Ник.

— Мы с тобой были юниорами, нас держали в запасе. Я играл лучше тебя, круче, резче, яростнее в схватках. У тебя были только верткость и быстрота, но тренер поставил тебя, когда выбили кувалду Юнгса. Это было несправедливо. Он не любил меня. Вернее, любил, но не по-тренерски. Он полез ко мне, когда я принимал душ, и получил коленом в пах. В результате играл ты. И когда вручали кубок, ты тянулся к нему своей перепачканной ручонкой.

— Зачем ты мелешь всю эту чушь?

— Сейчас поймешь. Ты ведь знаешь, что я из очень состоятельной семьи. Мне все шло к рукам, но у меня нет ни талантишки, как у тебя, ни просто склонности к чему-либо, чтобы чувствовать напряжение жизни. Только здоровье и деньги. Я тратил и то и другое: взбирался на десятитысячники, облазил самые клаустрофобические пещеры, переплыл на спичечном коробке Индийский океан, но как-то случалось, что меня всегда опережали. И получали Христов гостинец, а я — несколько

ко строчек в газетах. Мне это надоело. Да и устал. Чтобы взять приз, мало хороших денег, смелости, тренировок, нужен тупой фанатизм. А я не фанатик. Пусть надрываются зашоренные. С меня хватит. Стало слишком много пустого времени — это скверно, да и обида — это еще хуже. Выпивка и бабы хорошо отупляют, но к первому у меня не лежит душа, второе быстро приелось. Нужно сопротивление, чтобы это забавляло, а бабы ложились раньше, чем я успевал почувствовать желание. Можешь себе представить, я — признанный супермен — оказался близок к самоубийству. Тут мне попался читанный-перечитанный «Граф Монте-Кристо», и я понял, чем заполнить время. Месты! К сожалению, меня не бросали в тюрьму, моего отца не заморили голодом, а мою невесту не увел соперник-доносчик, у меня были лишь мелкие обиды. Впрочем, тут все очень индивидуально. Для одного четыре года тюрьмы — пустяк, отдых, для Оскара Уайльда — разрушение личности. Ты вот слушаешь меня и что-то бурчишь, как обиженный ребенок, а я бы на твоём месте учинил кровавую бойню. Дело не в самой обиде, а в том, как ты ее ощущаешь. Я вспомнил все обиды и всех, кто меня обидел. И понял, что несчастлив, потому что не расквитался. Даже от самой маленькой подлости, которую тебе сделали, остается рубец на всю жизнь. Я не простил ни тренеру, ни тебе. Зачем ты тогда не отказался? Сейчас бы бренчал на рояле и лапал свою милашку.

Ник не заметил, как в руке у него оказались каминные щипцы.

— Спокойно, — сказал Рой. — Ты на прицеле.

Карман его твидового пиджака, в котором он держал правую руку, оттопыривался стволом пистолета. Ник не успеет ударить, Рой выстрелит раньше и не промахнется. Вот и хорошо... И тут он обнаружил, что его не устраивает такой конец. Что-то изменилось после их разговора, он еще не знал что, но умирать ему рано.

Ник бросил щипцы, Рой вынул руку из кармана.

— Совет для дебютантов: не надо начинать того, что не можешь довести до конца, — сказал он.

— Ты хочешь, чтобы я за тобой поохотился? — спросил Ник. — Хочешь поперчить пресную жизнь?

— Да куда тебе! Серьезные люди пытались!.. — Рой махнул рукой.

— Так ты грозен?

— Да. Тренера я раздавил, как клопа, он был мне просто гадок. Ты — другое дело. Тебя я ненавижу. И не за футбольный матч, а за это вот гнездышко любви. За ваши слюнявые нежности посреди всеобщего дерьма. Знаешь, на что они похожи? На любовь в общественной уборной.

— Как странно!.. Ты, оказывается, начитанный. Говоришь все время раскавыченными цитатами. Я уже поймал Эберса, Фолкнера, Селина и австралийца — забыл фамилию. Ты и сам весь — большая раскавыченная цитата, надерганная из разных книг и старых фильмов. Ты говоришь — месть. Кому мстить? Ты — фальшак, подделка. А твои подручные — просто мразь, уголовщина. В том, что ты делаешь, нет глубины, нет психологии, а без этого все неинтересно. Клиника, а не душевная жизнь. Твой инфантильный садизм скучен. Правда, есть еще что-то, чего я не улавливаю, но твердо знаю, ты фикция, тебя нет. Ты играешь какую-то роль не только сейчас, всегда, как очнулся в мир, и с нею не справишься.

— Напрасно тратишь силы, — сказал осклабясь Рой, но было видно, что он взбешен. — Я тебя не кокну. Хочу, чтобы ты еще помучился. А станет невмоготу, валяй сам. Представляю, как это будет. Ты из тех убогих, у которых никогда ничего не получается. Будешь вешаться — лопнет веревка, попробуешь отравиться — вырвет, выбросишься в окно — попадешь на парусиновый тент, будешь стреляться — промахнешься. Советую комбинированный способ: принять снотворное в гараже и включить мотор. Ляжешь баиньки и не проснешься. Неплохо — снотворное, удавка и ток от сети. Некоторые предпочитают вскрыть вены в горячей ванне, но помни, у Сенеки это не получилось.

— Я запомню, — сказал Ник, чувствуя, как наваливаются усталость и духота, этот человек вытеснил из комнаты весь воздух. — А теперь тебе лучше уйти. Представление окончено. Или я все-таки попытаюсь тебя убить, ты выстрелишь, и кончилась игра.

— Ты прав. — Рой ловко выдернул из кресла свое длинное тело. — Не взыщи, если что не так.

— Бедный человек, — сказал Ник.

Но каким бедным человеком стал он сам, когда вернулся в спальню, увидел мертвую Катю и понял, что это навсегда.

А потом?.. Долгое неопрятное страдание, от которого он в короткий миг просветления попытался спрятаться в психиатрическую клинику. Он не ждал, что ему вернут душу с помощью электричества (он заразился от Роя цитатной болезнью) и шарлатанских пассов, но надеялся, что хотя бы снимут шок, лишивший его музыки, и «размочат» ссохшееся нутро. Не сняли, не размочили. Его держали в каком-то полусне на искусственном питании. Однажды он выплюнул таблетки, вернулся в явь и сбежал из клиники. Дома все пошло по-прежнему, но сегодня он совершил героический поступок: взял в рот и разжевал листик салата. Завтра он его проглотит. Послезавтра выпьет глоток бульона. Он научится есть, научится пить, прогонит эту отвратительную сушь и вступит вновь во владение своим телом. Так все и случилось...

Наступивший период жизни он сам называл «животное существование». Он ел, пил, спал, плавал в бассейне, делал по утрам зарядку и без усталости накачивал мышцы, сам не зная зачем. Может, ему опостылел вид своего рано одряблевшего тела, мышечная слабость, боли в суставах. Отвратительная сухость, поразившая его глаза и гортань, прошла, осталась лишь непонятная ущербность слуха — музыка не вернулась.

Он работал на шведской стенке, со штангой, на специальном тренажере с отягощениями. Во время этих изнурительных упражнений мозг отключался, и будь воля Ника, он бы не включал его никогда. Но возвращалось сознание, с ним — память и лютая тоска. Ник совершал странные поступки: однажды собрал самым тщательным образом два дорожных чемодана, не забыв ни смокинга, ни костюма для гольфа, ни бритвенного прибора, ни туалетных принадлежностей, ни галстуков и шейных платков, ни обуви на любую погоду, ни рожка для одевания ботинок, ни медикаментов, даже приборчик от комаров положил. А собрав и затянув ремни, вдруг понял, что ехать ему некуда, потому что всюду потащится за ним его тоска. Но какой-то дорожный зуд остался — неясная надежда, что где-то есть заветное место, способное дать ему забытие. Он не знал, где оно находится, порой казалось, что совсем недалеко, он уже бывал там, не догадываясь о важности и спасительности для себя этого места, но сознательно отыскать его невозможно, надо угадать. Теперь он каждый вечер совершал длительные автомобильные поездки, без цели и выбора,

по наитию сворачивая с дороги на дорогу; то кружа вокруг одной точки, то совершая дальние броски в неизвестную местность.

Это было хорошее отключение: следить за дорогой, обгонять попутные машины, разъезжаться со встречными, если он ехал не по магистрали; пускать дворники, чтобы расчищать лобовое стекло от трупов летучей нечисти; включать подфарники, когда воздух становился сумрачно-лилов, и — фары, когда вечер окончательно побеждал цепляющийся за облака закат; ловить в конус света зайца, улетающего во все лопатки прямо по лучу и бессильного свернуть в сторону, он выключал свет, и заяц мгновенно исчезал; порой о стекло разбивалась, впечатав в него слюдяную хрупь крылышек, большая стрекоза или белогрудая ласточка, это нельзя было предотвратить. Его опустевшая душа механически вбирала мелкие подробности жизни, которые прежде проскальзывали мимо внимания.

Когда же ночная тьма завладевала простором и он оставался в узком световом коридоре, проложенном сквозь непроглядную черноту, на душу наваливалось сиротство, хотелось скорее вернуться домой и оглушить себя снотворным.

Хотя Ник и не выбирал маршрут, об одном следовало позаботиться: ехать только туда, где он никогда не бывал вместе с Катей. При ее способности населять собой окружающее требовалась сугубая осмотрительность, чтобы не нарваться на магнолию — Катю, ограду — Катю, речную излучину — Катю, дорожный знак — Катю. Она могла прикинуться кем и чем угодно: отарой, сваявшейся в огромный войлочный клуб, лужайкой, заросшей клевером, аистом на крыше, голосом кукушки, запахом лесного погорелья. Но она вела честную игру и никогда не посягала на чуждое ей пространство. Надо было скорее проскочить проселок и ближние окрестности, пропитанные Катей, дальше можно и расслабиться, хотя опасность оставалась: вдруг возникшая в незнакомом пейзаже Катя обнаруживала его забывчивость — когда-то, неведь почему, они соприкоснулись с этим местом.

Ему нередко случалось сбиваться с дороги, но в этот раз он заблудился основательно, понятия не имея, что за глухие каменные ограды потянулись вдруг по обе стороны узкого шоссе. За этими оградями не проглядывалось жилья, лишь пе-

чальные темные деревья сплетали свои ветви над прямым обрезом каменных загорож. Если там и были дома, то они находились в глубине участков, не обнаруживая себя в сумеречном затишье ни светом, ни голосами жизни. Ник пожалел об оставившей его впечатлительности: как хорошо, когда дневную, отвыкшую от тайны душу пронизывает мистической жутью! Но он не испытывал даже естественной тревоги заблудившегося человека. Какая ему разница, куда ехать? Каждая дорога куда-то ведет, в конце концов и эта пустынная дорога приведет его туда, где все рассекретится.

Дорога шла под уклон, он скинул скорость и тихо катил по инерции между двумя глухими оградами. Был тот час меж закатом и ночью, который особенно труден страдающим куриной слепотой: теряется представление о том, что близко, что далеко, мир утрачивает перспективу, становится плоским. Зажженные фары в этот час не улучшают видимости, и лучше переждать, пока наступит ночь. Ник обычно так и делал, но в этой пустынности ему нечего было опасаться. Даже лось не выйдет на дорогу, отрезанную от остального пространства бесконечными заборами.

Появившаяся из-за ограды по ходу его движения фигура была так нереальна, что Ник принял ее за игру собственного воображения и сбитого с прицела взгляда. Но вскоре он убедился, что человек, перелезший через забор и мягко спрыгнувший на землю, — явь. Он одолел глубокий кювет, выпрямился и бодро зашагал вперед. Он не обратил внимания на машину Ника или не заметил ее.

Тут он опять превратился в продукт куриной слепоты, ибо в призрачном свете порвавшего с днем и не обретшего вечера часа обернулся Роем.

«Какая чушь! Что тут Рою делать? А что тут делал этот человек? Порядочные люди не уходят из гостей через забор. Но это вполне в духе таких негодяев, как Рой. Совершив очередную мерзость, он бежал. К тому же это темное, двусмысленное место как нельзя лучше подходит Рою. За такими заборами должно скрываться зло. И все-таки я галлюцинирую. Отчего-то рухнул тот бессознательный запрет, который был наложен на мысли о Рое. Как хорошо, что он был изгнан из моего сознания, я еще не готов к тому, чтобы думать о нем. Надо взять себя в руки и скинуть это наваждение».

В следующее мгновение он включил мотор и послал машину вперед. Мотор турбо мощно набирает скорость, в считанные секунды. Ник настиг человека, осветил его фарами, заставив обернуться, и ударом бампера по голениам поверг на землю. Рой упал навзничь, но сразу вскочил и получил новый удар. «Ты можешь его добить. Успокойся!» — приказал себе Ник. Совет был дан вовремя. Рой выхватил пистолет. Ник хорошо рассчитал удар, выбив пистолет из руки Роя, оглушив его, но не изувечив. Он выскочил из машины, подобрал пистолет, перенес Роя в машину и связал ему руки. Почему-то сразу вспомнился путь, приведший его сюда, Ник круто развернулся...

Он привез Роя к себе на виллу. Развязал ему руки. Каждое прикосновение к ненавистой плоти отзывалось в нем вздрогом отвращения. По счастью, тащить Роя не пришлось, кости голени были целы, и он доковывлял сам с помощью двух палок. Они оказались в холле, там, где свершилось преступление.

— Тут все по-старому, — заметил Рой, плюхаясь в кресло.

— Нет, — возразил Ник. — Тут все стало другим.

— По-моему, ничего не изменилось. У меня хорошая зрительная память.

— Нет Кати, — сказал Ник.

Рой хлопнул себя ладонью по лбу:

— Ну конечно! Совсем из головы вон!

«Он хочет разозлить меня. Надеюсь, ему это не удастся». Ника не удивило самообладание Роя, будто не было сцены на дороге, тяжелых ушибов, раны на голове, он вел себя как любезный, слегка рассеянный гость — не заметил отсутствия хозяйки дома. Но именно так и должен вести себя этот супермен. Поразило другое — резкая перемена в его облике. Невероятно, что человек мог так измениться за несколько месяцев. Он стал еще красивее, но утончившаяся красота его желтоватого матового лица отдавала тяжелым нездоровьем. «А вдруг у него рак? — испугался Ник. — Тогда он ускользнул от меня. Нельзя ничего сделать обреченному, разве что ускорить неизбежную развязку. Но это не кара, а милость. Он должен был и тут взять надо мной верх, этот удачливый мерзавец. Мне ничего не остается, как вызвать «скорую помощь» и отправить его в госпиталь. И носить ему туда цветы, пока он не освободит мир от своего присутствия».

— Что ты уставился на меня? — спросил Рой. — Дал бы лучше выпить.

— Обойдешься и так. Что с тобой? Ты болен?

— Не так, как ты думаешь. Физически я здоров. Здоровее, чем был. Просто мне все смертельно надоело.

— Судя по сегодняшней нашей встрече, не все.

— Ах ты об этом!.. — В улыбке Роя проглянуло самодовольство. — Надо хоть как-то разгонять свою скуку. Понимаешь, я до конца износил свой земной образ.

— Это цитата? — спросил Ник, а сам подумал, что за высокопарностью может скрываться простая и грубая правда.

— Не знаю, — отмахнулся Рой. — Да это и не важно. А ты понял, что со мной ничего нельзя сделать?

— Я понял совсем другое. Ты так же незащищен, как все мы. Я мог забить тебя насмерть бампером, мог разутюжить колесами. А это больно.

— Подумаешь! Физическая боль — чушь. Кроме того, у людей разная чувствительность. Первые христиане, раздираемые львами на арене, не мучились так ужасно, как это представляется нам. У них была, как у всех людей того времени, слоновья кожа. Я тоже малочувствителен к боли, сам видишь. А кроме того, существует болевой барьер, за которым боль пропадает. Забить машиной — эка невидаль! Китайцы молодцы — придумали воловью жилку. Я видел в Сингапуре, в музее китайских пыток.

— Что за жилка?

— Натягивают жилу, голого человека усаживают на нее верхом и возят взад-вперед. Пока не перепиливают пополам. Хочешь попробовать?

— А ты фанфарон! — Ник понимал, что буксует. Он не был готов к встрече, не знал, что делать с пленником, доставшимся ему слишком рано.

— Нет. Просто мне надоело жить. Если ты не прикончишь меня, останется самоубийство. Унылый и пошлый способ ухода из жизни. Но что делать? Хорошей войны сейчас нет, сложить голову на мелкой частной разборке вонючих властолюбцев — унизительно. Все прочие смертельные опасности я перепробовал и остался жив. К тому же это слишком утомительно, у меня уже не те годы.

— Так что же мне с тобой делать? — растерянно спросил Ник.

— Просто не знаю, что посоветовать. Видимо, как это ни плоско, остаются физические муки. Я понимаю, что тебя это не удовлетворяет. «Зубная боль в сердце» — заковычено, Гейне — страшнее всех телесных уязвлений. Но и тут есть нюансы. Причиненная тебе самому боль не так страшна, как страдания любимого человека. Не мне тебя учить. Тут я безнадёжен — ни жены, ни любимой, ни родителей, ни близких родственников... впрочем, не уверен, что кого-то волнуют страдания близких родственников.

— Что ты так разболтался? — перебил Ник. — У тебя жар или ты трусишь?

— Ну, трусость — это по твоей части, — растягивая слова, произнес Рой и, как бы восстанавливая в памяти недавнее прошлое, устремил взгляд к тому месту, где корчилась на полу Катя.

На мгновение Ник с телесной реальностью увидел Катю и Роя, и всех тех мужчин, и себя, связанного, в кресле.

— Сволочь!

Он выхватил пистолет Роя и выстрелил ему в пах. Пуля угодила в ляжку, в ее мясистую часть, полную крови. На серых фланелевых брюках выступило и стало быстро увеличиваться темное пятно.

— Ты чуть не прикончил моего ровесника, — ровным голосом сказал Рой и, собрав ткань в кулак, стал отжимать кровь. — Я тебе тут все перепачкаю.

Ник швырнул пистолет на стол и отошел к окну. В колледже их учили, что у хорошего писателя пейзаж не бывает нейтрален к действию и всегда соответствует душевному состоянию героев. Сад за окном не знал этого правила: освещенный полной луной, он являл наивную открыточную прелесть прошлого века. Весь серебряный, трепещущий, чего-то нашептывающий, глуповатый в своей олеографической старательности, он не замечал злых человеческих игр.

Когда Ник обернулся, в лицо ему уставилось черное отверстие дула.

— Никогда не начинай того, что не можешь довести до конца. Ты забыл это правило?

И защелкал курок.

Приятно видеть растерянность на лице такого тренированного бандюги, как Рой. Он попался на дешевый трюк, потому что слишком презирал Ника. И выдал свою настоящую суть, которую довольно убедительно скрывал под маской разочарованного денди, пресытившегося и подведшего итоги. При этом он не все врал, были в нем и усталость, и неудовлетворенность, и даже какой-то более серьезный ущерб, что отнюдь не мешало желанию пожить еще и выбрать финал по своему вкусу, без посторонней помощи.

— Дерьмо! — И Рой швырнул пистолет в Ника.

Он промахнулся. Ник подобрал пистолет и вложил в обойму пули, которые вынул еще на дороге.

— А ты себя выдал. Хочется жить, зверски хочется, несмотря на опустошенность, зевотную скуку и нытье. А раз так, я тебя достану.

Ник снял телефонную трубку, набрал номер.

— Госпиталь? Пришлите «скорую помощь» в Менори-Хаус. Дорожное происшествие и пулевое ранение. Я подобрал потерпевшего на шоссе...

2

Рой открыл глаза, вернее, разлепил их, будто они были смазаны клеем. Потрогав веки и ресницы, убедился, что никакого клея нет, глаза были мокры и слиплись от слез, словно он плакал во сне. Он не помнил ни сна, ни слез, как не помнил, почему опять оказался в госпитальной палате. Он хорошо помнил встречу с Ником на дороге, их разговор в доме, ранение, недолгое пребывание в больнице — на нем все зарастало, как на собаке, помнил и поездку в горы для восстановления сил, и решение покончить с Ником, и отданные на этот счет распоряжения, а вот дальше был провал, подобный временной смерти, и опаматование в новой больничной палате. Необычной, странной палате — с ярко-голубым потолком. Не бывает в больницах ярко-голубых потолков, только белые. Были и другие странности: отсутствие окон, пол из длинных дубовых, покрытых лаком досок, большое настенное зеркало в рез-

ной раме в дальнем углу палаты. А вот кровать, ночной столик, коврик под ноги были стандартными.

Рой пошевелился, чтобы почувствовать свое тело, оно было при нем. Он поочередно напряг мускулы рук, ног, груди, живота и ощутил их ответ; проверил, выгнувшись, целостность позвоночника и обнаружил, что привязан к кровати и не может ни сесть, ни встать. Он даже приподняться толком не мог, резиновая привязь возвращала его в лежащее положение.

Рой не страдал клаустрофобией, иначе не мог бы лазать по пещерам, но сейчас почувствовал дискомфорт сродни боязни замкнутого пространства — невозможность принять желаемую позу создавала ощущение безвыходности. Да и вообще ему было нестерпимо всякое насилие. Рой громко заорал и выругался. То ли он отвык от своего голоса, то ли причина в акустике, но голос изменился, звучал на тон выше, словно бы помолодел.

Его вопль был услышан. В палату скользнул крошечный человек весь в белом: от колпачка на голове до туфелек из мягкой кожи. Он был ростом с десятилетнего мальчика, но широкоплечий, с изморщиненным желтым личиком — вьетнамец, тайланец? Он что-то зачирикал тонким успокаивающим голоском, в угодливой улыбке обнажились торчащие вперед кариозные зубы, а черные, без белков узкие глаза смотрели мрачно и цепко.

Объясниться с ним оказалось делом безнадежным, он не знал ни слова по-английски, равно по-французски, по-испански и по-немецки. Несколько случайно застрявших в памяти арабских, китайских и японских слов тоже ушли в пустоту, человек знал лишь свой воробьиный язык. Рой попытался объяснить жестами, чтобы его освободили, дергал резиновый пояс, которым был приторочен к кровати, показывал пальцами, что хочет ходить. Крошка-санитар опять что-то прочирикал и, пятясь, отвешивая поклоны, вышел из палаты.

Его ретирада сопровождалась непристойной бранью Роя. Задравшийся случайно рукав пижамы обнажил руку, поразив его до немоты. Его мощная, с глубоким рельефом мышц рука превратилась в хилую плеть, худая, нежная, с голубыми прожилками под тонкой кожей, с длинными изящными пальцами и миндалевидными ногтями, она не могла принадлежать ему. Он лихорадочно задрал другой рукав, эта рука была под стать первой. Что они с ним сделали? Он поднес ладони к лицу, его

щеки были шелковисто гладкими — нет такой бритвы, чтобы брала так чисто, — чуть впалыми и нежными. Машинально ошупывая голову, он обнаружил, что оброс длинными мягкими волосами. Все более испуганный и недоумевающий, Рой продолжал знакомиться с собой на ощупь; его руки проникли за пазуху, и две плотные, тугие выпуклости заполнили ладони — женская грудь! Рой закричал, заметался.

Ремень мешал ему дотянуться до нижней половины туловища, но и так все было ясно: его превратили в женщину. Теперь он узнавал и ярко-голубой потолок, и зеркало в резной раме, он находился на вилле Ника, в столь хорошо знакомом ему холле. Вот в чем заключалась подлая месть Ника. И это так просто! Гормональные препараты умягчают кожу, сводят волосы на теле, стимулируют быстрый рост грудной железы. Куда более сложна и ответственна операция по окончательной смене пола. Сложна и дорога, вот почему травести потеснили проститутку в больших городах: бедным южноамериканским парням не просто собрать нужную сумму на операцию. В данном случае с этим не было хлопот. Оставлять его в роли травести бессмысленно, тогда ему не закрыто возвращение к своему естественному полу. Нет, вся суть замысленного и осуществленного Ником — убить в нем мужчину.

Он недооценил этого мозгляка. Не исключено, что Ник перекупил тех людей, которых нанял Рой для его ликвидации. Скупой платит вдвойне. Рой никогда не жалел денег на свои утехи и прихоти, но тут он поскупился из презрения к Нику. Унизительно было раскошелиться из-за такого врага. Он пренебрег мерами предосторожности. Только ли из презрения к Нику? Да, но лишь отчасти. В последнее время у него пропал вкус к жизни, ему все надоело. Конечно, не до такой степени, как он вкручивал Нику, силясь вырваться из капкана, но большая доля истины в его словах была. Конечно, он не думал о самоубийстве, этого еще не хватало, — уничтожить такой человеческий экземпляр, когда всякие ничтожества обжираются жизнью, но, просыпаясь утром, он с отвращением думал о предстоящем дне.

А Ник хорош! Человек искусства, композитор, тонкая натура. Каким коварством, какой изошренной злобой надо обладать, чтобы придумать такую месть, устроить из своего дома тайный госпиталь, нанять желтомордых коротышек, не знаю-

щих ни одного слова на человеческом языке, но наверняка владеющих гнусными приемами восточных единоборств! Попробуй врежь такому малышу, он из тебя котлету сделает. Рой как-то забыл, что Ник был очень богатым человеком. Он жил не броско, тускло не по бедности или скупости — по отсутствию интереса ко всякому шуму и блеску, а на банковском счете более чем достаточно. Этого не следовало забывать. Слабая душа, глаза на мокром месте, руки, способные лишь брэнчать на рояле, — и лучший мужчина страны превращен в бабу. Лучший и знаменитый, постоянно пребывающий в скрещении лучей. Как случилось, что его не хватились, не кинулись на розыски?.. Эта вилла не затеряна в дремучих лесах, недоступных горных ущельях, она на виду, стоит посреди фешенебельного пригорода. Неужели и полиция куплена? А может, никто и внимания не обратил на его отсутствие? Кому он, собственно, интересен, а тем паче нужен? О прежних его подвигах забыли, новые были хорошо засекречены. Конечно, слухами земля полнится, но в стране столько насилий, убийств, столько жестокости, что люди подумали к этому интерес, как и к порнографии. Рой впервые ощутил одиночество. Наемники, которыми он пользовался, делали свое дело, ничуть не интересуясь личностью работодателя, слуги приучены были к его внезапным исчезновениям, друзей у него не было, подруг тоже, лишь дорогостоящие половые автоматы. Как непрочно человеческое бытие, как незащищен человек в мире, как равнодушны окружающие!..

Ему не хватало воздуха. Сердце ломилось вон из грудной клетки, стучало в висках, кровь пушечно била в барабанные перепонки. Рука его невольно потянулась к мечущемуся за ребрами зверьку и наткнулась на тугой холм. Рой унизился до шакальего с подвизгом взвоя, он едва удержал слезы. «Хватит истерик! — приказал он себе. — Настоящий мужчина должен уметь проигрывать. Мужчина!..» Задушенное рыдание вырвалось из Роя конским храпом.

И все-таки он справился с собой. За ним наверняка наблюдали, нечего давать негодьям пищу для торжества. Лишь бы выйти отсюда и стать хозяином своей жизни. Он сумеет распорядиться оставшимися возможностями: разделаться с Ником и прикончить бабу, похитившую его прекрасное тело.

Наладив дыхание, Рой отыскал глазами кнопку электрического звонка и вызвал службу. Немедленно явились два санитара: знакомый коротышка и другой косоглазый — чуть выше и поплечистей.

Рой попросил жестами освободить его. Конечно, за ним подсматривали и прошли следом по всей шкале его переживаний. Очевидно, они решили, что кризис миновал и с Роем не будет лишних хлопот. Косоглазые, явив завидную понятливость, немедля развязали его, придвинули алюминиевое сооружение на колесиках, служащее костылем, и мгновенно скрылись. Рой оценил их предусмотрительность. Рванувшись с кровати, он чуть не грохнулся на пол при первом же шаге. Он ослабел от долгого лежания, к тому же его новые ноги не отличались устойчивостью. Он опустил на кровать, перевел дыхание, после чего повторил попытку. Несколько секунд он стоял, ухватившись за поручень костыля, его шатало. Потом двинул вперед костыль и подшаркнул к нему. Он передвигался к зеркалу с частыми остановками, как пригородный поезд. На последней остановке — это было обтянутое белой кожей кресло — он снял пижаму и к зеркалу притащился голым.

Он боялся первого взгляда, боялся шока. Но шока не было, ибо он не узнал своего отражения и улыбнулся прекрасной обнаженной женщине, смотревшей на него из сумеречной глубины старинного зеркала. На губах его вертелся пошлый комплимент: «Вы посланы за все мои страдания», но тут он понял, что эта женщина — он сам, Рой Вест, единственный и неповторимый. Он выпустил костыль и рухнул на пол. Снизу зеркало было пустым, оно отражало противоположную стену, но стоит ему подняться, нагая незнакомка вновь населит резную раму.

Он подполз к стене и, раскачавшись, изо всех сил вломил лоб в стену. От такого удара должен был расколоться череп, а он даже не почувствовал боли — под слоем масляно-клеевой краски стены обиты мягкими, упругими матами. Ник предусмотрел даже попытку самоубийства. Рой рухнул на пол. Тут же возле него оказались два санитара. Рой сделал инстинктивное движение прикрыться, но обнаружил, что санитары — женщины, коротенькие, желтолицые и косоглазые. Ник щадил его женскую стыдливость. В бешенстве Рой пнул одну из санитарок ногой в живот, она согнулась пополам,

будто отвесила церемонный восточный поклон. Рой хотел врезать ее напарнице, но в палату уже вбежал коренастый санитар. Несколько коротких, очень болезненных ударов по предплечьям, голениям, шее, и Роя, будто мешок с отрубями, перенесли на кровать.

— Подлец! — крикнул Рой. — Бить женщину!.. — И, услышав как бы со стороны свои слова, потерял сознание...

Очнувшись, Рой не почувствовал ушибов, умели бить эти недочеловеки — до очумения больно, но без следов и последствий. Он лежал под одеялом обнаженный. Стараясь не прикасаться к себе — омерзительна гладкая кожа и слабые мышцы, — он слез с кровати и с помощью костыля подковылял к зеркалу. Была мучительная и неодолимая потребность смотреть на себя. Он не просто смотрел, а прикидывал, можно ли вернуть этой плоти мужскую суть и стать. У зеркального отражения были довольно широкие плечи, тонкая талия, узкие бедра, длинные, с крепкими икрами ноги, будто созданные для рекламы чулок. Особенно удручал Роя круглый соблазнительный зад. В бронзовых аргентинских травести, которыми он любовался на набережной возле казино, сохранялось что-то двусмысленное, сквозь подчеркнутую женственность проглядывал мальчишеский острый угол, здесь же царила плавная, чисто женская линия. Женщина, бывшая когда-то Роем, опустила на пол. Она сидела свесив голову и уже не видела в зеркале тающую боттичеллиеву красоту своего лица, обрамленного длинными прямыми прядями, совершенство скульптурного тела и ненавидела свой благодатный облик сильнее, чем злейшего врага.

В ближайшие дни он не мог ни о чем думать, кроме мести Нику. Его поразило, что Ник куда менее уязвим, чем был он сам в пору своей силы. Ник все потерял, единственное, что привязывало его в жизни, месть, — он осуществил. Пытать полумертвеца несоблазнительно, добить — значит сделать жест милосердия. Превратить его в бабу — плагиат, да он и не заметит. Скорее всего сам уйдет из жизни, погаснет, как выгоревшая свеча.

Впоследствии Рой не раз пытался вспомнить, как началось его срастание с новой сутью. У него появилась привычка каждое утро, едва проснувшись, спешить к зеркалу, как будто ждал, что наваждение кончится и на него глянет прежний Рой.

Но только сказочное зеркало может показать то, чего нет. Однажды он поймал себя на том, что не только без отвращения, но даже с некоторым удовольствием глядит на свое отражение. Он должен был признать, что его женский образ совершеннее мужского. Он был хорош по-мужски, но в Голливуде можно найти и получше, теперь же — стал чудом. И однажды он испытал нечто вроде вождления к тому существу, которое печально глядело на него из зеркала и вдруг улыбнулось, и родился свет, как на второй день творения.

И тогда пришло открытие, которому он боялся поверить, так неожиданно и прекрасно оно было: ему вернули его истинную, отнятую еще во чреве матери суть. Он был задуман женщиной, если зарождению человеческого существа предшествует чья-то задумка, и обречен нести чуждую мужскую оболочку, совершать мужские поступки, самоутверждаться в своей мнимой мужской сути, в которую не верило всеведущее подсознание. Он делал несчастными других, потому что сам был несчастен, и чем старше становился, тем несчастнее. Он не виноват в том, что творил. Его бессердечие, жестокость, отсутствие великодушия, вся лихая, забубенная жизнь были отзывом на то насилие, которое совершила над ним природа. Он не отвечает за свое прошлое, бездарный черновик его судьбы уничтожен.

Рой ликовал: «Какое счастье, что моим смертельным врагом оказался простодушный, неиспорченный Ник! Вот что значит художник, человек искусства, тонкая музыкальная организация! Другой бы всадил пулю — и вся недолга. Правда, есть и моя доля в его невероятной выдумке. Я надоумил его, что физические страдания — ничто и лишь нравственные муки ужасны. И это не высокопарное пустословие, если наличествует нравственность. Но душевные муки может испытывать и безнравственный человек. Он видел мою прущую из всех пор мужественность и нашел — так ему казалось — самый верный и страшный способ наказания: превратить меня в свою противоположность. Но такие, как Ник, обречены во всем и всегда на неудачу. Переведя меня из мужского в женский род, он открыл мое настоящее существо. Все томление, разочарование, утрата вкуса к жизни шли от того, что я больше не мог находиться в маскарадном образе, но мне и в голову не приходило, что я перевертень. У меня никогда не было

гомосексуальных наклонностей, я любил женщин... я никогда их не любил, но успокаивал с ними свою плоть. Как жаль, что столько времени потеряно! Надо хорошо использовать оставшееся, не терять ни дня. А сейчас главное — не выдать себя. Боже упаси, чтобы Ник догадался о своем фиаско. Хватит его недооценивать, он неудачник, но неудачник с выдумкой и упорством. Подавленность на грани психического срыва — вот моя маска. Интересно, захочет ли он увидеть меня с глазу на глаз, чтобы насладиться своим мнимым триумфом? Будет трудно не расхохотаться ему в лицо. Но я обязан выдержать этот искуc».

Как богата и неисчерпаема жизнь! Ведь Рою казалось, что он все испытал, все пережил, до дна осушил свою бочку. Ему все омерзело. Еще бы не омерзеть: изящную, очаровательную, хрупкую... ну, не слишком хрупкую, какая-то крепость досталась по наследству — женщину заставили играть роль звероподобного кинозлодея. Начинается новая и настоящая жизнь, только бы не споткнуться на пороге.

Но все обошлось на редкость легко. Ник не пожелал протиться со своим пленником, но, покидая виллу, тот чувствовал лопатками провожающий его взгляд.

«Надо убраться подальше от цепкого взгляда Ника. Этот Пигмалион никогда не влюбится в свою Галатею, скорее захочет свернуть ей шею. А мне надо жить и жить. И прежде всего сменить имя. Мне нравится имя Грейс, а фамилию я возьму для прикрытия самую банальную — Смит». Уже потом бывший Рой вспомнил, что, дав себе женское имя, он стал думать о себе как о женщине. Превращение завершилось.

Никто не провожал новоявленную Грейс Смит к такси, поджидавшему у входа. Вилла словно вымерла.

— Вам куда, мадам? — спросил негр-шофер.

— В страну счастья, — смеясь, ответила пассажирка.

Ник, действительно следивший за отъездом Галатеи, с острым интересом наблюдал ее походку, движения, решительный жест, каким она распахнула дверцу такси, взгляд, брошенный на белозубого молодого шофера, и победную улыбку, расцветшую на губах.

— Одним мерзавцем стало меньше, — прошептал он, — одной блядью больше...

Ник не ошибся в своем прогнозе. Весь азарт, который не ведающий своего истинного естества Рой растрачивал на опасные, а то и преступные мужские игры, был брошен на уголение истосковавшейся, загнанной в подполье женственности.

Грейс Смит начала свою яркую деятельность в Лиме и продолжала во всех крупнейших городах Южной Америки. Она избрала этот богатый возможностями, но все же окраинный континент, потому что опасалась Ника. Хоть она и спряталась под незнакомым ему именем, береженого Бог бережет. Ник не должен знать о возрождении раздавленного им человека. Грейс широко расходовала себя. Романы перемежались со случайными, но всегда бурными связями, тихие радости были не в натуре страстной, требовательной, капризной, неверной и ненасытной красавицы. Соединение и разрыв доставляли ей равное наслаждение. Ей нравилось выпотрошить любовника и физически, и морально, а потом бросить каким-нибудь эффективным и унижительным способом. Одному юноше из семьи аргентинских скотопромышленников это стоило жизни. Грейс была первой женщиной в его жизни, и когда разомкнулось объятие, длившееся целую неделю, он застрелился. Грейс отнеслась к гибели равнодушно: одним блудливым молодым котом стало меньше. Грейс сознавала, что к ней перешли некоторые черты Роя: смелость, широта, безудержность, здоровый цинизм, но, растворенные в стихии женственности, эти качества утратили грубость, напротив, придавали блеск ее очарованию.

Мужчин удивляло — иных возмущало и оскорбляло, других радовало, — что Грейс не принимает подарков, даже малых знаков внимания, никогда не позволяет платить за себя в ресторанах, кафе и на всевозможных увеселениях, но охотно платит за других. Ее распутство было бескорыстным, и выбор всегда принадлежал ей. Не ее брали, а она брала. Это ранило мужскую гордость — в тех, разумеется, случаях, когда гордость наличествовала, — но приходилось смиряться, Грейс диктовала условия. Где бы Грейс ни появлялась, она сразу закручивала вокруг себя вихрь страсти, соперничества, ревности, интриг. Среди тех, кто попадал в зону ее магнетического воз-

действия, случались люди значительные, уважаемые, с высокой и прочной репутацией. Грейс не меняла ради них своей пренебрежительной повадки. Она могла испытывать увлечение, всегда разделяла страсть, но даже тени привязанности, а тем паче уважения к своим любовникам не чувствовала. Для этого она слишком хорошо видела, что у них под пластроном, жилеткой или джинсовой тканью. А была у всех одна и та же смесь, хотя и в разных дозировках, из алчности, похотливости, гонора и трусости. Каждый был способен на преступление, и если удерживался от него, то не из соображений морали, а по робости. Можно сказать: каждому хотелось быть Роем, да кишка тонка. В одной пьесе Елена Прекрасная говорила, что трет о себя мужчин, как пемзу. На это они годились.

Вращаясь в высшем обществе южноамериканских столиц, Грейс любила опускаться на самое дно. Делала она это с предельной осторожностью, никому в голову не вспало, что, покинув какой-нибудь раут, посольский прием или дружескую пирушку в фешенебельном ресторане, усталая, с трудом размыкающая веки Грейс отправлялась в отель лишь для того, чтобы переодеться и смыть косметику, после чего закатывалась в портовый кабачок.

Там она пила дешевое красное вино, а остаток ночи проводила в грязной гостинице с каким-нибудь матросом или пропахшим ворванью рыбаком. И ускользала утром, когда истомленный партнер еще дрых, смердя перегаром, и не забывала — такая бескорыстная — захватить смятую бумажку — простодушную оценку ласк самой модной женщины континента.

Эти сомнительные похождения нужны были Грейс для повышения тонуса жизни, несколько снижавшегося в расслабляющей атмосфере светской суеты.

Конечно, дни Грейс не были заполнены только любовными приключениями, она не принадлежала к числу коллекционеров сексуальных опытов, наподобие пресловутой Эммануэль, которой обернулся в наше сухое, прагматичное время пленительный тип Манон Леско. Она много путешествовала: облазала Кордилеры, любовалась на Огненной земле купающимися в ледяной воде обезьянами — обсыхали они на снегу, плавала по Амазонке на пирогах с моторчиком и стреляла без счета крокодилов, тайно пробиралась на маковые плантации Венесуэлы и Колумбии и открыто появлялась на помпезно-

безвкусных виллах их владельцев, орала до хрипоты на истерических футбольных матчах, где бразильские болельщики, так и не отвыкшие от былых триумфов своей сборной, рыдали, рвали на себе одежду и волосы, а порой и умирали при очередном поражении утративших волю к победе виртуозов мяча. Она любила Байю с ее празднествами, прогорклым запахом, неумолчной музыкой и неутомимыми танцорами — гибкая талия и откляченный зад; ее манил Рио-де-Жанейро своей потропически цветущей уголовщиной, здесь каждый шаг был чреват опасностью, но Грейс была не из робких. Ей нравился по контрасту тихий Парагвай со старинными монастырями, тяжелым колокольным звоном и хорошо припрятанным развратом, которому тайна придавала особую привлекательность.

Случалось, она ездила с целой компанией, изредка — в сопровождении одного-единственного спутника, но чаще и охотнее всего — одна. Интереснее было создавать окружение на месте, каждый раз новое, испытывать на незнакомых людях свою притягательную силу. Но не задерживаться надолго. Очарование места, как и собственное очарование, — скоропортящийся продукт. Надо исчезнуть раньше, чем запахнет кислым.

Она позволяла себе возвращаться лишь в самые большие города: Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Байю, Буэнос-Айрес, Монтевидео, Сантьяго, там легко найти новую среду, для которой и ты окажешься неожиданностью.

В этих счастливых метаниях она почти забыла о Нике. Где он, что он? Похоже, осуществив свою страшную месть, успокоился. А может, умер? Имя его не появлялось в печати, его редко исполняли по радио и телевидению, и то лишь старые вещи. Объявляли его со скрытым зевком, как почтенного, но никому не нужного классика. Не исключено, что он длил свое мышинное существование и носит букетики на могилу жены. Грейс поймала себя на том, что не испытывает сожаления к этой опозоренной и убитой Роем женщине. Равно и ко всем остальным жертвам того человека, из которого ее высекли, как из грубой глыбы мрамора. То ли она не желала нести ответственности за грехи Роя, то ли спокойно приняла на душу этот груз, который ей не тяжел. Если расхोждать себя на всех несчастных, на всех перемолотых судьбой, то не хватит времени на собственную недолгую жизнь. Не надо забывать, что

она появилась на свет, когда житейский путь пройден наполовину. Сколько ей еще порхать? От силы двадцать лет. Никому не удавалось даже приблизиться к рекорду Нинон де Лакло, которая в восемьдесят лет принимала кавалеров. А человечество всегда делилось на тех, кто способен совершать, и на тех, кто обречен быть бессловесной жертвой чужих страстей.

В Грейс произошла исподволь подготавливавшаяся и все равно неожиданная перемена. У нее установился голос — крепкое, густое меццо-сопрано, в волнении — естественном и наигранном — обретавшее таинственные контральтовые ноты. Долго преследовавшая ее хрипловатость — ненужное наследство — прошла без следа. Новый голос, хорошо подчинявшийся природному тонкому слуху, надоумил ее попробовать свои силы на эстраде. Она имела успех. Ею заинтересовался влиятельный импресарио. «Вы используете меньше половины своих возможностей, — сказал он. — Ваше великолепное тело не участвует в номере. Соедините пение с раздеванием. За год я сделаю из вас звезду мирового класса». Становиться звездой Грейс опасалась. Хотя она выступала под другим именем и в черном парике, портреты звезд расходятся по всему миру и могут оживить жизнедеятельность проницательного Ника, ушедшего на дно. А этого не хотелось бы. Пусть он думает, если еще способен думать, что она продолжает оплакивать похороненного в ней Роя. Но соблазн показаться обнаженной перед распаленной мужской толпой был так велик, что Грейс отважилась на гастроли по Австралии. Импресарио, бывший театральным режиссер, сам поставил ей программу, турне имело триумфальный успех. Но куда важнее успеха была для Грейс та власть над толпой, которую она обретала, обнажаясь под медленную музыку. Она заводила не только мужчин, но и женщин. Ею заинтересовались пресса и телевидение. Но, закончив гастроли, Грейс поспешно оставила маленький континент, отказавшись продлить весьма лестный контракт. Ее отъезд был похож на бегство.

А Грейс и правда бежала от внезапно обрушившейся на нее славы. Такая бесстрашная во всех делах своих, она панически боялась Ника. Страх был мерилем ее счастья. Рой никого не боялся, потому что не ставил в грош свою жизнь. Но если кто-то столь враждебен твоему существованию, надо от него избавиться. Значит, опять становится на путь пре-

ступления? Может, в этом и заключался дьявольский расчет Ника — прессингом страха пробудить в ней темную душу Роя, разбить ее цельность, превратив в уродливый гибрид: ангел-уголовник.

«Это бред. Ник не знал и знать не мог, какая меня ждет жизнь, а значит, не мог строить расчетов на мое будущее. Эти страхи — порождение больного воображения. И да, и нет. Глупо думать о какой-то провокации Ника, но из этого не следует, что я не должна считаться с ним. Он безопасен, пока я в тени, пока он ничего не знает обо мне, но он может стать очень опасен, если до него дойдет треск и звон моего крутежа».

Грейс постаралась осторожно, через третьи руки, навести справки о Нике. О нем давно уже не было ни слуху ни духу, вилла стояла на продаже, но сообщений о его смерти не появлялось. А ведь он был достаточно известной фигурой в музыкальном мире, чтобы уход его остался незамеченным. Ник выключил себя из действующих лиц драмы жизни, растворился в том, что в пьесах обозначают: «придворные, солдаты, слуги», и все же проблема Ника осталась. Отмахиваться от нее нельзя, так поступают только трусы.

Конечно, было бы куда лучше, если б благодетельная природа сама распорядилась утомительным страдальцем. Зачем ему жить? Без любви, без музыки, без цели? Возможно, он находится в закрытом лечебном заведении или ушел в монастырь или в какую-нибудь секту. Это не важно. Больной, монах или сектант — он лишний на этом свете. Нельзя, чтобы между ней и счастьем маячил этот полутруп. Так что же, забыть о своей безмятежной жизни и посвятить себя розыскам и уничтожению Ника, который, возможно, и думать о ней забыл? Нельзя давать призракам былого слишком большую власть над собой. Все это требовало серьезного размышления. Грейс вдруг почувствовала усталость. Австралийские гастроли, банкеты, бессонные ночи отняли слишком много сил. Надо сделать остановку, отдохнуть, успокоиться, а там уже решать судьбу Ника.

Грейс отправилась в Европу. Она выбрала некогда модное, шумное и блестящее место, сейчас заброшенное, провинциальное — островок под Венецией Лидо. Сюда приезжали люди среднего достатка, которым льстила былая слава курорта, а также весьма состоятельные пожилые пары, влекомые ностальгической памятью. Грейс поселилась в самой тихой части

островка, вдали от скудных соблазнов захиревшего казино, баров и всегда пустого громадного ресторана.

Контраст с той жизнью, какой она жила последнее время, был оглушителен. Первые дни Грейс даже не ходила на море, доползавшее пеной чуть не до порога ее коттеджа, только спала, а в промежутках между двумя провальными снами, нечесаная и неприбранная, валялась в постели, лениво переключая программы телевизора.

Но в какой-то день она встряхнулась, приняла ледяной душ, вымыла голову, расчесала свои густые волосы, съела легкий завтрак, намазалась мазью для загара, надела бикини и отправилась на пляж.

Она не ошиблась в выборе места. Такой пустоты, такой тишины, такого спокойствия не было нигде в мире. Редкие купальщики привлекали к себе не больше внимания, чем ракушка, или сгнивший краб, или венчик водорослей на песке после отлива. Можно было купаться и загорать голой, что Грейс и делала. Тут был мир притушенных красок, как у одного французского импрессиониста, имя которого Грейс забыла, только без его сметанной густоты. Каждый цвет стремился к исчезновению, к тому, чтобы остаться памятью о самом себе. В небе и море почти не оставалось голубизны, в песке — желтизны, в редких кустиках — зелени. Все было белесым, с легким намеком на цвет. Белесы, умиротворенны и легки были мысли Грейс о Нике. Надо хорошенько узнать, где он находится, в каком состоянии, и если он безопасен, оставить в покое. Если же придется его убрать, то сделать это безболезненно, с помощью укола или пилюлек, пусть он не знает, кто ускорил его конец. Ведь он и так проигравшая сторона. Собственная кротость и незлобивость умиляли, ресницы тяжелели от слез.

А потом случилось нечто такое, что покоило с этими нежно-истребительными мыслями, покончило с прежней Грейс так же решительно, как в свое время с Роем, только для этого не понадобилось хирургическое вмешательство, — она влюбилась. Какой-то счастливый ветер занес на скучный берег Лидо молодого итальянского маркиза, скорее всего любовь к солнцу и морю и ограниченные средства. Известно, в Европе чем древнее род, чем чище кровь, тем меньше денег на счету. Поначалу Грейс не знала, что узколицый, загорелый, с прямым римским носом и нежным ртом молодой человек — маркиз,

что у него есть замок, построенный чуть ли не во времена крестоносцев, что он окончил один из старейших университетов в Европе — Павийский, получив самую ненужную в наше время специальность — искусствовед (его погубила, как он выразился, влюбленность в культуру этрусков), что он холост, одинок, родители погибли в авиационной катастрофе, когда он был подростком, а его воспитал опекун. Грейс ничего этого не знала, когда на второй день случайного знакомства у палатки мороженщика отдалась ему ночью на холодном морском заплеске и узнала любовь.

Ей казалось, что она закалена в страстях и ничего нового открыть не может. Но все испытанное раньше разом обесценилось в долгих и отнюдь не бурных, а тихих, нежных, сосредоточенных, выматывающих тело и душу объятиях маркиза. Он был такой тонкий, узенький, хрупкий, что Грейс боялась его повредить, но этот мальчик добился того, что не удавалось его могучим предшественникам, — опустошил Грейс до конца. И все же самое прекрасное наступило, когда они разъединились, и возникла та незримая связь, о существовании которой Грейс не подозревала. Они разомкнули объятие, не прикасались друг к другу, а Грейс продолжала чувствовать его на себе, чувствовать его в себе, не частью, а целиком, словно была беременна им.

Так все началось. Думая о маркизе непрестанно, Грейс пыталась понять, почему он оказался ее мужчиной, а все остальные — заместителями. Потому что она полюбила. А что такое любовь? Выбор? Но ведь среди ее любовников были люди и ярче, и сильнее, и красивее, и значительнее этого худенького, незащищенного, наивного мальчика. Она помнила слова Гёте: легко полюбить ни за что, невозможно полюбить за что-нибудь. Такие вот хлесткие, поражающие на первый слух сентенции всегда сомнительны. Ведь и в самой безотчетной, нелогичной любви обязательно окажется причина, если и не самой любви, то завязи, из которой вырастет любовь. Маркиз обладал множеством качеств, заслуживающих любви: красотой, молодостью, веселым умом, образованностью, элегантностью, нежностью при необычайной мужской силе и детской привязчивостью, он не отпускал Грейс ни на шаг. Но стоило возникнуть кому-то третьему, не важно кому: пляжному знакомому, ищущей общения даме, метрдотелю, портье, как он разом подмора-

живался. Этот морозный холодок аристократизма создавал между ним и окружающими перегородку из тонкого льда. А весь жар его дыхания, кожи, сердца принадлежал Грейс. Однажды ей открылось: в маркизе для нее соединились возлюбленный и сын. Он был всего на восемь лет моложе ее, но томившая ее с некоторых пор темная тоска по недоступному материнству нашла утешение возле маркиза. Она могла бы ответить Гёте: «Я люблю его, потому что он прекрасен, потому что он мой муж и сын». И все-таки была еще какая-то тайна, которая не поддавалась разгадке. С этим мальчиком Грейс впервые утратила покровительственный тон, которого неизменно придерживалась с мужчинами и много старше себя, самоуверенными хозяевами жизни. И впервые она позволила платить за себя, когда они пускались в скромный загул. Маркиз разбирался в винах, и как итальянец и как маркиз, но сам пил мало.

Когда похолодало и на пляже нечего стало делать, они решили не расставаться. Маркиз пригласил Грейс к себе на виллу неподалеку от Сиены. Приглашение было с восторгом принято.

Вилла эта оказалась трогательно похожей на самого маркиза: такая же изящная, изысканная, но очень маленькая и беззащитная, незаземленная. Достаточно сильного порыва ветра, и она взлетит на воздух и растворится в синем бездонном небе Тосканы. Как бы почувствовав ущербность своего жилья, маркиз захотел показать ей родовой замок, находившийся в провинции Реджио-Эмилия. Маркиз замком не пользовался, ибо держать на плаву такой корабль доступно лишь миллионеру.

Они поехали туда на маленьком, как все у маркиза, «фиате» и добрались до цели лишь под вечер. Замок стоял на вершине горы, упираясь зубчатой башней в огнистое закатное облако, и был так величествен, что Грейс непривычно оробела. Ей показалось, что она где-то видела этот замок, не то на фотографии, не то в кинохронике.

— Вполне возможно, — рассеянно отозвался маркиз, как-то притуманившийся при виде родового гнезда, которое не могло дать ему приют. — Это исторический памятник.

Грейс хотелось подняться по усыпанной белым песком и галькой дороге, в несколько витков достигавшей подножия замка, но она заметила смущение маркиза.

— Ты что — сдаешь его?

Маркиз наклонил голову, ему было печально и стыдно.

— Мы можем туда подняться, — сказал он с вымученной улыбкой. — По контракту я имею право посещать свое владение.

— А почему ты его не продаешь?

— Кто его купит? Кому под силу содержать такую громадину? И ведь это ленное владение. Оно переходит от отца к старшему сыну вот уже семьсот лет. Того, что я получаю от съемщиков, едва хватает на поддержание его в порядке.

Приходить в собственный дом по праву контракта, наверное, унизительно, и Грейс отказалась от восхождения. А про себя подумала: «Бог даст, ты еще вернешься в свой замок...»

И похоже, Господь стремился к тому же. В дни, когда напряжение чувства подводит любовников к некоей критической черте, за которой должно последовать либо соединение навеки, либо разрыв, либо самоубийство, маркиз сделал Грейс предложение. Она едва удержала восторженное «Да!». На обмане нельзя строить здание будущего. Грейс впервые в жизни закурила и сухим, четким голосом сообщила маркизу, что она перевертень. Природа сыграла с ней злую шутку, заключив ее в мужскую оболочку, она исправила ошибку, и маркиз должен об этом знать. И еще — она обречена на бесплодие.

Похоже, последние слова он пропустил мимо ушей. Открытие привело его в восхищение, больше — в экстаз. Скромному, ничем не примечательному человеку, живущему тускло и обыденно, судьба делает королевский подарок: лучшую женщину мира, да еще сотворенную столь невероятным образом! Ничего не любил он так жадно в детстве, как сказки о чудесных превращениях: Царевна-лягушка, страшила с рогами и копытами, обернувшийся принцем, — все это жалкий лепет перед чудом жизни. Теперь он чувствует себя личностью, участником волшебной сказки.

Грейс слушала его с умиленной улыбкой. Какой он еще ребенок! Она сохранит для себя его детское, а миру покажет настоящего мужчину. Одно лишь смущало: она вовсе не хотела популяризировать свое превращение. Но маркиз поклялся честью, что будет нем как рыба, ему достаточно самому знать, что возле него чудо. Тайна волнует до тех пор, пока она тайна, став общим достоянием, она стоит не больше сплетни.

Свадьбу сыграли на вилле маркиза, очень скромно. Присутствовали лишь две пожилые пары, знавшие родителей маркиза, и прилетевший из Неаполя опекун — суровый старик с орлиным профилем. Он без особой сердечности приветствовал своего воспитанника, но при виде Грейс жесткое лицо смягчилось. Старость, знатность, доведенная до автоматизма любезность, заостренное-безукоризненные манеры заключали этих выходцев из другой эпохи в ледяную броню, но тем ценней были проталины искренней благожелательности, обращенной к Грейс.

Свадебное путешествие их не прельщало, оба устали от шума и суеты. Маркиз никогда не был на родине Грейс, не обладавшей для нее особой притягательностью. И вдруг она поняла, что может ехать куда угодно, что никого и ничего не боится. И не потому, что возле нее муж и защитник, а потому, что ей стало кого защищать, она в ответе за хрупкого, нежного мальчика, доверившего ей свою судьбу. И она уничтожит каждого, кто станет на их пути...

В городе царил невыносимая влажная духота, они решили снять или купить виллу. Маркиз, которому хотелось быть полезным, принес из посреднической конторы проспекты с описанием загородных домов, поставленных на продажу. Грейс с понятным волнением обнаружила знакомую, слишком хорошо знакомую ей виллу Ника. Но ведь она продавалась до ее отъезда в Европу, неужели не нашлось покупателей? Она позвонила в контору. Оказалось, виллу продает ее новый владелец — дипломат, получивший назначение в Новозеландию. Грейс поинтересовалась более ранним владельцем. В конторе его не помнили, пришлось покопаться в бумагах. Так нашли имя Ника, но вилла продавалась по доверенности, владельца в ту пору не было в стране.

Грейс спросила просто из любопытства, ей было решительно все равно, где находится Ник. Она уже решила купить эту виллу. Есть такой литературный прием — рондо, когда конец повторяет начало и круг замыкается. Этим приемом достигается совершенная цельность и законченность. Грейс отсчитывала свою жизнь от хирургической операции в переоборудованной под госпиталь вилле. Первый визит к Нику Грейс рассматривала как предисловие к увлекательному роману. Почему бы не поставить точку там, где все началось, ибо но-

вая жизнь Грейс — это совсем другой роман. Да и приятно вернуться госпожой туда, где ты была пленницей.

Судя по фотографиям, Ник восстановил первоначальный вид жилья, а новый владелец то ли не захотел, то ли не успел произвести какие-либо изменения. Ехать и смотреть виллу не было нужды. Оформив покупку, они быстро собрались и в путь...

Хотя Грейс была готова к тому, что тут все осталось, как во время первого визита Роя, она испытала легкое головокружение от столь буквального возвращения прошлого. Оказывается, она до мельчайших подробностей помнит обстановку, даже ирисы в японской вазе и лилии — в дельфтской, зеркало в резной раме, развернутые на пюпитре рояля ноты и бутылку шампанского на круглом столике возле дивана. Кто поставил ее сюда? Неужели посредническая контора простерла так далеко свою любезность? Ответ не заставил себя ждать. Грейс никак не представляла, что возвращение в исходную точку окажется столь полным, только ей придется играть совсем другую роль.

Эти трое вошли через окно, как в тот далекий вечер, едва хлопнула пробка шампанского. Двое повалили Грейс на пол и стали сдирать с нее одежду, третий занялся маркизом. Он швырнул его в кресло и привязал к спинке ремнем, как некогда Ника. Маркиз пытался бороться, бедный петушок, но удар в челюсть, окровавивший рот, прекратил сопротивление.

Грейс не могла вообразить, что близость с женщиной, неизменно доставлявшая наслаждение, может быть так омерзительна, болезненна, тошнотворна. И дело даже не в грубости, не в садистской жестокости этих горилл, ей и раньше попадались извращенцы любого сорта, но их отдающее бессилием злое рвение не имело ничего общего с мерзостью насилия. Ужасно, когда тебя берут против воли, вся твоя физиология восстает против этого, оплачивая протест невыносимой болью. Насильники были неутомимы, когда один освобождал ее, награждая за кульминацию ударом по лицу или укусом в плечо, другой был наизготове. Казалось, внутри все разорвано, по ногам текла кровь, кожа пропиталась отвратительными мужскими запахами, смрадные уста впивались в губы и кусали, шершавые коровьи языки проникали в полость рта, гряз-

ные потные руки мяли, шипали, терзали груди, бедра, ягодицы. И все это на глазах маркиза, ее мальчика.

Грейс не прекращала сопротивляться, вызывая ответную ярость. Раз-другой ей удавалось попасть кулаком в морду или коленом в пах, в ответ — град пощечин. А затем наступила смертельная слабость, почти забытие, она лежала недвижно, закатив глаза, и тут случилось самое страшное и невероятное: в полузабытии вошло, всосалось большое и острое наслаждение, она задержалась, застонала, и руки ее произвольно сомкнулись на чьей-то волосатой спине. А когда открыла глаза, то увидела маркиза, освобожденного от пут. С отвращением кривя рот, он процедил: «Какая гадость!» — и быстро вышел из холла.

— Я не виновата! — закричала Грейс, колотя кулаками в истерзанную грудь, и потеряла окружающее.

Когда же вновь открыла глаза, насильники убралась, но она была не одна. Чуть повернув голову, она без всякого удивления увидела Ника. Она не сомневалась, что он появится. Еще раньше она узнала и тройку насильников, то была команда Роя, естественно, не признавшая своего бывшего предводителя.

— Ну, кажется, я все-таки достал тебя, Рой, — голосом, лишенным интонации, лишь констатирующим факт, сказал Ник.

Он почти не изменился, может, чуть поседел. Нет, он изменился, у него не было раньше таких холодных, безжалостных глаз.

— Я не Рой. Я Грейс. Вы отомстили не тому человеку. Рой ушел от вас. Да его и не было никогда.

— Был и есть, — тем же неокрашенным голосом сказал Ник. — Я угадал, что ты баба. Ты слишком много цитировал. Пассивный ум хорошо сочетается с женской физиологией. И вся твоя показная мужественность не могла меня обмануть. И ты, правда, был неуязвим, именно потому, что тебя не было. Тебя надо было сперва сделать, а потом уничтожить.

— Маркиз слишком шепетилен, — донеслось с пола. — А то бы вы все равно проиграли.

«Зубастая дама! — подумал Ник. — Это не Катя. С ней еще придется повозиться».

— При чем тут шепетильность? Я любил Катю, а этому проходимцу нужны лишь твои деньги.

— Он не проходимец. У него родовой замок.

— Ты некультурен, Рой. Не узнал Каноссу. Сюда приполз Генрих VII просить прощения у папы Григория Рильдебранда. С таким же успехом он мог объявить своим владением Колизей, Эйфелеву башню или статую Свободы.

— Бедный мальчик! Ему хотелось погордиться.

— Какая там гордость! Он хотел обдурить тебя. Деньги, Рой, ничего, кроме денег.

— Тогда зачем он ушел? — Голос заметно окреп. — Меня лишили чести, но не денег.

Как рационально! До чего же пластичен человек, особенно женщины. Эта жертва насилия уже нашла спасительную нить. Пусть маркиз подонок, пусть любит деньги, а не ее, лишь бы сохранить его при себе. Изменить тело человека куда легче, чем душу. Ваза упала, но не разбилась. Ник испытал невольное восхищение этой негибимой жизненной силой. «И все-таки я допеку тебя, двуполое диво!..»

— Бывает такое, Рой, чего не перешагнуть даже маркизу.

Он подошел к стене, с усилием снял зеркало в резной раме и поднес его Рою-Грейс.

Была короткая тишина, затем страшный задушенный крик. С тускловатой поверхности старинного зеркала сквозь распадающуюся женственность Грейс смотрел Рой. Как будто разорвалась маска, открыв истинное лицо.

— Пристрели меня! — послышалось с пола. — Я не хочу жить!

Ник молчал. Длинные пальцы шарили по полу и наткнулись на зубчатое донце разбившейся бутылки из-под шампанского. Пальцы схватили его и вонзили в горло. Выступили густые темные капли крови. С ремесленной старательностью пальцы принялись кромсать горло.

Ник вышел из холла. Смотреть на последние содрогания самоубийцы не хотелось.

Маркиз курил, несколько беспокожно поглядывая на удалую тройцу, приводившую себя в порядок в другом конце прихожей. Они приняли душ и сейчас неторопливо одевались, причесывали влажные волосы, повязывали галстук, словно футболисты после изнурительной, но победной игры.

— Получите. — Ник протянул маркизу толстую пачку долларов.

Маркиз взял деньги, мимолетно взвесил пачку на узкой ладони и, не пересчитывая, спрятал в карман пиджака.

— Все о'кей! — сказал он.

— Тогда проваливайте.

— Если понадобится...

— Не понадобится. Идите!

Маркиз поклонился, танцующей походкой жиголо пошел к двери и скрылся.

Ник повернулся к «футболистам». Как много у них работы, если они не узнали ни места, ни его самого. Он вручил каждому положенную мзду. Они не обладали ни навыком «маркиза», ни его воспитанностью и, посплюнув большой палец, тщательно пересчитали деньги, после чего удалились, не затруднив себя прощанием.

Ник смотрел в окно. Они весело уселись в старый приземистый «бьюик». Водитель включил чихнувший мотор. Тут же громадный грузовик, стоявший метрах в пятнадцати от «бьюика», двинулся вперед, рыча могучим двигателем. Он быстро нагнал «бьюик», подмял под себя, расплющив, как пустую консервную банку, и скрылся за поворотом.

С ними надо было кончать, а с теми, кто их раздавил, пусть разбирается общество, иначе начнется бесконечная чехарда: одни наемники будут уничтожать других.

Ник вышел через черный ход, его машина стояла на улице, безмятежной, как в книжке о счастливом детстве. Он поехал в город.

Через полчаса после его отъезда вилла запылала. Пожар спалил дотла тихое убежище двух любящих, ставшее гнездом зла.

Ник оставил машину на стоянке возле старого городского парка. Этот запущенный, заросший парк, уголок живой, трогательной природы в железобетонном мире почти лишено растительности города, муниципалитет не раз собирался уничтожить, но неизменно отступал под дружным отпором пенсионеров, составлявших немалую и влиятельную часть городского населения. Наконец, признав свое поражение в борьбе с ностальгической памятью, городские власти отступились от парка, предоставив ему возвращаться в девственное состояние леса. В его неприбранных тенистых аллеях прогуливались или дремали на скамейках одни старики. Но в чаще находили при-

ют молодые парочки, ищущие уединения. У Ника и Кати было свое любимое место — крошечная полянка, накрытая тенью огромного вяза. Здесь они впервые поцеловались. И сюда он продрался сквозь заросли бузины и шиповника. Городские шумы отселись, только зуммерил кузнечик в траве. На ветке боярышника сидела птичка с розовой грудкой и черноглазым милым лицом. Она не улетела, когда Ник вырвался из чащи, а, повернув головку, уставилась на него круглым, ничуть не испуганным глазом.

— Ты Катя? — спросил Ник.

Птичка не ответила, лишь повернула головку в другую сторону, не упуская Ника. Он видел себя в ее зрачке.

— Я это сделал, Катя, — сказал Ник и заплакал. — Теперь прощай.

Он вынул из кармана пистолет. Птичка вспорхнула и улетела.

Ник приставил ствол к виску, но не спустил курок. В воздухе что-то изменилось. Он наполнился забытым шумом, в котором были ритм и мелодия. Старый штраусовский вальс. Играл духовой оркестр пожарных-ветеранов в раковине посреди парка.

Ник извлек обойму, а пистолет зашвырнул в кусты. Он выбрался из зарослей и пошел к музыке.

СОДЕРЖАНИЕ

Школьный альбом. <i>Быль</i>	5
В те юные годы. <i>Быль</i>	62
Ненаписанный рассказ Сомерсета Моэма	117
Машинистка живет на шестом этаже	167
Гимн дворняжке	208
Замолчавшая весна	218
Прекрасная лошадь	229
Страдания цензора Красовского	237
Мягкая посадка. <i>Современная сказка</i>	253
Чужое сердце	267
Немота	283
Ты будешь жить	306
Воробей	320
Телефонный разговор	340
Нет проблем?	350
Московское зазеркалье. <i>Рассказ</i>	361
Любимый ученик. <i>Рассказ</i>	378
Недоделанный. <i>Рассказ</i>	394
Паша-лев. <i>Рассказ</i>	430
Утраченная музыка. <i>Рассказ в духе триллера</i>	437

Книги издательской группы АСТ вы сможете заказать и получить по почте в любом уголке России. Пишите:

107140, Москва, а/я 140

Звоните: (095) 744-29-17

ВЫСЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

Вы также сможете приобрести книги группы АСТ по низким издательским ценам в наших фирменных магазинах:

Москва

- м. «Алексеевская», Звездный б-р, д. 21, стр. 1, тел. 232-19-05
- м. «Алтуфьево», Алтуфьевское шоссе, д. 86, к. 1
- м. «Воршавская», Чонгарский б-р, д. 18а, тел. 119-90-89
- м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 18, к. 1
- м. «Кузьминки», Волгоградский пр., д. 132, тел. 172-18-97
- м. «Повелецкая», ул. Татарская, д. 14, тел. 959-20-95
- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, тел. 306-18-91, 306-18-97
- м. «Пушкинская», «Маяковская», ул. Каретный ряд, д. 5/10, тел. 209-66-01, 299-65-84
- м. «Сокол», Ленинградский пр., д. 76, к. 1, Торговый комплекс «Метромаркет», 3-й этаж, тел. 781-40-76
- м. «Сокольники», ул. Стромынка, д. 14/1, тел. 268-14-55
- м. «Таганская», «Маржистая», Б. Факельный пер., д. 3, стр. 2, тел. 911-21-07
- м. «Царицыно», ул. Луганская, д. 7, к. 1, тел. 322-28-22
- Торговый комплекс «М», Дмитровское шоссе, д. 89, тел. 783-97-08
- Торговый комплекс «Крокус-Сити», 65—66-й км МКАД, тел. 942-94-25

Регионы

- г. Архангельск, 103-й квартал, ул. Садовая, д. 18, тел. (8182) 65-44-26
- г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 132а, тел. (0722) 31-48-39
- г. Калининград, пл. Калинина, д. 17-21, тел. (0112) 44-10-95
- г. Краснодар, ул. Красная, д. 29, тел. (8612) 62-55-48
- г. Курск, ул. Ленина, д. 11, тел. (0712) 22-39-70
- г. Н. Новгород, пл. Горького, д. 1/16, тел. (8312) 33-79-80
- г. Новороссийск, сквер имени Чайковского, тел. (8612) 68-81-27
- г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 23, тел. (3532) 41-18-05
- г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, д. 15, тел. (88632) 35-99-00
- г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 1 / Волжская наб., д. 107, тел. (0855) 52-47-26
- г. Рязань, ул. Почтовая, д. 62, тел. (0912) 20-55-81
- г. Самара, пр. Кирова, д. 301, тел. (8462) 56-49-92
- г. Смоленск, ул. Гагарина, д. 4, тел. (0812) 65-53-58
- г. Тула, пр. Ленина, д. 18, тел. (0872) 36-29-22
- г. Череповец, Советский пр., д. 88а, тел. (8202) 53-61-22

Издательская группа АСТ

**129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж
Справки по телефону: (095) 215-01-01, факс 215-51-10**

E-mail: astpub@aha.ru <http://www.ast.ru>

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству АСТ. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

Нагибин Юрий
Ты будешь жить

Сборник

Художественный редактор О.Н. Адашкина
Компьютерная верстка: А.В. Массарский
Технический редактор О.В. Панкрашина
Младший редактор Е.А. Лазарева

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.000577.02.04 от 03.02.2004 г.

ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 93
Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

ОАО «ЛЮКС»
396200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. К. Маркса, д. 9

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии
ФГУП «Издательство «Самарский Дом печати».
443080, г. Самара, пр. К. Маркса, 201.
Качество печати соответствует качеству предоставленных диапозитивов

МИРОВАЯ
КЛАССИКА
МИРОВАЯ
КЛАССИ
МИРОВАЯ
КЛАССИКА
МИРОВАЯ
КЛАССИКА
МИРОВАЯ
КЛАССИКА

ISBN 5-17-029602-9



9 785170 296026